

ЭРКМАН-  
ШАТРАН

ИСТОРИЯ  
ОДНОГО  
КРЕСТЬЯНИНА

И(орр)  
Э-78

БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА







ЭРКМАН-ШАТРИАН

И (ФР)  
Э 78

# ИСТОРИЯ ОДНОГО КРЕСТЬЯНИНА

Роман  
в 2-х томах

Том 2

Перевод с французского  
Т. КУДРЯВЦЕВОЙ

075208

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА 1967

II (Фр.)  
Э 78

ERCKMANN-CHATRIAN

HISTOIRE D'UN PAYSAN  
1867—1870

*Научная редакция и комментарии*  
А. И. МОЛОКА

*Художник*  
Ю. ИГНАТЬЕВ

7-3-4  
213-66

*213-66*

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я



ПЕРВЫЙ ГОД РЕСПУБЛИКИ

1793





## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Теперь мы перенесемся с вами в места, далекие от моих родных краев; я уже не буду рассказывать о маленькой кузнице в Лачугах-у-Дубника, о харчевне «Три голубя» и о хижине моего старого отца Жан-Пьера Бастьена, — речь у нас пойдет о маршах, переходах, стычках, атаках и битвах.

Волонтеров национальной гвардии из Саарбургского округа продержали в Рюльцгейме до конца июля; там горцы, явившиеся с косами и дубликами, получили ружья, патроны и лягушки. Каждый день прибывало новое пополнение — подходили группками, и их тут же принимались муштровать, так что в этой части Эльзаса, между Виссенбургом и Лапдау, только и слышался грохот

барабана, под звуки которого маршировали пехотинцы, да рожков кавалеристов, которых обучали скакать по кругу.

Позади нас протянулась линия редутов — от лагеря Келлермана \* до лагеря Бирона; \* длина ее была, наверно, где четыре или пять, и шли эти редуты вдоль реки Лаутер — их потом прозвали «линия Виссенбурга».

Обозной службы тогда еще не было и в помине, поэтому приходилось отбирать у крестьян лошадей и телеги, чтобы подвезти нам провиант, и мы частенько ощущали в нем недостаток.

Жил я, вместе с Марком Дивесом и Жаном Ра, у одной вдовы, — бедная женщина плакала с утра до вечера. Она отдавала нам все свои овощи, картофель, ржаной хлеб. Мы с Дивесом очень были довольны таким житьем, а Жан Ра считал, что она нас плохо кормит, — ему, видите ли, подавай мясо!

Товарищи наши, расквартированные в окрестностях, спали в амбарах, на сеновалах, под любым навесом и забирали все, что ни попадет под руку. Не умирать же с голоду! А для бедных жителей это была суцая напасть.

За все расплачивались ассигнатами \*, которые почти ничего не стоили. В лагере ходили по рукам немецкие газетенки, где расписывалось бедственное положение армии оборванцев, невежество и промахи ее командиров. Эмигранты изображали нас босяками, которые трясутся от холода и только и думают, как бы удрать, а немцы, свирепо вращая глазами и подкрутив усы, преследуют нас с саблѣй наголо. Эх, бедняги! Не раз за эти двадцать лет им туго приходилось, и даже лихо закрученные усы их не спасли.

Вот как королевские писаки умеют людей друг на друга натравливать — сами жиреют за счет народов, а те за это жизнью расплачиваются. А уж как они писцету нашу расписывали и великолепие союзных войск! И солдаты-то у них хорошо одеты, и пушек-то у них видимо-невидимо, провианта и снаряжения на складах полным-полно, а склады эти построены вдоль всего Рейна, и у курфюрста Баварского, и у герцога Цвейбрюккенского, и у прочих князей имперских. Можно себе представить, какая нас разбирала охота добраться до таких складов в Шпейере, Вормсе, Майнце; мы только о них и думали, и чем больше думали, тем больше раслапались.



К несчастью, вся наша армия на Рейне состояла тогда из двадцати одной тысячи пехотинцев, семнадцать тысяч волонтеров, шести тысяч кавалеристов и тысячи семисот артиллеристов, — словом, всего нас было почти сорок шесть тысяч человек; двадцать четыре тысячи из них были заняты охраной редутов и только двадцать две тысячи могли участвовать в кампании.

А пруссаки и австрийцы вместе выставили свыше двухсот тысяч человек. Наши эмигранты кричали им: «Вперед, вперед!..» Но Буйе ведь прекрасно знал, что хоть министры Людовика XVI и заявили Национальному собранию, будто у нас есть все необходимое для походной жизни, а перерывы в снабжении объясняются-де только чрезмерным усердием поставщиков, которые спешат снабдить оружием сначала волонтеров, арсеналы-де наши набиты до отказа и у армий наших всего вдоволь, — Буйе прекрасно знал, что министры врут, что у нас нет больше высших офицеров, инженеров и минеров, что они дезертировали; что мы вынуждены реквизировать кареты, верховых и упряжных лошадей и даже орудия крестьянского труда; что у большинства из нас одна холщовая куртка да штаны, обуты мы в сабо, и не ружья у нас, а ружьишки — десять раз зарядишь, а шесть выстрелишь; что нам даже самим велели добывать себе мешки — кожаные под скарб, а холщовые — под снаряжение, все это он знал, потому как министры, Людовик XVI, двор и эмигранты — все были заодно.

Кюстин \*, наш командир, — а им командовал генерал Бирон, — прибыл в Ландау, наш аванпост, выдвинутый перед Трионвилем и Мецем; в город он въехал на лошади через брешь в стене, а следом за ним — гусары. Можете себе представить, в каком состоянии были наши укрепления! Сколько раз я твердил себе:

«Подлые вы, подлые! В какое положение вы нас ставите! Не ровен час, двинется на нас враг всею массою, — да разве же мы устоим против двухсот тысяч человек? Нас раздавят — все поляжем костями!.. А вы родину готовы продать, только бы сохранить свои привилегии и держать нас в рабстве. Вы предатели, а ваш министр Нарбонн \*, который объехал наши крепости, а потом заявил в Национальном собрании, что мы готовы к войне, — последний мерзавец».

По счастью, пруссаки и австрийцы не переходили в наступление: генералы у них были мудрые и осторожные, а принцы и короли — прирожденные гении, которые только тем и занимались, что заранее строили планы, как поделить нашу страну. Если б ими командовал выходец из народа, вроде Гоша \* или Клебера \*, нас ждала бы гибель неминуемая. Словом, раздумывали они так целых три недели, а тем временем нашему батальону, первому горному, приказали выбрать офицеров и идти на Ландау.

В тот же день, — а было это в последний день июля 1792 года, — каждая рота, сформированная из жителей одной деревни, выбрала себе сержантов, лейтенантов, младших лейтенантов и капитанов, а затем все роты вместе выбрали командиром Жан-Батиста Менье, молодого архитектора, которого я сотни раз видел в наших краях, когда он, вооружившись саженью и ватерпасом, стоял где-нибудь на откосе, выравнивая траншею; он работал на Пирмеца, подрядчика, строившего фортификации, а теперь привял над вами командование. Жава Ра сразу выбрали тамбурмажором — наконец-то повезло бедному малому, и он получил тепленькое местечко, теперь ему будут платить двойное жалованье, и заживет он не хуже сержанта.

А на другой день мы уже двинулись в путь на Ландау — кто в блузе, кто в куртке, с саблей на перевязи, с ружьем на плече. Погода была неплохая. Второй батальон волонтеров из Нижней Шаранты, стоявший на биваке неподалеку от нас, следовал тем же путем. Многие шли босиком, и все цели «Марсельезу» \* — почти не было такого патриота на Рейне, который не знал бы ее.

Волонтеры из Нижней Шаранты остановились в Имффлингене, а мы прибыли в Ландау около трех часов пополудни. В передовом дозоре находились солдаты Бретонского полка, еще в белых мундирах; караульный окликнул нас: «Кто идет?» — и когда командир наш ответил: «Первый горный батальон!», раздались крики: «Да здравствует нация!», на штыках замелькали шапки — ведь все мы были горцы и гордились этим.

Нас опознали, и батальон вступил под старинные мрачные своды, над которыми красовались три королевские лилии. «Вперед, защитники свободы!» — перекатывалось, как гром.

Ландау очень похож на Пфальцбург, с той только разницей, что в этом старинном немецком городке подъем-

ные мосты, ворота, крепостные стены и рavelины построены на французский лад. За крепостными стенами течет речка Кнейх — не течет, а стоит, ибо это не река, а скорей болото, заросшее камышом, ракишником и осокой, где по утрам и вечерам квакают лягушки да жабы. Добрая половина крепостных стен сползла в ров, и гарнизон, вооружившись донатами, заступами, лестницами и тачками, спешил их подправить.

Честь и хвала Людовику XVI за такие укрепления, которые были построены самим Вобаном \* и содержались теперь в таком замечательном порядке! А денешки народные тратились на празднества, на охоту, на пенсии тем, кто занесен в Красную книгу \*. Стыд-то, беда какая, боже мой!..

Гарнизону в городе было семь тысяч шестьсот человек.

Нас разместили по казармам и сразу отправили работать вместе со всеми. Наш командир Менье, не расставившийся со своей саженью, хорошо знал дело; он не отступил был ни при нас, на стенах, и это наш батальон восстановил бастион со стороны Альбертсвейлера. Работа нашлась для всех: каменщики клали стены, землекопы делали насыпи и так далее. Пять или шесть кузнецов, ушедших добровольцами, как и я, исправляли под моим наблюдением поломанный инструмент, — словом, дела хватало.

Но никогда я не забуду, какой гнев и возмущение охватили гарнизон, когда до нас дошел манифест герцога Брауншвейгского \* к жителям Франции. Вместо того чтоб утаить его от нас, нам его прочитали по распоряжению командования на утреннем сборе.

Это была, так сказать, прокламация, в которой прусский фельдмаршал оповещал нас о том, что государи восстановили права и владения немецких князей в Эльзасе и Лотарингии; что им ничего от нас не нужно — они хотят-де только помочь нашему христианнейшему королю осчастливить своих подданных; что армии союзников будут защищать города, селения и деревни, которые успеют открыть ворота пруссакам и австрийцам; с теми же, кто осмелится оказать сопротивление войскам их величеств и станет по ним стрелять, будь то в открытом поле, будь то из дверей, окон или других каких амбразур своих домов, расправятся как положено — со всею строгостью суровых законов войны; что французским солдатам предлагается сложить оружие и стать под ста-

рые знамена; что национальные гвардейцы должны обеспечить спокойствие в деревнях до прихода союзников, которые снимут с них эту обязанность; что парижане все без исключения обязаны *немедля и без дальних околичностей* подчиниться австрийцам и пруссакам и что, если они посмеют оскорбить Людовика XVI, Марию-Антуанетту или их августейшее семейство, союзники сровняют город с землей; если же парижане проявят послушание, король Прусский и император Австрийский обещают просить его величество простить народу совершенные им преступления.

Не успели зачитать этот манифест, как все солдаты — кавалеристы, пехотинцы, волонтеры — выбежали из казарм с криком:

— Вперед! На врага!

В городе национальные гвардейцы тоже выбежали из домов и собрались на плацу. Все кричали: «Вперед, на врага!.. Победим или умрем!.. Да здравствует нация!», или «Марсельезу», «Наша возьмет!» — в воздухе стоял такой гуд, что генерал Кюстин галопом проскакал по Почтовой улице во главе своего штаба: думал, что войска забунтовались. Как сейчас вижу его — высокий, рыжий, широкоплечий, с большими сверкающими глазами, крупным красным носом и лихими гусарскими усами и бакенбардами; он поднимает руку, требуя тишины, а с ним — полковник Жозеф де Брельи, командир второго полка конных егерей, замечательный офицер, лицо открытое, смелое, как у родовитого дворянина, и еще командир эскадрона Ушар из Форбаха, рыбой, весь в шрамах. Будто сейчас вижу, как лошади под ними тавцуют, бьют копытом, а они кричат, отдают приказания, только никто их не слышит.

Ну и я, конечно, разъярился не меньше других: оскорбление, которое посмел нанести какой-то паршивый прусский герцог моему народу, возмутило меня до мозга костей — я весь дрожал от гнева!..

Вдруг слышим: на крепостных стенах забил тревогу. Вот уже восемь дней, как передовые отряды неприятеля двигались к городу, и теперь мы решили, что они перешли в атаку; все кинулись на бастионы — по своим местам. Смотрим: вокруг все тихо. Оказалось, это генерал велел пробить тревогу, — военная хитрость, чтобы заставить нас разойтись и призвать к порядку.

Все снова принялись за работу, но с той минуты возмущение против Людовика XVI, герцога Брауншвейгского, короля Прусского и императора Австрийского возрастало с каждым днем. Солдаты регулярных войск, волонтеры и национальная гвардия города собирались в пивных и кабаках, составляли петиции в Национальное собрание против изменников и требовали низложения короля.

Какое-то время все оставалось без перемен. Крепостные стены воздвигли запово, а перед ними соорудили палисады; стали расставлять пушки, класть фашины. В расположение наших войск между Виссенбургом и Ландау стали просачиваться крупные отряды австрийцев; в городе появились обозы с мукой и оружием — их сопровождали комиссары дистрикта, а конвоировали конные егеря из второго полка и национальные драгуны, потому что враг совершал набеги на них до самых аванпостов Имплингена и Оффенбаха. Все ждали, что мы, того и гляди, попадем в окружение.

Но еще до прихода австрийков мы узнали, к чему привел грозный манифест герцога Брауншвейгского в Парриже: парод захватил Тюльрийский дворец, перерезал швейцарцев из королевской стражи, взял в плен Людовика XVI, Марию-Антуанетту и все их семейство и заточил их сначала в Люксембургском дворце, а потом — в Тампле.

Когда 15 августа к нам прибыл курьер с этим известием, солдаты до того возликовали, что наши крики и песни доносились, наверно, до неприятельских патрулей — пол-лье в округе их было слышно. Люди целовались, кричали:

— Избавились от предателей!

На глазах у всех были слезы — люди смеялись и радовались так, точно им вовек не знать горя.

А теперь я расскажу вам, как все произошло, — я-то своими глазами не видел, но газеты, издававшиеся патриотами, поступали к нам сотнями; их все читали; а потом — всякий, кто получал письмо от двоюродного брата или приятеля, взбирался на стол и читал его вслух, а кто-нибудь другой читал последний бюллетень Национального собрания или Якобинского клуба; словом, в конце концов все узнавалось.

Я уже говорил, что после 20 июня к королю стали относиться с подозрением, ибо он заявил, что не спит

вето с декрета Национального собрания против неприсягнувших священников. Да и министры его ничего не делали, чтобы спасти нас от нашествия: крепости наши оставлены были без защиты, склады пусты; новых офицеров, выбранных солдатами, не утверждали в чине, а в Национальном собрании нагло заявляли, что все готово к отбору врагу. Когда же пруссаки и австрийцы двинулись на нас, все эти министры скопом подали в отставку, и Национальному собранию пришлось объявить отечество в опасности.

Словом, знаете, как это бывает!

И все же многие мирные жители не могли поверить, чтобы добрый их король предал свой народ. Но тут был манифест герцога Брауншвейгского, и там говорилось, что *пруссаки и австрийцы вступили в нашу страну, чтобы вернуть ему, Людовику XVI, его дворянам и его епископам их извечные привилегии, а нам — наше извечное рабство*, — постыдный, омерзительный, наглый манифест, который показал, что все эти господа выступают против народа и друг с другом столковались, точно воры на ярмарке. Ну и конечно, те, кто был почестнее, стали возмущаться, и сотни петиций полетели в Национальное собрание, требуя шаложения короля. Но лучшие депутаты разъехались по департаментам проводить набор волоптеров, а те, кто остался в Национальном собрании, не желали слушать справедливых жалоб народа. К тому же, как узналось позднее, в это самое время вожди жирондистов вели тайные переговоры с королем, который сулил им сделать их всех министрами.

Парижские секции, видя, что их депутаты ничего не делают, чтобы спасти отечество, заявили: «Наберемся терпения и подождем немного, но если в четверг, 9 августа, к одиннадцати часам вечера Национальное собрание не решит низложить короля, а Законодательный корпус не удовлетворит справедливых требований народа, через час, в полночь, загудит набат, барабаны забьют тревогу и поднимется весь народ!» Это было откровенное и храброе заявление!

Вместо ответа Национальное собрание велело военному министру немедля отправить в Суассонский лагерь всех департаментских федератов, какие находились в Париже, и в тот же день, 406 голосами против 224, отвергло предложение предать генерала Лафайета суду\*.

И тотчас Дантон, Камилл Демулен \*, Барбару, командир марсельских федератов, Пание \*, Сержан \*, Баазир \*, Мерлен из Триошили \*, Сантер \*, Вестерман \* и прочие и прочие, — словом, все патриоты, которые решили спасти свободу или погибнуть, — подняли народ на восстание. Секции собрались в ночь с 9 на 10 августа и выделили каждая по три комиссара, которых облекли «всей полнотою власти, какая может потребоваться, чтобы спасти общее дело». Дантон велел ударить в набат.

В Тюильрийском дворце полно было швейцарцев, дворян и всякой охраны, но Людовик XVI смекнул, что, если народ победит, он отомстит за смерть своих братьев, и, решив себя обезопасить, не дожидаясь, пока начнется осада дворца, отправился с королевой и дофином в Национальное собрание и заявил, что он не хочет, чтобы восставшие отяготили свою совесть тяжким преступлением.

Словом, король, видно, рассуждал иначе, чем последний пастух в деревне, который постыдился бы удрать от опасности и оставить чужих людей жертвовать жизнью, защищая его добро.

Так или иначе, их величества отбыли, а народ под предводительством Вестермана двинулся на дворец под беглым огнем швейцарцев, стреливших из всех окон. Патриоты сначала было отступили, а потом, разъярясь, бросились на приступ со штыками наперевес; они подожгли казарму, где помещались швейцарцы, и ворвались во дворец, кроша направо и налево дворцовую челядь, лакеев, дворян, всех, кто попался под руку. Несчастных швейцарцев выбрасывали из окон, расстреливали во дворах, на улицах, в садах; уже двести марсельских федератов, сто бретонских федератов, пятьсот швейцарцев, тысяча национальных гвардейцев и жителей предместий, тысяча дворян и слуг полегли на мостовых, на лестницах, на паркете дворца или сгорели под развалинами казармы, а его величество Людовик XVI, вместо того чтобы своим присутствием поддержать тех, кто его защищал, прятался в Национальном собрании. Газеты того времени писали, что аппетит у него был по-прежнему отменный, по этому не хочется верить — неужели у такого храброго народа, как французы, были подобные властелины.

Пока шла резня во дворце, к Национальному собранию продолжали стекаться патриоты с требованием ии-

зложить короля, но наши депутаты, прежде чем им ответить, хотели знать, кто возьмет верх — народ или швейцарцы, — так ведь оно вернее.

Наконец к двум часам пополудни народ, разгромив дворец, двинулся к Национальному собранию; оно состоялось перед приказом повой Коммуны\*, и председатель собрания жирондист Верньо объявил о временном отрешении Людовика XVI от престола и о созыве Конвента. Затем Национальное собрание издало декрет: 26 августа провести повсеместно первичные собрания, на которых французы выберут выборщиков, а 2 сентября эти выборщики приступят к избранию депутатов, которым надлежит прибыть в Париж 20 числа того же месяца.

Теперь уже граждан не делили на активных и пассивных; я подумал, что Шовель, председатель нашего клуба, широко известный жителям Пфальцбурга и окрестностей, может быть избран в Конвент, и мысль эта доставила мне удовольствие. Но между 10 августа и 20 сентября — сорок дней, и все эти сорок дней единственным хозяином в стране оставалась революционная Коммуна Парижа, — иными словами, комиссары, выбранные секциями в ночь с 9 на 10 августа, а вокруг было такое множество врагов — от Антверпена до Ниццы и Италии. Все понимали, какое тяжкое время предстояло еще нам пережить.

К счастью, Шовель и Маргарита, когда были в Париже, часто писали нам про Робеспьера, Базира, Мерлена, Сержана, Сантера и говорили, что это патриоты надежные, так что, когда я увидел в газетах среди прочих членов Коммуны их имена, я сказал себе, что эти люди не дадут погибнуть ни родные, ни свобода — разве что их всех истребят, а тогда и нас уже не будет на этом свете.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

После событий 10 августа\* стало известно, что Законодательное собрание, под напором Коммуны, издало декреты: об отмене церковных облачений, о разводе, о преобразовании национальной гвардии — отныне в нее будут



допускаться все граждане, — о продаже в рассрочку, мелкими наделами, церковных угодий и земель, принадлежавших эмигрантам, с тем, чтобы бедный люд мог купить себе надел и выплачивать за него частями; и, наконец, все священнослужители, не пожелавшие принести присягу, должны были в двухнедельный срок покинуть страну под угрозой ссылки в Гвianaу. Кроме того, был издан декрет о том, что родители эмигрантов подлежат задержанию в качестве заложников до заключения мира и что те, кто приказал стрелять в народ, будут преданы суду уголовного трибунала.

Все эти законы, само собой, наполнили радостью сердца патриотов; люди думали: «Вот она, революция-то, как нагает!.. Всех негодяев подчистую смела!»

Но в то же время пошли слухи, что Лафайет, командовавший армией в Арденнах, отказался признать революцию 10 августа; что враги вторглись в страну на севере; что Ванден, избалованная дворянами и священниками, только ждет вступления пруссаков в Шампань, чтобы подняться против нации. Все эти дурные вести вызывали в стране великое беспокойство.

303570  
Близилась осень; Пфальц окутывали тянувшиеся с Рейна туманы; болота вокруг Квейха дымились, точно чай с горькой водой. Каждый день отряды, составленные главным образом из кавалеристов, выезжали в разведку; крестьяне рассказывали на рынке, что большая колонна пруссаков и австрийцев движется со стороны Тонвилля и обходит город, направляясь в Лотарингию. Говорили также, будто комиссары Национального собрания осматривали укрепления Виссенбурга и один из них, гражданин Карно \*, майор инженерных войск, возводит новые редуты.

Тут сразу удвоили посты, подвезли сваряды для пушек на крепостных стенах; часовые с вышек на рavelинах обозревали тонущие в тумане окрестности. Время от времени вражеские патрули — уланы и пандуры \* — появлялись на равнине и открывали стрельбу, как бы говоря: «Вот и мы!.. Сейчас явимся!..»

И мы ждали.

Как-то утром стоял я на часах у Альбертсвейдерских ворот; вернулись последние разъезды и пригнали из окрестностей скот, мосты были подняты и все выходы заперты.



Люди сидели в караульной. За два дня до этого мы получили длинные синие мундиры волоптеров с красными отворотами, короткие плисовые штаны, какие носили санюлоты, и треуголки. Тот, кто шел в караул, брал еще большой плащ из серого сукна, но сырость все равно пробирала до костей. Товарищи мои по службе сидели в караульной вокруг печки и мечтательно покуривали трубку, пригнувшись поближе к огоньку; а те, кому не сиделось на месте, прогуливались между двумя мостами, притоптывая от холода и что-то пассивствуя, чтоб прогнать невеселые мысли. Такая уж она, гарнизонная

жизнь, самая из всех постылая, но для нас она оказалась недолгой, чему я до сих пор радуюсь, потому как после пяти-шести лет подобного существования даже самые смышленные дуреют.

Словом, было часов девять утра, — сменять нас должны были в полдень, — как вдруг со стороны Имффлингена заговорили пушки; стреляли не торопясь — удар, другой, третий, — только стекла в окнах караульной дребезжали. Все высыпали на улицу, ничего не понимая, — стояли и прислушивались: думали, это атака без предупреждения, но мой сосед по койке, старый волонтер, весь седой, сухой и тощий, как копченая селедка, сказал, что такая пушечная пальба без ружейной, на которую никто не отвечает, ровно ничего не значит: так обычно стреляют в честь маршалов Франции или принцев крови. И старик этот, которого звали Жан-Батист Сом, не ошибся; только время салютовать маршалам Франции и принцам крови прошло — и надолго, а этот залп, как сообщил нам сто-

роиз, возвратившийся с площади, был дан по приказу генерала Кюстина в честь комиссаров Национального собрания, въехавших в город через другие ворота, со стороны Виссенбурга.

Все вернулись в караульную, а когда к полудню нас сменили, мы отправились в город — уж больно любопытно было посмотреть на комиссаров, которых каждый из нас представлял по-своему. Они находились в мэрии, и весь наш штаб в полной парадной форме должен был явиться туда для встречи с ними.

Когда мы пришли в казармы, там из донесений уже известно было, что все дурные вести подтвердились: Лафайет в самом деле собирался двинуть войска на Париж, чтоб уничтожить якобинцев и вернуть власть королю; Национальное собрание по настоянию монашьяров объявило его изменником родины, и он бежал в Нидерланды. Вместо него Северной армией командовал теперь Дюмурье; \* Келлермана поставили во главе Центральной армии в Меце, а Люкнера \* — во главе резервной Шалонской армии. Известно было и то, что враг вступил на нашу землю и вторжение началось; что он расстрелял патриотов в Сирке и бомбардировал Лонгви; что вандейцы подняли восстание, — словом, как и следовало ожидать, пришла беда, отворил ворота: тут и нашествие неприятеля, и измена, и гражданская война — все разом!

Можно себе представить, какие мысли лезли нам в голову по мере того, как до нас доходили все эти печальные вести, — план Буйе, графа д'Артуа, епископов и дворян стал теперь понемногу нам раскрываться.

Победа или смерть — другого выбора не было!

Как же мы были довольны, когда узнали, что комиссары Национального собрания, простые граждане, которых мы сами над собой поставили, потребовали у высших офицеров новой присяги и вышвырнули из армии, точно обгоревшие спички, командира второго полка конных егерей Жозефа де Бродьи и подполковника Виллантруа, отказавшихся присягнуть конституции, а на их место назначили майоров Ушара и Кустара, которые слыли у себя в полку добрыми патриотами и храбрыми воюками! Такого никогда еще не было, и это внушало уважение к нации. По лицам лейтенантов и капитанов видно было, что они теперь держатся другого мнения о силе народа и с готовностью дадут присягу.



А уж об унтер-офицерах и солдатах и говорить нечего: те, само собой, чуть не плясали от радости.

Когда в два часа пробили сбор, чтоб комиссары могли сделать нам смотр, надо было видеть, в каком порядке, чеканя шаг, проходили мы, как мы кричали: «Да здравствует нация! Да здравствуют комиссары! Да здравствуют Парижская коммуна и Национальное собрание!»

Как сейчас стоит у меня перед глазами плац — огромный квадрат, ощерившийся саблями и штыками; роты идут за ротами; гарцуют эскадроны за эскадронами, а в промежутках между ними везут полевые орудия; на середине же площади, внутри этого квадрата, трое комиссаров: Барно и Приер\* в форме офицеров инженерных войск, а рядом с ними Риттер с большущей саблей на черной перевязи, вместо пояса — трехцветный шарф, на голове большая широкополая шляпа с тремя перьями — синим, красным и белым, — словом, избранники народа, а полковники и генералы оказывают им почести!

Они же и внимания на это не обращают. Главное для них было — узнать нужды солдатские. И они выслушивали, кому что требуется, и даже записывали.



Но прекраснее всего на этом смотре была та минута, когда я почувствовал, что народ и впрямь стал хозяином — комиссары проходили перед батальонами и, обращаясь к нам, зычным голосом восклицали: «Клянитесь, что будете отстаивать свободу и равенство до последней капли крови, или умрете на посту!»

А мы, приставив ружье к ноге, подним вверх правую руку, отвечали хором: «Клянусь!» — и у одних при этом лица бледнели, а у других слезы выступали на глазах.

Мы ведь знали, зачем присягаем, знали, что речь идет о нашем счастье, о счастье всех — от первого до последнего, о счастье наших родителей, наших семей, о чести родины.

Но тут и должен кое-что вам рассказать. Касается это лично меня, но лишний раз показывает, как по-братски относились к простому люду представители народа.

К восьми часам смотр кончился; мы прошли по площади с возгласами: «Да здравствует свобода! Долой аристократов и придворных офицеров! Долой проидох! Да здравствует справедливость!» Весь город бурлил — со всех сторон слышались крики, песни. Вернулись мы

к себе в казармы, после похлебки и ну смеяться над тем, сколько ядовитых зарядов получили эти дворяне-офицеры — ничего, всякому свой черед! Сидим мы так, вдруг входит сержант из караула и говорит, что комиссары Национального собрания желают видеть Мишеля Бастьена. Я, конечно, решил, что это шутка, и товарищи мои тоже так решили, и все мы как захохотем! Но сержант сказал, что ничего смешного тут нет — у дверей меня гусар дожидается. Тогда я снял с гвоздя треуголку и надел перевязь.

Я, конечно, думал, что тут какая-то ошибка и комиссарам нужен совсем другой Бастьен — мало ли их в наших краях. Но верховой, дожидавшийся меня внизу, под фонарем, протянул мне приказ, и я прочел: «Вызвать Мишеля Бастьена, волонтера первого горного батальона». Двинулись мы в путь; я шагал рядом с гусаром, старым недоверчивым служакой, с толстой седой косой сзади и двумя косицами вдоль скул, с болтавшимися на них мушкетными пулями; он то и дело искоса поглядывал на меня с высоты своего коня: видно, думал, что я что-то натворил и теперь попытаюсь удрать.

Я же все не мог опомниться от удивления. А когда мы добрались до двора большой гостиницы, где останавливались почтовые кареты, и я увидел, как она вся — сверху донизу — горит огнями, и увидел двор, полный гусар, то и вовсе ошел.

Офицер караульной службы прочитал приказ, которым меня вызвали, и велел отвести меня на второй этаж, где по широкому коридору взад и вперед сновали слуги с блюдами жаркого и корзинами вина. Это наш генерал Кюстин, первый кутла в армии, — он ведь был из дворян и знал толк в таких вещах, — угощал комиссаров и местный штаб.

Один из слуг, заметив меня, спросил, что мне тут надо; я сказал, что меня вызвали комиссары; тогда он открыл дверь в большую комнату слева от коридора и сказал:

— Входите!

Я вошел, вижу: на круглом столе стоит зажженная лампа. А справа, из соседней залы, доносятся разговоры, смех, звенят стаканы и тарелки, точно на празднике. Постою я так с минуту, удивляясь, что нет никого, вдруг дверь открылась, входит гражданин Карно, опоясанный трехцветным шарфом, и приветливо так спрашивает меня:

— Это вы Мишель Бастьен, который собирается жениться на дочке Шовеля?

— Так точно, — отвечаю, смутившись.

— Не удивляйтесь, — говорит он и протягивает мне руку. — Мы с Шовелем друзья: я не раз обедал в его маленькой квартирке на улице Булуа. Ваша невеста — хорошая патриотка. Вот что она поручила мне вам передать.

Он вынул из кармана письмо и протянул его мне. Я до того обрадовался, что прямо не знал, как и благодарить его. А он все смотрел на меня своими живыми глазами.

— Вы что же, просто волонтер? — наконец спросил он. — Шовель говорил мне, что вы получили образование. Почему же вас не назначили сержантом или офицером?

Я покраснел до корней волос.

— Если бы я захотел, — сказал я, — наши деревенские выбрали бы меня сержантом, только я считаю, надо выбрать из старых служивых: они знают, что такое война, и сумеют лучше повести нас в бой. Вот что я думаю.

— А-а! — протянул он. — Значит, вы отказались?

— Да. А потом я вовсе не хочу весь век быть солдатом, не мое это дело. Я пошел в армию, чтобы защищать свободу, а когда мы ее отстоим, тогда я спокойно вернусь к себе и снова возьмусь за кузнечное дело и постараюсь стать добрым отцом семейства. Ничего другого мне не надо.

Он выслушал меня с улыбкой, а потом и говорит:

— Ну что ж, в добрый час!.. Шовель высоко вас ставит, и, я вижу, не даром. Мы собираемся захватить Пфальцбург, и я непременно расскажу ему о нашей встрече. Вам же, мой друг, конечно, не терпится прочесть письмо от невесты, так что до свидания.

Он протянул мне руку, и я вышел из комнаты в самом радужном настроении.

«Ах, если бы мне выпало счастье оказать услугу Карно! — воскликнул я про себя. — Попади он, к примеру, в плен, я бы все сделал, чтобы выволить его, и не отступил бы, пусть даже меня искромсали бы в куски!»

Вот какие безрассудные мысли теснились у меня в голове — что частенько бывает у молодых людей, — пока я поднимался по лестнице казармы. Войдя к себе, я обнаружил, что все мои товарищи уже спят. Хоть нам и запрещено было зажигать свечи после отбоя, я вытащил огниво и кремь, высек огонь и, поставив свечу в камин,

принялся читать письмо от Маргариты, — снаружи свет никак нельзя было увидеть, а капитал, как и все остальные, заснул.

Много лет прошло с тех пор, — ведь я получил это письмо в конце августа 1792 года; теперь я уже старик, а тогда я был молод, полон сил, и я так любил Маргариту, что заплакал, точно ребенок, прочитав о том, как тяжело ей в разлуке со мной. Сегодня же, хоть я и питаю самые добрые чувства к моей милой, славной женошке, все это кажется мне сном! И все-таки письмо ее я мог бы привести слово в слово. Сколько раз я читал его и перечитывал на биваках, в Майнце, везде! Под конец бумага совсем истерлась; столько раз я складывал и раскладывал письмо, что оно распалось на кусочки, а я все его перечитывал и всегда находил в нем что-то новое, глубоко меня трогавшее.

Но слова любви предназначены только для тебя одного, будь ты стар или молод, и ты хранишь их, как самое заветное, а потому я могу вам только сказать, что Маргарита много писала о моем отце, который каждое воскресенье приходил к ним обедать, и о моем братишке Этьене, который собирался помогать ей в книжной лавке, ибо начались избирательные собрания и уже ясно было, что папану Шовеля пошлют в Конвент, — весь край этого хотел: он стоял первым в списке по количеству голосов, значит, дело верное! Маргарита на этот раз не поедет с ним в Париж: нельзя забросить торговлю — ведь так важно, чтобы больше хороших книг расходилось по стране; их дело приносит много пользы, нельзя его закрыть. Этьен будет с ней: она его очень любит, мальчик он хороший, умный, любознательный.

Кроме того, Маргарита описывала, как принимали наших комиссаров в Пфальцбурге: они произвели смотр войскам, а потом направились в Клуб друзей свободы и равенства. Весь город ликовал по поводу событий 10 августа: городские власти сначала послали Национальному собранию тысячу двести франков на военные расходы, а потом еще тысячу шестьдесят два франка на те же нужды. Комиссары при всем народе поблагодарили Шовеля за то, что он верно направляет не только клуб, но и весь край.

Вот о чем писала мне Маргарита. В конце письма была приписка от папани Шовеля, который наказывал мне неустанно выполнять свой долг: войне скоро наступит ко-



нец, говорил он, еще каких-нибудь полгода, панесем им решительный удар и всех заставим отступить. Он забыл, как говорил нам в клубе, что война будет долгая, а мне писал так, чтобы меня подбодрить, — только нужды в этом не было: я знал, что если уж война началась, она до тех пор не кончится, пока одни не истребят других.

На другой день комиссары уехали от нас под надежной охраной в Бельфор, что в Эльзасе.

По всему краю сповали в ту пору вражеские патрули — суцые бандиты в красных плащах; они грабили деревни и отбирали все у честных людей. Случалось, эти процельяги подъезжали даже к нам, под самые укрепления, — каракулевая шапка надвинута на глаза, нос вздернут, длинные усищи свисают ниже подбородка, — пальнут из пистолета по крепостной стене и, с диким гикашем, разинув рот до ушей, пустанся паутек; это были австрийские крестьяне-дикари из самых медвежьих углов, звали их пандуры, — существа грязные, вшивые, и лошаденки у них были такие же дикие и лохматые, как хозяева.

Эта свора караулила нас; посты их были расставлены вокруг всего города, но так, чтобы мы не могли достать до них пушкой. Время от времени с крепостных стен раздавался ружейный выстрел, потом наступала тишина. Это называлось блокадой.

Вражеские войска всегда проходили вдали от города: кавалерия, пехота, обозы с порохом и с ядрами — все проливало где-то в тумане, направляясь в сторону Лотарингии.

Глядишь, бывало, на эту армию, тянущуюся нескончаемой чередой, и как подумаешь, что ведь это праг вторгается в твою страну, — так и тянет ринуться в гущу больших сражений.

Погода по-прежнему была унылая, пасмурная, частенько шел дождь, — нас утешала только мысль, что пруссаков и австрийцев он тоже поливает день и ночь. Два два или три немцы присылали к нам парламентаров — приезжал офицер с трубачом. Наши выходили к ним навстречу, офицеру завязывали глаза и вели его к начальству. Зачем приезжали эти люди, чего они хотели? Никто, кроме военного совета, этого не знал.

Однажды в сентябре прошел слух, будто на аванпостах у Альбертвейлерских ворот слышали, как один пандур издали крикнул:

— Долгива палт! Верден сдадася!.. \*

Весь гарнизон только об этом и говорил.

Костин с эскортом гусар отправился на линию Виссенбургской обороны; гусары скоро вернулись и рассказали, что восьмой и десятый егерские, первый драгунский, четвертый и девятнадцатый кавалерийские, первый и второй гренадерские полки, а также батальон из департамента Соны и Луары и несколько батальонов из департамента Нижнего Рейна форсированным маршем направилась к Мецу. Сердце у нас так и сжалось: все подумали, что мы, видно, проиграли большое сражение, раз решили оголеть линию обороны и выслать подкрепление. Но патриоты-горожане по-прежнему утверждали, что Эльзасу нечего опасаться, что там осталось достаточно войск, чтобы охранять проход через реку в Лаутербурге; что немцам не пройти иначе, как по Фишбахской и Дапской долинам или через Винвальдский лес, а стоит им туда сунуться, волонтеры национальной гвардии перебьют их всех до одного; если же они пойдут по дороге на Альтштадт, то хоть будь их пятьдесят тысяч, наши редуты остановят их.

Вот о чем толковали в пивных Ландау: горожане и солдаты были в ту пору как братья. Да, но если бы союзники двинулись на Париж, какой был бы прок от того, что мы сберегли этот уголок Эльзаса? Ох, сколько в эти две недели было огорчений и беспокойств!

Из всей нашей компании один только старина Сом не унывал. Однажды, когда кто-то уж очень разволновался, он сказал:

— Да плюньте: прут, ну и пусть... И чем больше их будет, тем лучше: мы на них как навалимся — ни один живым не уйдет.

Словом, так или иначе, мы сохраняли бодрость духа и только думали о том, как бы побыстрее выступить и сразиться с ними. Но вот однажды утром мы не увидели больше длинной очереди вражеских войск, которые уже три недели шли мимо нас, — к этому времени во Франции находилось сто восемьдесят тысяч солдат союзников. Сколько мы ни вглядывались с крепостных стен в даль, ничего не было видно, — даже пандуры и те ушли следом за последней колонной. В тот же день крестьяне, мужчины и женщины, с корзинками на голове или за плечами, в великом множестве появились у самых аванпостов города; пришел приказ впустить их через один из подзем-

ных ходов; они-то и рассказали нам, что принц Гогенлоа-Киришберг останавливался на почлег у мэра Нейштадта; что теперь армия принца обложила Трионвиль; что они палят из пушек по всему без разбору; что гарнизон время от времени делает вылазки; что австрияки и баварцы заставили наших крестьян подвезти их имущество и припасы к самому городу и что от них-то крестьяне и узнали обо всем. А вот что творится в других местах, об этом никто ничего не знал.

Надо было, значит, набраться терпения и ждать.

Опустели мы Импилингенский мост и сидели сложа руки, изнывая от безделья, как вдруг, числа двадцать пятого сентября, прибыла почта сразу из Страсбурга и Нанси, и через какой-нибудь час уже все в городе читали письма и газеты. Так мы узнали про то, что произошло за эти три недели: про взятие Лонгви, сдавшего жителями без сопротивления, хоть там и находились волонтеры из Арденн и из Кот-д'Ор; про капитуляцию Вердена, тоже вынужденную, — город пришлось сдать, ибо женщины и девушки вышли с цветами навстречу прусскому королю; про смерть доблестного коменданта Боренера \*, который не пожелал подписать позорной капитуляции; про то, как Дюмурье защищал проходы в Аргонских горах; как Келлерман во главе Центральной армии выступил к нему на подмогу, чтобы сообща дать бой на подступах к Шалону; про восстание в Параже, где народ поднялся, узнав, что предатели сдают наши крепости, а герцог Брауншвейгский собирается уничтожить всех патриотов; про то, как в тюрьмах перебили дворян и неприсягнувших священников; \* про битву при Вальми; \* про поражение пруссаков и первое заседание Конвента, который 21 сентября единогласно провозгласил республику.

Сколько страшных и великих событий произошло за эти двадцать дней! А мы — мы совсем в них не участвовали, просидели сложа руки из-за какого-то несчастного принца, который даже и атаковать-то нас не желал. Очень мы были всем этим раздосадованы.

— Неужто нас так и оставят здесь киснуть до конца войны?! — восклицали мы. — Раз пруссаков разбили, отрезем им путь к отступлению!

А шныре считали, что лучше напасть на их склады, расположенные по Рейну, — до них было часов десять —

двенадцать марша: этак мы и с врагом быстрее поквитаемся, и республике будет прок.

Словом, думали об этом во всех полках, и стали уже поговаривать, что генералы наши — предатели, раз они не хотят воспользоваться таким удачным случаем; кое-где начали бунтовать, но 29 сентября, к вечеру, по счастью, вернулся Кюстин вместе со всем своим штабом. Дождь лил как из ведра, однако генерал приказал бить сбор, велел кавалеристам сесть на коней, пехоте — надеть ранцы и тотчас двинуться в путь: одним — по дороге на Гермерсгейм, другим — по дороге на Вайнгартен. Свершилось то, чего мы жаждали, и вроде бы мы должны были радоваться. Все понимали, что лучшего сюрприза не придумаешь, что шпионы, если они и были в Ландау, не успеют предупредить врага, чтобы он вывез свои склады, и мы доберемся до них одновременно с лазутчиками.

Все это было, конечно, так, но когда нам раздали патроны и батальон за батальоном стал выходить в ночь из-под древних ворот с опускаемыми решетками; когда по двум мостам, перекрывая шум дождя и ветра, застучали сапоги, а там, за аванпостами, солдат ждала крошечная тьма и пришлось идти, не разбирая дороги, под дождем, который, точно из водосточной трубы, лил с треуголки; когда долгими часами мы слушали только шаги, — люди идут, идут, не останавливаясь, а позади — ржашье лошадей, впряженных в пушки, и на небе — ни звездочки, ни единый луч луны не пробивает темных, нависших облаков, — тогда захват складов не казался нам таким уж заманчивым!

В памяти у меня от этой дороги осталось только одно: как мы шли, не видя друг друга, — даже трубки и то пельзя было закурить из-за ветра и дождя; лишь время от времени вдоль колонны проезжали верховые, крича нам:

— А ну, поторапливайтесь... прибавить шагу!.. К рассвету надо быть на месте.

Кто-нибудь вдруг говорил:

— Уже полночь... Час... Два часа...

А дождь все лил, и шум его казался особенно гулким здесь, среди полей.

Когда мы вступали в деревню, собаки принимались было лаять, но, увидев такое множество народу, прятались, и мы шли, не встречая кругом ни души. Только раз, помнится, мы проходили мимо одного дома, где вели

хлеб; окошца в нем светились, и оттуда так вкусно потянуло свеженепеченным хлебом, что мы только поворачивали на запах голову и говорили:

— До чего же тут вкусно пахнет!

Долго еще, после того как мы прошли ту деревню, вспоминал я про печь дядюшки Жана, представляя себе кухню в «Трех голубях»: тепло, красноватые отсветы огня отражаются на кастрюлях, потрескивая, жарятся лепешки на сале... И я подумал, что если бы я не любил так свободу, с какой радостью сидел бы я сейчас там, за печкой, засунув ноги в сабо, вместо того чтобы шагать по дороге, — сляпа и ноги мокрые, точно выкупался в реке. Сколько раз такие мысли приходили мне потом в голову, и я знаю: все мои товарищи думали так же. Ничего тут с собой не поделаешь: когда ночью идешь по дороге, в голову всегда лезут мысли про деревню и про славных людей, которых ты там знал.

Когда мы отшагали более семи лье от Ландау, забрезжил наконец бледный рассвет — вдали, над темной землей, появилась узкая белая полоска, упрямая, что время подходит к четверем утра. Дневной свет приободрил нас, и Жан-Батист, шагавший рядом со мной, точно молодецкий, хоть он уже был совсем седой, да и за плечами нес здоровенный кожаный рапец, весело объявил:

— Ну, Мишель, подходим!.. Липь бы эти мерзавцы, имперские прихвостни, не вывезли все со складов!

По мере того как занимался день, вдали, на равнине, стало что-то поблескивать — это Рейн вышел из берегов и затопил окрестности. Теперь мы и себя увидели: люди шли, раскисевшая грязь; офицерские кони увязали в густой жиже, затопившей дорогу; позади, насколько хватал глаз, тянулись пушки и повозки с амуницией, оставляя глубокие колеи; ехали драгуны, закутавшись в белые плащи, низко нахлобучив шляпы, ехали забрызганные грязью гусары, стрелки, — ехали и в то же время словно не двигались с места, так велика была равнина. Глядя на все это, я невольно думал:

«Ведь нас тут тысяч пять, а то и шесть будет, а посмотришь — жалкая горсточка».

В семь часов мы подъехали к какой-то большой деревне и остановились перекусить; кавалерия и пехота разбила в поле биваки, только пушки да нанис пожитки остались на дороге.

Не успели мы составить ружья, как нас с Жан-Батистом отправили и наряд. Здесь, в этой деревне, я впервые увидел, как солдаты отбирали у жителей дрова, хлеб, мясо и все прочее; увидел несчастных людей, вздымавших руки к небу, в то время как из стойл выводили их коров и быков и тут же, на улице, убивали, сдирали с них шкуру и по ротам делили туши. Каждое отделение, с капитаном во главе, получало свою долю и уходило. А Кюстин, вокруг которого с криками и стенаниями толпилась добрая половина деревни, только говорил:

— Эх, друзья, ведь это война. Ваши герцоги, ваши короли, ваши императоры захотели этой войны — вот теперь и жалуйтесь им!

Когда мы с Жан-Батистом вернулись к бивакам, неся на плечах жердь, на которой болталась наша доля мяса, сотни костров уже пылали на лугу вдоль Шнейера, клубы дыма стлались по равнине, солдаты смеялись, поглядывая на кипящие котлы. Часа через полтора все было сварено и съедено. Мы отправились дальше как ни в чем не бывало; крестьяне смотрели нам вслед: мы разорили их лет на двадцать вперед.

Помнится, когда мы вышли из деревни, слева тянулась длинная цепь лесистых гор; на склоне одной из них высился старинный замок, и Марк Дивес, занимавшийся со своим отцом контрабандой в этих местах — между Форбахом и Майнцем, сказал, что это Нейштадт.

Шли мы не большой дорогой, а проселками, где было очень трудно продвигаться, особенно пушкам и обозам; приходилось руками подталкивать колеса; иной раз шестерки, а то и семерки лошадей с трудом вытаскивали пушки из ухабов.

Часам к одиннадцати, справа, ближе к Рейну, показалась длинная вереница солдат, в большинстве — кавалеристов, которые двигались в том же направлении, что и мы; сначала мы решили, что это неприятель, но вскоре узнали, что еще две колонны патриотов вышли нам на подмогу: одна шла через Вайнгартен, а другая — вдоль Рейна, через Гермерсгейм. Дальше обе эти дороги сходились.

Не успели мы заметить колонну, как многие мои товарищи обнаружили за излучиной Рейна колокольни какого-то города; они остановились и, показывая на него пальцем, закричали:

— Смотри-ка! Вот они — склады! Вот они... Теперь они наши!

И, несмотря на усталость после долгого перехода, в воздух полетели шапки, все ликовали. Я тогда был в роте гренадер, и как теперь вижу: сорвал с головы свою высокую шапку с красным султаном и пу ею размахивать. Радость наша была несказанна. Обоз подтянулся: сразу за пушками следовали зарядные ящики и повозки с пожитками; лошади и те, казалось, почуяли близость складов, — возможно, потому, что возницы хвестали их с большим рвением.

Второй колонной командовал Нейвингер, бывший офицер, полгода назад вновь вступивший в армию волонтером, а теперь произведенный республикой в бригадные генералы. Мы почти одновременно вышли на большую дорогу из Вормса в Шпейер, которая спускается прямо к Рейну. И тут в тысяче — тысяче двухстах шагах вправо мы увидели колокольни и даже дома Шпейера: весь город с его древними полуразрушенными крепостными стенами предстал перед нами как на ладони, а позади него — река, усеянная лодками и судами.

Как только мы увидели город, обе колонны сразу остановились и заняли «Марсельезу». Нейвингер, Ушар, Кюстин — все были местные, они и должны были вести нас в бой. Нейвингер, уроженец Пфальцбурга, сразу направился к нашему командиру Мелье, чтобы с ним поздороваться, а когда проезжал на лошади мимо нас, крикнул:

— Ребята на Саарбургского дистрикта, смотрите у меня, не оплошайте!

И засмеялся. Мы гаркнули ему в ответ:

— Да здравствует республика! Да здравствует свобода!

В этот момент мы получили приказ идти на Шпейер и вступить в бой.

Противника нигде не было видно, как вдруг правее города, за живыми изгородами и пижонскими садовыми оградами, что подступали к самым крепостным стенам, мы заметили множество белых мундиров. Глаза у меня были тогда зоркие — ведь мне едва минуло двадцать лет, — и, несмотря на дальность, я сразу распознал, что австрияки устанавливают орудия за земляными насыпями, которые они только что соорудили. При въезде в город, между двумя старыми башнями, как раз где кончалась наша дорога,

я тоже обнаружил уйму народу: там были и мужчины и женщины — должно быть, горожане, которые пришли посмотреть, что происходит. Но они недолго там простояли: как мы стали подходить ближе, они кинулись к старинным воротам и исчезли в городе.

Времени было, наверное, часа два; погода прояснилась, мы продвигались в боевом строю прямо по полям; каждому батальону было придано по две небольшие восьмидюймовые пушки и по шестнадцать капонпров, чтобы их обслуживать; шли мы ускоренным шагом, с ружьем на плече, еле вытаскивая ноги из грязи. С флангов нас прикрывала кавалерия, драгуны, стрелки и гусары, а вокруг разливался вышедший из берегов Рейн, — изгороди, деревья, небольшие холмики торчали из воды. Стояла тишина, лишь гулко звучал размеренный шаг эскадронов и батальонов. Шагаем мы себе, задравши нос и поглядывая на австрийков, как вдруг на косогоре показалась линия белых дымков, со страшным свистом пролетели над нами ядра, а секунды через две, точно удар грома, раздался взрыв. Никогда в жизни не слышал я ничего подобного.

Офицеры наши забегали перед фронтом, закричали: — Стой!.. Стой!.. К бою готовьсь!..

Второй егерский и семнадцатый драгунский двинулись вправо, в обход холма, но Рейн там разлился, насколько хватал глаз, он казался огромным зеркалом, и, чтоб объехать его, надо было сделать большой крюк.

Австрийцы продолжали вести огонь. Меня же разбирало любопытство — я смотрел во все глаза; на дороге остановился Кюстин в окружении своего штаба, отдал приказания, и офицеры вихрем полетели во все концы, под скакали и к нам, слышим:

— Орудия вперед!

А стрелки и драгуны к тому времени уже далеко уехали и едва виднелись на краю воды.

Выстроили мы наши восьмидюймовые пушки и четыре гаубицы в одну линию позади небольшого пригорка, и из-за этого прикрытия начали пальбу — ядра и снаряды тотчас полетели в сторону холма; но у тех, других, тоже имелись гаубицы, и вот тут-то я впервые услышал, как свистят гаубичные гранаты — нежно так, будто итахи; никто из нас еще не понимал, что это за свист, — мы ведь знали только, как грохочут наши пушки, и, когда перед



самым нашим посом земля взлетела вдруг вверх и образовалась воронка, мы решили, что там было заминировано.

Грохот стоял минут двадцать, потом по всему нашему фронту прокатился крик: «Вперед! Вперед!» В ту же минуту барабаны забили «па приступ!», и к небу вознеслась «Марсельеза». Все разом двинулись вперед, по мы могли бы и не двигаться, ибо враг, вместо того чтобы дожидаться нас, кинулся паутек, к городу. Мы видели, как они улепетывали, прячась за изгородями и каменными оградами, перерезавшими холм, а когда мы взобрались по откосу, то заметили семнадцатый драгунский, который поднимался с другой стороны, гоня перед собой пленных австрийков, — их оказалось четыреста человек.

Все остальные — тысячи три или четыре — укрылись в Шпейере и с высоты крепостных стен открыли по нашим огонь.

До сих пор все шло удачно: хоть противник и палил всюю, убитых у нас было немного, но теперь предстояло настоящее сражение.

Три батальона бретонцев и зап выстроились под стенами — такими же древними, как и виссенбургские. Прямо перед нами находились ворота, а перед воротами — подъемный мост, но он оказался таким тяжелым и так заржавел, что даже все караульные, ухватившись за цепи, не сумели его поднять. Мы стреляли по этим караульным, а те, что стояли на стенах, стреляли по нас, и многие из наших уже полегли; тут вдруг появился Нейвишгер, да как рывкнет:

— Вперед, горцы! Вперед!..

И мы бегом кинулись па приступ. Мост был наполовину поднят и стоял почти отвесно, но тут он со страшным грохотом унал па опорные столбы, и вся наша гренадерская рота во главе с Мелье ринулась под своды. На нашу беду, под сводами были еще одни ворота из огромных бревен, перекрещенных дубовыми брусьями, которые скреплены были болтами величиною с человеческую голову. С высоты башен, помещавшихся справа и слева, австрийцы обстреливали мост позади нас. Бретонцы, па которых приходился весь этот огонь, не в силах были на него ответить, направили па нас сзади и, точно волки, выли: «Вперед!» Они стремились поскорее укрыться под своды и так теснили нас, что я подумал: тут нам и конец, тем более что в воротах были щели и австрийцы



стреляли в упор. У многих моих товарищей на всю жизнь остались с тех пор следы дроби на лице.

Можете себе представить, какой стоит грохот под старыми сводами, когда идет ружейная пальба в каких-нибудь четырех шагах от тебя; под ногами — раненые, на которых никто не обращает внимания; дым, крошечная тьма, прорезаемая лишь вспышками пламени; проклятья и крики: «Пушки! Давайте сюда пушки!» А тут еще вдруг бретовцы отступили, сбросав на мосту своих мертвых и раненых!

Что делать? Как отступить, когда со стен по мосту падает такой огонь?

Я подумал: «Ну, пропали!» — как вдруг смотрю: возвращаются бретовцы, а над ними словно плывет Нейвингер на коне. Они же, освобождая для него место, кричат: — Расступись!.. Расступись!..

Тут пальба стала еще пуще.

Но у бретонцев на этот раз были топоры. Надо было послушать, какой поднялся грохот, когда они стали рубить ворота. Теперь уже дым стоял такой, что соседа не было видно; гремели ружейные выстрелы, летели дубовые щепки, кричали раненые, глухо стошали тяжелые ворота. Я поднял чей-то окровавленный топор и тоже принялся рубить. Я размахивал им и кричал вместе со всеми:

— Умрем или победим!..

Пот заливал мне лицо. После каждого залпа, при выныжке пламени, я видел вокруг бледные от гнева лица моих товарищей. Старые ворота уже давно бы развалились, если бы не железная оковка, — они скрипели, но не рушились. По счастью, дверца посредине ворот поддалась, и пятеро или шестеро наших гренадер, пригнувшись, прошли в нее. Австрийцы отступили, и вся наша рота вошла в эту дверцу, а следом за нами — бретонцы.

Мы считали, что теперь нам осталось только отодвинуть засовы, распахнуть тяжелые ворота — и паша взяла, но бывает же незадача! В ста шагах от нас, по другую сторону рва, перекрытого мостом, находились вторые ворота, не менее крепкие, чем первые, — мы овладели только подступами к городу, главное же было впереди. Тут началось самое страшное: со стен по нас открыли беглый огонь, и мы уж наверняка легли бы здесь все до единого, если бы не подошел Кюстин с двумя гаубицами, которые он велел установить под сводами.

Через пять минут вторые ворота разлетелись в щепы, и наш батальон вступил на главную улицу Шнейера среди невероятной пальбы. Австрияки засели в домах; все окна застилал дым — видно было только, как из них высвываются и тотчас исчезают для перезарядки ружья. Менье приказал выкурить их оттуда: надо же было дать возможность нашим войскам вступить в город. И вот пока мы выполняли приказ: высаживали двери, дрались с имперскими ублюдками в коридорах, на лестницах, в комнатах, в закоулках, разили их прикладом и штыком, пока мы преследовали этих несчастных вплоть до чердаков, а они кричали: «Смилуйся, французик!» — колонна наших войск ускоренным маршем входила в город, впереди везли пунки, готовые разнести в щепы любое препятствие.

Через какие-нибудь четверть часа крепость была забита нашими войсками — тут были и кавалерия, и артиллерия, и пехота. Три с половиной тысячи австрийцев во главе со своим командующим Винкельманом сложили оружие, а еще четыре сотни погибли при попытке перебраться вплавь через Рейн. Захватили мы и склады, — за исключением казны противнику ничего больше не удалось переправить за Рейн.

Нужно ли вам рассказывать, каково было наше ликование после этой первой победы, с какой радостью я ощущал себя и думал: «А ведь я из этой передраги выбрался целехонек! Цел и невредим!» А до чего же было приятно послать добрую весточку Шовелю, Маргарите, отцу! Да, приятно было сознавать, что ты выжил.

Помню, построились мы на большой площади в каре — батальоны, эскадроны, полки; на середину выехал Кюстин и обратился к нам с речью: поблагодарил нас, похвалил. Голос у него был громкий, но вокруг стоял такой шум, что ничего не было слышно. Правда, потом капитаны повторили его слова, отметили — каждый свою роту — за то, что мы не кинулись тащить все и грабить, как это бывает, когда город берет с бою. Только зря они нам это сказали: до сих пор ни у кого и в мыслях такого не было, а теперь многие смекнули, что на войне можно вести себя иначе, и стали жалеть, что не воспользовались случаем.

Словом, так мы овладели Шпейером. Это было наше первое сражение, и батальон наш потерял в нем сорок два человека. А теперь я расскажу о другом.

Комиссары-распорядители обложили налогом епископа и каноников; горожане — и попроще и побогаче — братались с нами, и наши стали уже поговаривать о том, чтобы идти на Вормс, где склады вроде были еще больше и богаче, чем в Шпейере, когда случилось то, чего никто не ожидал.

На другой день после нашего вступления в город, часов в шесть утра, шел я по улице, вдруг слышу: забили сбор. «Напали на нас!» — подумал я, бросился к казарму, а батальон наш уже ушел. Я взбежал по лестнице, схватил ружье, патронташ и вихрем слетел вниз. Бегу и вижу: из церквей, из лавок выскакивают гренадеры и волонтеры, нагруженные свертками, а из домов выскаки-

вают жители с криком: «Грабят!» Словом, началось мародерство.

А на плацу продолжали бить сбор. Я прибавил шаг, вдруг вижу: на маленькой улочке, возле провиантского склада стоит повозка маркитантки — двухколесная, с серым ларусиновым верхом, запряженная лошадкой с длинной гривой. На передке стоит высокая худая женщина в широкой кофте и красной юбке — светлые волосы стянуты узлом на затылке — и принимает от волоптера, прямо из окна, бочонки и ящики со всякого рода снедью. Она совала все это внутрь повозки и очень торопилась, как торопится человек, занятый дурным делом. Около склада находилась сторожевая будка, но в ней никого не было: часовой, видно, вместе со своими дружками трудился где-нибудь по соседству — в церкви или в какой-нибудь лавке.

Увидев, что грабят склады, которые мы всего два дня тому назад захватили с таким трудом, я от возмущения даже остановился. Потом направился к женщине — и что же я вижу? Лизбета! Моя сестра Лизбета, с которой мы не виделись с тех пор, как она уехала в Васселон в 1785 году.

— Ты что тут делаешь! — крикнул я.

Она обернулась — щеки пылают, глаза блестят от алчности.

— Смотри-ка! — говорит. — Никкак, это Мпшель! Ты что же, волоптер?

— Да. Но ты-то что делаешь, несчастная?

— Ах, это? — говорит она. — Так, пустяки.

В эту минуту волоптер вышел из склада и закрыл за собой дверь.

Я увидел, что он испугался меня.

— Мы это отвезем на главную квартиру, — поспешил сказать он. — Все-таки хоть что-то спасем от грабежа.

Он был южанин, смуглый, приземистый, с черными усами и бакенбардами. Услышав его слова, Лизбета как расхохочется.

— Это же мой брат!.. — говорит. — Мой брат!..

— А, так вы, значит, брат моей жены? — говорит он. — Давай руку, свояк!

Оба рассмеялись и во всю мочь погнались свою лошадку, поглядывая, не следует ли за ними кто.

Лизбета изво всех сил нахлестывала лошадь, а муженек ее толгал ридом.

— Генерал ведь реквизирует припасы!.. — бурчал он себе под нос. — Почему же мы не можем?

— Но!.. Но!

Меня глубоко возмутил этот наглый грабеж, но, глядя на мужа Лизбеты, я понял, что, какие слова ему ни скажи, толку все равно не будет: слишком они хорошо спелись. Поэтому я промолчал. Они свернули в улочку, которая вела к набережной, а я продолжал свой путь к площади. Лизбета обернулась и крикнула мне:

— Приходи нас проведать в казарму третьего батальона парижских федератов!

Можете себе представить, какое было у меня настроение, особенно когда я добрался до площади и увидел нашего генерала в окружении офицеров. Ну и гневался же он! Бретонский полк по его приказанию задержал капитана и двух сержантов-волонтеров, а с ними десяток солдат.

Они стояли посреди площади в разорванных мундирах. С капитана и сержантов были сорваны эполеты — их разжаловали. А в глубине площади, возле церкви, военный совет из представителей их же батальона обсуждал, как с ними быть; генерал же все кричал и возмущался.

Минут через десять совет вынес приговор. Арестованных под усиленным конвоем повели к укреплениям. Мы смотрели им вслед, и мороз подирал по коже: ведь их приговорили к смерти! Через несколько минут мы услышали залп.

Тогда генерал сказал, что честь армии спасена. Полки и батальоны разошлись по своим казармам, и грабеж прекратился.

А у меня на сердце лежал тяжкий груз. Да, очень и был опечален. И все же хорошо, что моя сестра в Шпейере и что она замужем, хоть и за мерзавцем — но что тут поделаешь? Словом, в тот вечер я отправился в маркизтантскую третьему батальона парижских федератов. Прошло семь лет с тех пор, как Лизбета взобралась по откосу с узелком в руке и отправилась к Туссенам в Васселон. Теперь она превратилась в высокую сильную женщину, с живыми глазами и смелым, как у нашей матушки, выражением лица.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ .

Третий батальон, составленный из представителей вооруженных секций Парижа, был расквартирован у пристани. Подойдя к Рейну, я увидел огромные навесы, под которыми раньше хранили товары, прежде чем погрузить их на корабли, а теперь это была казарма федератов. Под этими навесами, с двух сторон затянутыми толстым брезентом, стояли скамьи, стулья и лежала солома, на которой можно было вволю отдохнуть. Тут пели, или играли в карты — все, и старые и молодые, и в красных колпаках, и в треуголках; и тут я понял: правильно говорил Шовель, что народ Парижа везде живет одинаково — так, как живет в своем древнем городе, нимало не заботясь об остальном. Люди это были невысокие, сухопарые, узкоплечие, бледные, дерзкие и бесцеремонные; из таких никогда не выйдет хороших солдат: они любят порассуждать, всех и вся выеживают, особенно начальство. Я сразу понял, что с парижскими федератами нельзя валяничать — мигом поставят на место. Говорили они все друг другу «ты», без различия званий, начиная с командира и кончая простым волонтером.

Только я вошел под навес, какой-то заморыш, без кровинки в лице, не поймешь, в чем душа держится, припался издеваться падо мной и кукарекать; но я с самым невинным видом подошел к его столу и спросил, где мне найти гражданку Лизбету, маркизантку третьего парижского батальона. Какой-то старик в красном колпаке, с огромными бакенбардами, игравший, поныхивая трубкой, в карты, осведомился, не поворачивая головы:

— А чего тебе от нее надо, от этой гражданки?

— Это моя сестра, — сказал я.

Тогда все сидевшие за столом повернулись и уставились на меня, а заморыш ткнул пальцем в парусиновый полог в дальнем углу и сказал:

— Постучи вои в ту дверь.

Под «дверью» подразумевался кусок старой парусины, натянутый таким образом, чтобы ветер с Рейна не задувал внутрь. Подойдя поближе, я увидел сквозь дыры яркий огонь. За парусиной оказалось помещение поменьше, где, собственно, и была маркизантская. Человек двадцать или тридцать занимались стрельбой: одни снимали

пену с похлебки, другие перебирали и мыли салат, третьи резали овощи или циннали птицу. В углу слева, возле огромной бочки, стояла моя сестра Лиизета, в просторной кофте и красном пледковом платке, и наполняла бутылки. Работала она весело, а ее муж, сержант Мареско, сидел на студуке, заложив ногу на ногу, и, опершись локтем о колени, спокойно покуривал трубку, глядя, как другие трудятся. Вид у него был такой, точно он тут хозяин.

Лиизета, завидев меня, крикнула:

— Это ты, Мишель! Ты вовремя пришел.. Ну и устроим же мы пир!

Я сразу смекнул, откуда у нее все эта снесь, но она обхватила меня за шею своими крепкими руками, принялась расспрашивать про отца и про мать, про братьев, про сестер, и я расчувствовался. Она отобрала у меня саблю и треуголку и положила их на ящик; муж ее подошел со мной поздороваться, понимающе подмигнул мне и усмехнулся. А морда у самого как у лисы.

— Все в порядке, свояк? — спросил он. — Рад тебя видеть.

Подозвали ко мне и остальные — стали похлопывать по плечу, кто называл меня «гражданин свояк», кто — «братец Мишель», а кто — «ваш горец-патриот», точно знали меня десять лет.

На огне стояли огромные котлы, и вкусно пахло мясом, а когда через часок мы уселись за стол, нас ждал такой пир, какой разве что аристократы устраивали. Никогда в жизни не ел я таких яств, — каких только тут не было окороков и колбас (мы ведь стояли неподалеку от Майнца!) — и не пил такого замечательного вина, не иначе как из епископских или монастырских запасов!.. И хотя я знал, что все это награбленное, но, видя, как ликуют и радуются федераты, развеселился и я.

«Ба! — подумал я. — Вино из бочонков все равно уже разлитое!.. И если не я его выпью, так выпьют другие!.. Лучшее уж я им непользуюсь!..»

В тот вечер я узнал, какие парижане остроусловы: они вышучивали и высмеивали королей, принцев и епископов и распевали такие песни, что не повторить, а им хоть бы что. Какой-то дюжий одноглазый детина взял вдруг скрипку и стал петь любовные песенки. Голос у него был сильный, надтреснутый, но уж больно хорошо он пел: закинул голову, глаза с отчаянной тоской



устремил вверх, — право, у меня от его пения даже сердце захолонуло. Он пел про родину, про возлюбленную, про старика отца; я почувствовал, как вдруг сильно побледнел, поднялся и вышел, чтоб никто не видел моего волнения, ибо вспомнилась мне тут Маргарита. Когда я минуты через две вернулся, одноглазый



детина уже пустился в пляс — он притоптывал, строил рожи и то одну ноздрю затыкал, то другую, точно на кларнете играл. Вот они какие, парижане!

Лизбету все федераты очень уважали, со вниманием слушали ее глупости, а потом хохотали:

— Ха! Ха! Ха! Браво, гражданка!.. Хи! Хи! Хи!

А и в самом деле, женщина она была видная, ничего не скажешь: высокая, смелая, за словом в карман не полезет, — настоящая маркитантка, при случае и за ружье может взяться. Короче говоря, вылитая наша матушка, только ростом повыше да покренче. И все же, глядя на то, с каким восхищением относятся к ней федераты, я подумал:

«Да, трудно вам и представить себе сейчас, что было время, когда она босая — и в сушь и в снег — бежала по дороге за какой-нибудь каретой и кричала: «Подайте хоть лиар, милостивые господа, подайте, Христа ради!»

А ведь она ничуть не хуже многих других, которые раскатывают в каретах, с этими дылдами ливрейными лакеями на занятках. Так что не стоит вспоминать, кто с чего начал.

Парижане пили за Друга народа — гражданин Марат\* был для них все равно что бог! А Дантон, Робеспьер\*, Демулен, Колло-д'Эрбуа\*, Кутов\*, Лежандр\* — эти уже шли потом. Послушать кривого верзилу, так у одного выдержки не хватает, у другого — храбрости, у третьего — смекалки, и вообще это не государственные

мужи, а вот у гражданина Марата, по их словам, — всё есть. Все в один голос говорили:

— Пока у нас есть Марат, будет и революция! А умрет Марат — все пропало: остальные растеряются, и жирондисты обойдут их как миленьких!

Федераты возмущались Кюстином за то, что он велел расстрелять мародеров, и повсюду носили его. Одноглазый верзила, в трехметровой треуголке с кокардой величиною с колесо от телеги, предлагал написать Другу народа и рассказать об этом безобразии; все вокруг поддакивали: нечего, мол, церемониться с этими генералами из аристократов.

А потом все пустились в пляс. Мы же с Мареско остались за столом, и, пока они веселились, он рассказал мне о том, как они поженились с Лизбетой: познакомились они, еще когда она служила у графа Данибаха, майора Эльзасского полка, а Мареско был в том полку трубачом. Лизбета ему сразу приглянулась своей живостью, опрятностью, бережливостью, своими необыкновенными новарскими способностями, и вот на следующий год, отслужив в армии, он вернулся в Париж, женился на ней, и они открыли кабачок на улице Дофин; но как началась война, а с нею смута, коммерция совсем захирела; он продал свое заведение и поступил маркитантом в третий батальон федератов. Вот тут, слава богу, дела их поправились.

Я заинтересовался, был ли он в Париже в сентябре, когда там произошла резня. Оказывается, он все видел своими глазами и подробно мне рассказал. Началось это в воскресенье, 2 сентября, часа в три пополудни, когда по улице Дофин вели арестованных в тюрьму при Аббатство. И вот один из этих арестованных ударил конвоира. Тут и пошло. Народ разделился на две части: одни — в большинстве своем федераты с юга — кинулись к монастырю кармелитов, близ Люксембургского дворца, где сидели под замком неприсягнувшие священники и епископы, подозреваемые в заговоре, а другая часть, более многочисленная, двинулась на штурм тюрьмы, кроша по дороге всех, кто попался под руку.

Однако часов около пяти Генеральный совет Коммуны прислал на место комиссаров и предложил создать трибунал для суда над заключенными — нельзя же умерщвлять всех без разбору, — и резня прекратилась. Народ выбрал двенадцать судей из самых что ни на есть благо-

надежных жителей квартала; гражданка Майяра \* сделала председателем; кроме того, назначили сорок одного карателя для приведения приговоров в исполнение. После этого судьи уселись за стол в тюремной караульной, перед председателем положили арестантскую книгу, на темном дворе, освещенном факелами, выстроились каратели, и часов в десять вечера начались казни. Председатель зачитывал фамилию заключенного и за что он взят под стражу; федераты приподили его; начинался допрос; заключенный защищался; если его оправдывали, трое федератов выводили его из караульной с криком: «Шанки долой! Он невиновен!» Народ целовал оправданного, и его под охраной провожали до самого дома. Если же человека признавали виновным, председатель говорил: «В яму!» Несчастный думал, что его просто переводят в карцер; федераты выталкивали его во двор, повторяя: «В яму!» — и каратели с саблями, пиками и штыками обрушивались на него.

Были осужденные, которые пытались защищаться; другие просили пощады; третьи, втянув в плечи голову, старались как-то прикрыть ее руками и, громко взывая о помощи, истекая кровью, бросались бежать, — их догоняли и приканчивали. Убедившись, что осужденный мертв, каратели восклицали: «Да здравствует нация!» — и возвращались к дверям в караульную, откуда должен был появиться новый узник. Время от времени каратели пропусекали стаканчик вина, а когда кому-нибудь из них жена приносила суп, он отдавал приятелю саблю, и тот занимая его место у дверей в караульную.

Так было почти во всех тюрьмах, кроме тех, где содержали женщин дурного поведения и швейцарцев, которых перебили без всякого суда. Со священниками, сидевшими в монастыре кармелитов, тоже расправились без суда и следствия (федераты с юга, они прикончили их под крики: «Вот вам за Варфоломеевскую ночь!») \* А в тюрьме Бисетр узники забаррикадировались, так что пришлось подкатить пушки и брать тюрьму штурмом.

Мареско рассказывал мне про эти мерзости, продолжавшиеся целых три дня, с благодушным видом, спокойно покуривая трубку: он находил это вполне естественным. А я, хоть и немало выпил доброго вина, весь похолодел, и сердце у меня сжалось. Наконец я не выдержал:

— До чего же мерзко, свояк, то, что вы мне рассказываете! Эта резня продолжалась три дня, и никто не попытался ее прекратить! Что ни говорите, а судить людей без свидетелей, без защитников, без всяких доказательств, кроме записи в арестантской книге, — это же ужасно!.. О чем думала Коммуна, национальная гвардия, министры и Законодательное собрание?

Мареско явно удивили мои слова, и несколько секунд он молча смотрел на меня своими черными глазками.

— А ни о чем они не думали, — ответил наконец он, пожав плечами, — просто не вмешивались — вот и все! Что так оно будет, все знали. Марат предсказывал это в своей газете, и остановить народ никто бы не мог.

Во главе трибунала в тюрьме Ла-Форе был Эбер; в Аббатстве — Бийо-Варени; \* заместитель прокурора Коммуны поблагодарил карателей от имени родины. Коммуна заранее выпустила из тюрем всех уголовников, это она платила карателям — каждый из них получал по шесть ливров в день. Что же до национальной гвардии, то она в это дело не вмешивалась: я сам видел, как национальные гвардейцы несли караул у ворот тюрем, где убивали людей. Национальное собрание тоже палец о палец не ударило: оно только направило 2 сентября к вечеру трех комиссаров в Аббатство, призывая народ положиться на правосудие. Их выслушали; они уехали, а резня продолжалась, и больше ни они, ни Национальное законодательное собрание слова не вымолвили. Если бы не Дантон, все эти храбрецы из Национального собрания, которые так раскричались сейчас, бежали бы за Луару во главе со своим министром Роланом \*, а Париж отдали бы герцогу Брауншвейгскому! Везде и всюду — предательство. Многие члены Законодательного собрания сначала сделали вид, будто они приветствуют революцию Десятого августа, а потом всеми силами старались ее уничтожить: трибунал, который создали для суда над заговорщиками, оправдывал самых отъявленных мерзавцев; эмигранты, пруссаки и австрийцы наводнили Шампань; они отбирали имущество и расплачивались бонами королевского казначейства, а патриотов, которые оказывали им сопротивление, они расстреливали; предатель Лавернь сдал им Лонгви; другие предатели готовили сдачу Вердена, а это значило открыть им путь на Париж. Аристократы, сидевшие в тюрьмах, знали об этом; они попивали

вино и радовались. «Терпение, — говорили они. — Придет и наш черед... Герцог Брауншвейгский недалеко!» Наемные бандиты, которым платили за то, чтобы они нагоняли страх на жителей, бегали по улицам с криками: «Закрывайте лавки, пруссаки и австрийцы стоят у городских ворот!» или «Врестонцы идут!» То и дело трубили сбор, барабан бил тревогу, гудел набат. Надо было кончать с предателями, показать им, что раз они ни перед чем не останавливаются и предают родину, то и защитники ее ни перед чем не остановятся. Надо было их запугать! Господи, я не говорю, конечно, что при этом не погибали безвинные, — очень даже возможно. Но если бы пруссаки выиграли битву при Вальми, а не проиграли ее, если бы они вошли в Париж вместе с эмигрантами, думаешь, они стали бы судить патриотов? Нет! Они бы расстреляли всех без разбора, как объявил об этом герцог Брауншвейгский в своем воззвании, и мы увидели бы такую резню, перед которой сентябрьская показалась бы сущим пустяком. Ведь то, что пруссаки и эмигранты хотели сделать со всем народом, чтобы вернуть старый режим и привилегии дворянства, народ сделал лишь с тысячно или тысячно двумястами заговорщиков, чтобы спасти революцию и права человека! Если ты этого не понимаешь, значит, ты плохой сакюлот!

Мареско сказал правду: я был плохой сакюлот. Чем бы он ни объяснял резню, она мне претит, мне было стыдно за нашу республику. Палач — он всегда палач, и, что бы он ни носил на голове — корону, епископскую тиару или каску, для меня все едино.

Так или иначе, в заключение можно сказать, что роялистам тоже есть за что серьезно себя упрекнуть: не должны они были звать на помощь чужеземцев, надо было все решать между собой. Тогда не были бы сданы Лонгви и Верден, не было бы и резни. Главная вина лежит на предателях и на их герцоге Брауншвейгском, который грозился сжечь Париж и расстрелять всех патриотов. Вот она — правда.

В тот вечер и поздно вернулся к себе в казарму.

На другой день, часа в три, когда я нес караул у Майгеймских ворот, из города потянулись войска: четыре батальона гренадер, батальон пеших стрелков, батальон волонтеров, полк конных стрелков и артиллерия. Прошел слух, будто австрийский генерал Эрбах — тот самый, что

оставил всего четыре тысячи человек для охраны складов в Шпейере, — форсированным маршем идет на выручку Вормсу и Майнцу во главе корпуса в двенадцать тысяч человек. Но на другой день мы узнали, что он может уже не торопиться. Наши войска без всякого сопротивления вошли в Ворме; жители встретили их криками: «Да здравствует нация!» — а власти наценили трехцветные кокарды.

Но наш главный комиссар-распорядитель гражданши Пьер Блашпар все же наложил на город контрибуцию в миллион двести тысяч золотых эку — половину должны были уплатить жители за то, что в свое время встречали эмигрантов с белыми кокардами и криками: «Да здравствует король!» — а половину — епископ и каноники, которые с радостью отравили бы всех нас в преисподнюю. Мы уже наложили контрибуцию в четыреста тысяч ливров на шпейерский капитул да еще сто тридцать тысяч ливров на монахов, которые вот уже два года занимались изготовлением фальшивых ассигнатов. Кроме того, целые обозы с мукой, рожью, овсом, сеном и всем необходимым для биваков, а также с одеждой — сапогами, рубашками и штанами — день и ночь двигались к Ландау; у нас только и заботы было — реквизировать у крестьян лошадей да повозки, грузить их ящиками, тюками и бочонками и отправлять в путь под охраной небольшого отряда. Словом, в немецких газетах и эмигрантских листках ничего не было прибавлено насчет того, сколько всякого добра лежало у них на складах. Что правда, то правда.

В Шпейере Рейнская армия и была одета, снаряжена и вооружена. Пронесходило это под наблюдением военных комиссаров. Они выдали каждому батальону палатку на шестнадцать человек. Кроме того, квартирмейстер, офицеры штаба, рабочие, караульные и дозорные, капитаны, маркизанти — все получили по хорошей палатке, с шестами, перекладинами и кольщиками. Лейтенантам выдали по палатке на двоих. Каждой палатке на шестнадцать человек было дано по два чугушка, по два котла, по два больших бидона, по две кирки, по две лопаты, два топора и два кривых садовых ножа для заготовки хвороста. Вот и все, с чем нам пришлось вести три труднейших кампании.

У кавалеристов было по палатке на восемь человек и все, что требуется всадникам: веревки и колья, мешки

дли сена, — словом, все. Ну и конечно, нам особенно было приятно, что все это мы сами себе добыли, а республике это не стоило ни одного денье.

А вот если бы дали разграбить и растащить склады, несколько мерзавцев обогатились бы, защитники же свободы сдохли бы с голоду. Очень плохо, что генералы, сменившие Кюстина, не последовали его примеру: солдаты и волонтеры не страдали бы так, а грабители не купались бы потом в роскоши — и сами они, и их дети, и потомки. До чего же это отвратительно, когда знаешь, откуда взялось их добро. Так или иначе, даже в самые замечательные времена бывают вещи, достойные порицания: одни жертвуют собой ради родины, а другие только и думают, как бы пахватать побольше да поживиться за счет тех, кого они считают дураками, потому что те честны и добросердечны.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Итак, побывав на складах Шнейера и Вормса, мы приободрились: теперь мы были одеты, вооружены, экипированы, как подобает солдатам; теперь мы могли воевать. Многие были бы не прочь очутиться на нашем месте! Я уж не говорю о пруссаках, отступавших по вязким дорогам Шампани: негодян до того объелись виноградом, что у всех была дизентерия; они побросали пушки, фуры с амуницией, личные вещи и бежали через Верден и Лонгви, даже не останавливаясь, без единого выстрела. Это был разгром деспотизма!

Наши крестьяне уничтожали несчастных десятками — за живыми изгородями, на дорогах, у лесных опушек; все колодцы в деревнях были забиты трунами, — в этом истреблении врагов принимал участие весь народ, даже женщины! Но Марат считал, что и этого мало: он упрекал Дюмуре за то, что тот оставил врагу лазейку для бегства; Марату хотелось бы взять в плен герцога Брауншвейгского и Фридриха-Вильгельма и повесить их, чтобы другим королям неповадно было к нам лезть. И он был прав, потому как потом выяснилось, что у Дюмуре был тайный сговор с королем Пруссии, и он не хотел причинять ему вреда.

Так или иначе, но эта полуторамесячная кампания проходила совсем недурно: пруссаки бежали; австрийцы и эмигранты, засевшие во Фландрии с целью бомбардировать Лилль, сняли с города осаду; генерал Авсельм на юге вторгся в графство Ниццу; восставших было вандейцев удалось на время утихомирить. Все шло хорошо, каждый день бюллетень Конвента приносил нам добрые вести. Карно и Приер ввели у нас хороший обычай — распространять среди солдат бюллетень, а через несколько месяцев — в июне 1793 года — такой порядок был введен во всех остальных армиях республики.

Каждый солдат знал теперь, за что он воюет; он знал, что творится в Париже и о чем там говорят, потому и я дрались понимал, за что сражаюсь, и могу рассказать вам сейчас мою историю. Следовало бы вспомнить об этом декрете Конвента, — а он был забыт, как и многие другие, о которых вспоминают лишь от случая к случаю, — и таким же образом распространять бюллетени Национального собрания: они повседневно помогали бы тысячам наших сыновей, и те, по крайней мере, хоть знали бы, за что их посылают умирать во все концы света.

Через несколько дней после взятия Шпейера, утром 17 октября 1792 года, мы получили приказ выступить — уложили ранцы, застегнули гетры и без единого слова вышли через Мангеймские ворота в направлении Вормса. Вся остальная армия, находившаяся в Шпейере и в окрестностях, следовала за нами. Дождя не было, но в воздухе чувствовалась сырость — местность окутывал наползавший с Рейна туман.

Выйдя из города, мы свернули влево, на дорогу, ведущую через лес и вересковые пустоши, и шесть часов двигались в тумане среди буков, дубов, елей и берез.

Порой нам попадались остатки старых стен, почерневшие от дыма остовы древних замков, без крыши, без окон и дверей, — словом, развалины.

— Сто лет назад этой дорогой шел маршал Тюренн \*, — заметил дядюшка Сом. — За одну ночь по приказу Людовика Четырнадцатого он сжег четыреста городов, деревень, деревень, местечек и замков. Вот как воевали Бурбоны!

Могу только сказать, что когда мы вышли из лесов, расстилающихся по ту сторону Шпейера, и зашагали по



дороге, что проходит через Дюркгейм, Грюнштадт, Оберфлерсгейм и дальше, то помимо этих разрушенных жилищ увидели еще и полуразвалившиеся лепрозории, куда свозили бедняков умирать, и виселицы, какие до революции стояли и у нас. По справедливости немцы должны признать и запомнить на века, что это мы избавили их от феодалов, от лепрозориев и виселиц. Если бы не мы, они до сих пор страдали бы от этих бед: до того они ко всему этому привыкли, что разум им приходилось палкой вбивать. Так ныне нищие считают, что без швей ипочем не обойтись, и очень удивляются, когда им дают новую рубаху и чистую одежду.

Но не будем отвлекаться от нашего рассказа.

Выбравшись из густых лесов, мы очутились в стране лучших в мире виноградников, — куда ни кинешь взор, всюду холмы, засаженные виноградом. Немцы — очень трудолюбивый народ, и они так любят хорошее вино, что готовы на собственной спине таскать навоз вверх по крутым склонам; у них для этого даже уступами выбиты ступеньки. Восторг, да и только. Мы попробовали их вина — сухого и крепленого: вино отменное, с тощим ароматом, но пить его много не следует — после двух бутылок можно и под столом очутиться.

Несмотря на войну, неутомимые труженики заканчивали сбор винограда и с корзиной на спине шагали вверх и вниз по своим лесенкам; по временам они останавливались где-нибудь на выступе скалы цвета ржавого железа и смотрели на нас. Мы кричали им: «Да здравствует республика!» А они — и мужчины и женщины — весело отвечали нам и приветственно махали шапкой или рукой. Ах, если бы народы могли сами договориться! Если бы они могли избавиться от негодяев, которые вносят между ними раздор, — у нас был бы рай на земле!

Часа в два наша колонна остановилась в большой деревне пообедать.

В три часа мы уже вышли из селения и часов в девять, когда уже стемнело, вступили в городок Альзей, неподалеку от Майнца. С утра мы сделали шестнадцать лье, и многие уже не держались на ногах.

Никогда я не забуду Альзей. Мы вошли в него через полчаса после нашего авангарда, и улицы уже кипели военными — конные стрелки, гусары, жандармы, полотеры так и шныряли в разных направлениях; по всей

долгие разносились приказы, призывные звуки горла, трубачи трубили сбор, бил барабан.

По счастью, Жан-Батист Сом, Жан Ра, Марк Дивес, я и еще двое или трое наших товарищей попали на построй к хозяину почтовой станции, находившейся при въезде в город. Нам выделили комнаты наверху, выходящие на старый двор, заставленный каретами, и почталь пригласил нас отужинать с ним.

В огромной кухне на нижнем этаже ярко пылал очаг; здесь, конечно, все было иначе, чем у дидюшки Жана и Лачугах-у-Дубняка, ибо это был человек богатый, буржуа, у которого были и слуги, и служанки, и почтальоны, и курьеры. Когда прибыли национальные драгуны, двор наполнился конским тоном, ржаньем и криками — каждому хотелось, чтоб его лошадь стояла в конюшне. Ну, а нас это не волновало: мы спокойно переобулись, сменили гетры и спустились пообсохнуть у очага.

Служанки и даже хозяйские дочки собрались на кухне, чтобы издали поглазеть на наши большущие шляпы, длиннополые шинели, от которых сейчас шел пар, перекрещивающиеся на груди перевязи, — девушкам любопытно было посмотреть на республиканцев, но стоило кому-нибудь из нас повернуть голову и, в свою очередь, взглянуть на красоток, как они со смехом, толкая друг друга, убегали в широкий темный коридор за кухней.

Вскоре появился и сам хозяин. Это был сухощавый мужчина, темноволосый, с карими глазами и крючковатым носом. На нем были высокие сапоги с желтыми отворотами, украшенные шпорами, и короткие кожаные штаны.

— Граждане волонтеры, — обратился он к нам на отличном французском языке, — соблаговолите следовать за мной.

Он привел нас в залу с высоким потолком, где стоял накрытый стол, а над ним висела яркая лампа, но ни жены, ни дочерей хозяина тут не было.

Мы уселись за стол вместе с хозяином, и тот по-отцовски принялся нас потчевать.

В комнату поминутно входили то слуги, то курьеры, то почтальоны и что-то сообщали хозяину. Он отдавал приказания, а сам продолжал резать мясо, подливал нам вина и вообще следил за тем, чтобы мы ни в чем не ощущали недостатка. Беседа шла о нашей кампании, о

действиях пруссаков в Аргове, о революции и тому подобном; наш хозяин, оказавшийся человеком разумным и здравомыслящим, говорил на старомодном французском языке — слушать его было для меня истинным удовольствием.

Многие из наших товарищей очень устали и отправились спать; за столом остались только Жан-Батист Сом, Дивес да я. Было, наверное, часов одиннадцать, все шумы в городе и в окрестностях смолкли, и лишь оклики: «Стой! Кто идет?», доносившиеся с далеких холмов, нарушали возвращающуюся тишину. Сом раскурил трубку и мирно попыхивал ею. Хозяин вновь наполнил наши стаканы вином.

— Скажите, гражданин, — решился я спросить его, — вы говорите по-французски не хуже нашего. Вы, случайно, не одной с нами национальности?

— Совершенно верно, — сказал он, — я из французов. Мой предок был в числе тех, кого выгнали из страны после отмены Нантского эдикта\*.

Он задумался, а я с умилением смотрел на этого чело­века: мысль, что он одной веры с Маргаритой и такой же француз, как и я, преисполнила меня к нему симпатии. Я рассказал ему, что Шовель, заседавший еще в Учредительном собрании, а ныне член Конвента, избрал меня своим зятем, что дочка его любит меня и что они тоже кальвинисты.

— В таком случае, молодой человек, — сказал он, — могу вас поздравить: вы имеете честь принадлежать к порядочным людям!

И, проникшись к нам доверием, он принялся рассказывать — спокойно, но не без возмущения, — что дед его, Жак Мерлен, жил в Мессене, близ Сервины, когда начались преследования протестантов; у него был там дом, конюшни, земли, и он неповедовал свою перу, никому не причиняя зла, как вдруг Людовик XIV, Король-Солнце, этот развратник, развлекавшийся с распутными женщинами еще при жизни королевы и опозоривший себя не одним скандалом, решил, — так бывает с дурными людьми, когда у них начинается сухотка мозга, — призвать священников, чтоб они отпустили ему грехи, и тогда он во веки веков будет восседать по правую руку от господ.

Но священники, пользуясь его глупостью, заявили, что не дадут ему отпущения грехов до тех пор, пока он

не уничтожит врагов римской церкви. И тогда этот вертопрах без ума и без сердца во искупление своих распутств отдал приказ всех протестантов Франции любимыми путями обратить в католичество. Для этого все было пуцено в ход: детей отрывали от матерей, отцов семейств ссылали на галеры, их имущество конфисковали, их самих подвергали пыткам на колесе, — словом, грабили, жгли, убивали подданных короля, доводя людей до полного отчаяния.

Протестанты, по словам хозяина, решили все вытерпеть, но не переходить в веру такого изверга; и вот сотни тысяч французов, забрав с собой стариков, жен и детей, бежали на чужбину, не заирая на жандармские посты, расставленные на границе, чтобы их задержать; отцы этих семейств, можно сказать, самые честные, самые толковые и самые трудолюбивые мастера и коммерсанты своих провинций, понесли в другие страны французские ремесла и французское умение торговать; и тогда Германия, Англия, Голландия и даже Америка опередили французов в изготовлении тканей, кож и гобеленов, фарфора, стекла, в книгопечатании и во многом другом, из чего складывается богатство нации. Тем временем развратник король продолжал вести войны и швырять деньги на ветер, но, лишившись многих тысяч своих трудолюбивых подданных, которые своей работой и сбережениями покрывали его расходы, довел страну до полного разорения. Недаром в старости этот великий король Людовик XIV, когда он уже стал немощным и гнил в собственном дерьме, однажды воскликнул:

«О господи, за что же ты наказуешь меня? Ведь я так много для тебя сделал!»

Чтобы король — и был таким глупым! Неужели он думал, что создателю, по воле которого и возник мир, нужен такой проходимец! Словом, умер он на гонимце, оставив после себя огромный дефицит, который из-за упадка ремесел и всего хозяйства еще более возрос при Людовике XV и во времена Регентства; это и заставило Людовика XVI созвать нотаблей, а затем Генеральные штаты. С этого и началась наша революция, потом была провозглашена Декларация прав человека и гражданина\* и уничтожены привилегии: отныне всеми благами должен был пользоваться народ, бездельникам же и развратникам

посебили ешь, заставили их жить как все — плодами своего труда.

Вот что поведал вам этот старый француз.

Но больше всего меня потрясло то, что он рассказал вам потом: он рассказал, волнуясь, как однажды вечером к его деду явились королевские драгуны с приказом, чтобы все семейство немедленно перешло в другую веру. Они расположились на ферме; легли прямо в сапожницах со шпорами в супружескую постель; под угрозой плетки заставили хозяев отдать все до последнего су и даже не разрешили матери кормить грудью ребенка, чтобы принудить ее отказаться от своего бога, — словом, довели людей до такого отчаяния, что те ночью бежали в лес, бросив на произвол судьбы старый дом, переходивший от отца к сыну, поля, купленные с таким трудом и полные их потом, — бежали, спасаясь от жандармов, словно травимая собаками стая волков.

Да, все это глубоко меня потрясло. А как потом жили эти несчастные в чужом краю, без хлеба, без денег, без друзей, к которым можно было бы обратиться за помощью! Как людям, привыкшим к достатку, пришлось работать по найму: жена деда и дочка пошли в услужение, а старик вынужден был гнуть спину в такие годы, когда человек уже отработал свое и ему хочется немножко отдохнуть. Сколько горя! И все из-за мерзкого старика, который таким образом надеялся спасти душу!

Наконец, продолжал свой рассказ хозяин, цволю пострадавших и прожив долгое время в нищете, — все имущество их во Франции было продано или роздано мерзавцам в награду за доносы, — дед его и бабка перед смертью все-таки сумели кое-что скопить, а дети их и внуки, учась у родителей трудолюбию, бережливости и честности, снова зажили в довольстве, даже в богатстве и обрели уважение всего края.

— И вы никогда не жалели о том, что не можете назвать себя французом? — спросил я нашего хозяина. — У вас не осталось никаких чувств к вашей бывшей родине? Мы-то ведь вам ничего дурного не сделали: изгнал вас король по совету епископов, народ же в ту пору был до того туп, что надо его жалеть, а не ненавидеть.

— До тех пор, пока Бурбоны правили французской землей, — ответил он мне, — никто из нас не жалел о своей



бывшей родине, но с тех пор, как народ восстал, с тех пор, как он провозгласил права человека и взялся за оружие, чтобы защищать их от всех деспотов, в нас заговорила кровь наших предков, и каждый из нас с гордостью подумал: «А ведь я тоже француз!»

При этих словах он вдруг побледнел и, не желая показывать волнения, прошелся по зале, заложив руки за спину, опустив голову на грудь.

Тут Жан-Батист Сом, все это время внимательно слушавший нашего хозяина, подперев кулаком подбородок, вытряхнул пепел из трубки и сказал:

— Да, это, пожалуй, было похуже сентябрьской резни!.. А ведь тогда отечество не было в опасности, предатели не сдавали наших крепостей, пруссаки не лезли в Шампань, эти несчастные протестанты не устраивали заговоров против своей страны, они спокойно жили себе и ничего не требовали — лишь бы им позволили молиться богу на свой лад. Но уже полночь, пора и на покой: колонна выступает завтра спозаранку.

Мы поднялись из-за стола, и хозяин, зажегши маленькую лампочку, проводил нас в сени, откуда наверх вела лестница, и пожелал нам доброй ночи.

Это запомнилось мне на всю жизнь!.. Кажется, я даже написал тогда об этом Маргарите. Письмо, конечно, не сохранилось, но, думается, я довольно точно сумел передать то, что поведал мне хозяин почтовой станции в Альзее. Если его внуки еще живы, они смогут прочесть, что думал их дед о короле Людовике XIV, и я надеюсь, это доставит им удовольствие.

На другой день ранним утром мы двинулись на Майнц — путь наш лежал через Альбиг, Верштадт, Обер-Ульм и так далее. Туман, в течение двух недель окутывавший Ифальц, начал оседать, и к полудню мы уже шлепали по грязи, под проливным дождем, который не прекращался до вечера. У наших треуголок было одно преимущество перед вынешними киверами — их можно было наклонить таким образом, чтобы вода, как по желобу, стекала вниз, а не лилась вам за шиворот, по черз час-другой поля у них обвисали и вообще дожились на плечи.

В пути мы узнали добрую весть: другой корпус, который вышел накануне из Вормса по дороге, вьющейся вдоль Рейна, захватил Оппенгеймский мост, и, когда часов около трех мы очутились перед Винтергеймским лесом, Нейвингер уже стоял лагерем на Сиденских высотах, правым крылом своим упираясь в Рейн, который образует здесь крутую излучину, огибая Момбахские леса. Майнц был перед нами, на расстоянии двух пушечных выстрелов, но поскольку город расположен на откосе, спускающемся к реке, мы видели лишь угол одного из бастионов, выступ рavelина, несколько виноградников да садики в окрестностях. Винтергеймские и Момбахские леса окружают город, а между этими лесами и городскими стенами пролегают долины, по которым текут речки.

Мы как раз вышли из леса и вступили в одну из этих долин, за которой находится Майнц, когда был получен приказ стать на привал; батальоны, эскадроны и линейные войска разбили латки на опушке; было часа четыре; весь остаток дня и потом всю ночь тянулись к лагерю повозки с папшей поклажей, лушки, фуры с амуницией.

Мы выставили аванпосты и расположились на бивак.

Наш батальон сделал привал в пятистах или шестистах шагах от большой мельницы — оттуда высыпали люди и недоуменно уставились на нас. Вода маленькой речки, вздувшейся от дождя, бурлила под двумя мельничными колесами, а вдаль, в конце долины, виднелся Рейн, по которому ходили пенящие волны. Дежурные

отправились за провиантом, а мы попытались разжечь огонь, что было нелегко без сухого хвороста.

К счастью для мельника, Кюстин со своим штабом разместился прямо на мельнице, а то через час не было бы у него ни сена, ни соломы, ни муки, — так уж оно заведено на войне: ни злом, ни добром ничего не добьешься, если противник задумав устроить у твоего дома привал.

Мельницу окружил отряд гусар, и обитатели ее теперь уже не сомневались в том, что им крупно повезло, коль скоро у них остановился генерал, а не целый армейский корпус.

Наконец все-таки удалось развести огонь, дежурные вернулись, получив рацион, и на кострах закипели котлы. Стояла черная ночь; ливень давно прекратился, — только с деревьев еще капало, и при свете бивачных огней капли переливались всеми цветами радуги — такая красота, глаз бы не оторвал, но когда очень устанешь, ничто не мило, не дорого. В ту ночь я спал прямо на земле, вместе со своими товарищами, и, несмотря на сырость, сон мой был крепок.

На другой день, 19 октября 1792 года, нам предстояло брать штурмом один, а то и двое ворот Майнца, как в Шпейере. Только на этот раз дело было посложнее: городские укрепления изобиловали редутами и рavelинами, и на мостах нас ждал обстрел справа и слева, спереди и сзади. Но если в жизни тебе повезло, то думаешь, что и всегда так будет; к тому же генералы обычно выдвигают вперед тех, кто еще не нюхал опасности, а уж как завяжется бой — хочешь не хочешь, надо драться, ибо отступать еще опаснее.

Благодарение богу, комендант Майнца оказался не чета шпейерскому. Это был придворный офицер, из тех царедворцев, что милостию монарха становится генералами и по воле его то ходят с камергерским ключом на спине, то командуют армией. Кюстин, узнав от немцев, друзей республики, что барон Гимних как раз такого поля ягода, решил, что барон, пожалуй, сам может открыть нам ворота, если показать ему, какой опасности он подвергнет себя, защищая город. Такого фарса я в жизни не видел — вся наша армия в ту пору веселилась от души.



Да будет вам известно, что гарнизон Майнца, считая войска Майнцского округа, австрийков, стрелков и дворянских слуг, национальных гвардейцев из буржуа и университетских студентов-волонтеров, превышал шесть тысяч человек. В Шнейере было вдвое меньше австрийков, да и укрепления там по своей мощи, протяженности и прочности не могли идти ни в какое сравнение с крепостными стенами Майнца.

Итак, 19 октября утром Кюстин сам отправился на рекогносцировку, чтобы поближе рассмотреть мосты, ворота, передовые позиции и оборонительные сооружения крепости. С того места, где находился наш бивак, видно было, как он поехал туда с Менье и еще двумя или тремя офицерами инженерных войск, которых тогда мы называли мисерами. По ним открыли стрельбу; наши мелкокалиберные пушки ответили на огонь; это вызвало замес всех орудий крепости, а из Рейнских ворот выскочили гусары, но генерал, не располагавший достаточными силами, чтобы принять бой, повернул обратно. Он понял, что Майнц будет не так просто атаковать, как Шнейер, — придется заложить траншеи.

На нашу беду, пруссаки, которым Дюмуре дал спокойно уйти из Шампани, вместо того чтобы уничтожить их, — а это легко было сделать после битвы при Вальми, — так вот, пруссаки, пройдя Сирк, подошли к нам с тылу, и мы могли оказаться между двух огней. Поэтому необходимо было ворваться в город или же надо было отступить, тем более что нас было всего двадцать тысяч.

Итак, мы готовились к штурму.

Весь этот день гонцы сповали туда и обратно. Наутро полковник Ушар отправился парламентарем; он отсутствовал долго и вернулся лишь к часу дня. Люди говорили друг другу: «Наступает решающая минута!.. Скоро нас построит в колонны для штурма!..» Глядим: другие парламентареры двинулись в путь. В шесть часов вечера Кюстин на лошади, в сопровождении своего штаба, объехал биваки; говорили, будто гренадеры Нижней Шаранты крикнули при виде его: «На штурм!», — а он ответил: «Отлично, товарищи!.. Будьте готовы... До штурма недолго осталось, и вы войдете первыми!»

«Да здравствует республика!» — закричали в лагере, когда еще один парламентар выехал из Майнца. Кюстин отправился ему навстречу и, не завязывая ему глаз, сам

привез его в штаб-квартиру. Теперь уже вдоль всей линии биваков звучали крики: «На штурм! На штурм!»

Наступила ночь; мы решили, что штурм начнется к утру. Ничего не поделаешь: ведь у нас не было ни одной осадной пушки.

Настало утро 21 октября — опять ничего нового, солдаты начали роптать, как вдруг часов около девяти гренадеры Нижней Шаранты получили приказ двинуться на Рейнские ворота. Они тотчас выступили, с ружьем на плече. Все ядали, что их засыплют картечью, но они дошли до самого городского вала, и не раздалось ни одного выстрела; штыки их замелькали среди зигзагообразных передовых укреплений, и тут вдруг разнеслась весть, что Майнц капитулировал, а наши гренадеры отправлены просто нести караул у этих ворот, пока комендант не вывезет своей казны.

Можете себе представить нашу радость! Хотя мы и кричали: «На штурм!» — а все видели тяжелые пушки, наставленные на нас из амбразур, видели редуты и наплевяды, и каждый понимал, что, если брать это приступом, три четверти наших солдат полягут костями, поэтому нашему счастью не было конца.

На другой день наша армия вступила в Майнц. Весь город высыпал нам навстречу.

Оказывается, жители Майнца были нам рады. Батальоны, эскадроны, пехотные полки, вперемежку с отрядами студентов и горожан, шли, чекая шаг, с развернутыми знаменами и барабанчиками впереди; они проходили под древними сводами ворот с иешнем «Марсельезь». А когда после парада на плацу мы сместили в карауле австрияков и гессенцев и нам роздали билеты на постой, горожане подхватили нас под руки и повели к себе, чтобы угостить и послушать в кругу семьи наши рассказы про революцию.

Я всегда с удовольствием вспоминаю, как, устроившись на квартирах, мы разбрелись по пивным заведениям старого города и до десяти часов вечера опрокидывали штофы за здоровье всех патриотов на свете. Певцы в коротких курточках, в шапалочках с костяными пуговицами и в больших треугольных шляпах — простые ремесленники и даже крестьяне — то и дело поднимались из-за столов и распевали шуточные песенки, которые они тут же придумывали. Особенно запомнился мне один старичок, весь

сморщенный, с красным носом и крошечными глазками, прикрытыми опухшими веками. Старичок этот принялся изображать, как полковник Ушар прибыл в город в качестве парламентаря, в какой ужас пришел господин барон, услышав, что ему грозят осадой, как он возмущаясь и кричал, как полковник потребовал сдать город, что отвечал ему комендант — как он вздымал руки к небу, лепетал, что у него есть приказ и что он скорее даст изрубить себя на куски, но не нарушит его.

Изображал он все это до того натурально, что жители Майнца хватались за бока, и от смеха слезы текли у них по щекам.

Но уж лучше я, пожалуй, приведу здесь два последних письма Кюстина и Гимниха: они позабавят вас и дадут вам представление об этой комедии. Вот они слово в слово.

«ГЕНЕРАЛ КЮСТИН КОМЕНДАНТУ МАЙНЦА

*Главная квартира в Мариенборге,  
20 октября 1792 г.,  
1 год Французской республики.*

Господин комендант!

Мое желание избежать кровопролития столь велико, что я с радостью соглашаюсь пойти Вам навстречу и, как Вы просите, подождать до завтра Вашего ответа. Но, господин комендант, мне крайне трудно сдерживать рвение моих гренадер: они жаждут сразиться с врагами свободы и в награду за свою доблесть взять богатую добычу, ибо должны предупредить Вас, что мы намерены штурмовать крепость. Это не только возможно, но и не связано для нас с риском, поскольку я хорошо осведомлен о Вашей крепости и войсках, которые ее защищают. Вы можете избежать пролития крови многих невинных, избавить от смерти тысячи людей. Наша жизнь, конечно, ничего не стоит: мы привыкли рисковать ею в боях и не страшимся смерти. Ради славы республики, перед которой бессильны деспоты, стремившиеся ее поработить, а теперь бегущие при виде знамен свободы, я не имею права сдерживать рвение моих доблестных солдат, да мне это едва ли удалось бы. *Отвечайте, отвечайте же*, господин комендант!

Французский гражданин, генерал армии

*Кюстин».*

*Майнц, 20 октября 1792 г.*

Господин генерал,

Если бы мы с Вами имели честь лучше знать друг друга, я убежден, дорогой генерал, что Вы не стали бы прибегать к угрозам, чтобы заставить меня сдать вверенную мне крепость. Я военный, дорогой генерал, Вам известно, что это значит не меньше, чем мне, и я не боюсь смерти на посту. И только забота о судьбе моих сограждан, только желание избавить их от ужасов бомбардировки, может заставить меня, согласно полномочиям, полученным от моего государя, сдать Вам город и крепость Майнц на следующих условиях:

1. Гарнизону Майнца, вместе со всеми без исключения припадшими ему войсками, будет дозволено беспрепятственно и с воинскими почестями покинуть город и отправиться в избранном им направлении; ему будет дано право удобными для него способами вывести военную казну, артиллерию, свое имущество и пожитки.

2. Наместнику, а также всем лицам, находящимся на службе Его Светлости курфюрста, равно как и всему высшему и низшему духовенству, будет разрешено покинуть город со всем своим имуществом. Всем жителям Майнца, как находящимся в городе, так и отсутствующим, будет дано такое же право, а кроме того, гарантируется неприкосновенность собственности всех граждан.

3. Мой государь не находится в состоянии войны с Францией и не намерен принимать в ней никакого участия, а потому надеется, что его имущество и владения будут пощажены.

4. По подписании сего документа все военные действия прекращаются и стороны назначают комиссаров для урегулирования вопросов о выводе войск, обоза и всего с этим связанного.

Имею честь, господин генерал, быть Вашим нижайшим и покорнейшим слугой

*барон фон Гимлиц;*  
комендант Майнца».

«Французский гражданин, генерал армии, ставит условием, чтобы войска, стоящие на Майнце, не ерзались в течение года против Французской республики или ее союзников. Сверх того французский генерал оставляет за своей республикой право решать вопрос о правах суверенов путем заключения особых договоров. Права же частной собственности будут, безусловно, соблюдены в соответствии с принципами, на которых основана Французская республика, — уважение этих принципов положено в основу французской конституции. Завтра, в девять часов утра, Рейнские ворота и подступы к ним должны быть сданы двум ротам французских гренадер. При соблюдении этих условий и оговорок всякие военные действия прекращаются, и так далее, и тому подобное...»

Таким образом за какие-нибудь две недели мы захватили все склады, о которых столько трубили эмигрантские газетчики, три больших города и одну из главных крепостей Германии. События эти вызвали немалое удивление и ликование во всей Франции; республика всюду одерживала верх, и понемножку всем становилось ясно: когда народ поднимается на защиту правого дела, худо бывает деспотам и их пособникам.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вступая в Майнц, мы думали, что побратаемся с горожанами и отдохнем там несколько днейков. Мы расположились поудобнее в казармах, церквях и на складах этого патристического города, — лишь два-три нехотных и кавалерийских полка остались на подступах, в палатках по обоим берегам реки, а наши военные комиссары обошли все чердаки и амбары, чтобы учесть на всякий случай наличный провиант.

Но пока мы устраивались, пришла весть, что пруссаки, следуя по течению Мозеля, добрались до Кобленца и уже заняли город, а находится он всего в двадцати двух лье влево от нас. В армии поднялся ропот; Кюстин вынул во всем Келлермана: ведь это ему Дюмурье поручил преследовать пруссаков, а он дал им отступить от Вердена до

самого Кобленца. Кюстин в открытую говорил об этом и даже уведомлял Конвент: если генерал провинился, сказал он, надо предать его военно-полевому суду.

Прав он был или нет — не знаю; знаю только, что как пришла эта дурная весть, вместо того чтобы отдыхать, мы слова взяли за кирку и лопату и стали возводить укрепления, строить редуты, преграждавшие доступ к городу со стороны Вейссенау, Дальгейма, Марсиборна, и даже на том берегу Рейна, вокруг небольшого городка Касселя. До нашего прихода у Майнца было лишь одно предместное укрепление на правом берегу реки, теперь мы построили там укрепления из огромных камней, которые доставляли водным путем из старой разрушенной деревушки, именовавшейся Густавенбург. Река здесь широкая — более тысячи футов, и вода бурлила возле плывучего моста, разбиваясь о сваи, вбитые поперек течения. Тысячи тачек в обоих направлениях сновали по мосту. Погода стояла отвратительная — пруссаки страдали от нее не меньше нашего, и это немного утешало обе стороны.

Однако парижские федераты ворчали: они возмущались Кюстином и говорили, что они, мол, вступили в армию воевать, а не копать в земле. Дело в том, что бедняги, будучи храбрыми воюками, не обладали выносливостью и гибли от работы, как мухи: из трех батальонов федератов, то есть из тысячи восьмисот человек, через год осталось не больше двухсот пятидесяти. Должно быть, виноват тут был нездоровый воздух, нездоровая пища и все тяготы, которые приходится терпеть народу, да разве их вынести людям, привыкшим жить в городе, где вся жизнь вертелась вокруг развлечений двора! Но всего не предугадаешь!

Помнится, сестра моя, Лизбета, — батальон их стоял в старой церкви св. Игнация, — принялась поддакивать парижанам. Я даже рассердился, когда она стала уверять их, будто мы у себя в деревне никогда так не трудились, потому что люди мы были зажиточные. Посмотрел я некое на нее и сказал — прямо при них:

— А мне помнится, гражданка Лизбета, что немало мы помаялись на барщине и только бы рады были, если бы у нас добрые мотыги оказались, чтобы землю вскапывать.

Я хотел еще добавить про то, как она побиралась, но тут она не выдержала и вскричала.

— Да замолчишь ты пакопец!.. — крикнула она. — Пошел вон отсюда!..

На помощь ей пришел мужек — сержант Мареско: правильно, говорит, нечего свободным людям унижаться и таскать тачки, будто каторжники. Да, когда человек, как говорится, из грязи вышел в князи, когда бывший нищий стыдится работы, — такой хуже любого аристократа будет! Но хватит об этом — остальное каждый здравомыслящий человек и сам поймет.

Вечером я возвращался из Касселя со своим батальоном; мы шли по мосту, с головы до ног покрытые грязью, — об утренней размолвке я и думать забыл, — как вдруг, подойдя к насыпи, увидели множество солдат, двигавшихся в сторону Оппенгейма. Два или три батальона вогезцев, бывшие дюрфорские драгуны\*, ныне именовавшиеся четвертым егерским полком, несколько полевых орудий, а за ними федераты секции Четырех наций шли по берегу Рейна.

Завернули мы на набережную, — смотрю: едет моя сестрица в своем фургоше, а вокруг нее федераты хохочут и кричат:

— Пошли!.. Пошли!..

Завидев меня, всего в грязи, с киркой и лопатой на плече, Лизбета заметила с усмешкой:

— Вот видишь, олух ты этакий, горлом всего можно добиться. Пока вы тут будете землю рыть, мы с Нейвингером поживимся на правом берегу.

Только я хотел ей ответить, как подошел Мареско и, даже не взглянув на меня, сказал:

— Слишком мы перегрузили фургон. Места и так немного — надо выбросить все пустые ящики на дорогу. А добро сложить в солому.

Я сразу понял, что у мерзавца одно на уме — побольше пограбить. Лизбета потянула лошадь за узду, огрела ее кнутом и двинулась дальше, а я вернулся в казарму на Канудинерштрассе — пообсохнуть и отдохнуть.

В тот вечер, 23 октября 1792 года, Ушар со своими монморанпейскими драгунами\* перешел реку возле Касселя и по правому берегу Майна добрался до Хохгейма, а тем временем Нейвингер во главе полутора тысяч человек прошел до моста у Оппенгейма и двинулся вверх по левому берегу Майна. Они должны были взять Франкфурт в кольцо, но Нейвингер шел в обход, и Ушар первым

добрался до города. Обо всем этом мы узнали на другой день — 24-го.

Я никак не мог понять, зачем мы туда отправились — разве что в погоне за контрибуцией, потому что нечего нам было делать на правом берегу Рейна. Мы ведь не воевали со всей Германской империей, а только с Пруссией, Австрией и их союзниками; это же несправедливо — драть шкуру с людей, которые не причинили нам никакого зла, да и не очень осмотрительно было так вести себя: наш поход на Франкфурт мог заставить сейм объявить нам войну \* и тогда пришлось бы нам отбиваться от всей Германии. Но ведь грабителей ничем не остановишь — желанье поживиться за чужой счет туманит им мозги.

Итак, мы узнали, что когда Ушар подошел к Бёкенгеймским воротам, удивленные городские власти послали к нему депутацию, чтобы узнать, чего хотят французы; Ушар в ответ заявил: «Подкрепиться!» А когда Нейвингер по другому берегу подошел к Саксенхаузенским портам и, представив на них пушки, потребовал сдать город, богачи и банкиры, которые живут там в великом множестве, поспешили впустить его, чтобы избежать еще больших несчастий. Мы триумфальным маршем вступили в город; Нейвингер с Ушаром заняли ратушу и от имени генерала Кюстина объявили, что на обитателей Франкфурта, главным образом на богачей, налагается контрибуция в два миллиона флоринов.

Как только мы это узнали, все сразу поняли, что это уже не война свободного народа, провозгласившего и отстаивающего права человека, а война деспотов, которая ведется ради ограбления и подчинения народов \*. С той поры на Кюстина, несмотря на все его победы, косо посматривали в Париже, в Главном наблюдательном комитете: \* говорили, что он возбудил в Германии ненависть к нам, выставил нас грабителями, и те, кто говорил так, были правы. Генерал, который велит расстреливать грабителей, не должен подавать дурной пример. Кюстину пришлось потом на собственном горьком опыте познать эту песню.

Пруссаки и гессенцы перешли тогда Рейн у Кобленца и расположились вдоль Лана, в десяти или двенадцати лье влево от Франкфурта; они заняли выгодные позиции у Нассау, Дьеса и Лимбурга, намереваясь выйти на Майн между Франкфуртом и Майнцем и разрезать нашу



армию на несколько кусков. Все это понимали, потому как в картах недостатка у нас не было. Все офицеры и даже солдаты говорили:

— Вот что они задумали!

Кюстин назначил некоего голландца, майора ван Хельдена, комендантом Франкфурта. Ушар с Нейвингером покинули город, оставив там гарнизон в тысячу восьмьсот человек, но никакой контрибуции они не получили, ибо франкфуртские купцы послали депутацию именитых горожан в Конвент с жалобой на ограбление их города.

Этой депутации велено было сказать, что, мол, Французская республика воюет не со всей Германской империей, а только с королем Богемии и Венгрии, королем Прусским и курфюрстом Гессенским; что вольный имперский город Франкфурт не имеет ко всем этим делам никакого касательства, а у Французской республики и без Германского союза врагов хватает, так что ничего его против себя восстаивать противозаконным требованием — да еще такой ничтожной суммы.

Все это было вполне разумно. К несчастью, лишь немногие французы разбирались тогда в этом: росли мы невеждами и понятия не имели даже о том, что представляют собой наши соседи. И пруссаки, и австрийцы, и гессенцы, и баварцы, и саксонцы, и тирольцы, и даже венгры — все были для нас одним народом — немцами! Единственным различием между ними было то, что одни носили синие мундиры, а другие — белые; у одних было желтое знамя с двуглавым орлом, а у других — с черным орлом; у одних были островерхие шапки, а у других — голубые шапочки. Словом, вспоминать и то стыдно!

Однажды вечером в середине ноября 1792 года Ушар и Менье, прихватив с собой артиллерию и несколько батальонов волонтеров, перешли мост у Касселя. Они атаковали пруссаков в Лимбурге. Противник, застигнутый врасплох, в панике бежал. Гусары Свободы\* отличились в этом бою: они привели с собой пленных и пушки.

Герцог Брауншвейгский отступил к Монтабуру. А Менье засел в Кенигштейне с четырьмястами человек, чтобы ближе быть к неприятелю и вести за ним наблюдение, но неприятель не собирался нам отвечать; наступили холода, всю землю покрыл иней, даже сами пруссаки и

госсенцы укрылись в деревнях, расположившись на постой в окрестностях Эмса, Кирберга и дальше. Все считали, что в этом году военных действий уже не будет.

Мы, однако, ошиблись в расчете, ибо как раз в это время стало известно, что Дюмурье вторгся в Бельгию, что одержана крупная победа при Жеммапе, взят Монс, Турна, Брюссель, Гент и Антверпен и, наконец, завоеваны все Нидерланды, вплоть до Мааса.

Наш батальон был расквартирован тогда в большом, очень старом, замшелом строении, которое здесь называли монастырем капуцинов; там был двор, где проходили перекички, а вокруг него шли совсем одинаковые квадратные комнатки, две большие общие спальни, столовая, роскошная кухня — все это соединенное застекленными переходами — и колоколенка, крытая шифером. Здание было такое же древнее, как и улицы Майнца; разместили нас по трое и по четверо в каждой комнатке, и **пробыли мы там до первой большой бомбардировки**, когда старое гнездо вспыхнуло, точно охапка соломы. Бывало, как забьют в барабан, в старинных переходах такой грохот поднимется, что кажется, все сейчас рухнет; до сих пор я с удовольствием вспоминаю, как ходили мы по этим древним галереям в своих больших треуголках, в синих с красными отворотами мундирах, как гремела «Марсельеза» и «Напа возьмет!», так что дрожали стекла.

Вечерами, вернувшись с работы на редутах, все собирался на кухне; в дровах у нас недостатка не было, и мы бросали в огонь целые поленья; пламя высоко взвивалось в черном от копоти камине, отсветы его плясали на людях, сидевших вокруг, — мы смеялись, мечтали вслух, рассказывали кто что знает.

Там узнавались все новости, там читали мы и бюллетень Кошвента. Кто-нибудь из товарищей взбирался на скамейку и кричал:

— Слушайте!

И принимался читать, сопровождая каждую статью своими замечаниями; одни соглашались с ним, другие возражали; под конец все начинали кричать:

— Слушайте же! Слушайте, черт побери! А думать каждый может что хочет!..

Да будет вам известно, что Кошвент, провозгласив республику, раскололся на три партии: партию монтаньяров, партию жирондистов и Болото\*.

Монтаньяры ратовали за единую неделимую республику, за равные для всех права, за уничтожение всех остатков старого режима. Но прежде всего они ратовали за равенство, и в этом своем требовании опирались, естественно, на народ, который ставил равенство даже выше свободы, потому что он веками жестоко страдал от неравенства, которое существовало во Франции до 89-го года, а кроме того, равенство — ведь это справедливость.

А жирондисты, — я говорю о жирондистах-республиканцах, ибо в этой партии было немало роялистов, которые лишь на время перекрасились, дожидаясь случая предать республику, — так вот настоящие жирондисты ставили превыше всего свободу. Они представляли крупную буржуазию, богатых кушцов, имевших свои корабли, крупных фабрикантов, — словом, разных богачей и ратовали за республику, где правили бы буржуа. И поскольку народ Парижа мешал им, заставляя Учредительное и Законодательное собрания делать шаг вперед всякий раз, как им хотелось отступить, они подумывали о том, чтобы перенести Конвент в провинцию — в Бурж или в какой-нибудь другой город, — избавиться от влияния народа, который поддерживал монтаньяров, и большинством голосов избрать удобное им правительство.

Те, кого именовали Болотом, — человек триста или четыреста, — сидели в Собрании посредине. Почти все они были добрыми республиканцами, но на них влияли газетчики, издававшиеся в великом множестве жирондистами, которые только и делали, что старались натравить департаменты на Париж, изображали парижан бандитами, а монтаньяров — главарями бандитов. Тут еще надо добавить, что Болото, естественно, напугала сентябрьская резня! Итак, люди эти были напуганы и, хоть и не доверяли жирондистам, ибо среди них находилось немало бывших роялистов, — голосовали вместе с ними из страха перед монтаньярами.

Понятно, что при такой разнице во взглядах Гора и Жиронда не могли поладить, тем более что в ту пору все было совсем не так ясно, как я это сейчас рассказываю, — даже самые прозорливые и те ошибались: столько раз нас предавали, что везде чудились предатели. Споры возникали каждый день — то по одному, то по другому поводу. Жирондисты видели монтаньяров в сентябрьской резне, в том, что они хотят установить диктатуру и толкают

революционеров на крайности, а когда эти крайности отвратят парод от революции, они посадят на трон Филиппа Орлеанского; монтаньяры же обвиняли жирондистов в том, что они хотят разделить Францию на множество маленьких республик, что, натравливая провинцию на Париз, они готовят гражданскую войну и идут наговор с роялистами, замысливая восстановить монархию! Словом, как это часто бывает, когда люди дают волю гневу и недоверию, обе стороны заходили в своих обвинениях очень далеко.

Три четверти этих обвинений были высосаны из пальца — теперь-то мы это знаем, но тогда всему верили, и, когда газеты распространяли слухи по стране, это вызывало странные споры всюду, вплоть до самых маленьких деревень.

Мы в нашем монастыре капуцинов порой поднимали такой крик, ратуя «за» или «против», что ветхое строение тряслось.

Помню еще, как все мы удивились — и волонтеры и солдаты, — когда до нас дошли вести из Бельгии.

До тех пор мы были первыми, мы были победителями: мы захватили Шнейер, Вормс, Майнц, Франкфурт, и, когда газеты восторженно перевозносили нас, когда нас называли «армией победителей Майнца», мы находили это вполне естественным — никакая похвала не казалась нам чрезмерной. Но когда эти же самые газеты стали писать только о Дюмурье, о Бершневиле\*, о Валансе, о Филиппе Орлеанском, о знаменитой битве при Жеммаппе\*, о молниеносных ударах Шамборана, Бершинеи и так далее, о захваченных знаменах и пушках, о сдавшихся городах, — это начало нас раздражать: только бы добраться нам до пруссаков, уж мы вернули бы себе пальму первенства! Все ветераны в нашем батальоне принялись ворчать, что мы скоро плесенью зарастем; многие даже утверждали, что Дюмурье нарочно позволил пруссакам и тессенцам зайти нам в тыл, чтобы прославиться в Бельгии и присвоить себе звание первого французского генерала, что это, мол, аристократ и настоящий интриган.

Что я могу тут сказать? Вся масса пруссаков, которыми дали уйти из Шамбани, вместо того чтобы их там уничтожить, находилась в нескольких лье от нас. Расположились они вдоль Рейна, и было их свыше пятидесяти тысяч. Дюмурье поступил, как поступают многие гене-

ралы: решил сосредоточить все внимание лишь на части вражеских войск, чтобы легче было разбить противника, но при этом наиболее тяжелую задачу взвалил на нас. И вот, когда войска, разгромившие австрийцев в Бельгии, могли уже отдохнуть и насладиться плодами своей победы, наша кампания стала принимать все более опасный оборот и над нами нависла угроза не только потерять Франкфурт, но и оказаться блокированными в Майнце.

Во второй половине мая нас почти всех вывели из Майнца и переправили у Касселя через Рейн; в городе осталось не более трех или четырех тысяч человек для гарнизошной службы, а вся остальная армия расположилась вдоль Рейна. Мы разбили биваки около Костгейма, Вейльбаха, Хейдерсгейма, Хохста, Сассенгейма; главные наши силы находились в Хохсте. Батальон горцев, а также второй и третий Вогезские батальоны стояли в авангарде на Бёкенгеймском плато, позади большого леса.

Под нами, впрочем, на расстоянии двух миль, лежал Франкфурт — со своими садами, большими тополевыми аллеями, зелеными и красными домиками, рвами, наполненными водой, со своими церквями, широкими улицами, потом Майн со множеством судов, а на том берегу реки — снова пышные сады, фонтаны, беседки. До чего ж богатый это город! И сколько людям приходится хлопотать, суетиться, бегать, потеть, чтобы заработать деньги! Каким сильным ключом бьет там жизнь!.. И подумать только, что ничтожная горстка солдат во главе с каким-нибудь мародером может нарушить мирную жизнь стольких тружеников! Так шершни силой врываются в улей, съедают мед и все опустошают. Но Кюстин не заглядывал далеко: ведь он был генерал!

Итак, мы стояли лагерем в горах, среди виноградников. Помню еще, Жан Ра сказал как-то, что не мешало бы вам сходить во Франкфурт и поживиться кому чем хочется.

Тут прошел слух, что пруссаки готовятся атаковать нас, и вот стали валить деревья, — я в жизни не видал такой рубки леса, — чтобы прикрыть наши окопы. Батальонам, находившимся в авангарде, не было нужды браться за топор и кирку: на нашей обязанности было нести караул и предупредить армию об опасности, а затем защищаться, пока не подойдет подкрепление, но позади нас, на

пространстве в три или четыре ле между Хохстом, Сассенгеймом и Сульцбахом, сверкали топоры и заступы в руках тысяч людей, валились леса и фруктовые сады; от одного холма до другого, перерезая овраги и долины, вдымались горы желтой земли; фургоны и тачки сновали взад и вперед по откосам; офицеры верхом на лошадях подгоняли солдат; пятерки и шестерки лошадей по густой грязи втаскивали на брустверы пушки, и люди устанавливали их на особых площадках. Несмотря на расстояние, до нас доносился гул тысяч работающих людей, — отдаленный, смутный, но непрекращающийся.

Так продолжалось девять дней.

В противоположность пруссакам, которые обосновались в Лимбурге, где Ушар захватил их врасплох, прямо на квартирах, — мы жили в палатках. На войне нельзя дремать, а то разнежишься и не проснешься. Лучше терпеть холод и быть всегда начеку.

Вот как обстояло дело, когда 29 ноября утром, — мы как раз варили суп, — справа на горизонте появились синеватые полосы и поползли по всем тропам и дорогам, ведущим к Франкфурту. Полоски эти находились еще ле в трех от нас, но все старые солдаты в нашем батальоне, отслужившие свое и вновь пошедшие волонтерами, сразу раскусили, в чем дело, и воскликнули:

— Это неприятель!

Многие распознали даже кавалерию и, тыча пальцем, объясняли нам, что значат эти полосы, которые вроде бы и не двигались, а на самом деле медленно приближались к нам. Часам к двум они были уже между Гомбургом и Обервезелем, на противоположном склоне холмов. По скопленню штабов и отблескам касок мы поняли, что их там тысяч сорок или пятьдесят, но никому, конечно, и в голову не пришло, что среди них находятся король Фридрих-Вильгельм и герцог Брауншвейгский, которым Дюмурье дал уйти из Аргонских лесов и которые теперь решили здесь отыгаться. Об этом мы узнали позже!

Кюстин в это время был в Майнце; Ушар командовал войсками, стоявшими в окрестностях Хохста, на берегу Майна; наш командир — Менье — был в Кенигштейне. Капитан Жорди из Абершвиллера тотчас послал нарочного предупредить Ушара о том, что происходит. Как сейчас вижу: прискакал Ушар с полковником инженерных войск Ги-Верноном и двумя или тремя молоденькими офи-

церами из штаба; они галоном пронесли через деревню и выехали к краю плато, напротив Бергена; там собрались все старики из первого батальона горцев и из Вогезских батальонов, а также добрая половина ббенгеймских крестьян — все стояли и смотрели на передвижение неприятеля. Ушар, инженерный полковник и все остальные молчали. Потом один из молодых офицеров заметил:

— Стягиваются к Бергену.

— Да, — сказал Ушар, — это неприятель. Бой будет завтра.

Потом повернулся к Жорди и добавил:

— Наблюдайте за их передвижением, капитан, и сообщайте мне каждый час.

И он во весь опор помчался дальше, — остальные за ним. В тот день — 29 ноября — ничего нового не произошло: противник продолжал продвигаться в прежнем направлении — белые и синие мундиры сосредоточивались на склоне высокой горы над Франкфуртом.

В ту ночь тысячи бивачных огней зажглись вокруг Бергена и озарили темное небо. Ничто не шевелилось — пруссаки отдыхали, зато бесчисленные огоньки передвигались по городу, бегали по садам и вдоль Майна. Я как раз был в карауле и часов около трех ночи, видя такое оживление во Франкфурте, тогда как вокруг царил тишина, подумал, что нельзя доверять этим цемцам: все они стоят друг за друга против нас и явно что-то замышляют. Правда, мы были хозяевами в городе; у нас там в крепости осталось две тысячи человек гарнизона, и посты, естественно, были удвоены, и все же две тысячи человек не могут обеспечить оборону крепостных укреплений такой длины, особенно если кушцы и парод станут на сторону неприятеля. Да и нашей маленькой армии в пятнадцать — двадцать тысяч человек не под силу было бы вести бой с пятьюдесятью тысячами — требовались подкрепления. Вот какие мысли — наряду со многими другими — мелькали у меня в голове.

Однако ночь прошла спокойно, и только наутро, между девятью и десятью часами, во Франкфурте забил пабат; на улицах — справа, слева — зазвучали ружейные выстрелы, и скоро началась настоящая пальба: поднялся весь город. Пруссаки только этого и дожидались: пока народ дрался с солдатами, они спустились с горы и заставили открыть себе ворота. Мы бы с радостью помчались

на выручку к товарищам, но не могли же мы бросить посты, рискуя быть отрезанными от остальной армии. А в городе тем временем продолжалась перестрелка: ткачи, котельщики, столяры, сапожники, портные, ремесленники всех цехов, подстрекаемые буржуа — хотя сами-то они преспокойно сидели у себя дома, — толпы крестьян из Нассау, в большинстве своем виноградари, сражались с нашими волонтерами.

В полдень несколько пушечных выстрелов повестили нам, что пруссаки подошли к городскому валу и из крепости по ним открыли огонь, — это означало, что командант ее, ван Хельден, держится стойко. Но что тут можно сделать, когда весь народ не хочет твоего господства и поднимается против тебя? Да и как можно держать оборону среди стольких садов, где полно сараев и разных домиков, среди стольких палисадов и изгородей, которые типутся до самых рвов и дают возможность противнику незаметно подкрасться к тебе? Что могут предпринять две тысячи против сотни тысяч?

В более поздние времена подожгли бы город, чтобы жители одумались, но тогда так еще не поступали, тогда еще торжествовало человеколюбие: вся Франция была возмущена поступком Жарри, который позволил себе сжечь деревеньку в Бельгии!

Словом, смотрели мы издали на это печальное зрелище, — что там происходит, в точности мы не знали, до нас доносилась лишь перестрелка, пушечная пальба да пабат, — и дрожали в бессильной ярости, не имея возможности двинуться с места, как вдруг часа в два из Бергена вышла колонна в семь-восемь тысяч пруссаков с ружьями на плече и быстрым шагом начала спускаться с горы в направлении наших позиций. Шли они в боевом порядке, полубатальонами.

Капитан Жорди и командиры второго и третьего Вегезских батальонов тотчас велели нам построиться в три шеренги за пригорком, который должен был служить нам прикрытием, а в промежутках между солдатами расставили шесть пушек. Зарядили мы ружья и, приставив к ноге приклад, стали ждать. Противник продвигался, держа строй; впереди каждого построения шагала знаменосец, неся знамя с черным орлом. Только они спустились в долину, к нам галопом прискакал офицер из штаба и привез приказ эвакуировать позицию.



Великому ясно, с каким возмущением встретили мы это предписание, но приказ есть приказ, мы построились и тотчас стали спускаться в направлении Хохста, увозя с собой наши несчастные пушки, которые так ни разу и не выстрелили.

Не успели мы выйти из деревни, вдруг видим: колонна пруссаков прорвалась между нашими позициями и Франкфуртом с явным намерением отрезать нашему гарнизону отступление по большой дороге, что идет из Грисгейма вдоль Майна; тут снова присекавал к нам офицер из штаба — только уже другой — и передал приказ взять Бёкенгейм, куда уже вступили пруссаки, готовившиеся теперь открыть по нашим огонь с тыла. Как ни странно, приказ повернуть назад обрадовал нас — тем более что нам дали для подкрепления два батальона гренадер.

Итак, мы повернули назад; пруссаки никак не ожидали нашего нападения, и когда мы кинулись на них со штыками наперевес, завывая, точно волки, и крича: «Да здравствует республика!» — они так и покатались под откос, а человек триста или четыреста мы прикончили в самой деревне. Тут как раз подошли гренадеры с двумя пушками; их установили на краю плато, мы стали сзади и подвергли страшнейшему обстрелу колонну пруссаков, которая беспокойно продвигалась от Франкфурта к Бёкенгейму, никак не ожидая нападения с нашей стороны; как только начался обстрел, пруссаки разбежались по садам, оставляя позади множество убитых и раненых.

Тут на выручку гарнизону подошел Нейвингер с девятью тысячами человек; он развернул солдат в боевом порядке перед крепостным валом, и пруссаки таким образом попали под обстрел с двух сторон. Все это лишь доказывает, как много на войне бывает случайностей: приказ эвакуировать деревню исходил от Ушара, а Кюстин, присекавший галоном из Майнца, тотчас велел нам отбить ее. Если бы мы оставались на месте, пруссаки не рискнули бы сунуться между нашими позициями и Франкфуртом из опасения, что мы можем подвергнуть их обстрелу с тыла, — это же само собой ясно. А так по злой воле случая они потеряли там от тысячи двухсот до полутора тысяч человек.

Но, к несчастью, Нейвингер подошел слишком поздно и уже не мог спасти гарнизон: население Франкфурта

открыло ворота врагу; два батальона, окруженные ремесленниками, крестьянами, пруссаками и австрийцами, сложили оружие; только двум другим, во главе с майором ван Хельденом, удалось прорваться к крепостному валу. Эти два батальона, соединившись с войсками Нейингера, стали отступать по берегу Майна, — вместе с ними отступали и те, кто нес службу на окрестных высотах.

Сам Ушар с эскадронном егерей явился за нами. Это был храбрый вояка, но он не всегда отдавал себе отчет в том, что делает: ему надо было самому все видеть, чтоб решить, какой дать приказ, а то, чего он не видел, — об этом он не думая или же думал, когда было уже поздно. Этим и объяснялись все его несчастья.

Поскольку мы отступали, а пруссаки вошли во Франкфурт, все наши завалы, траншеи, все укрепления, которые мы строили по Майну, оказались направленными против нас же самих, поэтому отходить надо было как можно быстрее.

Часам к пяти вечера мы заняли позиции между Сассенгеймом и Сульцбахом. Пруссаки преследовали нас, и аррьергарду приходилось отстреливаться. Мы установили восемь пушек перед деревенькой Родельгейм, и когда противник, считавший, что он будет гнать нас до самого Майнца, подошел к этой деревеньке, его встретили градом картечи, и это сразу отбило у него охоту идти за нами по пятам.

Всю ночь мы провели на позициях, дожидаясь боя. Кюстин, Впроц, Богарие \*, Ушар — все были там и до утра спорили в большой трехцветной палатке возле огня. Но поскольку на другой день пруссаки так и не появились, мы преспокойно дошли до Майнца.

Вместе с теми двумя батальонами, которым удалось вырваться из Франкфурта, бежали Мареско и моя сестра Лизбета; они лишились лошади, фургона и всего, что им удалось награть, и были счастливы уже тем, что хоть сами остались живы.

Кюстин, который всегда приписывал себе всю славу, когда дело оборачивалось хорошо, и ваваливал все промахи на других, когда дело оборачивалось плохо, отдал коменданта Франкфурта ван Хельдепа под суд, и этот храбрый воин, защищавшийся как лев, был разжалован!

Вот чем кончился наш захват Франкфурта. А теперь поговорим о другом.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В день нашего вступления в Майнц выпал снег, и все вокруг, насколько хватал глаз, было белым — и оба берега реки, и большой плавучий мост, и крепостные валы, и темные крыши древнего города; батальоны, эскадроны, артиллерия, обоз в полной тишине проезжали по улицам, направляясь к себе на постой. Однако несколько полков осталось на другом берегу — и Костгейме и его окрестностях. Меньше с четырьмястами солдат застрял в пяти или шести лье от нас, в Кенигштейне, окруженный пруссаками. Да, 1792 год плохо для нас кончился.

Несмотря на страшный холод, надо было снова браться за строительство укреплений. Если бы дворян заставили делать то, что делали мы, они бы все погибли, а мы, крестьяне, рыбаки, рабочие, дровосеки, — люди к труду привычные и не боялись занозить себе руки или отморозить ноги.

В начале января Конвент прислал к нам своих представителей — Ревбеля \*, Османа и Мерлена из Тионвиля, дабы поднять наш дух; они целый день проводили с нами на кучах вырытой земли, сдвинув на затылок большущие шляпы, в своих трехцветных шарфах, с саблями, волочившимися по земле.

— Не унывайте, граждане, конец уже виден! — кричали они, подбадривая нас.

А мы, хотя от холода слезы текли у нас по щекам, кричали в ответ:

— Да здравствует республика!

Немцы всегда любили жить с удобствами. Помните, однажды трое наших представителей решили воспользоваться сильным снегопадом и с восемью батальонами волонтеров наведаться к ним в Хохгейм. К вечеру на склоне горы забухала пушка. Пруссаки были застигнуты врасплох прямо на постое, и ночью к нам потянулись вереницы пленных. Но на другой день, пользуясь тем, что непогода все не прекращалась, большие силы пруссаков окружили Хохгейм, и наши представители, вместе с восемью батальонами, чуть не попали в плен. Надо было любой ценой выбираться оттуда, и мы оставили там несколько пушек и не одну сотню людей.

Так проходила зима. Вечерами мы сушились у огня и

читали бюллетень Кошвента; разговоры вертелись вокруг бесконечных стычек между Горой и Жирондой. Как раз в это время стало известно насчет тайника, набитого бумагами, который обнаружили в Тюильрийском дворце, — в газетах тайник этот назывался «железный шкаф». Один слесарь, по имени Гамен, помог Людовику XVI «смастерить» этот шкаф, — дело в том, что король от нечего делать занимался слесарным ремеслом. Так вот слесарь заболел и решил, что король отравил его, чтобы он не проговорился про тайник, и, желая перед смертью отомстить королю, поспешил рассказать обо всем министру Ролану. История эта наделала тогда немало шума.

Я частенько навещал в ту пору мою сестру и Мареско, которые обосновались в церкви св. Игнация; там, в этом древнем здании, я встречал немало парижан, которые поистине поражали меня своей горячностью: любопытные и не знающие удержку, они буквально теряли голову, когда поступал очередной бюллетень; они векакивали на стол и держали речь — по трое, по четверо сразу; голосовавшим принимали решения и готовили петицию против министра Ролана. Они обвиняли его в том, что он сжег бумаги из железного шкафа, которые могли скомпрометировать жирондистов. Иной раз, когда новости были хорошие, они принимались плясать карманьолу. Впрочем, частенько и весь город — ремесленники, купцы, волонтеры — следовал их примеру.

Запомнилось мне и то, какое невиданное ликование овладело всеми людьми, когда пришла весть, что бывшего короля Людовика XVI будут судить. Уже давно со всех сторон поступали петиции о том, чтобы устроить над ним суд, но, когда это совершилось, можно было подумать, будто прежде об этом и не говорили. На моей памяти немало происходило разных судов — суды над бахдитами и отравителями, суд над Шипдерганнесом \*, дело Фуальдеса \*, суд над доктором Кастаном. Человеческое любопытство в таких случаях не знает предела — люди хотят все знать: как выглядят преступники, какую они прожили жизнь; о чем их спрашивали, и что они отвечали, — словом, ждут не дождутся газеты. Никогда жизнь честного человека, его добрые слова и доброе лицо не могли бы вызвать и четвертой доли такого интереса.

Так вот, любопытство, проявленное при этих процессах, не идет ни в какое сравнение с тем, которое вызвал

у людей суд над бывшим королем Франции во имени Людовик Капет. В пивных, в кабачках, в караульне, в казарме только об этом и говорили. Одни считали, что его надо расстрелять без всякого суда — как врага республики и рода человеческого; другие — что его надо просто изгнать из страны, его и всю его семью; третьи — что его надо гильотинировать, раз он предал родину. Ну и конечно, все это вызывало споры. Во всех городах и селах Франции, да и в армии, имелись жирондисты, монтаньяры и сторонники Болота, прибавьте к этому родственников эмигрантов и неприсягнувших священников! Люди вроде Шовеля в ту пору ведь еще не одержали верх. Словом, можете представить себе, какая царила неразбериха!

Но самые ожесточенные бои происходили в Конвенте. Сначала жирондисты все делали, чтобы не допустить суда над королем, но из этого ничего не вышло, и теперь, видя, что суда не избежать, они каждый день придумывали новые предлоги, чтобы отерочить его и задержать. То они говорили, что по конституции 91-го года persona короля священна и неприкосновенна. Им отвечали, что король сам нарушил эту конституцию. Тогда они принялись кричать, что это жестоко, что Конвент не трибунал, во они и по этому пункту потерпели поражение; тогда они заявили, что надо обратиться к народу, и попытались запугать его, утверждая, что казнь Людовика явится сигналом к объединению всех монархов против Франции, и так далее, и тому подобное. Словом, этому конца не было. Случалось, две-три сотни жирондистов вскакивали, точно бешеные, со своих скамей и бросались на монтаньяров, и если бы не вмешательство Болота — людей более уравновешенных, — дело кончилось бы резней.

А ведь Людовик в самом деле предал свой народ, и это со всей ясностью доказывали бумаги, найденные в железном шкафу: добрую половину денег, которые отпускались ему на содержание, он тратил на подкуп депутатов и на оплату кобленцких эмигрантов; и это он призвал пруссаков и австрийков во Францию, чтобы они помогли вернуть ему, его дворянству и его духовенству прежние привилегии, а нам — прежнее рабство. Если бы какой-нибудь бедный малый совершил четвертую долю подобных преступлений, суд над ним не занял бы и десяти минут, а тут ведь был король! И жирондисты так старались защитить

его, хоть и называли себя республиканцами, что готовы были разжечь гражданскую войну во Франции; да к этому и клонилось дело, раз они предлагали, чтобы собрания выборщиков решали, надо ли судить Людовика XVI, — они разожгли бы те же страсти, какие бушевали в Конвенте, и втянули бы в заваруху всю страну.

Тем временем голод становился все сильнее, цены на хлеб росли с каждым днем; рабочим платили ассигнатами, которые не имели и четверти прежней стоимости; торговцы не желали принимать эти ассигнаты в уплату за свой товар; приходилось часами ждать у дверей булочной, чтобы получить фунт хлеба, — словом, народ, простые люди, чьи отцы, братья, сыновья сражались в Германии и в Бельгии, ибо жирондисты все-таки навязали нам войну, — народ умирал с голоду! И народ умолял Конвент спасти его, установить цены на предметы первой необходимости, но жирондисты оставались глухи к его мольбам — они жалели только Людовика XVI.

Вот как обстоили дела в конце декабря и в начале января.

Недели за две до описываемых событий прошел слух, что Верпоувиль, который вместо Келлермана командовал армией, стоявшей на Мозеле, соединится с нами, чтобы вместе ударить по врагу, но он не смог продвигнуться дальше Саарбрюккена, ибо пруссаки тотчас стянули большие силы к Целлугену и Вибельтаузену, чтобы закрыть проходы в горах. Завязался бой, в котором отличились четвертый Мёртекский батальон и вольные стрелки из Сен-Мориса; много говорили также и о доблести батальона Юненкура и девяносто шестого пехотного полка. После этой битвы тосканские драгуны и австрийцы из Гревенмакера стали хозяевами положения между Сааром и Рейном. Пруссаки навели мосты в Баккарахе и нескольких других местах, и нашим вольным гусарам, сопровождавшим обозы, направлявшимся к нам из Ландау, Виссенбурга и других мест, нередко приходилось пускаться в ход сабля против их сторонников.

Написал я Маргарите, рассказал ей про нашу жизнь — под дождем и снегом, в грязи; но ответа не приходило, и я решил, что, должно быть, пакет с письмами перехватили, ибо враг то и дело устраивал засады, и те, кого интересовал лишь суд над бывшим королем Людовиком XVI, перестали регулярно получать свои газеты. Сло-

вом, так я думал. Но вот как-то утром возвращаюсь я с караула и вижу: стоит в казарме, на лестнице, какой-то человек в блузе, а дядюшка Сом кричит мне сверху:

— Эй, Минсель, тебя тут спрашивают!

Смотрю: да ведь это Кентэн Мюро, старик, который возил почту из Пфальцбурга в Сааргемни и жил в ту пору возле Немецких ворот. Вы и представить себе не можете, до чего приятно в такую минуту увидеть земляка: от радости я готов был расцеловать его.

— Да никак это вы, дядюшка Мюро? — воскликнул я. — Господи! Неужто из наших краев?

— Откуда же еще, черт возьми! — со смехом ответил он. — Я тут привез тебе кое-что. Но посылка осталась в харчевне «Солнце» — там у меня повозка. Не стану же я таскать с собой корзину: сначала надо было пайти тебя.

— Вы видели Маргариту? — спросил я.

— Ну, конечно, видел — ровно неделю тому назад у них в лавке, вместе с твоим братишкой Этьеном. И так она просила, чтоб я взял для тебя корзину, что я не выдержал и уступил. Постой-ка. — продолжал он и сунул руку под блузу, — тебе есть еще и письмо.

И он извлек из огромного, как у всех извозчиков, бу-мажника письмо; но почерку я сразу понял, что оно от Маргариты. Сердце у меня наполнилось радостью. Вокруг стояло много народу, и все глядели на меня. А мне хотелось прочесть письмо наедине, и потому, преодолев терпение, я сунул письмо в карман.

— Прекрасно, прекрасно, дядюшка Мюро! — воскликнул я. — Пойдем за корзиной!

Мы вышли, и всю дорогу я расспрашивал его про Маргариту, про дядюшку Жана, про моего отца, про того, про другого, но главным образом, конечно, про Маргариту: как она себя чувствует, да хорошо ли выглядит, да не грустит ли; спрашивал, разумеется, и про отца: в добром ли он здравии. Мюро едва успевал отвечать. Мы шли по улочкам, где толпилось множество народу, но я никого не видел — только и смотрел что на Мюро. А он на все мои вопросы отвечал:

— Ну, понятно, все здорово. Маргарита свежа и весела, и дядюшка Жан не отстает от нее: у него все такой же толстый живот и усы, как у гусара.

Я же, слушая его, приговаривал:

— Вот хорошо-то!.. Очень хорошо!..

На меня точно пахнуло ароматом родных краев; я умиленно поглядывал на старика Кентэна Мюро, и он казался мне даже красивым, несмотря на большую бородавку у носа и маленькие, прикрытые набрякшими веками глазки, с желтыми, как солома, ресницами.

Но вот мы свернули в старинную улочку, где, говорят, родился тот, кто изобрел книгопечатанье, и я с удивлением увидел множество людей в блузах и бумажных колпаках или в треуголках и красных жилетах, которые толпились среди телег, запрудивших улицу. Они перекликались, обращаясь друг к другу по названию той местности, откуда кто приехал; в воздухе то и дело звучало: «Эй, Саарбург, Савери, Миттельброн...» — и названия других, знакомых мне, мест.

— Э, да вы, оказывается, не одни приехали в Майнц? — заметил я, обращаясь к Мюро.

— Нет, — сказал он. — Нас здесь больше ста пятидесяти человек. Повозки наши реквизировали и заставили нас везти сюда порох, пушки и ядра. Почту сейчас возит мой сын Батист, а я приехал сюда вместо него. Похоже, что вас собираются запереть здесь.

— И на вас никто не напал, пока вы сюда ехали? — спросил я.

Он расхохотался и говорит:

— Цфальцбургская национальная гвардия проводила нас до Рорбаха, а оттуда нас конвоировало двести национальных драгун, которых прислали из Сент-Авольда. Первые три дня все шло хорошо, но на четвертый, после полудня, натерпелись мы страху между Ландау и Франкенталем. Ехали гуськом, ни о чем таком не думая, меж драгун, следовавших за нами по обочине, слева и справа от дороги, как вдруг человек десять драгун, ускакавших вперед, примчались обратно и говорят, что прямо на нас движется множество красных плащей и стычки не избежать. Вдоль дороги прокатилось: «Стой! Стой!» — глядим, с пригорка уже мчатся на нас всадники в меховых шапках, с длинными копьями.

— И вы не испугались, дядюшка Мюро?

— Испугался? Да ты что! — воскликнул он. — Смелиться надо мной вздумал, Мишель? Драгуны наши поскакали им навстречу, и под горой, в лощине, завязался бой. А мы смотрели на них с дороги. Тут вдруг с десяток этих мерзавцев отделились от остальных и, пока те про-



должны были биться, понеслись на нас. Скачут, а сами кричат на ломаном немецком языке, чтоб мы опрокинули повозки. Я ехал пятым или шестым; те, что были впереди меня, — удрали, и один из этих красных плащей, высокий чернявый парень, подскочил ко мне, с этакой злостью сунул пистолет под нос и велел распригать лошадей.

Но я отвел его руку, развернулся и так саданул кнутовищем по уху, что половина его бакенбард осталась на рукоятке и все коренные зубы с левой стороны вылетели изо рта. Перед глазами у него, видно, все поплыло, он закачался в седле, уздечка выпала у него из рук, ноги не держались в стремях. Тут двое других, которые издали наблюдали эту картину, помчались ему на выручку, решив посадить меня на шкуру, — еле я успел спрятаться от них за повозку. Зато верзила Макри из Трех Хуторов поплатилась за меня: один из красных плащей проткнул ему плечо бок и пригвоздил к земле, да и Никола Финк, который кинулся было ему на помощь, получил два больших шрама — поперек носа и через всю щеку. А я остался целехонек: драгуны уже возвращались, и бандиты бежали, оставив в лоцине, на поле боя, человек пятнадцать. Мы же получили на подмогу несколько лошадей.

Старик Мюро от души смеялся, рассказывая мне это.

— Ну, а как насчет суда над Людовиком Шестнадцатым? — спросил я. — В наших краях об этом тоже много говорят?

— О суде над Капетом? Да, — сказал он, — бабы у нас об этом без конца толкуют. Моя даже хотела поставить за него свечку, но я ей за это дал жару! Поп из Герридорфа уверяет, что легион ангелов спустится с неба, чтобы его защитить. Наши жандармы сколько раз приезжали забрать этого мерзавца, но на колокольне у него сидит человек, и стоит появиться жандармам, как он сообщает попу и тот спасается бегством. Надо будет поджечь его пору — вот что. В прошлое воскресенье я встретил твою мать на дороге в Герридорф: она совсем поседела от горя и жалости к Марии-Антуанетте, а той ведь и дела нет до нее и ей подобных.

Но все это, Мишель, ерунда. Нам, крестьян, которые живут в пригородах, больше всего интересует гражданин Камбои\* — он делит землю эмигрантов на маленькие уча-

стки, чтобы каждый мог купить себе надел, да еще продает их в кредит! Ну и в добрый час! Вот этого я уважаю. Пусть только попробуют дворяне отобрать у нас землю после того, как мы заплатим за нее, пусть только попробуют, — все крестьяне Франции — тысячи, сотни тысяч крестьян — набросятся на них и уничтожат этих лежебок всех до одного. О господи, да если б я знал об этом раньше, разве стал бы я столько пить! Ведь какую прорву штофов и полуштофов опустошил я за последние тридцать семь лет в кабачках и пивных. Все эти денежки вложил бы в луга, да леса, да в добрые земли! Ну, да что было, то случилось, нечего об этом и думать. Надо только, чтобы дети наши вынесли из этого урок: что вышито и съедено, того уже не вернуть.

Ну, а что до Калета, отрубят ему голову или отправят за границу между двух жандармов — мне все равно, лишь бы моя старуха не таскала у меня трудовые денежки и не тратила их на молебны за него! Только я гляжу и оба, можешь не беспокоиться, да и другие тоже. Сотни лет дворяне владели всеми землями, а мы, несчастные крестьяне, должны были довольствоваться царством небесным, — теперь настал наш черед!

Мы как раз вошли в большие ворота гостиницы, и славный мой спутник заметил:

— Вот мы и пришли, Мишель. Подожди, я заберусь в повозку — корзина твоя стоит там, в глубине.

Он залез в свой большой фургон и минуты через две протянул мне корзину:

— На, получай свою посылку.

Это была корзинка, сплетенная моим отцом, совсем такая же, какую года два назад я послал в Париж, на улицу Булуа, дом одиннадцать, — только поменьше. От волнения у меня даже дух перехватило, когда я взял ее в руки и вспомнил те далекие добрые времена.

— Сколько же я должен вам, дядюшка Мюро? — тихо спросил я.

— Да что ты, ерунда какая! — сказал он. — Бутылку вина, если тебе так уж хочется, Мишель.

Мы зашли в гостиницу, и я попросил подать нам бутылку вина. В зале было полным-полно. Возле печки я обнаружил верзилу Никола Финка, из-под полей большой фетровой шляпы у него виднелась намочная от крови повязка. Он, видимо, томился и дремал.

Я сел в уголок, возле двери, напротив Мюро, и прилежась читать письмо от Маргариты.

Да, всем людям дано счастье быть любимым хотя бы раз в жизни, но когда тебя любит женщина разумная, которая не только без конца заверяет тебя в своей любви, а живет твоими заботами, ободряет тебя, дает добрый совет и не забывает о том, что может доставить тебе радость, — когда тебя любит такая женщина, ты помнишь об этом счастье и в девяносто лет и по-своему гордишься тем, что мог внушить такую любовь, ибо выпадает она людям на долю куда реже, чем крупный выигрыш в лотерее.

В корзинке, которую мне прислала Маргарита, лежали две хорошие новые рубашки и шерстяные носки — чтобы у меня ноги не стыли; она даже пришла к ним войлочные стельки, предохраняющие от сырости. Потом она еще прислала мне шерстяную фуфайку и крепкие башмаки, подбитые крупными гвоздями — словом, все, что может потребоваться человеку, когда он вынужден жить в грязи и ему хочется после работы поскорее согреться. Какой же надо быть умной и рассудительной, чтобы обо всем подумать! Да и не только об этом: в корзинке был еще хороший окорок, кусок копченого сала и бутылка кирша. Псылка привела меня в полное умиление, и я, естественно, дал обет поберечь себя ради этой разумной и сердечной женщины, но, конечно, так, чтобы мой долг перед родиной и свободой не пострадал. Однако хватит об этом, — тут меня всякий поймет.

В письмо Маргариты было вложено письмо от Шовеля, которое я потом потерял, о чем весьма сожалею, ибо оно многое объясняло. Как там было написано, так все и случилось. Адресовано оно было мастеру Жану из Лачуг-у-Дубника и помечено, если не ошибаюсь, 4 декабря 1792 года.

В этом письме Шовель очень подробно рассказывал о вожжах Горы и, в частности, о Дантоне, которого он ставил выше всех за отвагу, за природное краспоречие, здравый ум и доброе сердце. Он писал, что этот мужественный человек после каждой стычки в Конвенте первым протягивал руку жирондистам и во имя родины заклинал их забыть вражду и в интересах республики присоединиться к Горе, но партия Жиронды, где было немало великих ораторов, безоговорочно подчинилась

г-же Ролан, женщине честолюбивой, которая терпеть не могла Дантона.

Шовель писал еще, что если жирондисты будут упорствовать и противиться проведению всех мер, необходимых для спасения родины, рано или поздно дело дойдет до открытой схватки, а это повлечет за собой великие беды: некоторые департаменты на юге поддерживают своих депутатов; неисрягнувшие священники и дворяне из Ванден, уж конечно, не упустят случая начать гражданскую войну, и опасность, которая нависнет над республикой, заставит нас прибегнуть к страшным мерам.

Все это огорчало Шовеля: ведь он-то готов был идти до конца, потому его и возмущали люди вроде Верньо, позволившие второй Марии-Антуанетте командовать партией Жиронды\*. Кончал он свое письмо сообщением о том, что в Конвенте скоро будут голосовать, надо ли судить короля. Делается это для того, чтобы вывести на чистую воду жирондистов, а может быть, и внести разлад в их партию, — так или иначе, после того как они выкажутся за суд или против, — сразу будет видно, реалисты они или республиканцы.

И Шовель оказался прав: с самого первого дня суда над Людовиком XVI стало ясно, что на уме у этих гоепод, — ни один здравомыслящий человек уже не мог тут усомниться.

Словом, эти два письма доставили мне величайшее удовольствие. Я заплатил за бутылку вина и, наказав Мюро расцеловать Маргариту в обе щеки, а также поцеловать моего отца и братишку Этьена, взгромоздил корзину на плечо и весело зашагал в нашу казарму на Капуцинерштрассе.

На другой день, 22 января, парочные привезли весть о том, что король приговорен к смертной казни, а дня через два или три мы узнали, что приговор приведен в исполнение, невзирая на сопротивление жирондистов, которые до последней минуты требовали отложить казнь, хотя в Конвенте сами же голосовали за нее.

Весть о казни короля была встречена в армии с величайшим ликованием.

Все радовались тому, что наконец-то правосудие стало единым для всех и что если даже сам король нарушает обет и предаст родину, то и ему несдобровать. В то же время все понимали, что европейские короли ополчатся

на нас за то, что мы подали их народам такой дурной пример: августейшие особы, привыкшие смотреть на других людей, как на скотину, а самих себя считать богами, никогда нам не простят, ибо мы показали, что им можно рубить головы, как обычным бандитам, — словом, все понимали, что не миновать борьбы не на жизнь, а на смерть между ними и республикой и что в этой борьбе мы должны положить их на обе лопатки.

И тем не менее вся Франция ликовала: в последующие две недели в Конвент поступило множество адресов с миллионами подписей — люди благодарили в них Конвент за то, что он сделал.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Весь февраль шли к нам обозы с зерном и соломой, а главное — пушки, подводы с порохом и с ядрами; мельницы, сооруженные на сваях посреди реки, работали без остановки; мука накапливалась на складах. — словом, все указывало на то, что мы готовимся к блокаде.

Первого февраля жирондист Бриссо предложил Конвенту объявить войну Англии и Голландии; он сказал, что английский народ только этого и ждет, чтобы свергнуть свою аристократию и провозгласить республику; добрые эти вести пришли-де к нему из Лондона, и за достоверность их он ручается.

А на самом деле премьер-министр Питт \* сообщил эти ложные известия Бриссо через подставных республиканцев. Питту необходима была война с Францией, чтобы прекратить распространение идей нашей революции в Англии и вернуть аристократам всю их силу \*. Он бы давно уже сам на нас напал, если б не боялся, что народ восстанет против его политики; а вот одурачив Бриссо, можно заставить Францию объявить войну, тогда роль его окажется более выигрышной, ибо англичане вынуждены будут защищаться.

Ух, до чего же я зол на этого Бриссо! Ведь и так уж жирондисты своими криками в Законодательном собрании, своими речами против Робеспьера, который стоял за мир, своими кознями против него и его друзей, своими

газетенками до того возбудили умы, что под конец заставили нас объявить войну Германии, хотя мы вовсе не были к ней готовы. Война эта привела к вторжению немцев в Шампань и к сентябрьской резне. Правда, в конечном счете победили все-таки мы. Но для этого пришлось провозгласить отечество в опасности, подблечь на борьбу, вооружить, экипировать сотни тысяч человек, потратить не один миллион. И потом — когда люди заняты войной, все идет прахом: торговля, ремесла, земледелие — все приходит в упадок из-за недостатка денег и рук. Всею этому мы были свидетелями. Люди ничего не зарабатывали; они уже не могли покупать земли эмигрантов; ассигнаты, в которых выражалась стоимость земли, теряли свою ценность; приходилось вынуждать их в великом множестве, но чем больше их выпускали, тем меньше они стоили, — словом, нищета росла ото дня.

Все это должно было бы заставить наших представителей в Конвенте подумать, прежде чем столкнуть нас с новым врагом.

Но Конвент, обманутый Бриссо, а возможно, сбитый с толку нашими победами в Германии и Бельгии, объявил войну Англии и Голландии. Правда, Конвент понимал, что Питт ни перед чем не остановится, чтобы отомстить нам за ущерб, который мы причинили Англии во время ее войны с Америкой, а потому был издан декрет о наборе в армию еще трехсот тысяч человек и о разделении наших вооруженных сил на восемь армий: три должны были стоять на севере, одна — в Альпах, одна — в департаменте Вар, одна — для охраны Пиренеев, одна — на побережье Ла-Манша и восьмая, так называемая резервная, — в Шалоне.

Конвент издал также декрет о преобразовании армии, как это предлагал в своем докладе Дюбуа-Крансе \*. Этот декрет, объявленный приказом по батальонам, провозглашал отмену всяких различий между так называемыми линейными пехотными войсками и национальными волонтерами; вся пехота, находившаяся на содержании республике, сводилась в полубригады, каждая из которых состояла из одного батальона бывших линейных войск и двух батальонов волонтеров; таким образом, каждая полубригада состояла из трех батальонов, а каждый батальон — из девяти рот, из них — одна рота grenадер и восемь стрелковых рот; рота grenадер состояла из шести-

десяти двух человек, включая офицеров, унтер-офицеров, капралов и барабанщиков, а стрелковая рота — из шести-десяти семи человек; для всей пехоты вводилась единая форма, основанная на национальных цветах; вводиться она должна была постепенно — по мере того, как военное министерство будет заменять обмундирование; каждой полубригаде давался свой номер, который обозначался на пуговицах и на знамени; полубригаде придавалось шесть четырехдюймовых пушек и рота орудийной прислуги; продвижение по службе, за исключением командира бригады и капрала, должно было происходить двумя способами, а именно: одна треть получала повышение на один чин за выслугу лет — по всей полубригаде сразу, а две трети — путем выбора одного из трех кандидатов, названных солдатами на каждое вакантное место. Бригадные и дивизионные генералы назначались: одна треть — за выслугу лет и две трети — по выбору военного министра, с последующим утверждением их Законодательным корпусом.

Я потому так подробно рассказываю об этом декрете, что именно полубригады, созданные республикой по единому образцу в 1793—1794 годах, вернули нам немало наших главных провинций, которых поляки империи, к несчастью, не сумели удержать. Вот почему простой здравый смысл подсказывает, что если мы хотим завоевывать провинции, а не терять их, надо вернуться к бессмертным полубригадам — недаром последние солдаты этих полубригад стали потом маршалами империи, а маркизантами — принцессами.

Словом, декрет этот принес много пользы: почти не стало стычек между линейными солдатами и волонтерами; один полны были энтузиазма и рвались в бой за свободу, другие были хорошо вымуштрованы и дисциплинированы, — короче говоря, армии республики стали более стойкими и более смелыми.

К началу марта наш доблестный командир Менье с двумястами пятьюдесятью гренадерами вернулся из Кенигштейна, старого ястребиного гнезда, какие лежаты десятками на прирейнских скалах. Будто сейчас вижу, как они переходят мост, худые, истощенные, глаза блестят, точно у крыс, на ветру полощется разорванное знамя, а сзади везут восемь пушек мелкого калибра. После трехмесячной осады их наконец выпустили из крепости вместе с орудием.

— Да здравствует Менье! — кричали мы. — Да здравствуют гренадеры из Кенигштейна!

Они улыбались, обнажая под усами крепкие зубы, обменивались рукожатиями с товарищами.

Через две недели Менье получил чьи генерала, и Конвент издал декрет, в котором от имени родины объявлялась благодарность защитникам Кенигштейна.

Наша армия занимала тогда всю местность между Наа и Рейном, от Бингена до Шпейера; склады наши находились во Франкентале, чуть повыше Вормса, а народу нас было тысяч сорок — сорок пять.

Войска противника, после нашего отступления из Франкфурта, разбитые на три группы: первая, состоявшая главным образом из саксонцев, осаждала Кассель; вторая — тысяч пятьдесят пруссаков и гессенцев — перешла через Рейн в Рейнфельде, несколькими лье ниже Бингена, и заняла местность между Наа и Мозелем, слева от нас; и, наконец, третья, состоявшая из двадцати пяти тысяч австрийцев под командой генерала Вюрмсеера, поднялась по Рейну до Мангейма и угрожала правому флангу.

Австрийцы намеревались перейти реку у нас в тылу, в то время как пруссаки должны были напасть на наш левый фланг и отрезать нам дорогу на Ландау; таким образом вся наша армия оказалась бы занертой в Майнце. Но генерал Менье, стоявший в Шпейере с двенадцатью тысячами солдат, наблюдал за всеми передвижениями неприятеля.

Вот как обстояло дело, когда однажды утром по Майнцу разнесся слух, что пруссаки напали на наш левый фланг и мы выступаем против них. Слова зазвучало вокруг: «Да здравствует республика!» — а затем наш батальон, четыре батальона парижских федератов, лангедокские стрелки, вольные гусары и артиллерия вышли из крепости, и по дорогам, спускавшимся к Рейну, вдоль живых изгородей, насколько хватая глаз, бескончаемой вереницей потянулись бывшие линейные полки — еще в белых мундирах, и батальоны волонтеров — в синих с красным. У каждого солдата сумка была набита патронами. Наш новый командир, Никола Жорди из Абершвиллера, чернявый коренастый здоровяк, прибывший всего несколько месяцев тому назад с волонтерами из своей деревни, то и дело оборачивался, — а ехал он на огромной лошади, — и кричал, совсем как Нейвингер под Шпейером:



— Эй, горцы, покажем себя сегодня!

Все смеялись, все были довольны. Часа в два вдалеке заговорила пушка: хотя погода стояла ясная, дымок был еле виден; вся дивизия бежала уже целый час, как вдруг прискакали ординарцы и принялись кричать, чтобы мы возвращались в Майнц. Ушар с Нейвингером атаковали было врага близ Штрэмберга, но, узнав, что целый корпус в десять тысяч пруссаков вышел из Трира, перебрался через Наа и движется им в тыл, приказали отступить.

К ночи мы вернулись в город, покрытые грязью и очень злые на то, что нам пришлось зря проделать такой путь.

На другой день потянулись повозки с ранеными.

Ушар с Нейвингером, однако, оставались в Бингене, но 28 марта противник двинул против них такую армию, что и они вынуждены были отступить, а Нейвингер, который, несмотря на приказ Кюстинга, хотел во что бы то ни стало удержать позиции, даже попал в плен.

Это было первое поражение, которому я был свидетелем, ибо наш батальон вскоре получил приказ выйти из крепости и занять холм, на котором возвышалась городская виселица, попытаться остановить неприятеля. Девяносто шестой линейный полк, наш батальон да еще два других стояли здесь с утра до вечера, и мне казалось, что я в жизни не слышал такого свиста пуль и гула ядер, — столько их сыпалось на нас в тот день.

Командир эскадрона Кларк\* — потом он стал герцогом Фельтрским — со своими орлеанскими драгунами прикрывал отступление наших войск из-под Бингена; его окружили тысячи гессенцев, но он дрался до тех пор, пока все отставшие и раненые не провали у подножия занятого нами холма, и только тогда вырвался сам из окружения.

Это была последняя стычка, в которой участвовал наш батальон; потом началась осада.

Два дня спустя, 30 марта, Кюстинг попытался остановить пруссаков у Обер-Флерсгейма, между Альзеем и Вормсом, но, испугавшись, что австрийцы, которые перешли Рейн у Шнейера, отрежут его от своих, потерял голову и поспешил отступить за Виссесбургскую линию укреплений. Перед этим он сжег склады на Франкентале. И вот вскоре наш корпус вынужден был запереться в Майнце.

Не раз видел я потом большие скопления народа, но никогда не видел такого множества, как в Майнце, после отступления из-под Бингена; большие дома вокруг площади были превращены в казармы; храмы, синагога, лютеранская церковь, крытый рынок, семинария, замок — в сеновалы, конюшни, квартиры для солдат; самый большой склад был устроен в соборе. Да, великое там было множество людей — пешие, конные, полки ветеранов и вольные отряды; горожане, лавочники, ремесленники, женщины, дети — все это кишмя кишело на узеньких улочках, на площадях, вдоль крепостных стен, у ворот города. Это необычное зрелище до сих пор стоит у меня перед глазами.

Новые комиссары прибыли в город: Пфлягер, Риттер, Луи; их прозвали «клубистами»; они помогали майнцекскому доктору Гофману просвещать народ\*, рассказывали жителям о республике, только их всегда приходилось охранять, ибо всякие злодеи то и дело поднимали голову.

Решено было сделать еще одну попытку прорваться в сторону Вормса и таким образом сократить гарнизон, но, к несчастью, пруссаки охраняли дороги и заставили отряд вернуться в крепость. Теперь нам предстояло обороняться.

Командантом нашей крепости был генерал Дуаре. Генерал-инженер Мейнье, специально прибывший из Парижа, чтобы строить укрепления в Касселе, защищал этот город с полутора тысячами солдат. Обер-Дюбайе, генерал-адъютант Клебер и депутат Конвента Мерлеп вели главным образом снабжением.

Нас перестали считать волонтерами, — теперь и мы подчинялись уставу линейных войск. Генерал-адъютант Клебер в ту пору был человеком очень суровым по части дисциплины: говорил, что он привык у австрийцев пускать в ход *shlague*<sup>1</sup> и теперь жалеет, что нельзя этого делать.

Был создан военный суд, который непрерывно заседал в ратуше, и, помнится, за бастионом св. Жана почти каждое утро расстреливали двух-трех мародеров, так сказать, для острастки; очень хотелось бы верить, что то были воры, или мерзавцы, которые оскорбили или обобрали честных людей, да только арестовывали тогда по жалобе

<sup>1</sup> Шпцрутены (нем.).

любого гражданина. После нашего ухода из Франкфурта весь край поднялся против нас; теперь за все надо было платить чистоголом, а жалованья мы не получали, так что приходилось довольствоваться солдатским найком.

Дурные вести из Северной армии, разгром корпуса генерала Валанса под Лахеном; восстание в Вандее, где поднялись и священники, и дворяне, и крестьяне; поражение Дюмурье под Нервинденом; интриги Питта, который втраививал на нас всю Европу; резня, которую устроили французам в Риме; призывы Дантона спасти республику, его требование создать Революционный трибунал для суда над предателями и ввести налог на богачей; выступления жирондистов, которые всегда готовы были объявить войну и посягать на смерть нас, сынов народа, сотнями тысяч, а когда речь заходила о том, чтобы отдать под суд короля, предавшего родину, лишит жизни заговорщиков или отобрать деньги у богачей, они приходили в ярость, — все это раздражало и подогревало наш гнев, тем более что на одного нашего солдата приходилось пятеро немцев и отомстить им мы не могли.

Шестого апреля австрияки, пруссаки и гессенцы появились в окрестностях Майнца. В город понаехало немало народу из окрестностей с овощами для рынка, и когда бедные крестьяне узнали, что мы собираемся запереть городские ворота, они схватили свои корзинки и плетенки и с громкими криками бросились бежать. Я как раз нес караул у Готорекских ворот и, глядя на пробежавших мимо крестьян, подумал, что они куда счастливее нас: они могут выйти из города и жить в своих деревушках на свежем воздухе. И мне вспомнилась блокада Ландау: до чего же тяжело сидеть недели и месяцы взаперти!

У неприятеля еще не хватало сил, чтобы начать осаду, — он лишь плотно обложил нас со всех сторон. Мы палили всею по его патрулям; противник отвечал; пальные пули свистели на улицах — то тут, то там вдребезги разлетались стекла или падал раненый прохожий, которого потом горожане уносили с громкими воплями; женщины, воздев руки к небу, жаловались на постигшую их беду и думали, что это уже война, однако им предстояло увидеть кое-что и похуже.

Гарнизону каждый день приходилось делать вылазки — в Вейссенау, Марнеборн, Бретценгейм и во все окрестные деревни — за скотом, ибо генерал Кюстин по

выполнил своего долга и не обеспечил крепость провиантом. У нас было достаточно пушек, пороху, вина, пива, водки, сена и муки, но мяса не хватало. Вскоре, однако, эти маленькие экзекюции пришлось прекратить, ибо крестьяне угнали весь скот в леса, и солдаты возвращались с пустыми руками.

И все же солдаты группами уходили из крепости мародерствовать, и среди них всегда был Марк Дивес, но это продолжалось недолго, потому как пришел приказ стрелять в каждого, кто задумает выйти из города, а поскольку рвы вокруг Майнца полны были воды и по дорожкам, которые веди к редутам, невозможно было пройти, чтоб тебя не увидели часовые, — никто на это больше не отваживался.

Так продолжалось до конца апреля.

В часы, свободные от службы, нас одолевали всякие мысли: бюлаетени Конвента больше не приходили, зато приходили фальшивки, которые печатали пруссаки во Франкфурте; в них говорилось, будто во Франции царит хаос; приводились списки известных патриотов, которых якобы отравили на гильотину; сообщалось, будто Северная армия поднялась против Парижа, будто бунтовщики одерживают победу за победой в Вандее, а Мария-Антуанетта будет регентшей, пока сын ее Людовик XVII не достигнет совершеннолетия, и так далее, и тому подобное. Сколько ни говорили наши офицеры, что слухи эти ложные, что неприятель сам печатает эти листки и подбрасывает их на наши аванпосты, тревога все сильнее овладевала людьми, и многие стали поговаривать о том, что надо выйти всем из крепости, опрокинуть противника и соединиться с армией, стоявшей в Виссенбурге; назревал бунт, и, чтобы предупредить его, наш командир Дугаре вынужден был издать приказ о том, что Майнц объявляется первым барьером республики против Европы, что неприятель не сможет вторгнуться во Францию, не отобрав у нас этой крепости, и что те негодяи, которые задумают ее покинуть, будут расстреляны на месте как предатели родины.

Австрияки попытались установить две батареи — одну на дороге в Ворме и другую — повыше мельницы, на опушке леса, где мы стояли лагерем, когда пришли из Шпейера; но наши сорокавосемидюймовые большие пушки подбили их, после чего распространился слух, что враг

решил взить нас голодом, да только мы считали, что Кюстин, конечно, выручит нас, и все удивлялись, чего он медлит.

В начале мая возобновились вылазки — то в одном направлении, то в другом; надо было тревожить неприятеля и не давать ему строить укрепления. Так продолжалось до конца осады.

Помнится, в ночь с 30 на 31 мая мы даже предприняли одну крупную вылазку в деревню близ Мариебурга, где была главная квартира неприятеля. Мы надеялись застигнуть врасплох и, может, даже захватить в плен прусского короля. Отряд в пять или шесть тысяч человек вышел из крепости между полночью и часом ночи, обрушился на аванпосты противника и обратил его в бегство; солдаты добрались до главной квартиры Фридриха-Вильгельма и успели перебить сотни стреложенных лошадей королевской гвардии. Но тут была дана тревога: тучи пехотинцев и кавалеристов обрушились на наш отряд и, преследуя его по пятам, заставили вернуться в крепость. Мы потеряли в этой вылазке много народу, ибо один батальон волонтеров принял Сентонжский полк, еще носивший белые мундиры, за австрийцев и открыл по нему огонь.

На другой день Фридрих-Вильгельм подверг город страшной бомбардировке. Должно быть, он крепко испугался накануне.

Примерно в середине мая, одной особенно темной ночью, неприятель атаковал наши укрепления со стороны Вейссенау и Мариеборна; мы как раз собирались сделать вылазку и свали почти всех солдат с редутов, — оставили лишь небольшие подразделения, которые неприятель сокрушил в один миг. Тогда на Рыночной площади и на всех улицах забил сбор. На крепостной стене заговорил пушка, озарив красноватыми вспышками выстрелов бастион св. Жана, бастион св. Филиппа и цитадель — слева, у Рейна. Наши укрепления в Касселе тоже открыли огонь. Войска быстро стровались на площади среди сбежавшей испуганной толпы, которую приходилось отгонять, чтобы она не мешала. Не теряя времени на переключку, батальоны, построившись, уходили в ночь на помощь редутам. У Новых ворот спустили мост, и, очутившись за городскими стенами, на гласисе, мы сразу увидели, куда надо бежать, ибо в редутах стрельба шла в упор.

Наш командир Жорди крикнул: «Вперед, товарищи!. В штыки!..» — и мы бегом ринулись на врага. Над нашими головами со страшным свистом пролетала картечь из двух бастионов. Когда мы добрались до первого редута — редута св. Карла, — в нем не было ни души, но пруссаки кишели вокруг, и мы ринулись на них с такой яростью, какую я наблюдал разве что под сводами ворот Швейфера. Всю жизнь будут звучать у меня в ушах проклятья на немецком и французском языках, которыми осыпали друг друга сражавшиеся, когда наш батальон схватился с пруссаками и при вспышках оружейных выстрелов пошла рукопашная. Это была настоящая бойня! Солдаты делали выстрел, а потом, не теряя времени на то, чтобы перезарядить ружье, бросались вперед со штыком наперевес и чувствовали, как он входит во что-то мягкое; теперь раздавались лишь отдельные выстрелы, и на миг возникала из темноты вся эта резня, горы убитых и раненых, ожесточенные лица сражавшихся.

Но продолжалось это недолго.

Внезапно две или три гранаты, пролетев над насыпью редута, разорвались вдали, и при свете взрывов мы увидели отступавших пруссаков. Тут как раз беглым шагом приблил один из наших линейных полков и занял позицию справа от нас, за кучами земли и упавшими турами. Мы друг друга не видели. Битва продолжала кипеть у бастиона св. Филиппа — трескотня ружейной стрельбы то усиливалась, то затихала вместе с криками, словами команды на французском и немецком языках и канонадой. Тьма стояла крошечная. Слышался также тонот скачущих лошадей.

Минут через двадцать все утихло. Батальон построился, взял ружья на плечо. Каждый спрашивал у соседа: «Слушай, ты такой-то?» — «Это ты?»

Многие такие вопросы оставались без ответа!

Я тоже крикнул:

— Эй, дядюшка Сом?! Марк Дивес?! Жан Ра?!

И старина Сом откликнулся:

— Я здесь, Мишель. Все в порядке?

— Да, а у вас?

— У меня небольшая царапина — пустяки!

Тут я услышал голос Марка Дивеса, говорившего кому-то:

— Мерзавцы! Небось про это не напишут в своих газетках.

Все прислушивались, но вокруг стояла полнейшая тишина — лишь несколько раненых стояли и жаловались, прося, чтобы их подобрали.

Наш батальон пробыл там до рассвета, дожидаясь приказа вернуться. Мы потеряли немало народу, но пруссаки еще больше — из-за обстрела картечью. Зато наших солдат, которые находились в редутах и были застигнуты врасплох, вырезали всех до одного.

После того дня бомбардировка возобновилась, еще более жестокая, чем прежде, — гранаты, бомбы, раскаленные ядра так и сыпались на нас; пожары венихивали в четырех-пяти местах сразу; не успевали потушить в одной стороне, как надо было бежать в другую.

Но и мы продолжали делать вылазки на обоих берегах Рейна, и в одной из таких вылазок, которую мы предприняли, чтобы овладеть острогом Марса, где пруссаки установили сильную батарею, разорвавшейся гранатой был ранен генерал Мейнье, комендант Касселя, — от этой раны он и умер через несколько дней.

Весь гарнизон скорбел об этой утрате. Мейнье был храбрый солдат, хороший патриот и очень знающий инженер. Не у одного солдата при вести об этом несчастье выступили слезы на глазах. Наше начальство договорилось о перемирии, чтобы мы могли похоронить генерала в небольшом форте, который он сам построил месяца четыре или пять тому назад, и даже пруссаки, завидев, как мы идем, потушившись, с опущенными ружьями, не удержались и воздали последние почести этому республиканцу, который так мужественно с ними сражался, дав залп из всех своих батарей. Фридрих-Вильгельм, не отличающийся добрым сердцем, на этот раз показал, что он, по крайней мере, уважает храбрость и талант.

Все это происходило 13 июня.

Дня через два или три неприятель заложил свою первую траншею слева от Майнца, за деревенькой Вейссенау. Мы удвоили вылазки, чтобы помешать их работам и защитить наши редуты. Иной раз мы делали вид, будто оставляем свои сооружения, но стоило неприятелю занять их, как огонь наших бастионов сметал врага, а мы возвращались на свои места.

Тут начались страшные бои: немцы сражались на глазах у своих государей, которые издали наблюдали за ними в подзорные трубы, а всякий знает, каким храбрым становишься солдат, когда он дерется на глазах у своего государя! И все же каждый раз мы давали им отпор: за изгородами, во всех канавах, вдоль садовых оград, даже среди могил на монастырском кладбище, что напротив цитадели, — всюду грудami и в одиночку лежали спиною к белым мундиры; наших тоже было достаточно, только наши лежали в лохмотьях, ибо со времени захвата складов в Вормсе дождь, снег и солнце сделали свое дело, и одежда наша изрядно обветшала. Какие-то черно-белые птицы с большими крыльями, прилетающие на берега Рейна, сидели на мертвечах и клевали их. Погода стояла жаркая, была как раз пора гроз, и, когда ветер дул с той стороны, все убегали с крепостного вала. Подобное зрелище всегда паводит на размышления, особенно когда человек говорит себе:

«У нас сегодня вечером вылазка, и, может, завтра я тоже буду там лежать».

Если ты, конечно, не туница, то, как бы ты ни привык идти в бой, с каким бы презрением ни относишься к пулям и ядрам, к ударам саблей и штыком, такие мысли все равно приходят в голову, а хотелось бы думать о чем-то более веселом.

Каждый вечер, часов около девяти, пруссаки и австрийцы начинали обстрел города, и бомбы, промелькнув среди звезд, падали на мостовые или попадали в старые дома и, пробив крышу, этаж за этажом обрушивая потолки, разрывались где-нибудь в погребе — среди сала, водки, смолы, или же в лавчонках, где торгуют свечами, бакалеей и всякими снаббьями, осыпая все вокруг осколками оконного стекла; вспыхивали пожары, повсюду стоял стон и плач; это было зрелище, к которому я так и не смог привыкнуть, хоть и говорят, что привыкнуть можно ко всему.

Раздавались крики: «Горим! Горим!»; бежали какие-то люди, и чем ярче разгоралось пламя, тем больше сыпалось ядер и гранат на тех, кто сражался с огнем; трещали ружейные выстрелы, ухали пушки, звучала «Марсельеза», а утром, чуть начинало светать, по темным улицам несли раненых — кое-где еще дымилась развалины, со страшным грохотом вдруг обрушивалась крыша;



в уцелевших домах с накренившимися стенами можно было увидеть несчастных женщин—сидят, притулившись, в уголке и греют руками озябшие ноги; а там старики, свесив голову на грудь, примостились на крыльце, возле старой обрушившейся двери; иные бродят толпами по улицам, несчастные, обездоленные, держа все свое имущество под мышкой, — еще совсем недавно они жили в достатке, а сейчас хуже нищих, умирающих с голоду... Да, на все это люди молодые не обращают внимания, а вот в старости вспоминаешь все, как дурной сон, и спрашиваешь себя:

«Неужто это в самом деле было? Неужто я видел эти ужасы?»

И отвечаешь себе:

«Да, видел, и в тысячу раз более страшные».

К примеру, немецкие государи налили по своим же подданным. А сами, расположившись в ярких полосатых палатках, среди зелени лесов или в тени фруктового сада, имея под рукой хороших лошадей, задавали пиры, вели приятную беседу и попивая шампанское, в то время как специально согнанные для этого крестьяне плясали перед ними под звуки кларнета. Прелестные дамы и сочинители песен приезжали развлечь их и полюбоваться издали красивым зрелищем бомбардировки. Кареты их галопом мчались по пыльным дорогам, — жаль, что из пушки нельзя было до них достать, ибо стереть с лица земли подобных себялюбцев было бы сущим удовольствием.

Но самым страшным было то, что после двух месяцев блокады и пятнадцати дней осады, когда сгорело несколько складов с мукой, у нас стало худо с провiantом. Погорельцы, оставшиеся без куска хлеба и погибавшие от голода, толпились перед домом коменданта, отчаянно плакали и стонали и именем господа бога молили разрешить им выйти из города. Вся улица была заполнена ими; часовые не в силах были сдерживать их напор, так что им удалось даже проникнуть в здание: они пролезли, чтобы выпустить хотя бы женщин и детей.

Комендант не хотел, чтобы неприятель узнал от этих людей, каково положение в крепости, и до 24 июня отказывал в разрешении; но тут вопли и жалобы стали просто нестерпимы, так что он велел открыть Рейнские ворота и выпустить погорельцев, которые согнями повадились из

города. Многие горожане решили воспользоваться случаем и вывезти также свои семьи. Людской поток не прекращался с девяти утра до полудня. Майнц отделен от Рейна старым крепостным валом, поросшим травой. И вот когда несчастные вышли из города и потянулись цепочкой к Кассельскому мосту, а ворота закрылись за ними, немцы вдруг принялись обсыпать их картечью.

Я стоял на карауле у арсенала, на одной из крепостных башен, за плацем для парадов — там еще есть пруд. Как сейчас слышу страшные крики жепции: волоча за собой детей, они кинулись врассыпную — длинные юбки мешали им бежать, они падали, рвали на себе волосы, многие совсем потеряли голову, точно лошади, которые несутся, закусив удила, а мужчины — те оборачивались и в недоумении смотрели на летевшую на них смерть. Данная чередя этих несчастных уже переходила мост, по ядра и там настигали их и сбрасывали в воду; трупов было столько, что они образовали заторы, и мельницы, расположенные в пятистах шагах ниже по реке, остановились — пришлось шестами расталкивать тела... Пусть только немцы попробуют теперь рассказывать нам про то, какие у них добрые государи, отцы родные своим подданным! Я им на это отвечаю. Я им скажу, что все эти их добрые принцы Гессен-Дармштадтские и Веймарские, этот их добрый король Прусский, охотник до красивых женщин и шампанского, — да они все последние негодяи, вот что! Именно негодяи, и куда хуже тех, кто устроил сентябрьскую резню, — они-то ведь не страдали, как страдал народ, да и убивали не людей, обвиненных в заговоре против родины, не предателей, поров, шпионов, а несчастных немцев, умиравших с голоду.

И еще я бы сказал, что те, кто терпит подобных государей и говорит, будто бог посылает их нам как пример добродетели, ничего иного и не заслуживают — пусть над ними вечно свистит кнут и пригибает к земле ярмо.

Немцы могут спросить меня:

«Но что же, по-вашему, должны были делать ваши принцы? Оставить вам Майнц?»

Я им на это отвечаю:

«Они должны были сидеть у себя и не вмешиваться в наши дела. У нас были серьезные причины избавиться от дворян и попов, которые сотни лет шли вашей кровью. Мы

ведь ничего у ваших принцев не просили. А вы и ваши принцы вторглись в нашу страну, чтобы вернуть нас в рабство: рабы не только сами хотят быть рабами, но не могут стерпеть, когда другие, более гордые и храбрые, разбивают свои цепи и объявляют себя свободными!»

Ну ладно, хватит об этом — будем продолжать.

Наши солдаты, несмотря на строжайший приказ не пускать обратно никого из этих несчастных, не смогли долго выдержать и, види, как отчаявшиеся люди мечутся под перекрестным огнем крепости и неприятеля, стали подбирать равных детей, потихоньку открывали ворота умирающим с голода беженцам и плакали, — да, старые солдаты плакали и делились с несчастными последним куском хлеба, последней каплей водки. Офицеры наши закрывали на это глаза: они знали, что сердцу французам не прикажешь, — он никого не станет слушаться, а потом — все одинаково жалели несчастных, и наш комендант Дуаре в конце концов вынужден был открыть им ворота.

Таким образом погибло полторы тысячи обитателей Майнца, но голод тем не менее возрастал. Скот из-за недостатка кормов начал болеть, стали его бить и, чтобы не пропадало мясо, увеличили порции, а порции хлеба — уменьшили. К несчастью, эта болезнь перекинулась на людей; скоро, в конце июня, выдача мяса вообще прекратилась, суп заправляли каким-то рыбьим жиром; много у нас в батальоне не могли есть этот суп и чахли на глазах. Но когда ты прожил суровое детство, ничто не страшно, и мне, слава богу, этот суп казался ничуть не хуже бобовой похлебки, которую варила моя мать.

Само собой, несмотря на все эти беды, я не забывал о сестре и навещал ее в церкви св. Игнатия, — здание было изрядно попорчено ядрами, но пока еще держалось. Дождь проникал сквозь крышу, так что казалось, будто ты на улице; во всех приделах и проходах стояли палатки и шалаши федератов; на хорах они устроили что-то вроде театра, а в ризнице слева разместилась у них кухня; огромный котел кипел на огне, и дым столбом поднимался к сводам.

Стоило туда войти, как возникало ощущение, будто ты попал на ярмарку: в воздухе гремело «Наша возьмет!» и «Кармашола», играли в карты, спорили о политике.

Вкусно пахло мясом, ибо у санкиолотов мясо было всегда, даже когда его уже никто не мог добыть; они хватали все — собак, конек и крыс, которых ловили с помощью силков, сооруженных из бечевки и ящичков, и тысячи всяких ухищрений. У них всегда царили веселье и хорошее настроение.

По вечерам, когда их батальон был свободен от карательной службы и не участвовал в вылазках, они разгрызали фарсы у себя в театре — выворачивали пантанку свои лохмотья и даже рядились женщинами; один корчил рожи — это у них называлось пантомимой; другой произносил речи, не слишком глубокомысленные, но до того смешные, что, несмотря на голод и грустные думы, зрители хохотали до упаду. А на войне это самый дорогой подарок солдату — повеселиться-то ведь удается не часто, и если бы мы сами не развлекали себя, наверное, годами не улыбались бы.

Помните, парижане играли «Землю и Азора», «Гувернантку» и другие фарсы, где, к примеру, изображали, как генерал Кюстин собирается выступить на выручку Майяцу: вот он уже совсем готов двинуться в путь, но в последнюю минуту ему всегда что-то мешает — то ему не хватает пороху, то пушек, то он забыл заточить свою большую кавалерийскую саблю!

Сестра моя на этих представлениях занимала самое почетное место: она неизменно принимала чью-нибудь сторону, кричала, вступала в пререкания с актерами и высказывала каждому, что о нем думает; актеры прерывали игру, чтобы возразить ей, и это забавляло парижан даже больше, чем все их комедии.

Поскольку всем было ясно, что гражданка Лизбета скоро произведет на свет защитника родины, младенцу заранее готовили имя: одни считали, что его надо назвать Брутом \*, другие — Кассием \*, а третьи уверяли, что это будет девица — Корнелия \*. Лизбету это ничуть не занимало: все ее мысли поглощала кухня. Понятно, она великий раз предлагала мне присесть к их столу, и я с удовольствием принимал приглашение, не спрашивая, откуда взялось мясо и что это — конина, собака или кошка.

Мареско опять воспринял духом, более того: он был в упоении, ибо южане удивительно дорожат продолжением своего рода, — он теперь только и говорил о том,

что будет крестить Кассия по республиканским законам. Но до той поры суждено было произойти еще одному событию, о котором я долго буду помнить.

Дело было 28 июня. В тот вечер, часов в восемь, начался обстрел собора: раскаленные ядра и гранаты сверху донизу освещали колокольню; грохот рвавшихся гранат громовыми раскатами отдавался внутри, а витражи в высоких окнах сверкали, словно озаренные молнией. Все это мы видели с дороги, проходившей близ укреплений, где по команде «вольно» стоял наш батальон в ожидании вылазки, и в ту минуту, когда мы выходили из Новых ворот, собор загорелся.

Мы рассчитывали незаметно подойти к противнику: когда вдалеке полыхает зарево пожара, все смотрят на него и не видят, что происходит в темноте под самым их носом. Траншея находилась в глубине долины, напротив штабеля, за старыми карьерами и монастырским кладбищем. На беду, проводник наш, бедный крестьянин, который уже дважды верно показывал нам дорогу, сбился с пути, и мы очутились в деревне, где находилась штаб-квартира какого-то прища; вокруг стояло множество палаток кавалеристов и пехотинцев, так что не успели прозвучать первые выстрелы, а вслед за ними сигнал тревоги, как нас окружили драгуны и гусары, — куда ни повернешь, всюду они; командира нашего Жорди тут же сбросили наземь; тогда капитан попытался было нас собрать, но тоже унал, простреленный пулей. Если бы не горел собор и огонь не указывал нам направление, не уйти бы нам оттуда живыми. А так нам удалось пробраться тем же путем обратно через карьеры.

В пылу схватки я получил два удара саблей, но даже не заметил этого и, только когда мы очутились в укрытии, почувствовал, что у меня по левому боку течет что-то теплое, и понял, что ранен острием сабли; второй удар я получил сзади: у меня оказалась прорезанной шляпа, и если бы не толстая коса, не сносить бы мне головы.

Сразу я никому ничего не сказал, но, когда мы вернулись в крепость, отдал свое ружье Жан-Батисту Сому и предупредил, что ранен и иду в госпиталь. Бомбардировка продолжалась с такой силой, что все небо было красное от огня; собор обрушился, теперь горели уже и соседние дома; весь город гудел, точно улей. Было,

наверно, часа два ночи. Только я двинулся в путь, как раздался крик:

— Федераты горят!

Я взглянул направо: над темными крышами ярко пылала церковь св. Игнатия. Я сразу подумал о сестре и, вместо того чтобы продолжать путь в госпиталь, свернул на Семинарскую улицу и побежал по ней, что было мочи; когда я вышел на маленькую площадь перед церковью, пять или шесть ближайших домов были уже в огне. А на улице, озаренные ярким светом, заливавшим фасады старых домов и отражавшимся в оконных стеклах, преспокойно стояли федераты среди сваленных в беспорядке скамеек, палаток, ящиков; один держал под уздцы офицерских лошадей, другой курил трубку, многие спали на тюфяках, прямо на земле; вдоль составленных в козлы ружей, ни на кого не глядя, расхаживали взад-вперед караульные, с ружьем на плече. Никто и не думал тушить пожар: пусть хоть все сгорит! Люди вставали, ложились, причесывались, заплели косицы, чинили мундиры или башмаки, смеялись, пели, точно на дворе стоял белый день, — им и дела не было до того, что творилось вокруг. А пожар все разгорался, и жители покидали свои дома: отцы, матери, братья, сестры, малые дети уходили со своими пожитками, куда глаза глядят; согнувшись, убитые горем, следом за ними тащились старики.

Я же среди всей этой сумятицы думал только о Лизбете и, заведя издали на площади, в стороне от пожара, ее фургоны с серым парусиновым верхом, а перед ним — старую козу, которая жевала валявшееся на земле сено, вздохнула спокойно. Подле фургона Мареско и его дружки точно бешеные плясали карманьолу. Подойдя поближе, я не удержался и крикнул:

— Эй, вы! Чем вы занимаетесь?! Рехнулись, что ли?

А Мареско обернулся ко мне, расхохотался и сказал:

— Сып у нас родился, братец! Крепши! Становись на дышло.

И, не прекращая пляски, он подсадил меня и помог взобраться на передок. Удивительно беззаботный народ, эти парижане: небо может смешаться с землей, а они все равно будут вытворять всякие глупости.

Став на оглоблю, я взглянул под парусиновый верх и увидел сестру: она лежала в настоящей постели, голова

ее покоилась на большой подушке, а рядом с ней был малыш.

— А, это ты! — радостно воскликнула она. — Посмотри-ка, правда, красавчик?

Я взял на руки младенца, который оказался крупным и толстеньким, несмотря на все пережитые нами невзгоды, и от всего сердца расцеловал его. Он-то понятия не имел о бомбардировке, об опасности, о голоде; в воздухе летали искры и пепел, а ему все было ни о чем — и грохот разрывающихся бомб, и царящее вокруг смятение; он спал, насунувшись, сжав кулачки.

Когда я передавал его Лизбете, она увидела кровь у меня на руке и испуганно спросила:

— Что это у тебя, Мишель?

— Ах, это? — сказал я. — Это — ерунда. Мы как раз возвращаемся после вылазки... Какой-то гусар оцарапал мне руку.

Она как закричит:

— Мареско, Мареско, беги скорей за доктором: брата ранено!

Тут я понял, что она меня любит. Федераты окружили меня.

— Какого же черта ты молчишь, гражданин Мишель?! — раздавалось со всех сторон.

Несколько человек поддерживали меня, точно я сейчас упаду; другие побежали за водой к баку; третьи принялись стаскивать с меня одежду. Доктор Бошнар, толстяк с широким носом и седыми бровями, в огромной треуголке, обтянутой клеенкой, со скатанным плащом через плечо, прибыл немедленно; он осмотрел мое рассеченное плечо и сказал, что мне повезло: хвати этот разбойник гусар чуть выше или чуть ниже, он перерезал бы мне крупную вену. Затем доктор промыл мне рану и туго перевязал руку бинтом, который хранился у него в сумке, похожей на лягушку. Солдаты молча наблюдали за всем этим. Я сразу почувствовал себя лучше, и мне уже не хотелось никуда идти, но доктор настаивал, чтобы я отправился в госпиталь, что мне вовсе не улыбалось.

Мареско, Лизбета из глубины фургона и все прочие твердили:

— Иди немедленно в госпиталь! — Хотели даже отвести меня туда, но я заявил, что пойду один, а отойдя немного от них, свернул к нашей казарме, ибо немало

наслаивался о том, как раненые заражаются в госпитале всякой пакостью; к тому же я не очень склонен был доверять лекарям республики, которых по большей части набрали из брадобреев и зубодеров, явившихся по первому зову.

Итак, я отправился в казарму и лег рядом с Жан-Батистом Сомом — добрая половина коек пустовала. Слава богу, я заснул, а на другой день назначены были крестницы сына Мареско в присутствии писаря, и я, ни слова никому не говоря, после переклички, преспокойно отправился на площадь св. Иппация, где федераты расположились в своих палатках на бивак. Плечо у меня горело, но я думал: пусть лучше умру на месте, а в госпиталь не поиду.

Лизбета очень обрадовалась и в то же время удивилась при виде меня, но, чтобы избавиться от нудных представлений, я сказал ей, что плечо у меня не болит.

Итак, писарь вписал младенца в реестр третьего батальона парижских федератов под именем Кассия, родившегося 28 июня 1793 года от маркизанта Франсуа-Бернара Мареско и его законной супруги Лизбеты Бастьен. Затем начался шир под открытым небом, — так сказать, патриотический обед, на котором вдобавок было конины, кошек и крыс, равно как вина и водки; только хлеба было маловато, ибо пруссаки пустили по реке большие бревна и сломали мельничные колеса; приходилось молоть муку на ручных мельницах, и вот тут-то и стало ясно, что в Майнце были предатели, потому что чуть ли не каждый день мы меняли расположение наших складов и мельниц, но, куда бы мы их ни перемещали, всякий раз бомбардировали именно их.

Впрочем, не в этом сейчас дело. Патриотический праздник был устроен со всей пышностью, на какую мы в нашем положении были способны, и я даже унес с него хороший кусок конины для Жан-Батиста Сомы, чем немало его порадовал.

В городе началась опасная болезнь, объяснявшаяся не только голодом, но главным образом тем, что люди ели лошадиные трупы, которые они вылавливали из Рейна. Те, кого поражала эта болезнь, уже не поправлялись: ничто не могло их спасти. Все наши госпитали были переполнены — в городе на каждом шагу попадались носилки. Поэтому-то на улицах можно было увидеть столь-



ко раненым. Они предпочитали сами себя выходить, чтобы не подвергаться заразе.

Вот и я не уходил из батальона; подвизав руку, и даже нес службу на аванпостах и готов был в случае необходимости вместе с товарищами ударить в штыки.

Немцы зарыли всю землю вокруг нас и подвели свои траншеи почти к нашим редутам, — с высоты крепостного вала казалось, что смотришь на огромное поселение крошечек. Добрая половина солдат день и ночь находилась под открытым небом, возле пушек, с зажженными фитилями. Невозможно было глаз сомкнуть — только и слышалось: «*Wer-da?*», «*Кто идет?*», «*Берегись!*» — и выстрелы в противника, который находился в каких-нибудь пятидесяти шагах от тебя. Все перемешалось: пруссаки были у нас, мы — у пруссаков.

Но это еще что! А вот маневр, который предпринял неприятель, чтобы овладеть нашими небольшими фортами на островах Рейна, был действительно из ряда выходящий. В одной деревушке, повывше Касселя, рота голландцев, находившихся на службе у прусского короля, строила плавающие батареи, и каждый день у нас возникали слухи, что эти батареи вот-вот покажут к нам. Прошло месяца полтора, и все уже перестали в это верить, как вдруг в одно прекрасное утро они появились и, подогриваемые течением, тихонько поплыли к островам. Я как раз был в редуте Карла; погода стояла великолепная, и вот представьте себе, на зеркальной глади Рейна, блестящей под солнцем, появляются большие квадратные срубы футов в пять или шесть высотой, с амбразурами для пушек, глухие, как казематы.

Мы стояли слишком далеко от этих плавающих батарей и не могли их обстрелять, но, когда они подошли к островам, обе стороны открыли огонь. Каждое ядро, упав в реку, поднимало столбы воды, сначала в десять — пятнадцать футов высотой, потом в восемь, в шесть и так далее, пока не погружалось на дно, — словом, весь его путь был, так сказать, на ладони. Рейн, такой спокойный всего несколько минут назад, всенился под градом ядер и картечи; а плавающие батареи — среди дыма и громовых раскатов эха — медленно продвигались вперед. Наконец они пристали в месте, укрытом деревьями, как раз напротив островов: теперь они могли с тыла обстреливать наши батареи, а бомбы и гранаты, посылаемые из наших

редутов, не долетали до них. Вскоре всякому стало ясно: каких-нибудь двадцать четыре часа такого обстрела — и нам придется оставить острова.

В тот день все знали в улье — от коменданта крепости до последнего солдата. Чего там скрывать: если пруссаки овладеют островами, их пушки разрушат наши мельницы и древние крепостные стены, что тянутся вдоль реки, и тогда неприятель поведет на нас атаку со всех сторон.

Вот о чем думали все.

Вечером, вернувшись в крепость, мы узнали, что решено атаковать плавучие батареи; нанялись добровольцы, которые уже отправились в Кассель и постараются любой ценой снять батареи с якоря. Из нашего батальона вызвалось двенадцать человек, в том числе дядюшка Сом и долговязый Лафлеш из Эминга. Мы, конечно, не знали, как решит действовать начальство, но подняться вверх по течению на лодках и потом упасть на этакие машины — дело нештучное. К счастью, луна была на ущербе и слабый свет звезд не мог рассеять густой тьмы.

Часов до двух ночи все было спокойно: казалось, неприятель решил не мешать нашему сну, ибо обычного обстрела что-то не было. А в два часа далекий трохот пушек и треск ружейных выстрелов нарушили тишину и оповестили нас о том, что атака началась. Я очень страдал от раны и, сидя на кровати, думал:

«Бедный дядюшка Сом!.. Вот этим самым выстрелом, может быть, сразило тебя!»

У меня сердце сжималось при виде пустых коек в разных концах большого помещения, в простенках между окнами, куда заглядывали звезды. Эта ночь была, пожалуй, самой скверной за все кампании, в каких мне довелось участвовать: меня бросало то в жар, то в холод, плечо у меня горело, и мысли в голове путались, как у сумасшедшего. Я выпил целый кувшин воды, походил, прислушиваясь, и наконец под утро заснул; проснувшись я, когда было уже совсем светло, от радостных криков, пения «Марсельезы» и «Наша возьмет!». Нашим ребятам удалось снять с якоря одну из плавучих батарей: они перерезали канат, на котором она держалась, и батарея, кружась, поплыла по Рейну, пока не затонула неподалеку от Касселя, подбитая огнем нашего форта; все, кто подходил к ней, — сдались.

Тут появился Жан-Батист Сом, и я расцеловал его от всего сердца. Бедняга промок насквозь: он одним из первых прыгнул в воду, не обращая внимания на ружейный огонь и удары багром, которыми награждали наших врагов, и взмахом топора перерубил толстый канат, удерживавший плоты.

Первого июля противник подавил нашу батарею, прозванную «Козлом»; на другой день он обстрелял цитадель и редут Карла; затем он поджег квартал св. Себастьяна, уничтожил редут клубистов и заставил нас уйти из деревни Кострейм. После этого вражеские ядра посыпались на наши медяницы и привели их в полную негодность. Тринадцатого июля был разрушен квартал ратуши. А 14-го было объявлено перемирие. Немцы узиали о взятии Коиде\* и от радости принялись палить из пушек; а мы — мы отметили взятие Бастилии и праздник Парижской федерации шествием патриотов по площади. Нам бы очень хотелось украсить ветками и зеленью алтарь отечества, но, к сожалению, в крепости не осталось ни листочка — все было слесено под корень.

Здоровье мое шло на поправку, и этот праздник, где Мерлен из Тюнвизия говорил о том, что мы сделали для родины, веселил на улицах и шествие со статуей богини Свободы, — все это наполнило мою душу ликованием.

На другой день настал наш черед гореть. Уничтожив кварталы, расположенные вдоль Рейна, немцы решили, что пора разрушить и остальные. Когда часов около двух первые раскаленные ядра упали на наш старый замшелый монастырь, все поняли, что это значит: каждый поспешил засунуть свой жалкий скарб в рапц, выбросить из окна тюфяк, взять ружье, надеть патронташ и выйти.

Пока я спускался по лестнице, штук десять гранат уже разорвалось во дворе, на чердаках и в монастырских кельях. А улица перед монастырем была очень узенькая.

Остатки нашего батальона, не теряя ни минуты, построились по сигналу и отправились на Рыночную площадь, где и расположились биваком среди развалин, возле собора. Там мы и пробыли до 23 июля.

Последнее время голод стал таким сильным, что во время вылазок все только и думали о том, где бы поживиться. Если в рядах противника мы замечали солдата с хлебом, привязанным к рапцу, участь этого несчастного была решена: кто был посмелее — обычно втятером или

впестером — набрасывались на него, словно он нее знамя, а не хлеб, и, не обращая внимания на пули и штыки, убивали его, отвязывали хлеб, и тот, кому удалось схватить хлеб, нализывал его на свой штык. Немцы, наверно, так и не поняли, почему штык из них вызывали у нас столь безудержную ярость, — виновата в том была не физиономия солдата и не его злая доля, а хлеб, которым он владел.

Зато какое было удовольствие смотреть на нашего депутата Мерлена из Тюльвиля, когда он во главе вольных гусар мчался на врага. Редут напротив Бреденгейма был назван его именем, и когда неприятель — вслед за остальными — разбил и этот редут, Мерлен с пятьюдесятью солдатами отправился отбивать его у противника. Все заранее считали его погибшим, а он вернулся, несмотря ни на что, сжимая в руке свою огромную окровавленную до самой рукоятки саблю и свирепо сверкая глазами, точно дикарь. Этому храбреца все уважали и любили и охотно выбрали в генералы; а вот другой представитель народа, Ревбель, который только и делал, что занимался реестрами да счетами, — не вызывал восторга у солдат. Правда, республике нужны всякие люди, а проверка счетов, как совершенно справедливо замечал Шовель, — дело первойшей важности.

Однажды вечером, — в ту пору беды наши стали совсем уж невыносимыми, — мы вдруг услышали страшную канонаду со стороны Оппенгейма; небо в том краю так и полыхало. Раздалась крики: «Это Кюстин! Он идет нам на выручку!» Люди целовались. Весь гарнизон не сомкнул ночью глаз — стоял под ружьем, — и нет пужды говорить вам, с каким нетерпением дождался утра, чтоб наброситься на противника, точно стая волков. Но когда поднялось солнце, офицеры, расставленные на колокольнях с подзорными трубами в руках, увидели вдали на дорогах лишь вражеские патрули, объезжавшие деревни... То, что мы приняли за пушки Кюстина, был всеолавсего гром!

Наконец, не получая никаких известий, мы поняли, что рассчитывать больше не на что; вся наша надежда теперь была на то, что немцы рано или поздно пойдут на нас атакой и, прежде чем погибнуть, мы уничтожим не одну тысячу врагов! Вот о чем мы думали, как вдруг распространился слух, что наш военный совет решил

капитулировать. Сначала никто не хотел этому верить, но, когда наши офицеры сами объявили об этом на утреннем сборе, всех охватила ярость.

Было это 23 июля 1793 года.

На другой день все военные действия прекратились и гарнизон собрался на парадном плацу. Никто — среди них был и Сом — так и кипели от возмущения и, ни слова не говоря, зарядили ружья. Построились в каре, и вот часов около десяти на главной улице появился весь генеральный штаб верхом, в парадных мундирах: комендант крепости Дуаре и губернатор города Обер-Дюбайе, а с ними — Ги-Верпол, Донуа, Лармбуасьер, Клебер, депутаты Реубель и Мерлен. Раздалась крики: «Смерть! Смерть предателям!» — но они спокойно стояли посреди каре, дожидаясь, пока смолкнут крики; потом офицеры зачитали своим солдатам условия капитуляции:

«Условия капитуляции, предложенные бригадным генералом Дуаре, командующим войсками в Майнце, Касселе и близлежащих крепостях, и утвержденные обоими генералами.

*Статья 1-я.* Французская армия сдает Его Величеству королю Пруссии города Майнц и Кассель со всеми укреплениями и постами в том виде, в каком они сейчас находятся, со всеми орудиями как французскими, так и иностранными, а также боевыми припасами и орудийными снарядами, за исключением указанного ниже оружия.

*Статья 2-я.* Гарнизон выйдет из крепости на почетных условиях, с оружием, имуществом и личными вещами, а также провиантом на дорогу. Гарнизон обязуется в течение года не участвовать в военных действиях против армий союзников.

*Статья 3-я.* Генералы и офицеры, военные комиссары, начальники и чиновники различных административных служб и вообще все французские граждане берут с собой своих лошадей, кареты и имущество».

И так далее, вплоть до статьи 14-й. Условия капитуляции предусматривали все: обмен денег, вывезенных во время осады; перевозку больных и раненых по воде от Меца до Трионвиля; этапы продвижения от Майнца до наших границ; занятие фортвов по мере того, как наши войска будут их покидать; сдачу оружия, боевых припасов и крепостей; назначение комиссаров для передачи складов, — словом, все до мельчайших подробностей.

Чтение продолжалось добрых полчаса и, когда люди поняли, что все оговорено, что мы сможем покинуть крепость на почетных условиях и нам разрешат вынести знамена, оружие и имущество, все успокоилось и стали радоваться тому, что скоро будут дома. На это уже давно никто не надеялся, и каждый в утешение себе говорил:

«Ну вот и конец. Начальство довольно, чего же нам-то ершиться! Пришли мы сюда с пустыми руками, с пустыми руками и уходим. Худо не нам, а беднякам здешним жителям: церкви у них разрушены, склады и дома — тоже. А мы скоро увидим Францию, услышим французскую речь, узнаем, как идут дела в республике. Чего же еще желать?»

Так каждый урезонивал себя, и все же, когда два дня спустя нам пришлось расставаться с этими древними обгорелыми стенами, с местами, которые за последние четыре месяца видели столько боев, где было столько выстрадаано, где под развалинами осталось столько погребенных товарищей, — сердце разрывалось от горя. А было это 25 июля 1793 года, около полудня, когда на планду умолкла барабанная дробь, и полковники, а вслед за ними майоры скомадовали:

— Батальоны, направо по одному, ускоренным шагом — марш!

И мы пошли по старинным улицам, мимо тысяч песчastых, которые с порога своих домов смотрели на нас, — девушки плакали, мужчины в глубине души проклинали нас, а члены клуба доктора Гофмана содрогались от сознания, что мы покидаем их, ибо они понимали, что скоро им придется поплатиться за все это жизнью, — словом, то было ужасное зрелище.

Впереди шел эскадрон прусских драгун, за ним — все остальные: национальные волонтеры, федераты из всех провинций, обросшие бородой шестимесячной давности, в обтрепанных треуголках, в касках из смазной кожи, оборванные, но гордые, с ружьем на плече.

Хоть из нас еще и не составили полубригады, а выглядели мы уже одинаково — равно оборванные, тонкие и храбрые. За нами шел бывший Септоажский полк, еще в белых мундирах, затем лангедокские конные стрелки, а за ними — остальные.

Когда мы проходили через прусский лагерь, в коннострелковом вдруг заиграли «Марсельезу». Все дружно

подхватили песню, и тысячи любопытных, которые сбегались поглазеть на наше унижение и стояли вдоль дороги — горожане и крестьяне, обоименные на революцию, священники, французские эмигранты, нацепившие прусскую кокарду, знатные господа со своими дамами в открытых колясках, принцы верхом на лошадях, — словом, все аристократы, которые явились посмотреть на выходящих из осажденного Майнца солдат, как идут в театр смотреть комедию, — все они, услышав наше пение и увидев наши лица, помертвели. Наверно, они подумали:

«Хорошо, что мы приняли их условия капитуляции, а то пришлось бы воевать с ними, пока бы всех их не уничтожили».

Вот как уходили из Майнца наши войска. Уходили не побитые, не униженные, а смелые люди, согласившиеся капитулировать, потому что это было к нашей выгоде, потому что мы надеялись еще взять свое. Во всякой сделке благоразумный человек всегда соблюдает свой интерес: он либо принимает условия, либо отказывается, вот и мы согласились пойти на капитуляцию, потому что видели в этом выгоду для себя.

Когда мы миновали редуты, траншеи, опустошенные деревни и перед нами открылись зеленые поля, виноградники, леса, большая белая дорога, окаймленная деревьями, домики с красными крышами, — все наши беды были мигом забыты; стало привольнее дышать, офицеры весело скомандовали:

— Вольно!

Как все сразу переменялось! До конца жизни буду помнить, с каким чувством шагал я домой, с вещевым мешком за спиной и с ружьем на плече. Что нам было теперь до всего остального? Никто об этом не думал; лишь порой, глядя на шагавших рядом старых товарищей по оружию, почерневших от загара, с заострившимся носом, похожих на ворон после долгой голодной зимы, с лихорадочно блестящими глазами, в отрешках, в рваных сапогах, из которых торчали пальцы, хотелось воскликнуть:

«Какое счастье, что мы все-таки возвращаемся!.. А наши — до чего же они удивятся, когда увидят нас такими!.. Еще, того и гляди, вздумают на руках пронести по улицам!..»

Все мы думали, что муниципалитеты в полном составе выйдут нам навстречу, что деревни станут осыпать

вать друг у друга право чувствовать нас, будут кричать:

«Да здравствуют защитники Майнца!»

И вот мы вдвое увеличивали переходы, чтобы поскорее добраться до родных краев, к тому же всех возмущало то, что прусские драгуны сопровождают нас, будто пленных, — словом, за непонятных четыре дня вся дивизия генерала Дюбайе прошла через Альзей, Кайзерлаутерн и Гомбург и очутилась под Саарбрюккеном.

Естественно, жители разоренных нами мест не очень-то были нам рады: фунт масла стоил флорин, фунт мяса — тридцать шесть крейцеров и остальное в том же духе; мы все у них подыели, поэтому немцы не могли нас любить, но нам казалось, что во Франции дело будет обстоять иначе.

По дороге, на каждом привале мы узнавали о настроениях крестьян и горожан. Многое из услышанного удивило нас. Само собой, нам очень хотелось знать, что происходит в стране. В Кютцэле из слов бургомистра, жившегося наблюдать за распределением провианта, я узнал, что Вандея охвачена восстанием; немного дальше я узнал, что Марата убила какая-то женщина;\* но еще большее удивление вызвали у меня рассказы одного гомбургского горожанина, у которого мы остановились на ночлег, — человек этот со всей уверенностью утверждал, что жирондисты бежали. Слухи эти передавались из уст в уста: то, что узнавал один, становилось достоянием всех. Никто не мог поверить предательству Дюмурье, которое произошло три месяца тому назад.

Чем ближе мы подходили к Саарбрюккену, тем больше мучила меня мысль о том, что я буду так близко от Ифальцбурга и не увижу дорогих моему сердцу людей. Не мне одному эта мысль не давала покоя, но я был знаком с нашим командиром Жорди, который знал, что я тот, кого выбрал себе в зятя Шовель, народный депутат в Конвенте, и вот на четвертый день пути, во время привала, я осмелел и попросил разрешения отлучиться на сорок восемь часов. Жорди сидел на лошади выпрямившись, в сбитой на затылок треуголке с красным плюмажем, из-под которого виднелась толстая черная коса; он искоса поглядел на меня и стиснул зубы, — ему ведь тоже не меньше моего хотелось побывать дома; заметив это, я с дрожью подумал, что вот сейчас он скажет мне:



«Никак невозможно!..»

Но он улыбнулся и спросил:

— Что, захотелось поцеловать Маргариту?

— Да, господин командир, и отца тоже.

— Само собой, — сказал он и, посмотрев вокруг, не слышит ли нас кто, продолжал: — Ну, так слушай: как прибудем в Саарбрюккен, зайдешь ко мне, и я дам тебе письменное разрешение отлучиться на сорок восемь часов. Только никому ни слова! Уйдешь этой же ночью, потому что если кто-нибудь узнает — весь батальон удрет домой через лес. Ты меня слышал? А теперь возвращайся в строй и молчи!

Он мог и не предупреждать меня об этом: и отлично знал, что уцелевшие триста двадцать пять солдат нашего батальона вообще перестанут подчиняться, если узнают, что к одним относится так, а к другим — иначе. Это было несправедливо, но, по правде сказать, я на это и не жал.

Жорди сдержал слово. В харчевне «Большой олень» он дал мне разрешение отлучиться на сорок восемь часов; более ста пятидесяти человек приходили к нему за таким разрешением, но он сказал, что никого не пустит. Саарбрюккен был последним немецким городом на нашем пути; оставалось только перейти через мост — и я во Францию; в тот же вечер, в девять часов, я ушел, предупредив одного только Жан-Батиста Сома.

Итак, получив увольнительную, я двинулся в путь. — ружье и патронташ я оставил со своими ножовками. Хотя с утра мы сделали семь лье, и все-таки добрались за ночь до Фенетрижа. Ах, молодость! Каким человек может быть мужественным, когда ему двадцать лет и он влюблен! Как стремителен шаг, какой радостной кажется жизнь, сколько всяких мыслей теснится в голове, как мы умляемся, плачем и смеемся! Стоит вспомнить ту пору — и вот я снова шагаю по большой белой дороге вдоль реки Саар, сабля привязана к ремню, выдавшая виды треуголка съехала набок, ноги стянуты гетрами. Я мыслю — и вижу Маргариту, которая дожидается меня, старика отца, дядюшку Жана и всех остальных. У меня словно выросли крылья. Боже милостивый, ведь и в самом деле я был таким в 93-м году!

Ночь стояла удивительная — настоящая июльская ночь, когда светло, как днем; живые нагороди, виноградники, леса, поля — все благоухало. Лишь звук моих шагов

нарушал тишину, царившую в этих равнинных краях, время от времени с дерева срывался незрелый плод да журчал, пробираясь меж камышей, Саар.

Часа в четыре утра, когда оставалось примерно две до Фенетража, из-за холмов, покрытых виноградниками, показалось красное солнце, и издалека донесся звук натачиваемых кос; мне пришла в голову мысль искупаться. Я был весь белый от пыли. Вот уже два месяца, как ни один солдат в нашем батальоне не менял ни рубахи, ни штанов, поэтому можете представить себе, в каком мы были виде. Словом, спустился я к реке по тропинке, вышеюй среди посевов овса. Швырнул свой ранец и шляпу в траву и снял башмаки. Да! Помыться мне не мешало! Избави меня бог описывать вам, до чего я был грязен. Я погрузился в поток и поплыл, широко взмахивая руками, в свежей, живительной воде, под сенью старых верб, сквозь которые еле пробивался дневной свет, — и сразу почувствовал, как ожил.

«Мишель, — воскликнул я про себя, — до чего же хорошая штука жизнь!»

Добрых полчаса я плескался под мостом, что ведет в Рильхинген. Несколько крестьян с косами или вилами на плече прошли мимо, но даже не взглянули в мою сторону. А я вытягивался, переворачивался, волосы у меня расплелись и болтались по загорелым плечам, — словом, я наслаждался в воде.

Когда я вылез и стал одеваться, солнце уже пригрело песок, ласточки кружили над хлебами, а вдаль, у края равнины, вырисовывались наши горы, наши прекрасные Вогезы, которые казались отсюда совсем синими, — Дюпон, Шнееберг. До чего же это красиво!

Зубы у меня стучали — так я продрог, но я думал лишь о том, чтобы поскорее привести себя в порядок для встречи с Маргаритой, и я стал причесываться старой гребенкой, в которой остались три зубца. Но главная моя беда была в рубашках и прочей одежде: я не мог даже почистить ее из страха, что муздр и штаны расплзутся у меня на глазах, — они и так были все в дырах! Одно слово — война!

Выбрал я последнюю более или менее чистую рубашку и лучшие свои башмаки, которые мне удалось кое-как скрепить с помощью бечевки. Что поделаешь? Когда у человека одни лохмотья, голову ломать не приходится — выбор нет. Я уже не был красавчиком Мишелем, кото-

рий по воскресеньям завязывал пыльный трехцветный галстук и надевал цветастый жилет, а тщательно расчесанные волосы добрый папаша Бастьен заплетал ему в косу, но я надеялся, что Маргарита все равно признает меня и крепко поцелует, а это главное. Выстирал я еще одну рубашку, как следует выжал ее и почти высушил на кустах, потом уложил ранец, привязал к нему саблю, срезал в живой изгороди хорошую палку и двинулся в путь, освежившийся, довольный, исполненный отваги и веры в себя.

Но в деревнях, через которые я проходил, царил нищета, а когда из домов выходили люди, жалкие, исхудалые, согбенные, по одному их виду ясно было, как тяжело им приходится без кормильцев, которых отпала у них война. Завидев меня, бедные старики впивались в меня глазами; наверно, думали: «Никак, это наш Жан! Да ведь это же наш Жан!»

А когда я кричал им:

— Привет, да здравствует всеобщее братство! — они печально отвечали:

— Да благословит тебя бог!

В Фенетранже, куда я прибыл часов в семь утра, я впервые услышал, как поносят защитников Майнца; это меня, конечно, возмутило, и я было разозлился, а потом решил, что не стоит обращать внимания на всяких прощелыг. Я остановился в преддорожной харчевне, вроде той, которую держал дядюшка Жан в Лачугах-у-Дубняка, и, пока я уплетал кусок холодного мяса, запивая его местным вином, появился цирюльник с салфеткой и тарелкой для бритья под мышкой. Владелец харчевни, пожилой мужчина, сел на стул посреди зала, и цирюльник принялся его брить, треща точно сорока: эти предатели, которые сидели в Майнце, заявил он, сговорились с пруссаками и сдали им крепость; всех их надо предать суду Комитета общественного спасения и гильотинировать в двадцать четыре часа.

Я неосознанно взглянул на пустобреха — он и внимания не обращал на меня; это был настоящий карлик — курпосый, с выпученными глазами, в парике с косицей вроде крысеного хвоста, к тому же хилый — в чем только душа держится. Посмотрел я на него и решил не сердиться.

Старик хозяин поднялся и стал вытирать подбородок; я осушил стакан и бросил на стол второй

дундор из тех, что дал мне дядюшка Жан. Хозяйин глаза вытаращила: наверно, уже год, как он не видел дундоров, — он вертел мой дундор и так и этак, даже к свету поднес, а потом вытащил из шкафа небольшую корзиночку, полную медиков и ассигнатов, и отсчитал мне семьдесят восемь ливров десять су в ассигнатах, сказав, что с меня причитается тридцать су. Тут я понял, что ассигнаты наши ценятся в четверть своей стоимости: сотенная бумажка идет за двадцать пять. Это на многое открыло мне глаза, и я подумал о том, как же бедствует наша страна. Если крестьяне и буржуа не смогут приобрести земли дворян и монастырей в рассрочку, а на ассигнаты их, видно, тоже не купишь, значит, революция потерпела крах.

На пути моем после Фенетранка я всюду замечал необычное волнение: вести о канитуляции Майнца разнеслась по округе, и, услышав ее, Эльзас и Лотарингия пришли в смутение. Люди были в отчаянье: немало отцов семейств отравились в качестве представителей дистрикта к немцам, чтобы рассказать о благах демократии, — с тех пор от них не было ни строчки, и никто не знал, что с ними случилось. Я слушал, как толковали об этом, и проходил мимо, даже не повернув головы: столько я видел боев, сражений, резни, что это уже не могло произвести на меня впечатления.

Спускаясь с Вехемского холма, я увидел перед домом мэра толпу, а посреди толпы — отряд национальных жандармов: значит, идет набор волонтеров! Только я перешел через мост, как один из жандармов, бригадир, подошел ко мне и спросил мою увольнительную; я подав ему бумажку, и он ознакомился с ней. Толпа издали наблюдала за нами. Лицо у жандарма было сосредоточенное. Прочитав мою увольнительную, вернул ее мне и, перегнувшись с лошади, сказал:

— Не очень-то ты, приятель, живешь — одна кожа да кости. Видать, нелегко тебе пришлось! Но все равно не хвались, что ты сидел в обороне Майнца, а то, пожалуй, худо тебе будет.

И он спокойно вернулся на свое место, а я, сжимая в руке дубинку, стал быстро подниматься на косогор. Не скажу, чтобы я пылал гневом, но меня возмущали эти обаятусы, которые весь этот год жили у себя в деревнях, среди друзей и знакомых, хорошо ели, хорошо пили и скупали земли по дешевке, в то время как мы каждый

день рисковали жизнью, страдали от холода, голода и всяких напастей, а все для чего? Чтобы оградить их от австрийцев и пруссаков. И они же теперь считают, что мы их предаем! От такой человеческой тупости меня прямо-таки тошнило. Потом мне не раз приходило в голову, что эти мошенники всех мастей — как простолюдный, так и дворяне и поцы — своим мерзким врагьем хотели вызвать бунт в Майнцской армии, натравить ее на народ, — именно этого они, видно, и хотели.

Я шел по косогору, но, несмотря на радость, какую я ощутил, увидев крепостные стены, рavelины, колокольни в дома старинного города, к которому вела большая белая дорога, несмотря на надежду скоро вновь свидеться с Маргаритой, отцом и нашими друзьями и застать их всех в добром здравии, мысль о том, как глупо ведет себя народ, не оставляла меня, пока я не добрался до глазисов и караульных постов Ифальцбурга.

И только тут я почувствовал радость от того, что скоро увижу дорогих мне людей. Был холодень; в казарме пехотинцев забили сбор на обед. Только я взлез на подъемный мост, вижу, из-под навеса над акцизным управлением, что напротив караульной, появляется толстяк Пуле, который в свое время занимался сбором соляного налога, а затем стал инспектором округа; \* в руке у него огромный бутерброд со сладким творогом, а на соломенной шляпе, повязанной крепом, — трехцветная кокарда с мой кулак.

Он сделал столько доносов — как во времена Людовика XVI, так и во времена республики — и столько раз получал за это награды по пятьдесят ливров каждая, наживаясь на несчастье людей, что отрастил себе брюхо, свисавшее чуть не до колен; рубашка из-за жары была у него распахнута на груди, а щеки и уши стали багрово-красные. Я приближался к нему, толстый, оборванный, он секунду посмотрел на меня и крикнул часовым:

— Эй, вы там! Взять на караул! Бить в барабаны! Перед вами Мишель Бастьен, один из прославленных защитников Майнца, которые сдали крепость пруссакам. Герой! Ха-ха-ха! На караул!

Он орал во всю глотку, издеваясь надо мной. Солдаты сидели, свесив ноги, на паранете моста и смотрели на меня. Я побелел от ярости и, когда проходил мимо гражданина Пуле, ударил его пощечину по физиономии, так

что он кубарем полетел под навес акцизного управления, а бутерброд с творогом — впереди него. При этом он отчаянно кричал:

— Убивают! Убивают патриота! На помощь!

Я, не торопясь, спокойно продолжал свой путь; старик сержант, стоявший на посту, громко расхохотался:

— Здорово ты его отделаю, приятель, здорово!

Солдаты удивленно смотрели на меня, а сержант спросил:

— Ты идешь из Майнца?

— Да, сержант.

— По виду твоему не скажешь, чтоб житуха у вас там была легкая.

— Совсем не легкая.

— Ей-богу, — заметил он со смехом, обращаясь к своим солдатам, — если генералы оказались предателями, то ребята на этом не разжирели.

В эту минуту издали дошелся крик Пуле, сумевшего наконец подняться на поги:

— Задержите его, это — аристократ! Именем закона задержите!

— Мотай-ка лучше отсюда, друг, — сказал мне сержант. — Счастливого пути!

И я вступил в город. Пощечина, которую я закатил Пуле, облегчила мне душу; я думал сейчас лишь о том, какая радость ждет меня впереди: скоро я увижу Маргариту и друзей. Многие встречные оборачивались мне вслед и говорили:

— Эге, да, никак, это Мишель Бастьен... Здравствуй, Мишель!

Но я был так изволнован, что не мог вымолвить ни слова и лишь кивал в ответ головой.

На углу улицы Фуке я увидел лавку Шовеля, ее витрину с календарями, книгами и журналами, и у меня дыхание захватило от радости и вместе с тем от беспокойства. Все ли там по-прежнему? Все ли здоровы? Я уже стоял под навесом у входа. Ставки от жары были закрыты. Я прошел через лавку и, нагнувшись, поглядел сквозь маленькую застекленную дверцу в задней стене: Маргарита и мой брат сидели за столом и собирались обедать. Они тоже с удивлением смотрели на меня: я оброс, был в старой, обтрепанной шапке, в лохмотьях, — конечно, меня трудно было узнать. Тогда я открыл дверь и сказал:

— Вот и я!



Посмотрели бы вы, что тут началось: Маргарита кинулась в мои объятия, Этьен повис у меня на шее; оба плакали и наперебой говорили:

— Это же Мишель! А мы и не надеялись увидеть тебя так скоро!.. Боже мой, боже мой, какое счастье!

Оба они и плакали и смеялись! А Этьен сказал:

— Как отец-то будет рад!

Этьен взял у меня ранец, Маргарита сняла с меня треуголку, и мы снова принялись обниматься. Я смотрел на Маргариту и прижимал ее к сердцу, как самое любимое и дорогое на свете существо; я нашел, что она очень побибднела, глаза у нее блестящи, смуглые щеки, обрамленные густыми прядями роскошных темных волос, выбивавшимися из-под утреннего чепца, ввалились.

— Ты что, болела, Маргарита? — спросил я ее.

— Нет, — сказала она, — вовсе нет, я вполне здорова. Просто я тревожилась, вестей мы никаких давно уже не получаем, все так худо... Но садись же.

Столик стоял у самого окна, на нем была тарелка с канустой, немного сала и графин со свежей водой.

— Этьен, возьми десять су из кассы, — сказала Маргарита, — сбегай к Томи за ветчиной, а я слущусь в погреб — пацелку вина. Мы, Минвель, ъем теперь воду: времена настали суровые, приходится экономить.

Она улыбаалась, а я смотрел на нее глазами влюбленного, которому двадцать лет; я попытался удержатъ ее за руку, но она вырвалась и побегала за вином. Тогда я окинул взглядом небольшое помещение, сплошь уставленное книгами, и воскликнул про себя:

«Вот ты и вернулся!»

Слезы застилали мне глаза: я знал, что недолго тут пробуду! И когда Этьен вернулся с тарелочкой ветчины, а Маргарита поставила бутылку вина на стол, и, счастливые, мы сидели и смотрели друг на друга, я сообщил им, что получил отгул всего на сорок восемь часов и мне уже завтра надо будет двигаться в обратный путь; радость их сразу померкла. Но Маргарита сказала:

— Долг превыше всего. Прежде всего — республика и права человека!

Она была очень похожа на Шовеля, когда произносила эти слова: тот же решительный вид, тот же звонкий, ясный голос. И я невольно подумал:

«Когда мы поженимся, она всегда будет верховодить, всегда будет говорить: «Поступай так, поступай этак, так велит долг!» А мне придется склоняться перед ее здравым смыслом и поступать, как она говорит. Ну и пусть — все равно мы будем счастливы».

Мысли эти не внесли смутения в мою душу, — видеть ее, слушать ее, чувствовать ее руку на моем плече было несказанным блаженством. Время от времени дверь в лавку открывалась, звонил колокольчик. Этьен выходил к покупателю — солдату, горожанину, крестьянину. Мы ели и беседовали о делах нации и о наших семейных делах — о дядюшке Жане, об отце, обо всех понемножку. Маргариту, как и Шовеля, прежде всего волновало то, что касалось республики, — видно, это было у них в крови. Когда она узнала, что за четыре месяца, пока я был в Майнце, мы не получили ни одного бюллетени, ни одного шьема назве; что я приехал прямиком из Саарбрюккена и понятия не имею о событиях, которые произошли после 6 апреля, ей захотелось рассказать мне обо всем, и в тот день я услышал куда больше новостей, чем за всю мою службу волонтером как в гарнизоне, так и во время кампаний.

Однако я уже знал, что Дюмурье после поражения под Нервинденом решил последовать примеру Лафайета и попытаться направить свою армию на Париж, чтобы разогнать Конвент и восстановить власть французских королей. Я слышал, что он вступил в эговор с австрийским генералом Кобургом\*, которому он должен был сдать княжество Конде, а потом совершить переворот. Но в Конвенте было громко сказано об этом рассказано, вся армия восстала против него, и предатель, видя, что козни его раскрыты, выдал представителей народа нашим врагам, а сам бежал к австрийцам с частью своего штаба и с сыновьями бывшего принца Орлеанского. Знал я и то, что Филипп-Эгалите арестован и что жирондисты обвинили Дантона в эговоре с Дюмурье и сыновьями принца Орлеанского, а Дантон, кивы от возмущения, им сказал:

— Только трусов, способных жалеть Людовика Шестнадцатого, можно заподозрить в том, что они жаждут восстановить монархию и ведут переговоры с предателями!

Но кое-чего я не знал, и об этом рассказала мне тогда Маргарита — я не знал о грозных мерах, которые пришлось принять, чтобы положить конец предательству, о создании Комитета общественной безопасности\* и Комитета общественной безопасности\*, которым все деструкты, а также представители народа в армии должны были еженедельно давать отчет; о создании Чрезвычайного трибунала в составе пяти судей, десяти присяжных и одного общественного обвинителя, которому даны были полномочия преследовать, задерживать и судить всех заговорщиков; о создании таких трибуналов во многих городах; об объявлении вне закона всех контрреволюционеров; об обысках в частных домах с целью разоружения подозрительных лиц; о том, что на дверях домов должны быть вывешены фамилии всех, кто там проживает; о введении свидетельств о гражданской благонадежности\*, которые надлежит всегда иметь при себе; о декрете, устанавливающем смертную казнь для тех, кто был выслан за пределы Франции и самовольно вернулся в страну, и так далее.

Рассказала мне Маргарита и о том, что против всех этих необходимых мер восстали жирондисты, которым не жаль было ни несчастных, стоявших с утра до вечера перед дверями булочных, ни бедных рабочих, получавших жалованье ассигнатами, которых торговцы не желали у них брать, ни тысяч труженников, отравленных к грашце



по их вине, поскольку они, жирондисты, пошли против Горы и заставили объявить войну. Я узнал о том, как негодует народ на этих людей, которые некутся только о короле, его семействе, дворянах да богачах; узнал о бесчисленных петициях с требованием изгнать жирондистов из Конвента; о том, как они обвинили Марата, как он выступил перед Чрезвычайным трибуналом и ко всеобщей радости патриотов был полностью оправдан.

Обо всем этом я ровню ничего не знал.

От Маргариты же я узнал и про наши беды на севере, где тридцать пять тысяч англичан и голландцев во главе с герцогом Йоркским пришли на помощь Кобургу, так что у врагов образовалась стотысячная армия, а наших было тысяч сорок, и пришлось им с боями отступить до самого Валансьена. От Маргариты я узнал и про то, как вандейская знать, поны и крестьяне объединились в защиту Людовика XVII \*, как они подняли мятеж под предводительством Католино \*, Стоффле \*, Гелодранца, Чурбана и разных других, совсем не из породы завоевателей, а простых возчиков, лесников, булочников, земледельцев и ремесленников, людей, как видно, недалеких, поскольку дрались они вопреки собственным интересам и как волки лютые: даже пленных расстреливали, а их женщины добывали раненых во имя господ бога, нашего спасителя.

Маргарита рассказала мне и о том, какая страшная вражда идет между жирондистами и монтаньярами, как они попрекают друг друга всеми этими бедами; как установили твердые цепи на зерно \* и как, несмотря на протесты себялюбцев-жирондистов, решено было принудительно собрать миллиард франков с богачей \*. Шовель писал в письме, которое показала мне Маргарита, что в тот день монтаньяры и жирондисты чуть не разорвали друг друга и, уж конечно, передрались бы, если бы не вмешались более спокойные представители Болота. Жирондисты хотели низложить все парижские власти и перевести Конвент в Бурж. А там враги наши разделились бы с монтаньярами. Эти самые жирондисты, которые в глубине души почти все были роялистами, но не смели в этом признаться, как не желали честно и открыто выступить против республики, так вот эти негодяи, которые хотели затормозить революцию и обратить ее себе на пользу, сумели, по словам Маргариты (да и в письме Шовеля так было сказано), создать комиссию из двенадцати человек,

куда вошли только они; и эта комиссия тотчас принялась крушить революционные комитеты, стала нападать на Коммуну и объявила о роспуске Чрезвычайного трибунала.

Жирондистам хотелось усюкоить тысячи эгоистов, дрожавших за свою шкуру, — участь этих господ, показавших себя такими безжалостными во время голода, волновала их куда больше, чем судьба народа, храброго и преданного республике. Тогда Франция, зажатая в кольцо врагов, лишилась бы всей своей силы; вслед за иностранными армиями вернулись бы эмигранты, монахи и епископы; они восстановили бы свои привилегии на крови народной — в тысячу раз прочнее, чем прежде, и уж на века. А англичане же при этом забрали бы Дюнкерк, австрияки — Валансьен и Конде, пруссаки — Майнц и Ландау, мелкие немецкие князьки — Эльзас и Лотарингию.

А у нас осталось бы маленькое королевство Франция с великим множеством важных господ и массой несчастных, которые должны были бы содержать их своим трудом, как и до 89-го года.

Это было уж слишком! Народ Парижа во главе с Дантоном поднялся и отравил в тюрьму предателей, во второй раз спасая нашу родину.

Все это произошло за два месяца до того, 31 мая 1793 года.

Один из жирондистов посмел тогда заявить, что, если хоть одного из них тронут, департаменты ервоят Париж с землей, так что и места-то, где он стоял на берегу Сены, нельзя будет найти \*. Но монтаньяры все равно арестовали их. Марат составил список самых опасных. И вот теперь одни из них сидели в тюрьме, другие — в том числе Петисон, Гаде, Вюзо, Барбару — бежали. Они создавали армии в провинции, захватывали народные деньги, разгоняли муниципалитеты, учреждали трибуналы для суда над патриотами. Генералом у них был Вимфен \* — дворянин, роялист! В ту пору много говорили о предателях, но, по-моему, никогда не бывало таких. Случалось, правда, что французские генералы выступали против нас вместе с врагом, но они не пытались настроить одну часть нации против другой под видом защиты ее прав, прикрываясь именем республиканцев.

— Вот до чего мы дожили, — сказала в заключение Маргарита. — Пятьдесят департаментов охвачены восстанием.

Лион, второй город во Франции, поднялся против Конвента: роялисты захватили штурмом мэрию, арестовали, судили и гильотинировали главных патриотов. Востали Марсель и Бордо. Валансьен не сегодня-завтра перейдет в руки врага. Жироидисты формируют отряды в Нормандии, чтобы двинуть их на Париж. Вандея и Бретань в огне. Англичане задерживают зерно, которое плывет нам из-за границы. Их премьер-министр Питт объявил о блокаде всех наших портов. Он дает деньги Пруссии, Австрии, Сардинии и Испании, а теперь взял на содержание еще баденцев, баварцев и гессенцев, — все они только и ждали падения Майнца, чтобы ринуться в нашу страну. Одни жители Франш-Конте, Шампани и Пикардии да эльзасцы, лотарингцы и парижане остались теперь верны революции, ибо, в довершение бед, тысячи крестьян подняли белый флаг в Севернах: они двинулись через Овернь на помощь вандейцам и отрезают Париж от наших армий, которые стоят в Пиренеях и Альпах. А тут еще Корсика хочет сдаться англичанам... Словом, все против нас... все сконом хотит нас задушить.

— Так, значит, Маргарита, мы пропали?! — воскликнул я.

— Пропали? — повторила она и стиснула зубы, а маленькие ее ручки, лежавшие на столе, сжались в кулаки. — Да, мы бы пропали, если бы жироидисты остались в Конвенте и задерживали бы проведение мер, которые ведут к общественному спасению. Но время громких речей прошло. Дантон, Робеспьер, Бийо-Варени, Колло д'Эрбуа, Карно, Приер, Линде \*, Сен-Жюст, Кутон, Трейяр \*, Жан Вон Сент-Андре \*, Гитон де Морно \*, Камбон, все друзья моего отца — в Конвенте; за восемь дней они составили конституцию, с которой жироидисты возидись восемь месяцев и никак не могли довести дело до конца. Конституция получилась простая, ясная, суровая и справедливая, настоящая республиканская конституция — такая, какую ни за что не хотели принимать те, другие. Теперь начнутся большие дела, ибо прежде всего надо спасти Францию. Довольно мы дрожали, хватит, пусть теперь дрожат другие. Для начала сместили всех генералов-роялистов — всякие там Буйе не покажут больше пруссакам дороги во Францию. Рошамбо не предупредит австрийков о передвижении наших войск, Лафайеты не устроит сговора с королевским двором, губернаторы-дворяне не сда-

дут больше ни одного нашего города. Дюмурье не смогут повернуть против нас армию, чтобы снова посадить нам на шею королей! Управлять нами будут теперь люди из народа, одного с нами сословия, одной крови — отец пишет об этом в своем последнем письме. Комитет общественного спасения уже протянул руку, чтобы схватить Кюстина, из-за которого вы чуть не погибли от голода в Майнце, потому что он не пришел вам на помощь и не снабдил провиантом. Чрезвычайный трибунал уже готовит обвинительный акт по его делу. Вот увидишь, как все пойдет. Если нам предстоит погибнуть, немало врагов погибнет до нас, и если у нас во Франции и восстановят в правах монастыри и сеншоров, то это дорого им обойдется!

Слушая ее, я снова начинал верить и говорил себе:

«На этот раз, Мишель, надо победить или умереть! Ведь если те, другие, одержат верх, Шовеля, Маргариту и тебя — всех гильотинируют, ибо родисты в Лионе без дальних околичностей всех посылают на гильотину, а вы слишком много наговорили и сделали, чтобы отступить. Ну что ж! Горе тому, кто встанет нам поперек дороги, — раз у них нет жалости, не будет ее и у нас».

Время от времени и поглядывал в сторону лавки и сквозь застекленную дверь видел людей самых разных сословий, которых обслуживал мой брат, — лица у них были мрачные; я видел, что одни и те же мысли занимают всех. Люди думали: «Настала наконец пора узнать, кто кого». И, глядя на лица этих рабочих, крестьян, солдат, думая о том, что эти бедняки в голодное время отдают последний диар, чтобы узнать новости, я понял, что народу, который хочет быть свободным, целый мир не страшен, и пусть многие из нас погибнут, но победим в конечном счете все-таки мы.

Однако задали же нам враги работы — шутка ли, столько их предстояло уничтожить. Так на жатве — выйдешь в два часа утра, паладишь косу, подгатишь по-туже поле и косишь пшеницу до самого вечера! Как грустно, что люди — из корысти, но своевольно — совсем не жалеют друг друга, точно человек — это полевая трава.

Ну вот, кажется, я все вам рассказал, что узнал тогда от Маргариты про дела в нашей стране. Был у нас разговор и про дядюшку Жана, которого дистрикт направил в Париж на праздник 10 августа, и про то, как на первых собраниях была принята новая конституция.

Тут и вечер подошел, и, поскольку мне очень хотелось в тот же день повидаться с отцом, часам к семи я направился в Лачуги-у-Дубняка.

Не стану описывать радость, какую я испытал, когда увидел снова старую улочку с кучами навоза, маленькую кузницу, где работал Бенерот, харчевню «Гри голубя» и тетюшку Катрину и, наконец, моего бедного старого отца, совсем седого и сторбленного; помню, как кричал он меня к сердцу, как плакал и не хотел выпускать из объятий и как дрожали его губы, когда он меня целовал, — все это может представить себе всякий. Надо быть сухой деревянкой, чтобы этого не понять.

Однако я не могу не рассказать вам — хоть и не очень это мне приятно, — как встретила меня матушка, ибо это трудно себе представить. Так вот: поцеловался я с отцом и направился к ней, раскрыв объятия, — а она сидела у очага. «Матушка!» — воскликнул я, но она встала, повернулась ко мне спиной и полезла по лесенке на чердак и, пока лезла, все смотрела на меня диким взглядом, а потом, так и не сказав ни слова и не ответив на приветствие, исчезла на чердаке и спустилась с него, только когда я ушел. Я очень расстроился, но добрый мой отец успокоил меня как мог, и мы всю ночь просидели рядом у очага — некли себе на ужин картошку в золе, курили трубки, смотрели друг на друга и беседовали о нашем счастье и радости.

Добрый мой отец никогда не был так счастлив. Каждое воскресенье он обедал с Маргаритой и Этьеном и с величайшей нежностью говорил о них: никто в жизни так хорошо к нему не относился, никогда его так не уважали и не хвалили. Он не меньше меня понимал, какое это счастье, что я заслужил любовь Маргариты; что же до Этьена, то он был очень рад, что сын зарабатывает себе на жизнь не черным трудом, а благодаря образованию, хорошему поведению и знаниям в торговых делах, которые с каждым днем все расширялись. Доволен он был и тем, как устроились Матюринна и Клод на ферме Никхольд у дядюшки Жава; он считал, что и обеспечены они лучше, чем он сам, да и место в жизни занимают более почетное. Чего же еще желать? Порадовался он и счастьем Лизбеты, когда я рассказал ему про нее, про Мареско, про рождение маленького Кассия, — он готов был слушать меня без конца и умлялся, можно сказать, каждому слову.

Так мы просидели до утра. А утром отец надел свой парадный костюм и проводил меня в город. Нам останавливали у каждой двери, пока мы шли через деревню: кулачки и друзья — все рады были меня видеть и пожелать мне счастливого пути. В Пфальцбурге, несмотря на дурные слухи, которые распространялись про защитников Майнца, патриоты, встречавшиеся нам, говорили, что хоть мы и сдали город, произошло это не по нашей вине.

Я рассчитал, что мне надо выйти часов в десять, но Маргарита рассудила по-своему: она взяла мне место в ночтовой карете, которая отправлялась в пять часов вечера, чтобы я побыстрее, без особой усталости, мог добраться до Нанси. Всю ночь она приводила в порядок мои вещи, да и не только ночь, а и весь следующий день — ставила заплаты, пришивала пуговицы, стирала и гладила, а я тем временем беседовал с патриотами, зашедшими посмотреть на меня, — с Элофом Колленом, Рафаэлем Манком, Жанги, да всех и не перечислишь. Пришлось им рассказать про то, как мы оборонялись, сколько выстрадали, сколько людей потеряли, про пожары, про голод, и все, послушав меня, заявили, что это генералы нас предали, а армию не в чем упрекнуть.

Пуле тут же донес на меня в Наблюдательный комитет\* как на дезертира, но на этот раз мерзавец вместо награды в пятьдесят ливров получил от общественного обвинителя Рафаэля хореющую вазбучку, ибо увольнительная у меня была в полном порядке.

Словом, все шло своим чередом, и, когда настало пять часов, мы сизаранок поужинали, — очень грустно было снова расставаться, и все же мы были рады, что свиделись. Маргарита сушила мне в рапец пару новых башмаков и две рубахи из добротного полотна, принадлежавшие дядюшке Шовелю, а кроме того, нитки, иголки, пуговицы, лоскуты холста и сукна для заплат — ничего не забыла. А когда настала пора расставаться и издали с площадки докесся звон колокольчика, возвещаая о прибытии почтовой кареты, все отправились со мной к крыльцу «Красного быка». Там мы расцеловались, провожавшие пожелали мне доброго пути, пожали руки, наказали быть осторожнее, — словом, простились со мной.

Вот какова жизнь! Было половина шестого; большая почтовая карета катала к Миттельбронну; кончились мостовые, пачался мост, а за ним — бесконечная белая

дорога. Как грустно расставаться, когда не знаешь, встретишься ли опять! По тогдашним временам на это был один шанс из десяти, и я знал это, хоть и храбрился.

Влезая в почтовую карету Ватиста, я думал, что сразу заеду и просию до Нанси — мне было очень нужно выспаться после прогулки из Саарбрюккена в Пфальцбург и после того, как я всю ночь просидел с отцом и ни на минуту не сомкнул глаз. Но не тут-то было: помимо меня, в карете сидело пять или шесть ажюотеров, как тогда говорили, да еще какая-то старуха. Ажюотеры, или спекулянты-менялы, ехали в Нанси якобы покупать табак, а сами только и делали, что препирались — по какому курсу менять деньги, да сколько стоят ассигнаты, да сколько сожгут этих бумажек с изображением Людовика XVI, да что предложил Дантон, да что ему отвечал Базир. Так они толковали, не обращая на меня внимания: думали, что я ни бельмеса в этом не смыслю. Но я-то понимал, что под сенсепсенским табаком подразумевается пшеница, на которую они хотят наложить лапу, только эти их делишки не касались меня, и вместо того, чтобы слушать их разговоры, я бы с удовольствием поспал. Старуха молчала. Она закуталась в огромную пакидку с конопоном, какные носят у нас зимой, смотрела куда-то в угол, и губы ее беззвучно шевелились: должно быть, читала молитву.

А те все продолжали орать. Да и во всех деревнях, через которые мы проезжали, стоял страшный гомон. А потом — то и дело появлялись национальные жандармы и проверяли наши документы — по всей стране задерживали подозрительных. Я видел целые семьи, сидевшие в амбарах под охраной национальных гвардейцев, с часовым у дверей; в другом месте муниципальные чиновники готовились снимать с них допрос. Словом, все бурлило — и это в такие-то времена! Ни беды, ни голод, ни опасности — ничто не могло сдержать людей. Наоборот: чем больше народ страдает, тем меньше сидится ему на месте. На каждой остановке карету нашу облепило по тридцать — сорок оборванных женщин с маленькими детьми на руках.

— Сжальтесь, граждане! — взывали они. — Ради республики, ради свободы — хлеба, дайте хлеба!

Из кабаков доносилось пение «Наша возьмет!». Время от времени мимо галюном проносились жандармские патрули, сопровождая карету, набитую аристократами.

Помню, в окрестностях Эминга, на большом, расчищенном от леса пространстве рабочие строили что-то вроде голубятни, и один из менял заметил, обращаясь к другим: — Телеграф строят.

Все пригнулись к окошкам, ну и я, конечно, тоже пришлось разглядывать строение, но что это такое — понять не мог. Тут менялы прикинулись рассказывать друг другу про то, что некий Шани \* изобрел телеграф, с помощью которого можно подавать сигналы с одного конца Франции на другой, и, таким образом, отпадет надобность в сотнях и тысячах курьеров. Один из менял, что был по-старше, заметил, что если б это изобретение появилось годика два или три назад, тот, кто бы им воспользовался, стал бы самым богатым человеком на свете.

Трое или четверо менял сошли, к счастью, в Люневиле, и в карете остались лишь старик, старуха и я.

Поскольку никакой механики в ту пору не было, перед каждым спуском с горы Батист слезал с козел и подставлял тормозные колодки под колеса, а перед каждым подъемом сжимал их, так что почтовой карете, чтобы добраться от Пфальцбурга до Нанси, требовалось четырнадцать часов.

Под конец я все же заснул, но, когда мы проезжали через какую-то деревню, и снова проснулся от огней и криков птиц. Было, наверно, часа два ночи. Старик-меняла, натянув на уши вязаный колпак, а треуголку положив на колени, хранил точно глухой. Тут я услышал тихие всхлипывания старухи. Она плакала и, чтобы не мешать соседям, время от времени нагибалась и сморкалась под накидкой. Долго я прислушивался к ее бормотанью.

— Боже мой, боже мой!.. — шептала она. — Смилуйся надо мной!

Мне было очень жаль ее, и я подумал:

«Что же могло случиться с этой несчастной, почему она так молится?»

Под конец я не выдержал и обратился к ней по-немецки, ибо бормотала-то она по-немецки:

— Послушайте, бабушка, что вы так плачете? У вас что-нибудь болит?

Она, видно, испугалась и ничего мне не ответила.

— Вы меня не бойтесь, — сказал я тогда. — Я вот тоже расстался со своими близкими — стариком отцом и невестой — и не знаю, увижу ли их еще... Расскажите мне спокойно, что с вами. Я всего лишь простой солдат, но,



если в моих силах вам помочь, можете на меня рассчитывать.

Должно быть, мои слова и мой голос внушили ей доверие, и она принялась мне рассказывать, что едет в Париж в Главный наблюдательный комитет, хоть и не знает, что это такое, но сосед сказал, что там она может добиться помилования сыну, страсбургскому булочнику, которого вот уже две недели держат в тюрьме Пон-Кувер за то, что он отказался принимать ассигнаты. Рассказала она и про то, что в несчастье, случившемся с ее сыном, виноват бывший старший викарий Шнейдер, который теперь стал общественным обвинителем в уголовном трибунале, и вот этот викарий, который многие годы исповедовал людей, теперь сажает под замок всех, у кого есть хоть какое-то имущество.

Она продолжала горько плакать, а я подумал о том, что этот старший викарий, должно быть, вроде нашего Пуле: живет доносами и ложью, и великое возмущение охватило меня. А когда я узнал, что у бедной старухи нет в Париже ни одной знакомой души, — все, что она знает, это название «Наблюдательный комитет», написанное на клочке бумаги, я совсем разжалобился. Как же мать должна любить свое дитя, чтобы в семьдесят лет отправиться наудачу в дальний путь, не зная ни слова по-французски и молясь, так сказать, лишь на милость божию!

Медленно наступал день. Справа от нас, у самого горизонта, возникла колокольная св. Николая, и я вспомнил, как мы мчались здесь под грохот пушек. С той поры едва прошло два года, а сколько перемен! Предатель Вуйе, Лафайет, Людовик XVI, королева, граф д'Артуа, фельяны, жирондисты — какие воспоминания будило все это! А потом — наше вступление в Нанси; длинная вереница пленных, которых мы вели на виселицу; узенькие улочки, залитые потоками крови; несчастные двейцарцы и Шатовье, которых приканчивали прямо во флигелях; повозки у Новой заставы, полные мертвецов; горожане, солдаты, простой люд, женщины, дети — все в одной куче; страшная злоба, которую совершил мой брат Никола во время этой массовой резни! Да, многое изменилось с тех пор — теперь народ взял верх, и предательства павшие не страшны его и не заставляли отступать.

Все эти картины возникали перед моими глазами, точно давняя-давняя история. Бедная же старуха, сидев-

шая рядом со мной, думала только о своем сыне и снова припавлась молиться.

Часам к семи утра за окнами нашей почтовой кареты показались первые дома Нанси, садики, беседки, виноградники, большие строения в шесть этажей — должно быть, бывшие монастыри, дворец бывших герцогов, площади, обсаженные старыми деревьями, за позолоченными решетками — большие сады. На широких улицах не один дом хранил еще следы пуха и ядер господина маркиза де Буйе. Я задумался, глядя на все это, и не заметил, как карета въехала в ворота настоящего двора, — в глубине, над широким навесом, выселились горы мешков, тюков и бочонков.

Почтовая карета остановилась в этом дворе. Мы сошли. Я векинул ранец на плечо и сказал старушке, чтоб она шла за мной, — она взяла свою корзинку и покорно поплелась сзади. Мы вошли в зал харчевни, где было полным-полно народу: извозчики, торговцы, горожане сповали туда и сюда, шли, ели, беседовали о делах. Почтовая карета стояла в Нанси больше часа. Я попросил принести хлеба, вина, сыру, лист бумаги, велел старушке сесть и не волноваться и, пока она шла и ела на краешке стола, написал письмо Шовелю: рассказал ему про осаду и капитуляцию Майнца, про то, как я съездил в Пфальцбург и как я счастлив оттого, что смог обнять Маргариту, отца и друзей. Закончил я письмо рассказом про бедную старушку, попросил Шовеля пригреть это несчастное одинокое существо, дать старой женщине добрый совет и по мере сил помочь ей.

Затем я сложил письмо, написал адрес: «улица Булуа, 11» и посоветовал старушке, как только она придет в Париж, не теряя ни минуты, отнести письмо. Я сказал, что она попадет к хорошему человеку, который говорит и по-французски и по-немецки и сделает все возможное, чтобы выволнить ее сына из тюрьмы Пон-Кювер. Она заплакала и припавшись, как водится, благодарить меня.

Теперь на сердце у меня стало легче; я расплатился за вино и за все прочее и отправился в свой батальон, квартировавший в Новой казарме. Там же стоял второй батальон секции Ломбардцев и четвертый батальон секции Гравилье. В городе полно было кавалерии и нехоты: лаугедокские стрелки, гусары Свободы, парижские федераты и батальоны волонтеров. Большинство квартировало у

горожан, но, по правде сказать, жители не очень были нам рады. Денутаты, посланные в Мозельскую армию, донесли на наших генералов Коиненту: Обера-Дюбайе и генерала Дуаре арестовали. В газетах только и разговору было что про возмутительную капитуляцию защитников Майнца. Всех наших начальников собирались снять, а нас самих послать в Вандею сражаться с крестьянами.

Вот что я узнал, когда прибыл в казарму. На всех лицах было написано отчаяние. Когда на тебя смотрят как на труса и предателя — что может быть хуже?.. Жан-Батист Сом, Марк Дивес и даже Жан Ра скрежетали от ярости зубами, и если бы Марибон-Монто и Субрани \* были сейчас не в Меце, а среди нас, я уверен, их изрешетили бы пулями.

Словом, народ, видя вокруг себя предательства, начинает подозревать в кознях даже своих защитников.

Федераты, находившиеся с нами в одной казарме, только и говорили что об убийстве Марата и составляли петиции с требованием гильотинировать жирондистов. Это они, говорили федераты, подослали Шарлотту Корде, чтобы убить Дантова, Робеспьера и Друга народа — Марата. Моя сестра Лизбета и Мареско думали только о мщении. Офицеры и солдаты расвалялись все больше, и в это самое время всеобщего брожения умов из Парижа прибыл наш храбрый Мерлен из Тюэнвиля и объявил, что сумел отстоять наших генералов, что их выпустили и что Коинент даже издал декрет, в котором объявлял благодарность Майнцской армии. Тут все сразу было забыто. Снова раздался крик: «Да здравствует нация!» — горожане стали лучше нас принимать и даже считали честью посадить нас к себе за стол.

Наступило 10 августа — одно из величайших торжеств республики. Это было самое прекрасное зрелище из всех, какие я помню: на алтаре отечества, воздвигнутом из ружей и военных трофеев, покрытых зеленью, возвышается богиня Разума \*, а вокруг стоит пушки. Звучат патриотические речи, оркестры всех полков и батальонов играют вместе «Марсельезу», идут процессии молодых горожан, вдоль прекрасных широких улиц и площадей города стоят столы с угощением для храбрых защитников Майнца. Прознани человек даже сто лет, картина эта будет у него перед глазами и на всю жизнь останется в сердце.

Все это было как бы живым доказательством ясности человеческого ума, любви людей к справедливости и стремления к братству. Что бы там ни говорили, монахам и попам не удалось еще придумать ничего более прекрасного, простого и естественного. Все понимали, что означает этот праздник. Изображения Вольтера и Жан-Жака Руссо тоже стояли на алтаре отечества, и уверяю вас, что эти святые ничуть не хуже тех, церковных, не говоря уже о таких, как святой Крэнэн и свитой Маглуар.

Но каждый волен думать, как хочет, и я несколько не в обиде на тех, кто думает иначе, чем я, только я их от души жалею, и мне хотелось бы обратить их в свою веру, ибо она кажется мне более правильной. Они могут сказать то же самое обо мне, так что мы квиты, и это не должно мешать нам держаться вместе, как братья. Главное — никого не принуждать и никому не причинять зла.

Праздник продолжался три дня, и, когда в середине месяца мы выступили в Орлеан, мужчины и женщины целовали нас на прощание, ибо между нами уже установились узы братства, а дети бежали следом за батальоном — многие, что были носильнее, отобрали у нас ружья инесли их чуть не до самого Туля.

В декрете было сказано, что нас перебрасывают на почтовых в Вандею, но это означало лишь, что нам дают телеги. Только у офицеров были коляски — так называемые «ландо». Местные крестьяне, мобилизованные вместе с лошадьми для перевозки наших пожитков, везли их десять — двенадцать лье, после чего этих крестьян сменяли другие, а они спокойно возвращались в свои дома. Мы же шли пешком за телегами.

Погода стояла прекрасная, и воспоминания об этом долгом путешествии воскрешают в моей памяти то, как мы повсюду задерживали англичан — выкормышей этого ничтожества Питта, делали обыски во всех деревнях и с каждым привалом наблюдали все большую нищету. Хлеба было так мало, что как только поспевала пшеница, ее тут же обмолачивали. Ждать было невтерпек, и все это время, с четырех часов утра до полуночи, мы слышали удары ценов на току.

Чем дальше мы забирались в глубь Франции, тем хуже относились к нам люди: с каждым шагом, отдалявшим нас от Лотарингии, патристические чувства оскудевали, и на каждой остановке стоило немалого труда получить прови-

ант и добиться, чтобы тебя пустили на постой — даже под навес или в конюшню. Муниципалитеты спорили из-за всего и не желали давать нам ни хлеба, ни дров, ни мяса, ни соломы. Жалованья мы не получали, одеты были в лохмотья, башмаки у нас разваливались, и если бы Жорди, наш бывший командир, который стал теперь командиром бригады, не подбадривал нас, восклицая: «Да здравствует нация! Да здравствует республика!.. Мужайтесь, товарищи! Всему этому придет конец... Свобода зависит от вас!..» и так далее, — уверяю вас, вся колонна давно бы взбунтовалась, ибо когда все приносишь в жертву, эгоизм мерзавцев кажется особенно подлым. Ведь мы же за них шли драться, а они, дай им волю, разместили бы нас в свинарниках и кормили бы отрубями.

Потому-то мы так удивились и расчувствовались, когда в Орлеане мэр, его помощники и весь муниципалитет вышли нам навстречу и восторженно приняли нас. Мы уже решили было, что во Франции не осталось больше французов, и вдруг наткнулись на самых настоящих патриотов — республиканцев. Не успели мы построиться на площади перед мэрией, как нас окружила несметная толпа, и только Жорди крикнул: «На караул! На плечо! Разойдись!» — каждого солдата подхватили под руки двое-трое горожан и повели к себе — не как чужого, а как брата, в то время как горожанки, красивые молодые женщины, награждали нас венками. Жорди, умевший красиво говорить, сказал им на площади:

— Спасибо вам, орлеанцы! Вы первые отнеслись к нам как к сынам родины, к друзьям, к соотечественникам!

Он сказал еще много прочувствованных слов, у всех у нас слезы стояли в глазах, и нескончаемо гремело: «Да здравствуют орлеанцы!», «Да здравствует доблестный гарнизон Майнца!» Жорди, конечно, хватил через край, потому что после возвращения Мерлена из Парижа патриоты Нанси тоже хорошо стали к нам относиться, но в такие минуты трудно сдержать свой пыл, и ты выкрикиваешь все самое хорошее, самое яркое и самое приятное для слуха тех, кто тебя окружает.

Так или иначе, но орлеанцы и вправду тепло нас приняли, и в этом красивом и добром городе нас стали сводить в полубригады, как того требовал декрет от

21 февраля 1793 года, который у нас еще не успели провести в жизнь, ибо мы находились в походе.

И вот тогда из нашего батальона, второго батальона секции ломбардцев и второго батальона секции Гравилье, где находился Мареско, составили полубригаду Париж-Вогезы. Я уже давно был капитаном, но решил расстаться с галунами и вступить вместе с Марком Дивесом и Жан-Батистом Сомом в роту канониров. Пока мы сидели в майнцских редутах, мы успели изучить все, что требуется знать орудийной прислуге, а наши вышешние пушки были сущей ерундой по сравнению с сорокавосемимиллиметровыми каронадами, с которыми нам частенько приходилось иметь там дело. Зато теперь мы будем все вместе, и я с величайшей радостью думал о том, что каждый день буду видеть маленького Кассия, смогу целовать его, а он будет прыгать у меня на руках. Малыш всегда смеялся, как только я входил к ним в палатку. Его считали как бы сыном всего батальона, и все целовали его, точно он принадлежал им всем. Лизбета тоже радовалась, что я остался в батальоне.

Было это в августе.

Прежде чем выступить из Орлеана, мы узнали много такого, о чем стоит упомянуть: во-первых, нашего бывшего командира — генерала Кюстина приговорили к смерти за то, что он тайно поддерживал отношения с Вимифеном и с жирондистами; что не позаботился о провванте для защитников Майнца и не пришел им на помощь; что он дал войскам коалиции захватить Валансен, хотя получил приказ двинуться к городу. Затем мы узнали, что командиром Северной и Арденнской армий назначен наш бывший генерал-адъютант Ушар.

Известно это особенно поразило наших офицеров: они поняли, что Комитет общественного спасения не церемонится и с генералами и что надо как следует выполнять свои обязанности. Узнали мы и про то, что Тулон сдался англичанам вместе с арсеналом и флотом;\* что министр Камбон добился решения Конвента о том, чтобы завести специальную книгу, куда записывались бы долги республики; что Конвент, несмотря на все великие беды, спокойно обсуждает Гражданский кодекс\*, ограждающий права и интересы французов, как личные, так и имущественные. Повитно, все считали, что кодекс этот будет назван «Кодексом Французской республики, едл-

пой и неделимой» и что Конвенту будет принадлежать слава создания этого столь полезного документа.

Несколько дней спустя прибыла вторая колонна, и мы под водительством Клебера выступили из Орлеана. Дерзая левая берега Луары, мы прошли Блуа и Тур. Большая эта река мирно и спокойно течет по ровной долине. По берегам ее, насколько хватает глаза, тянутся перелески, виноградники, фруктовые сады, но главное — дуги и поля, шпинда, ячмень, овес, немного конопли и очень много плодовых деревьев — таков этот край. На воды то тут, то там островками выступают отмели. Древние башни, высокие прекрасные соборы, украшенные скульптурой, старинные замки смотрят на нас издали наверх живых изгородей и кустов.

Хотя колокола велено было снять, над широкой гладью реки с утра до вечера слышал колокольный звон, и часто, проделав не один десяток миль, мы, казалось, снова видели перед собой ту же церковь и ту же местность — до того однообразна тут равнина. По Луаре сновали лодки — в глубине сидит рыбак, надувнув на глаза соломепную шляпу, с жердью в руках, на конце которой пристроена сеть; ближе к городам стали появляться суда, груженные зерном и товарами.

Мы же шагали по пыльной дороге и смотрели вокруг, шагали в лохмотьях, с ружьем на плече, многие шли босые, а впереди ехал на лошади Клебер, синий мундир его был наглухо застегнут, несмотря на жару, большая треуголка с трехцветным плюмажем вся побелела от пыли. Он требовал дисциплины, зато никто так не заботился о солдатах в походе, как он, никто так не старался добыть им провиант и подлечить раненых. Когда мэры или муниципальные чиновники принимались торговаться или спорить, достаточно было появиться Клеберу, — а внешнеюстью он напоминал веселого льва, — достаточно было ему заговорить, как его громкоподобный голос, его возмущенный и презрительный вид тотчас заставляли их умолкнуть. Он лишь посмотрит на них через плечо, прищурив свои серые глаза, — и они уже на все согласны и раздают направо и налево билеты на постой. Пять или шесть молодых офицеров на конях всегда гарцевали вокруг него, готовые подхватить и передать любой его приказ. На отдыхе на его квартиры всю ночь слышался смех и шепот, но во время службы он становился совсем другой

и никогда не шутил. Даже издали сразу видно было, что это генерал — и такой, который не станет слушать лишних слов, особенно когда противник близко и все спрашивают себя: «Как-то начнется бой?»

Я рассказываю вам все это заранее, но подождите — встанет срок, и вы сами в этом убедитесь.

Итак, мы прибыли в Сомюр, где находилась славная штаб-квартира. И тут начались споры — кому нам командовать и что с нами делать. Там уже было пять или шесть народных представителей, в том числе Рюль\*, Фелино, Жиле, не считая Мерлеца из Триовилля, который шел с нашей колонной, и множества офицеров и генералов, которые прибыли из Парижа с санюлотами.

Я вовсе не презираю санюлотов, но Париж в ту пору уже поставил немало батальонов в Северную, Рейнскую, Мозельскую, Альпийскую и Пиренейскую армии, и те, что сейчас пришли нам на подмогу, были героями за пятьсот ливров — люди, согласившиеся выполнить свой долг только за плату. Эти горе-воины принесли нам больше вреда, чем пользы, ибо никто, на их взгляд, не был достаточно хорошим республиканцем. Они злились на всех и вся, а сами при первом же пушечном выстреле орали:

— Намена!

Если первые батальоны федератов, волонтеры-рабочие, отцы семейств, — словом, если все простые труженики держались спокойно и твердо под огнем, то эти отвратительные горлазы, крикуны и лодыри только и делали, что дрожали за свою шкуру. Вудь у ломбардцев и гравишерцев лишний порох, они бы перестреляли их — так называли эти процоцельги свой город.



Сомюр — город-крепость. Бывшие гусары Свободы, которые назывались теперь девятым гусарским полком, вместе с другими кавалеристами квартировали в казармах. А мы получили билеты на постой. Ходили слухи, что у нас собираются отобрать наших командиров, и недовольство росло. Никто не знал, присоединят ли нас к армии на Брестском побережье или к армии, стоявшей возле Ла-Рошели, и будет ли у нас генералом Канкло \*, тот самый, который пять месяцев назад отбросил вандейцев от Нанта, или Россиньоль \*, парижский часовщик, которого сделали генералом. Оба они были генералами армии, а наши, как, например, Обер-Дюбайе или Клебер, были дивизионными генералами и могли командовать только лишь колонной. Но поговаривали и о том, что нашим командиром будет Сантер, парижский пивовар, такой же дивизионный генерал, как и наши, и это возмущало нас до крайности.

Наконец через несколько дней решено было, что зачинщики Майнца пополнят армию на Брестском побережье, которой командовал Канкло.

Клебер остался у нас в качестве дивизионного генерала, и мы получили приказ выступить в Нант. Радость в армии царяла чрезвычайная, ибо Канкло, по крайней мере, был хоть настоящий генерал, а не часовщик или пивовар. Только генерал этот был в прошлом графом де Канкло. Я не хочу сказать, что он нас предал, — нет! — но он сохранил все традиции старых генералов Людовика XVI, привычные представления, от которых такие люди не могут отказаться, и вскоре нам пришлось на себе испытать, чего стоит их излюбленная тактика дробить силы вместо того, чтобы бросить всей массой на врага. Но не будем торопиться — горя и глухости всегда хватает.

Можно себе представить, что весь этот эгоизм и тщеславие, с которыми мы сталкивались на каждом шагу с тех пор, как вышли из Майнца; все эти дурные вести, которые мы получали о предательствах, изменах, резне; продвижение противника по нашей земле, угрожавшего нам со всех сторон, — все это заставляло нас призадуматься, а многих и совсем обескураживало. Но по дороге из Сомюра в Нант до нас дошли вести, которые всех приободрили: мы узнали, что наша храбрая Гора не дрогнула — депутаты выдержали натиск, словно скала, которая твердо стоит, сколько бы ни ярились и ни грохотали волны!



Когда мы проходили через Анже, нам прочитали знаменитый декрет Конвента, объявлявший о всеобщем рекрутском наборе и призывавший всех французов вступить в ополчение, чтобы раздавить врага. Придется мне привести его здесь, ибо вам тогда понятнее будет наш энтузиазм, — ведь ни одна страна в мире не может похвастать ничем более сильным, более прекрасным и более величественным в своей истории. Тут-то и сказывается разница: одно дело, когда людьми движет желание установить вечную справедливость, и совсем другое, когда всем движет гордыня одного человека. Только республика могла так возвысить голос и потребовать от народа подобных жертв. И вот на площади Анже, перед старшим темным собором, среди огромного скопления народа, собравшегося со всей округи, наш командир Флавины считал нам этот декрет, и снова, как в тот день, когда отечество было объявлено в опасности, раздались крики: «Да здравствует республика! Победим или умрем!.. На врага! Ведите нас на врага!..» В воздухе мелькали сабли, ружья, колыхались знамена; крестьяне, с удивленным гледищем на все это, обступили нас со всех сторон; на площадь прибыли национальные гвардейцы, гудел набат. Весь народ поднялся и пошел на защиту республики.

Итак, вот он, декрет.

«Пока враг не будет изгнан с территории республики, все французы пребывают в распоряжении армии. Молодые люди пойдут в бой; женатые будут ковать оружие и подвозить провиант; женщины будут изготавливать палатки, шить обмундирование и работать в госпиталях; дети — щипать корпию; старики — сидеть на площади и своими речами ободрять солдат, возбуждая ненависть к королям и преданность республике. Все общественные здания превращаются в казармы, все общественные заведения — в оружейные мастерские; земляные полы в погребах подлежат выскоблить, дабы получить возможно больше селитры.

Боевое оружие вручается только тем, кто идет на врага. Для службы внутри страны надлежит применять только охотничьи ружья и холодное оружие. Верховые лошади реквизируются для нужд кавалерии; упряжные лошади, за исключением тех, которые необходимы в земледелии, будут использоваться для перевозки артиллерии и провианта. Комитету общественного спасения поручается принять

все меры, чтобы немедленно приступить к изготовлению оружия всех видов, какое потребуется французскому народу. В связи с этим Комитет имеет право создавать любые учреждения, мануфактуры, мастерские и фабрики, какие он сочтет нужным для выполнения этих работ, а также набирать по всей республике мастеров и рабочих, которые могли бы обеспечить успех всего дела. В этих целях в распоряжение военного министра предоставляется 30 миллионов франков из запасного фонда в 498 миллионов ассигнатов, хранящихся в резервной кассе под тремя замками.

Центральное руководство этими чрезвычайными мерами будет исходить из Парижа. Представителям народа, направленным для проведения в жизнь настоящего закона на местах, будут даны в их округах соответствующие полномочия, которые они должны осуществлять по согласованию с Комитетом общественного спасения. Они наделяются неограниченной властью, какая дается представителям народа при армии. Ни один человек, мобилизованный для выполнения определенных обязанностей, не имеет права заменить себя другим. Не подлежат мобилизации только государственные чиновники. Объявляется поголовное ополчение всех граждан. Первыми должны явиться в главный город своего дистрикта все нежелатые граждане, а также бездетные вдовцы в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Там они будут ежедневно обучаться владению оружием вплоть до отбытия на фронт.

Представители народа будут регулировать сроки призыва и отправки людей в действующую армию с тем, чтобы вооруженные граждане прибывали на сборные пункты в строгом соответствии с имеющимися там припасами, амуницией и всей материальной частью. Сборные пункты будут определяться в зависимости от обстоятельств и устанавливаться представителями народа, посланными для выполнения настоящего закона, совместно с генералами, а также по согласованию с Комитетом общественного спасения и Временным исполнительным советом. Батальон, сформированный в каждом дистрикте, будет выступать под знаменем, на котором будет написано: «Французский народ восстал против тиранов».

Вскоре после того, как нам прочитали этот декрет, мы двинулись из Анже в Нант, куда три ваши колонны прибыли одна за другой 6, 7 и 8 сентября 1793 года. Город,

расположенный на правом берегу Дуары, окружен множеством лодок, судов и кораблей, покачивающихся на причале или сплывших по воде. Зрелище это довелось поразить меня, ибо, будучи жителем гор, я не видел ничего подобного ни в наших краях, ни даже на Рейне.

Тут я впервые узрел все величие и богатство большого торгового города, куда товары со всех частей света стекаются как бы сами собой, — стоит лишь поставить мачты и поднять паруса, когда дует попутный ветер.

В городе уже полно было других полков, тоже входивших в Брестскую армию; местные власти призывали нас отлично — даже угощенье в нашу честь устроили. Все богачи округа радовались тому, что вандейцам, явившись они сюда, придется теперь иметь дело с нами. Они восторжались даже нашими лохмотьями, и поскольку главный склад провианта и амуниции для частей, призванных защищать Брест, Лорнан и Ронифор, находился в Науте, после празднества каждый из нас получил по паре новых башмаков.

Но на другой день, 9 сентября, надо было выступать, и вот тут нас ждали неожиданности.

По дороге из Союра мы уже заметили, что на той стороне реки вся местность выглядела совсем иначе: потянулись перелески с высокими паноретниками, затерянные в зелени домины, бесконечные фруктовые сады, окруженные буйно разросшимися живыми изгородями, заросли дикого терновника, а над всем этим — сучковатые дубы и каштаны; всюду заустенные, ни клочка возделанной земли, точно здесь никогда не трудилась человеческие руки, — словом, неистовый дикий край, где люди предоставили все работам господина бога и ни о чем не печались.

Перед нами была Вандей, и по мере того, как мы спускались вниз по течению Дуары, местность становилась все более непроходимой. Нам предстояло проникнуть в эти заросли и выбить оттуда тысячи притаившихся человеческих существ — браконьеров, контрабандистов, мелкопоместных дворян-охотников с их лесничьями, неприсягнувших священников, закослевших в своем невежестве; арендаторов, мелких лавочников, крестьян, которые сами себя называли «госнодекие люди». Ну, что мне вам тут объяснять? Они держались вместе, скопом, как непроходимый кустарник в их лесах, никем не тронутые и не направляемые на протяжении сотен лет.

И ни одной боковой дороги в этой стране, — даже ни одной такой, где бы в ряд могли пройти два быка. Да, было над чем призадуматься: самый последний солдат по-внимал, что тут не пройдешь цепью и не обнаружится врага издали — придется все сяечь, чтобы что-то увидеть. К тому же слухи о поражениях, которые терпели патриоты в этой злосчастной стране, о визости женщины, добивавших раненых, ожесточали сердца. И мы говорили себе:

«Что ж, раз они нас расстреливают, мы их тоже будем расстреливать. Раз они поступают безжалостно, мы тоже будем так поступать. Интересы республики прежде всего».

То, что мы видели с дороги между Ансеп и Анже, было лишь началом Вандей, а она тянулась намного дальше. Между лесом и морем находятся топи, где обитают другие люди той же породы, занятые охотой на птиц, которые ютятся среди камышей и тростников. Эти — не меньше жителей лесов — держались за свое рабство, нам предстояло столкнуться и с ними.

Наша полубригада — горные стрелки и эскадрон конных стрелков — под командованием Клебера ровно в полдень вышла из Нанта и пересекла мост. Было известно, что тысяч шесть или семь вандейцев засели у пруда Гран-Лье, в деревне Пор-Сен-Нэр, с пушками и всем, что требовалось, чтобы нас встретить. В этом месте Луара уже довольно широкая, да еще в нее втекает Севр, через который тоже перекинут мост. Следом за нами, чтобы поддержать наше наступление, должен был идти генерал Бейссер, эльзасец, родом из Рибовилье, с пятью или шестью тысячами солдат. Погода стояла преотличная.

Рядом с Клебером покачивался Мерлен из Тлонвиля, в шляпе, какие носили депутаты Конвента, с огромной саблей на боку, обоясанный трехцветным шарфом, — оба ехали верхом, в центре батальона; за солдатами следовало шесть маленьких четырехдюймовых пушек и две небольшие горные гаубицы; конные стрелки цели разведку. Все внимательно смотрело вокруг, но ничего необычного заметно не было: вандейцы не показывались. Как только мы перешли на другой берег, обнаружилось, что по узким дорогам, среди яблонь и груш, усыпанных плодами, нельзя продвигаться колонной — пришлось идти гуськом. Но тут Клебер, который хоть и походил на льва, а хитер был, как лиса, выделил две роты стрелков и приказал им идти справа и слева от дороги, в не

усвели мы двинуться, как со всех сторон затрещали выстрелы.

Мы поняли, что в кустах вокруг засело множество этих негодяев, которые несомненно окружили бы нас, если бы мы сначала не прочесали местность. Для этого наши стрелки и двинулись вглубь, но хвост эскадрона едва обошел лес, как началась отчаянная пальба, которая оповестила нас о том, где засели вандейцы. Стрелки галопом вернулись назад, оставив позади несколько человек; у многих лошадей на боках появились красные денты — отметины, показывающие, где вошла пуля. Бедные животные! Пуля никогда не может соскочить их сразу, — они еще бегут, пусть недолго, но бегут.

Вот теперь мы обнаружили все неприятные стороны этой войны: никогда нельзя было знать что тебе ждет! Клебер выставил вдоль дороги вдвое больше стрелков. Этого оказалось достаточно: мятежники отступили, и колонна продолжала путь, все время находясь, однако, под угрозой обстрела.

Нас-то, с нашими пушками и боевым снаряжением, охраняли справа и слева, а потому угрожать нам могла разве что какая-нибудь шальная пуля, но скоро и нам надлежало вступить в бой, и все мы только этого и ждали.

Так шли мы больше часа и, только когда вышли к пруду, увидели, что представляет собой этот край: жалкие деревушки, бурые стены хижин и вдалеке, то тут, то там, церкви с черепичной крышей. А справа от нас, на расстоянии двух пушечных выстрелов, — вандейцы. Они кипмя кипели у пруда и в деревне Пор-Сен-Пэр, где у них была главная квартира. Пушек у негодяев было достаточно, и они дали по нас три-четыре выстрела, чтобы пристрелять орудия, а заодно, быть может, остановить нас.

Нас отделил от Пор-Сен-Пэра рукав пруда, откуда вытекала довольно глубокая речка. Рукав этот был шириной триста в ширину, по берегам его росли высокие травы, тростник, хвои. Вандейские стрелки, отступая, прихватили с собой на тот берег лодки. Атаковать их было трудно.

И все же Клебер, осмотрев со своими старшими офицерами и Мерленом позицию, приказал нам построиться в две колонны для наступления. Он велел вкатить пушки на высоты Сен-Леже, напротив деревни. Вокруг нас сыпались пули, и ядра со свистом пролетали над головой, — пушки были прицелены слишком высоко.

Наконец поступил приказ и нам открыть огонь: наши ядра полетели вдоль главной улицы Пор-Сен-Пэра, отрывая руки и ноги, выбивая упоры из-под навесов, разбрасывая навоз, который бандиты старательно раскидали по мостовой. Само собой, там поднялись крики, но издали они сливались в неясный гул; спасая свою жизнь, вереницей потянулись женщины и дети, а когда от наших гранат загорелись амбары и пламя заплесало на крышах старых домовшек, из них, вместе с матрацами, вылезли и упрямые старики. Все, что творилось на этой грязной улице, видно было издалека. А тем временем наши две колонны бегом спускались к реке: офицеры, генералы, представители Конвента, знамена, султаны, штыки — все смешалось в едином потоке.

— Да здравствует нация! — кричали наши.

А на той стороне толпились вандейцы и кричали:

— Да здравствует король!

Наши ядра, пролетев над нашими колоннами, косили тех, других. Я впервые увидел сквозь дым там, вдали, страшное истребление людей. Река мепала ударить в штыки, но стрельба шла прямой наводкой. Многие из наших бросились в воду, чтобы добыть лодки, — вандейцы топчили их, огрев прикладом по голове или проткнув багром. Вода была вся красная от крови. Сотни раненых, уносимые течением, барахтались в ней, делаясь друг за друга.

Наконец мы все-таки добыли несколько лодок и, связав их гуськом — нос к корме, — соорудили подобие моста. Все ринулись к нему. Мерлен, размахивая шляпой, падегой на острие сабли, — одним из первых.

— Вперед! Вперед! Да здравствует республика! — кричал он, перекрывая тысячи голосов.

Мы дали два-три залпа картечью, но пули не достигли цели и падали в пруд. Тут вдруг явился офицер генерального штаба и приказал наступать, — мы развернули орудия и сватились вниз. Там мы не смогли пройти, зато принялись расстреливать вандейцев, пытавшихся садами выбраться из деревни, — их ширококопые войлочные шляпы и серые балахоны, подпоясанные красными платками, которые служили им вместо патронташей, то и дело мелькали среди деревьев. Скоро в папоротниках стало полною полною раненых, иные добирались даже до прибрежной травы, стремясь утолить жажду или спрятаться,

На нашу беду, были и такие, которые засели за кладбищенской стеной и, не переставая, обстреливали нас. Они не торопясь целились и через какие-нибудь четверть часа после того, как мы вышли на берег пруда, уже подбили два наших орудия. Возницы, мобилизованные в Нанте для перевозки снарядов, пустились наутек, прихватив с собой лошадей, а три подбитые лошади уже лежали на боку. Всю нашу артиллерийскую роту тут бы и перестреляли, если бы гренадеры, переправившись через реку, не двинулись на кладбищенскую стену и не ударили в штыки. После них переправились через реку и конные стрелки, держа за уздечку плывущих лошадей, а часам к четырем вандейцы, узнав, должно быть, что подходит еще одна колонна и может их окружить, оставили деревню и отступили.

Мы выкурили их — на месте Пор-Сен-Пэр лишь дымпались развалины! Потом я узнал, что из-под обломков там открыли семь двенадцатидюймовых пушек, в том числе две английские кулеврины. Все было кончено — мы открыли путь в Вандею между Нантом и Ла-Рошеллю, и нашей колонне предстояло добраться до нижнего Пуату, чтобы раздобыть провиант; однако мне на этот раз не суждено было выступить с ней, ибо в ту минуту, когда пришел приказ прекратить огонь, я как раз вложил банник в пушку, — я был в орудийном расчете первым справа, — и вдруг упал — сначала на колени, а потом растянулся по всю длину, рядом с тремя или четырьмя моими товарищами, сам не понимая, что со мной. Только это я и помню. Мне стало холодно, потом жарко — пот катил у меня с лица, как вода, и тут, благодаренье богу, я совсем потерял сознание. Только несколько часов спустя я пришел в себя — уже в телеге, которая везла меня, вместе с десятком других раненых, из Нанта в Анже. Следом за нами тянулись другие телеги. Все больницы в Нанте были переполнены, и нас везли дальше.

Я получил пулю в грудь. Она не прошла насквозь, потому что послана была издалека и ударилась как раз в то место, где перевязь от сабли перекрепчивалась с ремнем от патронташа, но меня будто что-то придавило и мешало дышать. Я харкал кровью. Мне уже сделали кровопускание. Там, на дороге, когда я пришел в себя и почувствовал эту страшную тяжесть, первая моя мысль была, что мне конец. Да и товарищи мои были не в лучшем состоянии: у одного перевязана голова, у другого рука, у

третьего нога, и все в крови. Печальные и бледные, смотрели они на медленно расстилавшуюся перед нами дорогу; многие бредили, как во сне, но говорить никому не хотелось. Возницы были заняты своим делом — они не интересовались нами и не смотрели на нас, пели, насвистывали, высекали огонь, раскуривали трубки, а то принимались переговариваться, рассказывали про свою деревню, про харчевню «Золотой лев» или, скажем, «Красную гроздь», где их хорошо или плохо принимали. Словом, так мы ехали.

Прошел уже целый день после сражения, было три часа пополудни, мы проехали Ансени и к ночи прибыли в Анже. Я ничего не помнил и ни на чем не мог сосредоточиться. Собственная моя жизнь, Маргарита, Шовель, судьба республики — все было мне безразлично. Тревожила меня только мысль о том, что где-то у меня в теле засела пуля или кусок шрапнели, а еще я считал, что у меня сломана рука, потому что после кровопускания в Нанте она была перевязана. Когда человек потерял много крови, голова плохо работает, и те, кто утверждает, что кровь — это жизнь, пожалуй, не так уж не правы.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Высокие дома, крытые черепицей, собор и ветхие укрепления — все это делало Анже похожим на те старинные города, которые встречались на нашем пути между Вормсом и Майнцем, словно они были построены по одному образцу. Я никогда не видел ничего хорошего в этих крысиных гнездах, которыми иные люди любят себя от нечего делать. Мне всегда больше нравилось все новое, и в этом я не изменился, несмотря на преклонный возраст, а мне очень хотелось бы, чтобы мне сейчас было двадцать вместо девяносто пяти. Пишу я все это для того, чтобы вы поняли, что Анже не слишком интересовал меня. Наш госпиталь, старинное здание со двором и садом, с большими лестницами и длинными коридорами в верхнем и нижнем этажах, находился возле заставы Сент-Андре. По счастью, к моменту нашего прибытия многие койки оказались свободными, и нас смогли тут же положить.



Каждое утро старенький доктор в сопровождении пяти или шести молодых людей делал обход. Грудь у меня была черная, как чернила, — это меня очень пугало. Помню, старик все что-то объяснял про меня своим ученикам, и один из молодых людей несколько раз приходил пускать мне кровь. Он все говорил, чтобы я дышал, — хотел посмотреть, как это у меня получается, и мне день ото дня становилось все лучше, особенно после того, как мне прибавили полрациона хлеба, мяса и вина. Жизнь снова стала казаться мне прекрасной, меня снова стали волновать дела республики, и я уже только и мечтал о том, чтобы скорее попасть к себе в батальон.

Рядом со мной лежал старый офицер седьмой полубригады легкой кавалерии — большой был охотник поговорить. Он был ранен в плечо, и, когда я настолько окреп, что смог ходить, мы каждый день с девяти до двенадцати прогуливались по саду в шерстяных шинелях и бумажных колпаках. Офицер этот, несмотря на свои седые усы, был точно порох. От него я и узнал про гнусные дела вандейцев, ибо его полубригада с самого начала принимала участие в борьбе с мятежниками. Он рассказал мне о том, как тысячи бывших сборщиков соляного налога, солеваров, торговцев солью, таможенников, контрабандистов, лесничих и браконьеров после отмены в 1791 и 1792 годах привилегий и всяких прав, которыми пользовались те, кто служил в казне, вместо того чтобы работать, как все люди, принялись мутить народ, но крестьян, несмотря на все их невежество, сдвинуть с места не удавалось. Каждый, должно быть, думал:

«Ты кричишь и возмущаешься потому, что тебе больше правится быть волком или лисой, чем бараном. Контрабанда, доносы и браконьерство кормят тебя куда лучше, чем если бы ты возделывал землю или молотил в амбаре зерно».

А подстрекательства неприсягнувших священников оказывали влияние только на женщин — те стегали и рвали на себе волосы, что гораздо легче, чем рисковать головой во славу трона и алтаря. Словом, здравый смысл все еще брал верх. Аристократы, правда, столковались с нами, и когда пруссаки вторглись в Шампань, если бы мы потерпели поражение, эти доблестные французы мигом нанесли бы нам удар в спину, но известие о победе при Вальми успокоило буштарей и никакой смуты не произо-

шло. Только когда на нашу родину обрушились все беды, у этих людишек достало мужества выступить против нас.

И вот, когда в марте 1793 года стране потребовалось триста тысяч новобранцев, ибо самое ее существование пахло под угрозой, они решили, что настал удобный момент. Да и молодежь, юнцы, которых призывали вместе со всеми французами выступить на защиту родины, решила, что куда приятнее сидеть дома, есть каштаны и поивать вином со славным кюре, старухой бабкой да возлюбленной, а потому, когда национальные жандармы пришли за ними, чтобы заставить их выполнить свой долг, они возмутились, и уже на другой день у бывших сборщиков солиного налога, лесничих и контрабандистов оказалось несколько тысяч сторонников. Таким образом, не мысль о господе боге или о Людовике XVII заставила их восстать, а всего лишь нежелание покинуть свои леса. Мятежные же священники внушали им, что они выступают за святую веру, и это, конечно, тешило их гордость; они начинали думать, что, может, оно и в самом деле так; многие даже считали, что если и умрут, то воскреснут на третий день, а жела пока постоит их тело.

Вот что рассказал мне лейтенант Детейтермо. От него же я узнал и про страшную резню в Машкуле, небольшом городке, где не было даже гарнизона и где председателю дистрикта Жуберу отпилили кисти рук, а голову раздробили ударами вила; священника же, присягнувшего конституции, на куски разорвали женщины, судью Поля зарубили топором, а трехсот патриотов, мирных горожан, выстроили у рва и безжалостно расстреляли. Было это 30 марта, когда началась война.

В пятистах коммунах забили в набат, а три дня спустя возчик Кателвно, лесничий Стоффле и бывший ищий — Дырявый Карман, — словом, вся их шайка стала нападать на наши отряды, убивать наших солдат, грабить казну, отбирать ружья, порох, пушки, которых никто не охранял, потому что кто же мог ожидать такого, кто мог подумать, что свои, французы, нанесут нам удар в спину в тот момент, когда нам надо было отражать нападение всей Европы.

Невозможно описать все то, что наделали эти бандиты в Шемплье, а затем в Шоле и о чем рассказал мне старый войка. А про то, как обращались их женщины с бедными пленными, лучше уж при порядочных людях промолчать. Правда, тот лейтенант все мне рассказал.

После того как бывшие сборщики соляного налога и лесничие сделали ночи, поднялось и «благородное племя победителей». Д'Эльбе\* поднял мятеж в Анжу, Боншан\* — в Сен-Флоране, де ла Рош-Сент-Андре\* — в Порнике, Шаретт\* — в болотах, Ла-Рошжаклен\* и Лескор\* — в других местах. Но эти-то хоть защищали свои интересы. Когда они говорили о короле и церкви, они прекрасно понимали, о чем идет речь. Это значило: «Мы хотим вернуть свои привилегии и жить припеваючи на поколения в поколение за счет этих жалких людишек, которые сражаются за нас». А те — боже мой, боже мой! — можно ли быть такими слепыми! И какое великое несчастье — невежество!

Самое ужасное, что эти защитники господа бога шли расправляться с горожанами в сопровождении жён, которые несли с собой мешки для добычи. Когда три месяца тому назад они напали на Напф, полторы тысячи женщин первым делом ринулись на улицу Ювелиров. Все это я узнал от гражданина Детейтермо — он рассказывал и только плечами пожимал.

Я знаю, что нынче очень трудно поверить такому, но это чистая правда. Вот на что толкала людей вера в священной Вандее, земле, где столько говорилось о жертвах.

Конвент, ошеломленный всеми этими ужасами, до последней минуты медлил, не желая мстить и полагая, что так не может долго продолжаться. Но под конец пришлось ему все же отдать приказ отвечать злом на зло, и мы, к несчастью, вынуждены были тоже жечь и убивать, чтобы показать этим людям, что не так уж трудно стать святыми на их манер — достаточно только забыть, что ты человек, уж я не говорю — христианин, ибо у Христа никогда не было ничего общего с дикими зверями.

Пока происходили эти события, мы сидели в осажденном Майнце; Северная армия проиграла сражение под Нервинденом; Дюмурье перешел к австрийцам; Кобург осаждал Валансьен, а вандейцы — они думали только об одном: как бы захватить хороший порт, где могли бы без труда высадиться англичане, и восстановить у нас десятину, соляной налог, оброк, барщину, «высокий» и «низкий» суд, пытки, колесование и все прочее.

Лейтенант не скрыл от меня, что и мы наделали немало ошибок: вместо того чтобы сражаться всем вместе, мы создали четыре армии с четырьмя командующими,

которые никак не ладили друг с другом и не уступали даже в мелочах. После того как защитники Майнца вернулись на родину, остались два командующих — Россиньоля и Канкло, и все-таки один был лишний, ибо на войне все должно подчиняться единому плану, и план этот может меняться ежедневно, по мере надобности, поэтому нужно, чтобы кто-то один выслушивал все советы, но решал единолично. В этом и есть сила армии: приказывает один, а подчиняются все.

Люди рассудительные понимали это, и у часовщика Россиньоля, видно, оказалось больше здравого смысла, чем у Канкло, потому что еще за две недели до того, в Сомюре, он предложил Канкло взять на себя командование обеими армиями, но кампания вестя по его, Россиньоля, плану, который потом и был признан наилучшим. План этот состоял в том, чтобы продвигаться сразу, всем вместе, заставить вандейцев отступить к морю и там, между Луарой и морем, дать им решающий бой, одним ударом покончив со всем. К несчастью, Канкло держался старых традиций и провел на военном совете решение вступить в Вандею с двух сторон: армия из Ла-Рошели вступает через Сомюр, а Брестская армия — через Нант. Вы увидите, к какой страшной неразберихе это привело.

Сначала все, казалось, шло хорошо: колонна Клебера, за нею — колонна Дюбайе и Бейссера маршем, держась на расстоянии одного перехода, вышли из Напта и вступили в пшеничную Вандею. Каждый день приносил нам вести о выполнении приказов Конвента. В Поршпке, Бурганефе, Машкуле, Эгрефейле и других местах — всюду завязывались бои, всюду вандейцы отступали, деревни их горели, а бандитов разгоняли или прикалывали штыками. Они заявили, что намерены воспользоваться условиями нашей капитуляции перед пруссаками, и поскольку все мы обязались год не выступать против сил коалиции, а теперь нарушили эти условия, то всякий, кто попадет к ним в руки, будет расстрелян. Зато и мы могли не переживать, и Майнская армия круто вела себя с этими мерзавцами. Словом, тут вроде бы все шло как надо.

Армия Россиньоля тоже готовилась двинуться против вандейцев. Главные ее силы под командованием Салтера должны были идти на Шоле, где помещался штаб бандитов, чтобы взять их в клещи. Неясно было одно: станут ли те, точно подлоты, дожидаться соединения двух армий

и не попытаются ли разгромить их одну за другой, как они всегда это делали. Гадать оставалось недолго, и, конечно, всех нас волновал этот вопрос.

Я как раз в это время вышел из госпиталья и попросился сразу в свой батальон, но, коль скоро вандейцы имели обыкновение убивать одиноких солдат, если таковые попадались им на пути, генерал-адъютант Флавиньи, командующий войсками в Аijke, запретил мне ехать одному и приписал меня на довольствие к роте пушкарей из департамента Эры и Луары, которая как раз шла на соединение с колонной Сантера в Дуэ. В тот же день, вместе с другими частями, мы перешли Луару и, перевалив через холмы Эринье, вступили в Вандею.

Армия Сантера расположилась биваком в окрестностях Дуэ, на дороге из Сомюра в Шоле. Она насчитывала, должно быть, тысяч восемнадцать — двадцать и входила в нее батальоны, сформированные в Орлеане, «герои» цепью в пятьсот ливров, набранные в Париже, и конная жандармерия, — ни те, ни другие, ни третья не славились своей доблестью; кроме того, были там батальоны Сарта и Дордони, артиллеристы, пешие жандармы и девятый гусарский полк, бывшие гусары Свободы, за которыми, наоборот, держалась добрая слава; и, наконец, были там ополченцы из всех соседних департаментов — рабочие, чиновники, крестьяне, в большинстве своем — безоружные, многие — в сабо, с палкой на плече, а к концу палки привязана круглая булка. Добывать провиант в этой дикой стране, где лишь одни болота, песок, кусты да напоротники, с каждым днем становились все труднее, ибо жители, забрав с собой скот, уходили вглубь.

Наша часть, следовала по дороге Бриссак — Алле — Амбийу: к вечеру мы вышли на высоты Лурес, и там глазам нашим предстала вся долина, усеянная огорьками, вереницы конников в дозоре и городок Дуэ, освещенный точно для праздника. Погода стояла отличная, и на другой день, 17 сентября, мы нагнали армию, двигавшуюся на Шоле.

Бог мой, ну что мне вам сказать? Хоть я и был всего лишь простой солдат, но, как увидел эту армию на марше, сразу понял, что генерал наш — пивовар, который куда лучше разбирается в качестве пива, чем в командовании армией. И мне стало страшно, ибо я уже видел вандейцев и успел повясть, что хоть они и мерзавцы, но

не ослы, и драться умеют. Вы только представьте себе, что сделал этот несчастный Сантер, которого Конвент послал к нам для того, чтобы он обратил в бегство и победил врага! Армия у него продвигалась не колонной, не по дивизиям и даже не по взводам, а гуськом, без всяких разведчиков или передового охранения; сначала цепочкой ехала артиллерия — пушки, повозки и фуры со снарядами, затем кавалерия, затем, насколько хватал глаз, тянулась нескончаемой лентой пехота — по трое в ряд. Словом, в случае атаки пехоте, которая должна была защищать нас, пришлось бы стрелять нам в спину! Вся эта масса людей медленно продвигалась по выбитым узким дорогам, окаймленным живыми изгородями, высокими папоротниками, фруктовыми деревьями, чахлыми дубами и густыми каштанами, где нас в любую минуту могли отрезать и окружить, а мы даже не успели бы развернуться. Посмотрел я на все это и подумал:

«Мишель, не видать тебе больше Маргариты. Всем нам, у кого есть какое добро, надо скорее писать завещание».

И я ругал себя на чем свет стоит за то, что пошел с пушкарями, потому что шли мы самые первые, без ружей, без патронов. Да и все прочее — возчики и крестьяне, мобилизованные для перевозки пушек и фур со снарядами, пороха и ядер, тоже чувствовали себя не лучше. Я видел, что они все время озираются по сторонам и глаза у них испуганные. А как они вздрагивали, когда в живой изгороди что-то шевелилось или трещало.

Сантер же на большом коне, в распахнутом мундире и треуголке, съехавшей набок, задрав к небу свой длинный нос, скакал вдоль колонны; видно было, что он гордится тем, как она выглядит на марше — еще бы: колонна, растянувшаяся на добрых три с половиной лье! Какое величественное зрелище! Наверно, с сотворения мира ни одному генералу не приходила еще в голову мысль таким строем идти на врага.

Я знаю, что Сантер был хороший патриот, что он хорошо проявил себя во всех парижских событиях, но какое несчастье иметь такого генерала! Когда человек пользуется популярностью, его считают годным на все, и пусть он всю жизнь только чистил котлы, его могут взять да и назначить первым министром или главнокомандующим! Опять же все от невежества.

Словом, так мы двигались на Шоле, и колонна наша все растягивалась, ибо солдаты и кони чем дальше, тем больше уставали от тяжелых дорог. Погода по-прежнему была хорошая, ничто не омрачало нашего настроения. Примерно за пять часов пути мы прошли не одну бедную деревню, но не встретили нигде ни души, как вдруг, выйдя на высоты Корона, услышали в панорамниках дикий вопль, — от одного этого звука волосы у нас встали дыбом, — и в ту же минуту со всех сторон затрещали выстрелы, точно прорвало плотину на реке и вода хлынула в долины. Вандейцы, словно волки, ринулись на нас! С криком «сдавайтесь!» они хватили под уздцы наших лошадей. И почему-то всю свою ярость направляли прежде всего против пушек. Никогда в жизни я еще не видел такой свалки и такого ожесточения. Пехота, которая тянулась где-то позади на расстоянии полулье от нас, должна была бы прийти к нам на выручку, но между нами и регулярными войсками шли ополченцы. Кавалерия не могла маневрировать среди всех этих живых изгородей, и конные жандармы помчались куда-то в сторону — якобы догонять беглецов, а по всей дороге — от Корона до Вийе — непрерывно трещали выстрелы и нарастал сопутствующий бегству гул.

Откуда-то вдруг появился офицер главного штаба и крикнул, чтобы мы установили наши пушки на холмах, справа и слева, но, к несчастью, вандейцы смешались с нами, ишло поголовное истребление друг друга прикладами и приборнымиками. Какой-то старик, которого я буду поминать всю жизнь, сухой, тонкий, без зубов, но с поветием железной хваткой, вцепился мне в горло и кричал что-то на своем вандейском паречии. Тут на косогоре возникло двое других — босые, штаны висят, на спутанных волосах какают шапчолка — и прыг прямо в кучу. Раненые лошади взвивались на дыбы, звякали цепи, трещали, сталкиваясь, фуры. Старик прижал меня к пушке. Я всадил ему саблю в живот по самую рукоятку; приподнялся и вижу: мерзавец возчик хочет перерезать постромки, чтобы удрать, — я наотмашь рубанул его по лицу.

Теперь я уже ни о чем не думал, кроме того, что повелевал мне долг: я крепко взял переднюю лошадь под уздцы и изо всей силы ткнул ее в бок; она разъярилась, и пушка двинулась с места, переваливая через горы трупов и раненых. Перед глазами у меня шло туман.

Товарищи мои — те, кто еще остался в живых, — принялись подталкивать сзади, и пушка полезла на откос. Там, наверху, вандейцы снова окружили нас, и бой разгорелся с новой силой. Нас бы всех поребили, если бы гусары Свободы (славный девятый полк) не пришли к нам на выручку и не расправились с этими бандитами. Они, словно ветер, вылетели на поле боя.

Еще трое моих товарищей пали, а чтобы зарядить пушку, надо было распрячь лошадей. Все наши снаряды остались ввизу, на дороге; прибойники, баншики, рычаги — все было сломано. Видя это и видя, что дикари позвращаются, я вскочил на лошадь и галопом логнал ее вниз. Ни ружейная пальба, ни крики — ничто уже на меня не действовало. Пушки, оставшиеся ввизу, были для нас потерины, — спасти я мог только свою. В отдалении два батальона департамента Сарта, бывалые солдаты, построившись в каре, прикрывали отступление. Я во весь опор помчался к ним. Я уже слышал, как картечь щелкает по камням, взметая облачка пыли. Вандейцы повернули против нас наши же пушки. Каково, когда тебя расстреливают из твоих же орудий!

Командир бригады, к которому я пробился вместе с моей пушкой, весь залитый кровью, выпел из рядов и сделал шагов двадцать мне навстречу.

— Твое имя, пушкарь? — спросил он, протягивая мне руку.

Я ответил:

— Мишель Бастьен, приписанный к роте Эры и Луары.

И орудие вошло в каре. На беду, не было снарядов и воспользоваться пушкой не представлялось возможным. Я тотчас соскочил на землю, удивляясь тому, что добрался сюда живой и невредимый, и очутился за линией огня. Я схватил ружье, патронताш и встал на опустевшее место. Как я был счастлив, когда надкусил свой первый патрон! Да, те, кто не испытал ярости, какую познаешь на войне, когда рядом с тобой убивают твоих товарищей, никогда не смогут понять, какое наслаждение вскшпуть ружье, прицелиться, слова сунуть руку в патронташ. Как весело ты смешься, как подмигиваешь товарищам!

И все же мы отступали, ибо картечь так и косила наших солдат; пришлось сомкнуть ряды. В первой же деревне позади нас мы обнаружили роту леших жаандар-



мов и стрелков с берегов Дордоши, засевших в домах, среди развалин. Деревня начала гореть — от пыжей всыхнула соломенная крыша. Мы прошли левее и заняли позицию чуть подалее, у подножия лесистых холмов, где высилась колокольня другой деревни. Нам пришлось продержаться там до шести часов вечера, чтобы дать время ополченцам отступить и перегруппироваться. Вандейцы, как и мы, не могли протащить пушки через эти кустарники, тем не менее они с невероятной яростью продолжали нас атаковать.

Когда стемнело, они вдруг исчезли, почему — никто не знал. Добрый час мы прождали их, не выпуская из рук ружей — так все удивлены были, что их вдруг не стало. Но когда в деревнях пробило восемь часов, оба батальона принялись отступать и вышли на дорогу, тянувшуюся справа. Она была усеяна мертвыми и ранеными, павшими лошадьми, распряженными, разбитыми фурами, повозками. В долине то тут, то там еще стояло несколько батальонов. Оставшиеся в живых солдаты регулярных войск отправились на розыски беглецов. Со всех дорог и тропинок стали стекаться ополченцы, держа на плече палки с навязанным на них хлебом. Вылезали они и из каменоломен, которых немало было в этом краю. Всю эту и две последующие ночи паша кавалерия ездил по округе, разыскивая их.

Мы же вернулись в Дуэ. Батальон департамента Сарта, в рядах которого я сражался, поместили в замок Фулона\*, — парижане повесили его в начале революции. Из роты Эри и Луары вернулось пятнадцать пушкаррей, привезли много раненых, а сколько народу отправили на тот свет вандейцы 17 сентября — одному богу известно; мы потеряли тогда восемнадцать пушек, все наши снаряды и тысячи доблестных патриотов. Вот как выглядело поражение при Короне. Я рассказал здесь все, что видел своими глазами, и хочу только повторить, что нет ничего хуже, когда люди считают, будто они на все способны, и смело берутся за самое трудное дело, за которое другие, в тысячу раз более знающие и отважные, из скромности не решились бы взяться. Гордость, тщеславие, глупость — это и свергает тысячи честных людей в беду!

В то время мы еще не все знали, — только через два дня стало известно, почему вандейцы к вечеру куда-то исчезли и перестали нас преследовать. Оказалось, что они

стягивали свои силы, решив навестить на другую колонну, которой командовал генерал Дюгу и которая, как и ваиа, двигалась из Аижке на Шоле, чтобы, согласно плану Канкло, окружить бандитов. А те подстерegli их в местечке, именуемом Решетчатый мост, и было этих бандитов столько, что четыре тысячи республиканцев остались лежать на земле; вся артиллерия, имущество и материальная часть попали в руки вандейцев, а пятьсот отцов семейства, набранные в Аижке и окрестностях, были окружены у моста, и бандиты выполнили свою угрозу, расстреляв всех до единого.

Как только мы узнали эту печальную весть, поскольку у вандейцев было обыкновение после очередной расправы явиться в какой-нибудь крупный город на Луаре, разграбить его и засесть там, часть наших войск поспешила вернуться в Сомюр, — в том числе и я.

Бандиты расправились с нашей колонной 17-го в Коронсе, а с колонной генерала Дюгу — 19-го в Болье. 20-го мы двинулись в обратный путь. Все так и вышло от возмущения: подумать только, нас побил какие-то крестьяне, которые ничего не понимают в тактике, причем мы потеряли втрое больше народу, чем они.

Я винил во всем наших генералов, а потому, каково же было мое удивление, когда по прибытии в Сомюр я узнал, что колонна Майнцской армии тоже была разбита и отступает к Нанту! Когда мы вступили в Сомюр, все только об этом и говорили. В отчаянье были не только семьи, потерявшие опору и поддержку, — тревога охватила всех, ибо негодяи одержали верх и никто не знал, как их остановить. Мне никогда не хотелось верить дурным вестям, и то, что наши старые генералы Клебер и Дюбайе вынуждены были отступить перед таким сбродам, казалось мне просто невероятным.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В Сомюре царил страшное смятение; разместиться было негде; церкви св. Жана, Нантйской божьей матери и св. Петра были превращены в госпитали для раненых. Город снестно готовился к обороне; генера-

лы и представители Конвента старались переложить друг на друга ответственность за наше поражение. Фелишио обвинял Россиньоля в том, что он предал республику; Россиньоль обвинял Канкло и Фелишио в том, что они сговорились с англичанами. Солдаты были до крайности возмущены поведением вояк за пятьсот ливров. Каждый день происходили десятки потасовок — сабли так и мелькали в воздухе.

Тем временем мы узнали, что дошедшие до нас дурные вести оказались правдой: колонна под командованием Клебера, оттеснив негодяев и разгромив их гнезда на берегу Севра, подошла к Шоле в надежде раз и навсегда покончить с гражданской войной, но бандиты, собрав все свои силы, — а их оказалось свыше сорока тысяч, — окружили бывшую Майнцскую армию в Торфу, между Клиссоном и Мортанью, и там произошла самая страшная битва за всю эту кампанию. Клебер, раненный пулей в самом начале сражения, спокойно командовал до конца: солдаты несли его на носилках, сложенных из ружей. Но Цеврский батальон, которому было поручено прикрывать артиллерию, не выдержал натиска, и все наши орудия попали в руки бандитов. Тогда пришлось отступать, обороняясь от полчища этих дикарей, и отступление прошло в полном порядке, сколько ни старались роялисты на протяжении этих шести дней завязать бой хотя бы с одним из наших батальонов. Защитники Майнца оставались в Клиссоне и заняли хорошую позицию на противоположном берегу Севра, где вандейцы уже не посмели их атаковать. Таким образом, это было вполне достойное отступление перед превосходящими силами противника, но все-таки отступление. Поле боя осталось за вандейцами, они могли говорить: «Сколько вы ни старались, а мы все равно хозяева у себя!»

И вам нечего было им ответить.

Вот о чем мы узнали.

Мысль о том, что Лизбета, Мареско и маленький Кассий, возможно, попали в эту заваруху, еще больше тревожила меня: теперь я слишком хорошо знал добрых христиан-вандейцев и мог не сомневаться, что если бы фургон моей сестры застрял где-нибудь, то всех их зарубили бы без всякой жалости. Эта мысль не давала мне покоя.

Я по-прежнему получал довольствие в Сартском батальоне паравне с остальными моими товарищами: при проверке всегда кого-то не хватало, кто в нем уже не нуждался, но остаться там на все время я не мог. Как только в городе восстановился порядок, я получил наконец подорожную, о которой просил, наверно, раз двадцать: путь мой лежал в Авже, куда в конце сентября прибыла для переформирования рота пушкарей Париж-Вогезы. Я уже не рассчитывал, что встречу с Жан-Батистом Сомом, Марком Дивесом и другими моими друзьями, с которыми мы вместе сражались в Ландау, Вормсе, Шпейере и Майнце. Солдат живет все равно что птица на ветке: сегодня, товарищ, яжимаю тебе руку, мы вместе едим, пьем, спим, мы хорошие старые друзья, а завтра, случись обстрел, я даже знать не буду, где покоится твой прах, во рву ли вместе с десятью или пятнадцатью другими солдатами, или же тебя съели лисы! Да, очень все это грустно!

Так или иначе, выйдя из Сомюра, я срезал себе палку у ближайшей изгороди и направился в Авже. Погода стояла по-прежнему хорошая, но уже пришла осень, и листья с деревьев облетали. То тут, то там национальные гвардейцы охраняли мосты через реку. В деревнях было неспокойно, никто не желал идти в ополчение, и правильно — если бы еще хоть ополченцам давали ружья вместо пик, потому что у вандейцев-то ведь были ружья.

Однако по дороге, в одной деревушке, меня ждала печальная радость. На двери закрытой церкви висело несколько объявлений и прежде всего — декрет Конвента, в котором говорилось, что отныне во главе армии будет стоять один генерал. Затем следовало обращение этого генерала к армии:

«Солдаты свободы! Вандейские бандиты должны быть уничтожены до конца октября. Спасение родины требует этого, французский народ потерял терпение, призовите на помощь всю свою храбрость!»

И последнее предупреждение мятежникам со стороны депутатов Конвента, собравшихся в Сомюре:

«Дворяне и поны, пользуясь именем господ, доброго и миролюбивого, подстрекают вас к убийствам и грабёжам. Чего же хотят те, кто стоит во главе вас? Они хотят возврата королевской власти и рабства, всех старых зол, что довели над вами. Они хотят, чтобы снова была

десятина, подати, соляной налог, баналитеты, право охоты, барщина; они снова хотят привязать нас к земле — как быка, что нашет вану землю. А мы, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы все люди были равны, чтобы они были свободны как воздух, который они вдыхают...» И так далее, и так далее.

Все это было хорошо, а особенно приказ Конвента покончить с Вандесей до конца месяца. Три четверти людей в трудные минуты теряют нужную уверенность в себе, — надо придать им этой уверенности, если хочешь, чтобы дело шло на лад.

Третьего октября рано утром я вошел в старинный город Алже. Он был забит войсками, прибывшими для соединения с Фонтенейской дивизией, которая из Брессюра направлялась в самое сердце Вандеи. Я целый час разыскивал мою роту, расквартированную в каком-то старом здании. Я, конечно, видел знамя тринадцатой роты над дверью, но лица все были незнакомые, и я уже хотел было выйти из коридора, решив, что ошибся, как вдруг мимо прошел лейтенант Рене Белатон.

— Э, да, никак, это ты, Бастьен! — воскликнул он. — Откуда, черт возьми, ты взялся? Все уже считали тебя на том свете.

Я ответил, что прибыл из Союра и что я был приписан к роте пупкарей Эры и Луары. Вокруг нас собралось много народа. Среди них я вдруг узнал человек пять или шесть старых знакомых. Они улыбались мне.

— Да ведь это Бастьен!.. — говорили они. — Ты, значит, не умер?

Со всех сторон ко мне тянулись руки, и тут я увидел старину Сома — он шел, задрав нос кверху и глядя куда-то вдаль: до него уже дошел слух, что Мишель Бастьен внизу. Он сразу признал меня и молча раскрыл объятия: я понял, что он все-таки любит меня.

— Эх, — сказал он, прижимая меня к груди, — очень я рад, что ты снова с нами, Мишель!

Мы оба были искренне взволнованы. Все эти люди вокруг стесняли нас. Поэтому я сказал Сому:

— Пойдем-ка напротив, в кабачок дядюшки Адама.

И мы пошли, чтобы побеседовать без помех. Многие солдаты и горожане посещали этот кабачок; как только мы уселсь там друг против друга и, положив локти на стол, принялись потягивать красное вино, отменное в тех

местах, и закусывать хлебом, я прежде всего спросил, живы ли моя сестра, Мареско и маленький Кассий, сумели ли они выбраться из Торфу.

— Не беспокойся, Мишель, — сказал он мне, — я видел их вместе с повозкой в колошце Дюбайе, когда она отступала к Нанту. Все они были целы и невредимы. Я даже подошел к ним и на ходу немного потодковал с Лизбетой. На сидоме рядом с ней лежало ружье и сабля, — словом, у нее было все, что нужно для защиты. Если бы пришлось сражаться с ней рядом, я бы полагался на нее не меньше, чем на Мареско. Такой, как она, не страшны даже две вандейки.

Он рассмеялся, а мне приятно было слушать добрые вести — тогда легче спести остальное.

Сом рассказал мне, что во всем, оказывается, виноват был Пьеврский батальон, потому что вначале мы теснили вандейцев, а этот батальон, вместо того чтобы стоять на месте и поддерживать артиллерию, последовал за основной массой колонны; тогда роялисты с тыла напали на пушкарей и перебили их всех. Там был Марк Дивес, большой Матне из Четырех Ветров, Жаан Ра и еще пять или шесть наших приятелей, и с тех пор о них ни слуху ни духу. Сом тоже получил два удара штыком — к счастью, вандейцы, завидев наших драгуи, бросились наутек: они прихватили с собой наши пушки, но не стали, как обычно, прикалчивать раненых, — потому из нашей роты и спаслось несколько человек. Первый удар штыком пришелся Сому в правую руку, а второй — в плечо, но он не казался больным, и теперь все уже прошло.

Рука у него, правда, была еще забинтована, что не мешало ему держать стакан и весело смеяться, глядя на меня.

Мы просидели в кабачке до вечерней переключки, а потом вместе поехали спать. В роте нашей было пока всего лишь тридцать пять человек, но чтобы управлять орудием, достаточно и шести. Решили комплектовать нас в Броссюре, и, как только пришел приказ выступать, на другой день, 5 октября 1793 года, мы двинулись в путь.

С нами шла кавалерия и пехота, а также вознички, за которыми нужен был глаз да глаз, хоть они и были в красных колпаках с большими кокардами, потому что у них все время возникало желание выпрыгнуть коней и удрать

под прикрытием темноты. Вот нам и поручили следить за ними; никакого другого дела у нас пока не было.

Места, по которым мы проходили, были мне уже знакомы. Здесь была разбита колонна генерала Дюгу, и по вечерам, как только садилось солнце, над просторами равнины, из чащи, с обеих сторон обступившей дорогу, доносилось рычание волков и лисец, которые растаскивали и отнимали друг у друга мертвецов. Ответы пожаров на небе, высокий темный кустарник, вой диких зверей, колокола, перезванивающиеся в деревнях, нарушая тишину, — все это пагубило тоску. Сколько раз вспоминал я наши края и призывы неприсягнувших священников, поднимавших народ на бунт, вместо того чтобы его усмирять; вспоминал слова Шовеля у нас в клубе о том, что надо опасаться войны, и страшное недомыслие Валентина, который ради графа д'Артуа — божьего человека с позволения сказать! — готов был перевешать всех патриотов подряд, и все те мерзости, которые нас сюда привели. Неужели люди для того созданы, чтобы служить нищей для куниц? Разве это повелевает христианская вера? А Христос, что бы он сказал, если бы увидел эти страшные зверства, порожденные гордыней и алчностью попов и дворян, которые якобы его волей поставлены над простыми смертными? Разве он для этого сходил на землю?

Случалось, вечером, при нашем приближении, целые деревни снимались с места; мужчины, женщины, старшки и дети — все уходило, унося с собой мычащих коров и блеющих коз. Мы видели издали, как они скрывались среди высоких папоротников и зарослей репейника на фоне закатного неба, и почти всегда после их ухода обнаруживали колодцы, забитые трупами и заваленные сверху камнями. Значит, была расправа. Ну и конечно, мы поджигали их жалкие лачуги. Колонна шла дальше, и всю ночь мы видели на небе отблески зарева, дым застилал все вокруг, больше чем на целое лье, особенно когда огонь охватывал сухую траву и соседние деревья.

На рассвете мы останавливались, варили суп, на вершинах холмов расставляли часовых. Приходилось все время быть начеку, потому что самые опасные враги следовали за нами по пятам и наблюдали за каждым нашим шагом. Однако панацея на нас в пути им не удалось. Минував Дуэ, Монтрей, Туар, 9 октября мы прибыли в Брессюр в тот момент, когда две колонны — одна из

Сомюра, другая из Фонтеней, — соединившиеся накануне, вместе выступали в Шатийон.

Дивизионный генерал Шальбо командовал этими войсками, а Вестерман стоял во главе бургийонских стрелков — так называемых стрелков из Кот-д'Ор — и эскадрона гусар Равенства. Этот Вестерман, уроженец Мольсейма, что неподалеку от нас, прославился своей храбростью и даже жестокостью. Ни один генерал не знал Вандей так, как он. Несколько месяцев тому назад в этих самых краях он сжег замки Лескюра и де ла Рошжаклена, а также несчетное множество деревень, церквей, монастырей — повсюду остались одни развалины.

Поскольку наша рота, пзрядно уставшая за долгий путь, прибыла как раз в тот момент, когда войска выступали в Шатийон, и она была не полностью укомплектована, нам поручили наблюдать за отправкой боевых припасов, которые должны были следовать за колонной. Враг, видно, был недалеко, ибо армии выступили в поход около девяти часов утра и последние части еще маршировали по городу с ружьем на плече, чекая шаг, когда заговорили пушки. Мы в это время паходились в артиллерийском парке и грузили ядра, гранаты, ящики с картечью на телеги с соломой, которые эскортировали бывшие егеря Розенталя, и они привялись торопить возниц и нахлестывать лошадей.

К полудню стоял уже непрерывный грохот канонады, и мы от всего сердца кляли свою службу, которая выпуждала нас сидеть в артиллерийском парке, тогда как товарищи наши сражались. Дядюшка-Сом от возмущения скрежетал зубами, я видел, как он ходит взад и вперед, бледный, и с таким видом передает соседу ядра, точно охотно пивырнул бы их ему в голову. Лейтенант нашей роты, совсем еще юнец, стоял в воротах, повернувшись к нам спиной, и что-то насвистывал. Всякий раз, как телега выезжала со двора, он вытягивал кнутом лошадей, и они неслись галопом, несмотря на тяжесть груза.

Когда человек добровольно пошел в армию, ему, право, неприятно заниматься такими вещами. Теперь же, когда мои ровесники видят обоз — хорошие крепкие повозки, точно выкованные из железа, великоленных лошадей с крутым, блестящим крупом, храбрых солдат, широкоплечих, приземистых, в штанах с кожаным задом, в мундире из добротного сукна и в лихо сидящем на голове кивере,



припасы лежат в ящиках, запалы ядер или бомб тщательно укрыты от дождя, — словом, когда мои ровесники видят это, они не могут не признать, что теперь все иначе, чем в наше время, и, если бы не увеличившиеся налоги, можно было бы сказать, что наши внуки учли наш военный опыт и сделали немалые успехи. Но вот налоги все портят, и, если бы мне не надо было продолжать начатый рассказ, я бы с удовольствием остановился на этом вопросе. Однако пойдём дальше, а там посмотрим, — может, и вернемся к налогам.

Пока мы возились с ядрами, передавая их из рук в руки, жители Брессюира высыпали из города и поспешили на окрестные холмы, чтобы издали посмотреть, как идет бой. Мы слышали, как они, возвращаясь, говорили:

— Дерутся в лесу, близ Козьей мельницы.

Или:

— Дерутся в Обье.

Иной раз до нас вдруг доносился страшный гул, в котором вроде бы можно было различить грохот пушек, но лес близ Козьей мельницы находился больше чем в двух лье от города, поэтому нам все это только чудилось, как часто бывает в таких случаях.

Часам к четырем стали возвращаться первые повозки, выехавшие с припасами, — только теперь они везли раненых: гранадеры, стрелки, гусары, пушкарки лежали вперемежку на окровавленной соломе: у кого забинтована голова, у кого рука, у кого переломаны ноги. Раненых прищипали сгружать — сгружали вдоль всей главной улицы, прямо под открытым небом. Доктора, хирурги, лекари в белых фартуках, с инструментами и бинтами под мышкой, опускались на колени подле носилок, прямо среди толпы, которая смотрела и ужасалась. То тут, то там кто-то вскрикивал и уходил: зрители постепенно рассеивались. Женщины, из тех, что похрабрее, вызывались помочь; вокруг царил хаос, мелькали носилки; двери во всех домах стояли настежь: несли в ближайший дом, потом в следующий, потом в следующий. Каждый охотно отдавал свою постель, белье, все, что имел.

Когда видишь, с какою добротой относятся люди к раненым, невольно приходит в голову мысль, что им не пришлось бы делать все это добро, если бы у них хватило разума договориться между собой и всеми силами воспротивиться войне. К несчастью, вандейцам ничего нельзя

было доказать: эти бедняги даже не знали, что они дерутся в угоду предателям, которые хотят отдать стражу англичанам и договорились с пруссаками, что те прекратят войну, если мы будем побеждены. Ничего они не знали! И помогали сохранить рабство, выступая против разумных и справедливых законов, принятых представителями народа! Итак, либо они должны были истребить нас, либо мы должны были начисто уничтожить это племя, и все же я вынужден признать, что это были смелые люди и что, только напрягнув все силы, мы могли довести дело до конца.

В пять часов прибыл бригадный генерал Шабо\* — один: его принесли на носилках гренадеры, уже мертвого. Я видел, когда его пронесли. Он был ранен в голову — пуля прошла за ухом. Говорят, он успел все же крикнуть: «Да здравствует республика!» Но, глядя на эту черную дыру, величавую с ладонь, трудно было поверить, чтобы он успел что-либо крикнуть, — поверю, кто-то из друзей крикнул за него, зная, что именно это крикнул бы всякий настоящий патриот.

К шести часам канонада прекратилась. Все улицы и проезды загромождены были повозками, фурами, пустыми ящиками. Стемнело, и горожане зажгли факелы на фасадах своих домов, а доктора все продолжали извлекать пули, отрезать руки и ноги, не обращая внимания на крики, замечания и движение толпы. Помните, уже ночью прискакал на лошади старый гусар, с длинными седыми усами. Казалось, он не был ранен. Не в состоянии пробраться дальше, поскольку улица была запержена, он остановился возле нашего парка, и наш лейтенант спросил у него, кончился ли бой.

— Да, — сказал он, — бандиты уже два часа, как бросились наутек. Однако колонна преследует их справа, в направлении Нейе, — деревню, кстати, подпалили, — а Вестерман преследует их слева, по дороге на Шатийон. Он сейчас, наверно, уже добрался туда.

Говорил он спокойно, но, когда стал спешиваться, мы увидели, что он ранен в живот. Он рухнул у забора — и так и остался лежать на спине, закрыв глаза. Лейтенант крикнул, чтобы сбегали за доктором, но тут гусар вытянулся, глаза у него раскрылись, — лейтенант понял, что доблестный солдат отдал богу душу, и вернул победившего было за доктором пушкаря.

И почти тотчас мы услышали вдалеке пение «Марсельезы»: депутаты Конвента Шодье и Бельгард возвращались в сопровождении эскадрона бывших Розентальских егерей. Тут город огласили крики: «Да здравствует республика!» Депутаты Конвента направились в мэрию, чтобы вместе с муниципальными властями дистрикта составить обращение к народу, но я так его и не услышал, потому что на другой день, 10 октября, мы получили приказ присоединиться к основным войскам. У вапдейцев захватили пупки, и наконец-то нам вновь предстояло выполнять свои прямые обязанности.

К несчастью, когда мы прибыли в деревню Болье, нас снова мобилизовали — на этот раз подбирать раненых и хоронить убитых. Все местные жители бежали, деревни их горели. Нельзя же было бросить на произвол судьбы несчастных, которые лежали в кустах и еще дышали. Итак, пришлось заниматься таким делом, что и не опишешь — больно уж это страшно; к тому же, если про такую кампанию все подробно рассказывать, то и конца не будет.

Весь день 10 октября мы только и делали, что копали большие рыл футов в шесть-семь шириной и ридами укладывали в них убитых.

А раненых размещали на повозках, которые отвозили их в Бресеюр. Нам помогали и другие отряды: ведь надо было прочесать весь косогор. Но разве можно быть уверенным, что ты ничего не пропустил в этих лапдах, среди высоких паноретников? Тут следовало бы искать долго, — может, целую неделю, а нам хотелось поскорее нагнать колонну.

Так или иначе, но мы все еще были там, когда ночью внимание наше привлек какой-то гул со стороны Шатийона; гул был неясный, смутный. Глянули мы на дорогу и видим: бежит вся наша армия. Ее пруде был никто не преследует, однако солдаты всех полков, пешие и конные, сбившись в кучу, точно стадо, бегут по полям. Можете себе представить наше удивление! Сколько ни возмущались и ни кричали командиры, никто их не слушал. Лавина эта затопила не только деревню, но и весь косогор. От солдат мы узнали, что вапдейцы застigli их врасплох в Шатийоне, когда большинство отправилось на поиски сена, соломы, провианта, и они кинулись бежать, побросав пушки, снаряды, все имущество.

По счастью, мы уже сварили и съели свой суп, так как после появления колонны в окрестностях уже нельзя было найти ни крошки. Беглецы хотели добраться до Брессюира, отступавшие их прикрывал Вестерман со своими гусарами и батальоном гренадер Конвента, и командирам частей удалось под конец убедить солдат, что было бы позором отступить дальше, бросив на произвол судьбы арьергард, что надо постараться выйти из дела с честью и выстоять, если бандиты нападут. Начались переклички. Роты, батальоны и эскадроны построились и стояли, дожидаясь приказа. На это ушло добрых два часа.

Но арьергард все не показывался, и это удивляло нас до крайности. Смотрели, слушали. Часовым был дан приказ: чуть что — сразу поднять тревогу. Офицеры беседовали у бивачного огня, который разложили перед деревней. Вокруг — полнейшая тишь. Вдруг около часу ночи где-то в стороне Шатийона началась перестрелка — отдельные выстрелы чередовались с залпами. Шум боя нарастал. Скоро по небу разлилось зарево, и стало ясно, что Шатийон горит. Тут самые рьяные беглецы закричали: «Вперед! Вперед!»

Но командиры не спешили бросать их в бой — выслали стрелков на разведку, и только к утру мы узнали о том, какая резня произошла в Шатийоне. Вестерману стало стыдно, что ватага крестьян заставила его вернуться в Брессюир, и вот, видя, что роялисты не преследуют его по пятам, он решил, что они, наверно, по своему обыкновению, устроили пир и опустошают винные погреба. Тогда он отобрал сто гренадер-добровольцев, посадил их по одному на лошадь к своим гусарам (бывшим Шартрским) и велел им пускаться в ход только саблю и штык. К полнотчи он вернулся в Шатийон, и до четырех часов утра его гусары, гренадеры и он сам рубили, прикапчивали и заживо сжигали опьяневших мужчин и женщин, валявшихся прямо на улицах и в домах среди кувшинов и вскрытых бочек, — все они были мертвецки пьяны, и у них не было ни сил, ни мужества сопротивляться. Те же, кто еще хоть что-то соображал, решив, что на них напала другая колонна республиканцев, пришедшая из Нанта, Люсона или откуда-то еще, приплясывали стрелять из окон, из-под дверей друг в друга, не глядя, не слушая, точно безумные; под конец все канавы полны были вина, крови и

водки, а вокруг горели дома и балки рушились на головы тех, кто не сумел оттуда выбраться.

Вот к чему приводят пьянство и глупость.

Мы увидели это зрелище часов около девяти, и я никогда его не забуду.

Свои пушки и припасы наша колонна нашла там, где оставила: мерзавцы разграбили только имущество. По дороге из Шатийона в Брессююр стоял целый обоз с порохом, и поскольку возницы бежали, нам поручили доставить его в город. Ехать по главной улице, засыпанной пеплом, заваленной горящими балками, где с крыши при малейшем порыве ветра сыпались тучи искр, было невозможно, поэтому нам пришлось сделать крюк, чтобы выбраться на Шатийонскую дорогу. По пути я раза два или три обернулся и посмотрел на эту черную, точно дымоход, улицу, где среди обломков валялись груды тел, — живые они были или мертвые, мужчины или женщины, не знаю, но мне казалось, что они еще шевелились, а в воздухе стоял запах паленного мяса, вызывавший тошноту.

Страшное это дело — гражданская война! Вспомнишь — и противец становится весь род людской: стыдно было бы носить имя человека, если бы не знать, что все эти беды порождены несколькими извергами, которые, к счастью, не так уж часто встречаются и которых с каждым днем становится все меньше, а большинство народа в общем-то люди добрые, жалостливые и готовы скорее помочь друг другу, чем грызться, — вот только невежество всему помета\*.

Вестермай со своими гусарами остался близ Шатийона, чтобы отдохнуть после резни, а вся остальная колонна продолжала путь в направлении Шоле. Мы шли с батальоном гренадер Конвента. Это были всё старые солдаты, бывшие жандармы или караульные. Командовал нашей бригадой генерал Бар\*, представителем Конвента при нас был Фейо\*. Идти среди этих зарослей приходилось медленно, но и растягиваться нельзя было: мы знали, что Стоффле, Дюриво\* и Бовалье\*, три главных вождя вандейцев, могли напасть на нас где угодно — в любом опасном месте и всех перебить, как солдат Сантера в Короне.

Весь второй день, с утра до вечера, мы слышали слева сильную канонаду: ветер дул с той стороны, и глухой гул доносился до нас. Офицеры то и дело останавливались и говорили, указывая на бесконечное море папоротников:

— Должно быть, колонна Люсона соединилась с колонной Монтэю. Там идет бой.

Мы бы, конечно, двинулись к ним на помощь, если бы можно было построиться и проташить по лесным дорогам пушки, но приходилось опасаться засад. Однако на другой день, только мы миновали небольшой городок Молеврие, пронесся слух, что прибыл новый главнокомандующий санкюлот Лешель\*, что он уже одержал две победы и обратил бандитов в бегство, и коль скоро мы находились всего в трех лье от Шоле, где грохотали пушки, туда отправили все подвижные войска: батальон гренадер Конвента, бывших егерей Розенталя, — словом, всех, кто мог быстро совершить переход, а нас, с нашим длиннущим обозом, грузикенным порохом и личным имуществом, оставил позади: добирайтесь, мол, как знаете.

Было, наверно, часов одиннадцать или двенадцать дни. Мы кипели от злости, по этому делу не поможешь, когда дороги едешь в ухабах и, сколько ни погоний лошадей, сколько ни бранись, — все ни с места. Мало того что мы плелись позади, нас еще в любую минуту могли отрезать от основных сил. Наше счастье, что доносчики, которыми кишмя кишел этот край, не сообщили кому следует, что идет республиканский обоз, который защищают всего две жалкие роты стрелков. Все они, наверно, были в другом месте — эти мерзавцы крепко помогали друг другу, и когда где-нибудь шел бой, можно было пройти мили и мили, не встретив ни души.

Наконец к шести часам вечера, взойдя на небольшой холм, мы увидели слева город Шоле, на добрых пол-лье протянувшийся вдоль дороги, — собственно, не просто город, а большой коммерческий, торговый и фабричный центр. Уже в те времена Шоле славился как один из крупнейших торговых и патристически настроенных городов Вандеи. Чуть подальше мы увидели нашу армию и орудия, расставленные по косогору. Они уже отстрелялись. А кавалерия во весь опор мчалась по равнине, обращая в бегство бандитов.

Единственным нашим утешением было то, что в трехстах шагах от нас, в ландах, мы увидели батальон защитников Майнца, стоявших по команде «ружье к ноге», а за ними, в резерве, — два или три других. Одеты они были как и все волонтеры, но мы сразу узнали их, как узнаешь родных — по манере держаться, смотреть, погибаться, да

еще по длинным бородам, по лохмотьям, по рваному знамени. Сердце у меня забилось, а дядюшка Сом, который за весь этот переход ни разу не раскрыл рта, сказал:

— Вот и наши. Теперь мы уже не будем плестись в хвосте.

Радость встречи со старыми товарищами по оружию и мысль, что моя сестра Лизбета, Мареско и их маленький Кассий близко, настолько взволновали меня, что к глазам у меня подступили слезы. Где-то вели «Марсельезу», ржали лошади, и, хотя бой кончился, время от времени где-то еще грохотали пушки. Все небо было в красных и золотых полосах, солнце уже село, однако, несмотря на дым, стланившийся над землей, отчетливо видны были старшие офицеры и генералы, верхом, в больших треугольниках, по трое, шестером, десатером; гусары — в красных, желтых, черных киверах; повозки, покрытые брезентом, — каждая казалась мне нашей; ровные линии штыков и, наконец, огромное поле битвы, а слева — город с бесчисленными трубами и остроугольными крышами на фоне неба.

Как представляю себе эту картину, сразу растрогаюсь: воспоминания юности скрашивают жизнь, и кажется, будто ты все тот же.

Мы медленно продвигались следом за основной частью армии. Все наши дивизии наконец соединились — хоть раз, да это произошло! Идем мы так, вдруг подлетает к нам на лошади офицер и велит остановиться. Оказалось, это наш бывший командир Жорди — он теперь стал командиром бригады. Узнав его, человек шесть или семь из батальона горных стрелков закричали:

— Привет, командир! Братский привет!

Он тоже узнал нас.

— А-а, старые служаки! Каким ветром вас сюда занесло? — воскликнул он.

— Да нас откомандировали, — сказал я. — Были в госпитале, а теперь, если можно, хотели бы вернуться в батальон.

— Ладно, ладно, посмотрим, — сказал он. — Вы из тринадцатой легкой?

— Да, генерал, полубригада Париж-Вогезы.

И он ускакал; мы же очень боялись, как бы не пришлось нам остаться при этом обозе, но нас почти тотчас сменили. Поскольку шли мы как попало, лейтенант

Решет велел нам построиться и повел нас к тому месту, где находился наш батальон; тут вдруг прискакал генерал и велел следовать за ним. Мы спустились с небольшого пригорка и шагов через сто, перед Шоле, увидели шесть четырехдюймовых орудий и два восьмидюймовых, которые стояли у мостика. Подле них было человек тридцать артиллеристов из Немецкого легиона \*. Их рота потеряла много народу под Тиффожем, и мы пополнили их ряды. Теперь мы перешли под командование генерала Марсо \* — он самолично сделал нам смотр, и тут я впервые увидел его: он был в форме гусара, красивый, смуглый, с крупным, округлым, как у девицы, подбородком и косицами по обе стороны лица, к которым, по старинной моде, были привешены свинцовые безделушки. Когда он узнал, что мы из-под Майнца, глаза у него потеплели.

— Ну, в таком случае по воробьям стрелять не будем, — заметил он.

Такое любому солдату приятно услышать. Значит, он считал, что мы умеем попадать в цель. И в самом деле: дядюшка Сом, Жакоб Хааг и я — мы смело могли этим гордиться. Не такая уж трудная штука навести орудие на цель, и все же я всегда буду помнить его слова — всякий любит, когда по справедливости оценивают его таланты и заслуги.

В тот же вечер я отправился навестить сестру в тринадцатую легкую полубригаду, которая стояла лагерем возле деревянного моста, на расстоянии двух ружейных выстрелов от нашего бивака. Как только мы съели сун, я, ни слова никому не говоря, помчался туда — даже не предупредил дядюшку Сому. А когда я увидел маркитантскую, устроенную в палатке из старой парусины, натянутой на ветках каштана, увидел Лизбету с маленьким Кассием на руках, парижан, которые сидели вокруг огня, покуривая трубки и обмениваясь новостями, мне показалось, что я нашел свою семью.

— Вот и я! Да здравствует республика! — слабым голосом крикнул я.

И точно ума лишился: мне хотелось смеяться и плакать.

— Эге, да это Мишель! — воскликнули мне в ответ парижане. — Мишель вернулся! Поцелуй же его, гражданка, это он!



Сестра, державшая малыша на одной руке, другой рукой обхватила меня за шею и заплакала горячими слезами. Я понял, что она меня очень любит. Она была мне хорошей сестрой, и я подумал:

«Мы ведь вместе выросли! Если бы меня убили, у нее никого не осталось бы из родни».

— Ах, — говорила тем временем она, — пока я считала, что ты живой, я и не понимала, как ты мне дорог.

Муж ее тоже пришлось меня обнимать, а когда появился Сом, началось все сначала. Только старые друзья могут чувствовать такую близость — те, что вместе прошли через беды и опасности. С новыми друзьями такого не может быть.

Мы бы с радостью просидели бы так всю ночь, но протрубили отбой, и мы расстались — все были очень счастливы, что свиделись, и уговорились на другой день снова встретиться, чтобы вместе поесть похлебки. Никто не думал, что завтра нас ждет сражение. Отступившие вандейцы собирали силы в Бопрэо; дальше была Луара, перед ними стояли мы, так что уйти от нас им было некуда и мы могли не торопиться с атакой. Поэтому мы считали, что у нас будут, по крайней мере, сутки отдыха. Никогда в жизни я не спал слаще, чем в ту ночь, хоть и лежал прямо на земле, накрывшись старой шинелью, подложив ранец под голову. На душе у меня было спокойно, и мне снилась паварившая похлебка Лизбеты, которая томилась на слабом огне с четырех до девяти часов утра и так густела, что потом опустили в нее ложку — она и стоит; а тем временем манерку ее муженька пустили по кругу, — солдат подносил ее ко рту, обтирал усы и говорил:

— Прошу прощения!

Эх, и хорошие же сны видишь на свежем воздухе!

Однако все должно было сложиться иначе, чем я думал. Всю ночь от разведки поступали в главный штаб донесения, что бандиты укрепляются в Бопрэо и намерены дожидаться нас там. Генерал Лешель поверил этому, но Клебер считал, что едва ли им так уж приятно там сидеть, когда за спиной у них Луара; что они понимают, каково им будет, если они потерпят поражение, а потому любой ценой попытаются нас опроекнуть, чтобы вернуться к себе и возобновить войну неожиданных наскоков и засад. Это было разумно: никогда не надо считать других глупее себя, — а потому с самого утра, как только кончился

военный совет, началась переброевка батальонов и эскадронов и выдвижение их на боевые позиции перед Шоле.

Только бы мне не забыть про одно очень важное обстоятельство, которое произошло как раз в ту пору. Трубаچی заиграли сбор, и в эту минуту по лагерю галопом промчались гусары, и каждая рота, каждый отряд получили последний бюллетень Конвента.

— Обращение к Западной армии! — кричали вестовые.

Офицер или солдат, получивший бюллетень, читал его вслух собравшимся вокруг товарищам.

«Республиканцы!

Митекский Лион пал — армия республики с победой пошла в город. И сейчас она крошит предателей. Ни один из презренных и жестоких приспешников деспотизма не уйдет от расправы. И вы тоже, доблестные солдаты, одержите победу. Уже давно Вандея истощает силы республики. Идите вперед, бейте их, кончайте с ними! Все наши враги должны пасть, все наши армии победят. Неужели вы последними заслужите лавры? Покройте себя славой — истребите мятежников и спасите родину. Предательство не успеет совершить свое черное дело и отступит перед стремительным натиском храбрецов. Оиючтесь против этой тупой и жестокой орды, раздавите ее. Пусть каждый скажет себе: «Сегодня я уничтожу Вандею!» — и Вандея будет побеждена».

Можете себе представить, как это подняло дух армии: по равнине, где, поблескивая на солнце, передвигались тысячи штыков, колыхались плюмажи, мчался в разных направлениях лошади, вприкрепные и пушки, вдруг пронесся крик: «Да здравствует республика!» Люди пожимали друг другу руки, размахивали своими рванными треуголками, насаженными на дула ружей, — словом, энтузиазм был через край. Даже лошади — и те точно взбесились: когда вокруг творится такое, они всегда встают на дыбы, ржут, рвутся в бой. Просто удивительно, до чего военная пестерия охватывает всех, даже животных! Подумаешь — и страшно становится. Да поможет нам бог, чтобы и впредь наше дело было такое же правое, такое же святое, как борьба, какую вела республика против деспотов, и тогда никто не сможет нас ни в чем упрекнуть!

Словом, суматоха длилась больше часа, и наконец все успокоилось. Стало известно, что вандейцы наступают тремя колоннами, — это означало, что они решили атаковать

нас по всем правилам, а нам больше ничего и не требовалось.

У Лешеля, который не отличался особыми достоинствами как генерал, хватало иногда ума слушаться разумных советов, делая при этом вид, будто командует все же он, и тогда он одерживал победы. Но когда из самолюбия он желал командовать сам, тут дело заранее было обречено на неудачу. На этот раз по плану Клебера правое крыло наших войск, где находился и я, должно было расположиться на холмах, левое — в лесочке, а центр — в городе, но не в самом городе, а немного впереди. Завязники Майнца находились в резерве, артиллерия расставлена среди войск, за первой линией.

Вестерман еще не подошел из Шатийона со своими гусарами — он прибыл только к четверем часам, на гул канонады.

Так мы стояли и ждали.

Время от времени раздавались крики: «Да здравствует республика!» — то в одной стороне, то в другой — и катились по рядам: это бригады приветствовали генералов, которые во главе своих штабов объезжали фронт. Потом снова наступала тишина. Все смотрели вдаль, на большую белую дорогу. Время шло, и людей начало охватывать нетерпение: хоть бы скорее двинуться в бой, — как вдруг в полдень показалась первая колонна вандейцев.

С того места, где мы находились, виден был в глубине долины, слева от дороги, по ту сторону леса, шпиль колоколенки, а вокруг, словно стая саранчи, кружились, стекались и растекались черные точки.

Пленные, которых мы захватили на другой день по дороге, рассказали, что вандейцы молились в церкви Сен-Леже, прежде чем начать с нами бой. Там все кипело как в муравейнике: на ступеньках и на паперти стояли люди на коленях, звонили колокола, а неприсягнувший священник Бернье \*, ставший потом одним из добрых друзей императора, молился о победе для этих несчастных и обещал царствие небесное тем, кто умрет за Людовика XVII. Он воспламенял сердца, и все верили ему. А потом вандейцев-то ведь было свыше сорока тысяч, не считая жён, детей, стариков и детей, и это, конечно, увеличивало их уверенность в себе.

Так или иначе, я могу сказать лишь, что, когда эта орда двинулась на нас, медленно, тремя сплошными



колоннами, над нашими рядами водарилась такая тишина, будто не было ни души. Все вглядывались вдаль, и офицеры — тоже, приподнявшись на стременах. Погода стояла ясная, видимость была хорошая, и мы издали наблюдали за продвижением вандейцев. Колонна роялистов, идшая на нашу дивизию, на какое-то время исчезла за леском, но две другие, более мощные, продолжали идти скорым шагом прямо на наше левое крыло. Мы стояли в подулье от них и слышали гул голосов: они молились, как во время процессии, да еще порой, перекрывая шум, до нас доносилось: «Да здравствует король! Да здравствует король!» Иступление этих фанатиков нагоняло ужас. А потом заговорили пушки. И разом затрещали выстрелы, солдаты открыли огонь рядами и с криком ринулись в пылевой бой.

На нашу дивизию, стоявшую на левом фланге и насчитывавшую примерно две с половиной тысячи человек, навалилось тысяч пятнадцать или двадцать. Мы поодаль отзад, вандейцы продолжали заседать. Отвлекающий



огонь картечи косил их сотнями, но они все шли и шли, и крики: «Да здравствует король! Да здравствует король!» — звучали с новой силой.

За последние пятьдесят лет я не раз слышал, как рассказывали про этот бой. Одни говорили: «Вандейцы правильно сделали, что наступали колоннами — это по-военному, не то что идти ценью. Их генерал Боншан показал, что он был талантливый командир, раз избрал тактику боя крупными соединениями». Другие возражали: «Трудно было сделать большую глупость — этой тактикой они погубили себя. Большие массивные колонны не могут отступить — они вынуждены все время идти вперед, несмотря на картечь, которая их косит, и вандейцы убедились в этом!»

Все эти разговоры — сущая ерунда. Чего хотели вандейцы? Они хотели вернуться к себе, хотели пробить брешь в наших рядах, сквозь которую могли бы пройти их женщины, старики и дети, — вот и вся их великая тактика. А пробить брешь может разве только колонна,

которая идет сомкнутым строем, — другого способа я не знаю. Рассредоточить же силы, когда перед тобой на равнине стоит армия, приготовившаяся к бою, сойтись грудью с грудью, как они говорили тогда, значило бы попасть под копыта кавалерии. А вандейцы хотели прорвать наши ряды и сначала попробовали сделать это на левом фланге. Мы отступили перед страшным натиском и численностью этих людей, которые поставили себе целью пройти любой ценой. Но тут, с оружием в руках, в бой вступила первая дивизия защитников Майнца.

Мы не сделали еще ни одного выстрела, — ураган бушевал в другой стороне; от залпов ружей и пушек над неприятелями, до самого горизонта, стлался дым. И вдруг вся масса бандитов, не сумев прорвать наш левый фланг, с теми же криками обрушилась на наш центр, которым командовал Шальбо \*, и чуть не прорвала его, — вторая дивизия защитников Майнца едва успела прийти нам на выручку.

Тем временем третья колонна вандейцев, обогнув лесок, появилась с нашей стороны — нас разделяло полпушечного выстрела, — и была она не менее сильной, чем остальные. Страшнее картины я за всю свою жизнь не видал! Перед нами были крестьяне — молодые, крепкие парни с длинными волосами, и отцы семейства, и совсем седые старики, все в широкополых круглых шляпах, с четками, болтающимися на шее, в красных жилетах, увешанных медалями, в куртках с вышитым сердцем Иисусовым; над толпой этой возвышались два-три командира, верхом, в шляпах с белыми перьями. И весь этот сброд, именуемый колонной, — человек десять, двадцать, может быть, тридцать еще держали строй, а за ними, как попало, шли сотни и сотни, на двух-трех длинных жердях колыхались королевские лилии, одни кричали: «Да здравствует король!», другие молились по-латыни (наверно, ризничие или попы, уж не знаю), — словом, вся эта масса, как ели назови, лавиной катилась на нас.

Тут как раз Марсо и человек десять высших офицеров проходили по нашим рядам.

— Подушить их поближе! — приказали они. — Подушить поближе! Внимание! Слушай команду!

Пушки у нас уже были заряжены, запалы готовы. Все наводчики, в том числе и я, стояли, держа руку на подъемном виле, не спуская глаз с цели.

«Да здравствует король!.. Да здравствует король!.. Отче наш!.. Пресвятая дева Мария!.. Молитесь за нас! Вперед! Вперед!..»

Эти крики, вылетавшие из двадцати тысяч глоток, катились на нас вместе с грохотом сабо.

Наш батальон дал первый залп, — по всей линии загрохотали выстрелы, густой дым застал все вокруг, но вандейцы продолжали наступать, и через какую-нибудь минуту прикрывавшие нас ряды стрелков расступились. Вандейцы были в трехстах шагах от нас. Наши офицеры закричали: «Огонь! Огонь!» — и восемь наших орудий картечью проложили перед нами просеку.

Одному богу известно, сколько пало этих несчастных — они лежали друг на друге грудой, истерзанные, исковерканные. Их колонна на секунду остановилась; страх и удивление овладели этими беднягами, которые до сих пор умели драться только грудь с грудью, а теперь увидели, что идти в бой колонной — совсем другое дело, и растерялись. Но перезарядить мы не успели — эти люди ведь тоже были французы, а потому они быстро оправались и, перепрыгивая через своих мертвецов, двинулись на нас. Впереди нас по-прежнему никто не прикрывал, и, увидев в двухстах шагах от себя этих разъяренных крестьян, со штыками наперевес, я решил, что на этот раз все кончено, ибо защищаться с помощью рычагов и баншиков — об этом нечего было и думать.

На наше счастье, тут подоспел седьмой стрелковый полк и ударил им во фланг — перед нами развернулась настоящая бойня. Сами понимаете, времени даром терять мы не стали: мигом пробавили орудия, зарядили их, прибили заряд, насыпали пороху, и как только стрелки расступились и открыли нас, мы дали второй залп картечью, от которого вандейцы бросились врассыпную, и всю их колонну разметало, точно солому. Какой-то их командир помчался следом за ними, преградил им путь и криком попытался их остановить. Тут надо было бы пойти на них в атаку, и если б Вестерман был с нами, он бы, конечно, так и поступил, но он еще не прибыл на поле боя, и мы лишь снова перезарядили пушки, в то время как предводитель вандейцев, такой высокий, худой, сумел все же остановить своих людей и стал их вновь строить среди равнины и кустарников.

Теперь вся масса роялистов нацелилась на нас: артиллеристы из-под Майнца на левом фланге обошлись с нами похуже, чем мы, многие бежали из двух других колонн и вместе с пушками влились в ту, что стояла против нас. Вскоре над нашими головами со страшным светом полетели ядра и картечь. Всем стало ясно, что вандейцы готовятся к решительной атаке, и Клебер, издали догадавшийся о расстановке их сил, галопом примчался к нам.

Будто сейчас вижу, как он прискакал: перья на шляпе прижаты ветром, большие отвороты республиканского мундира распахнуты на широкой груди, крупное мускулистое тело трепещет от возбуждения, и слышу, как он кричит нам громко и весело, натянув поводья: «Все отлично, друзья мои! Бандиты не пройдут — мы сбросим их в Луару. Не видать им больше своих родных мест. Да здравствует республика!» И тысяча глоток ответила ему: «Да здравствует республика!» Он был весел, — веселы были и молодые офицеры позади него, хотя какое уж там веселье, когда воздух полон грохота и свиста и каждую секунду кто-то падает то справа, то слева от тебя. И все же люди ликовали, хотя, конечно, приятнее было бы двинуться на вандейцев, чем стоять на месте. Клебер же был в прекрасном настроении — точно эльзасец, возвращающийся со свадьбы. Марсо накануне нанес ему визит в его палатке, теперь он прибыл с ответным визитом, и встреча состоялась в более торжественном зале, где стенами служил строй птыков. Глядя на то, как они здороваются за руку и с самым добродушным видом обмениваются любезностями в окружении офицеров верхом, люди думали:

«Значит, все в порядке — мы теперь сильнее врага, и бояться нам нечего».

Настоящий генерал знает, как надо себя вести: все солдаты, находясь они хоть на расстоянии полулье, смотрят на него и, как больной читает по лицу врача, так и они, видя выражение лица своего генерала, либо черпают мужество, либо теряют его. Таких настоящих генералов — мало!

Тут вандейцы снова двинулись на нас, и, помнится, эта мощная колонна, в которую влились все, кто остался от трех других колонн, поддерживаемая артиллерией, подбадриваемая главными своими военачальниками — д'Эльбе, Боншаном, Ла-Рошьякленом и Стоффле, шла в полном молчании: несчастные больше не кричали, не моли-



лись, — они прошли по стольким раненым и мертвым, что ими овладело отчаянье. Встреченные картечью, они дрогнули и остановились — куда дальше, чем в первый раз, открыли по нас ружейный и артиллерийский огонь, но наступать не осмеливались. Так они стояли с пяти до шести часов, и, когда командир, подбадривавший их с начала боя, исчез, началось бегство.

Мы поняли это по тому, что вандейцы перестали отвечать на наш огонь. Тогда мы двинулись на них ускоренным шагом — был барабан, звучала «Марсельеза»:

Вперед, защитники отчизны,  
День достопамятный наступил!

Наш восторг, нашу радость нельзя описать. Приехал Вестерман, в ярости на то, что бой прошел без него. Он со своими гусарами, точно волк, бросился в погоню за этими несчастными и разогнал остатки их колонны. Совсем уж темно, и все думали, что сражение кончилось, как вдруг оно вспыхнуло снова — немного дальше; это был бой самых отчаянных и самых смелых, которые вернулись, чтобы подобрать своих командиров, раненых или мертвых, брошенных во время бегства! Это было настоящее побоище! Их было человек триста, самое большее — четыреста, и они вклинились в наши ряды, но удержать захваченные позиции не смогли и отступили, унося с собой тех, за кем пришли.

До чего же печально, когда такие мужественные, более того — отважные люди слушают какого-то Бернье, который устраивает свои дела, посылая на убой столько доверчивых существ, а потом без зазрения совести выклянчивает звание кардинала у того, кто занял место его бывших господ! Несоведуйте после этого веру подобным негодьям и отдавайте жизнь ради их интересов!

Итак, вандейцы потеряли окончательное поражение, армия наша по всему фронту остановилась и разбила лагерь на этом поле боя, где роялисты оставили десять тысяч человек, вдвое больше, чем потеряла Майнцская армия за пять месяцев осады. В большинстве своем — это были отцы семейств. То-то радость для Бернье и других неприсягнувших попов. Велика была их власть над темным людом, — я знаю, что эта власть существует и теперь, и все же я считаю, что бог здравого смысла, справедливости и любви к отчизне победил тогда бога глупости и пре-

дательства, ибо кто посмеет сказать, что люди, сражающиеся ради того, чтобы им надели веревку на шею, — не круглые дураки, а те, кто готов вылететь в страну пруссаков и англичан, — не предатели.

Тут все ясно. И я до сих пор не могу взять в толк, почему за эти шестьдесят лет столько французов, выходцев из народа, перевозносили доблесть вандейцев, а нас, солдат республики, выводили чуть ли не дикарями; про офицеров же наших, которые все были молодыми, говорили, что это были старики, выжившие из ума. Я уверен, что эти люди, если не были дворянами, то были слугами дворян или работали у них на кухне. Так или иначе, но вся их ложь не помешает крестьянам знать правду.

Я рассказал вам про нашу победу под Шоле, — это была крупная победа, но, к несчастью, она не положила конца войне. Генерал-санкюлот Лешель, которого мы и не видели во время боя, приписал себе всю славу: он направил в Конвент длинное донесение, в котором выставил себя главным героем. После этого в армии стали с презрением относиться к этому мерзавцу и трусу, который просидел где-то в укрытии все сражение, и тем не менее Лешель продолжал быть нашим командиром: он всюду называл себя «санкюлотом», и это поднимало его в глазах многих пустобрехов, у которых ума нет ни на грош. Из-за Лешеля пришлось нам понести и поражение! Но всемоу свое время. А пока я продолжаю рассказ.

Роялисты написали в своих книжках, что мы спалили Шоле. Это ложь. Накануне сражения в город вошли первые отряды республиканцев, прибывшие из Монтегю, Люсона, Тиффожа, они изгнали вандейцев и, как всегда, посадили на площади дерево свободы. Потом они вынесли из церкви белое знамя, устроили шествие со свечами; к ним присоединились патриоты-горожане, стали браться с солдатами. А потом Стоффле, вернувшись в город, расправился с патриотами — сжег их дома, и роялисты, как всегда, приписали нам собственные гнусности. Но мы тут не виноваты. Республиканцы никогда не творили таких жестокостей, как эти защитники господ бога; если же они расстреливали и жгли, то лишь потому, что те, другие, жгли и расстреливали; надо было показать им, что зверства не проходят даром, что и с ними тоже могут совершиться такие — иначе гражданская война никогда бы не кончилась.

В ту ночь Вестерман, поддерживаемый дивизиями генералов Боюи\* и Акео\*, продолжал преследовать отступавших вандейцев и настиг их в Боирэо. Их главари, сраженные усталостью, спали; наши перебили часовых и ворвались в замок. Началась паника, главари вандейцев бежали, а на другой день, 18 октября 1793 года, мы узнали, что в этом бандитском гнезде оказалось десять пушек, пороховая мельница, тридцать бочек селитры, несколько тонн серы, множество ящиков с картечью, пшеница, мука, тридцать тысяч рационов хлеба, — словом, все, что нужно, чтобы выдержать осаду. Дела наши шли все лучше и лучше, но, к несчастью, Вестерман, его гусары, да и все мы после стольких форсированных маршей были порядком измотаны.

Мы на один день задержались в Боирэо, а за это время вандейцы переправили через Луару свыше восьмидесяти тысяч человек. Женщины, старики, дети, — словом, все переправилось через реку, кто на лодках, а многие вплавь, вместе со скотом, держась за хвост лошадей и быков, как бывает в случае крайней нужды. Для начала они овладели довольно крупным укрепленным пунктом на другом берегу — Варадом, что напротив Сен-Флорана. Капитана республиканской армии, который там командовал, застигли ночью врасплох и убили и с помощью захваченных пушек обеспечили переправу всей этой массы людей. Подойди мы туда на сутки раньше, мы бы их всех истребили, и несправедливой этой войне был бы положен конец. Это говорит о том, что после выигранной битвы никогда нельзя отдыхать, если хочешь воспользоваться плодами победы: упустишь случай, потом он уже не представится. Вот не стали мы преследовать бежавших вандейцев, и теперь нам предстояло еще два месяца совершать марши и контрмарши, жечь и убивать.

В Сен-Флоране мы обнаружили еще несколько пушек и зарядных ящиков, много пшеницы, муки и боевых припасов. Но еще больше мы обрадовались, когда встретили по дороге толпу пленных, отпущенных вандейцами, — три тысячи старых товарищей по оружию всех родов войск и из всех дивизий группами шли нам навстречу. Задолго до того, как мы вступили в старый город, мы увидели их, они бежали к нам по полю, почти голые, — мундиры их превратились в лохмотья, под ними виднелись остатки рубах и тряпки вместо галстуков, и все они были

до того заросшие, что просто ужас. Понистине страшное зрелище являли собой эти несчастные, которых последние четыре, пять, шесть месяцев держали впроголодь, от них остались кожа до кости. Поэтому слезы выступали на глазах, когда кто-то из этих истощенных людей восклицал: «Мишель! Жак! Никола! Это же я! Ты не узнаешь меня?» Но сколько бы ты ни смотрел, узнать того, кто окликал тебя, было трудно, — настолько изменились люди.

Так получилось и со мной. Смотрел я на этих несчастных и думал: «Вот и ты был бы среди них, если бы мерзавцы взяли тебя в плен под Коронном, а те и убили бы на месте», — как вдруг вижу один такой малый шести футов росту протягивает мне руки и кричит: «Мишель! Мишель!» Волосы у меня встали дыбом. И прошла добрая минута, прежде чем я узнал Марка Дивеса, точнее, как Назарь. Тут, не думая про вшей, которых у него, наверно, полно было, я обнял его и расцеловал от всего сердца. А он заплакал! Да, этот большой, суровый человек, Марк Дивес, плакал, точно ребенок.

Как только мы вошли в Сен-Флоран и остановились перед старой церковью, я повел его в маркизантескую тринадцатой полубригады легкой кавалерии, которая тоже прибыла туда. Войдя в палатку, я сказал парижанам, Лизбете, Мареско:

— Смотрите, это наш большой Марк!

У всех глаза на лоб полезли. Парижане даже смеяться перестали, а Лизбета, стоявшая, скрестив руки, промоявила:

— Господи боже мой! Неужели человек может так измениться?

Все, что было в котле — остатки овощей, которые в деревне просто выбрасывают, — Марк Дивес проглотил прямо так, не дожидаясь, пока разогреют, и усиленно нахваливая. А потом с каким счастливым видом запрокинул голову, когда Мареско протянул ему манерку! На это невозможно было без слез смотреть. Наконец, как следует выпив и поев, он воскликнул, обращаясь к товарищам, которые глядели на него, вытаращив глаза:

— Ну, вот теперь другое дело! Эх, проклятый край! Ну и люди! Как только они ни измывались над нами после Торфу!.. Шесть унций хлеба... Да, да, шесть унций в день для такого парня, как я. А сколько били налкой, вывалили, издевались — об этом я уж и не говорю, никого

не жалели, а стоило пожаловаться — «Ах, тебе не нравиться!» — наф! — лежи себе. Поэтому-то хоть я и кипел от возмущения, а ничего не говорил — уж лучше что угодно вынести. Скольких расстреляли на моих глазах за то, что у них не хватило терпения! Хуже всего было то, что бандиты хотели обратить нас в свою веру — в смысле политики: ихний пов Бернзе приходил наставлять нас на путь истинный, приносил корзины хлеба, вино. Многие поддавались на искушение и кричали: «Да здравствует король!» А я скорее дал бы перерезать себе горло, но против республики не стал бы драться, и не будь там одного дезертира из Немецкого легиона, предателя, который называл меня дураком, но парень все-таки был добрый, не будь там его, меня бы уже десять раз расстреляли.

Так говорил бедняга Дивес, и лицо у него было печальное и в то же время радостное от того, что ему удалось остаться в живых. А слушатели — один угощал его табачком, другой протягивал трубку. За последние три дня у нас появилось много ранцев, старых башмаков, патронташей и свободной одежды — позади нас ехали телеги, груженные этим добром, и три тысячи человек, которых мы повстречали, были тотчас одеты. Ведь этот день они нескончаемой вереницей шли к городскому водоему — умыться и почиститься; они подстригали друг друга, как подстригают пуделей, заплетали косу. После этого каждый получал оружие и одежду.

Роялисты немало рассказывали всяких басен и про этих пленных, говорили, что их-де освободили из чело-веколюбия. Но, во-первых, не стали бы они брать с собой пленных, когда переправлялись на ту сторону Луары, а потом Марк Дивес, помнится, рассказывал, что их уже собрались перестрелять из двух пушек в сенфлоранской церкви, но командиры втолковали этим дикарям, что у нас в Нанте находится немало их родственников, друзей и знакомых, которых мы тоже можем расстрелять в качестве ответной меры, и что при нынешнем положении дел у нас будет тысяча возможностей отомстить им и причинить куда больше зла, чем они в силах причинить нам. Во всяком случае, я очень рад, что среди дворян нашлось несколько разумных людей, которые сумели удержать от расправы тех, кто хотел расстрелять три тысячи безоружных. Все наши генералы, с первого и до последнего, по-ступили бы так же.

## ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ

Вандейцы, обосновавшиеся в Вараде, напротив нас, могли теперь беспреткновенно двинуться на Анже или Нант. Лешель предложил преследовать их, перебравшись через реку вшлявь, так как лодок у нас не было; он настаивал на своем плане, хотя и депутаты Конвента — Карье \*, Бурбот \*, Мерлен из Тионвилля — и все генералы были против. Но когда Мерлен посоветовал Лешелю подать пример и самому поплыть через реку во главе первой дивизии, этот ужасный человек приутих и сдался на уговоры сформировать три колонны, две из которых обойдут позиции вандейцев и двинутся: одна — на помощь Нанту, другая — на помощь Анже, третья же переправится через Луару у Сен-Флорана.

Я выступил в колонне Марсо, направлявшейся к Анже.

Как раз в это время мы узнали о большой победе под Ваттиньи, одержанной Северной армией над австрийцами. И тогда же мы услышали впервые о Жан-Батисте Журдане \*, бывшем лиможском бакалейщике, который пошел на войну простым волонтером второго батальона Верхней Вьенны, а теперь вот спас Францию, разгромив герцога Кобургского под Мобежем. Одна уже судьба Журдана показывает, что времена переменились, раз бывшие лавочники за два года становились генералами и наносили поражения высокомерной расе «завоевателей».

Мы узнали также, что Марию-Антуанетту гильотинировали \*, а жирондистов предали суду. Но обе эти вести, можно сказать, не произвели никакого впечатления после большой победы, о которой все только и говорили. Списки казненных аристократов, печатавшиеся в конце газет, уже приучили нас к таким делам, а жестокость, которую проявляли к нам наши враги, когда они одерживали верх, лишила нас всякой жалости к их родным и друзьям.

Мы прошли не останавливаясь через Анже, потому что вандейцы уже ушли из Варада и двинулись на Лаваль. В Анже началась панчка: все знали, что разбойники на своем пути нещадно проливают кровь. На всех колокольнях бил набат. Конная разведка рыскала даже в окрестностях крепости, а генерал-лейтенант Савари \* с потерями отступал с позиции на позицию. Стало известно, что пред-

водитель роялистов Боннан умер и его заменил молодой человек по фамилии Ла-Рошжаклен; что этот Ла-Рошжаклен, захватив Шато-Гонтье, позволил ньяным солдатам расстрелять патриотов — купеческого старшину и городского судью. Можете себе представить, как встревожились честные люди, узнав о подобных зверствах, совершенных без всякой необходимости. Тем, кто уже семьдесят лет упрекает нас за то, что мы прибегали к гильотине, не мешало бы вспомнить, что роялисты никогда никого не щадили, если сила была на их стороне.

Вслед за этими двумя убийствами вандейцы, взяв под Лавалем в плен шесть тысяч человек, безжалостно расстреляли всех патриотов; в истреблении участвовало немало бретонских дворян. Вот что мы узнали, проходя через Анже, и, не теряя ни минуты, двинулись дальше, чтобы соединиться с двумя другими колоннами в Шато-Гонтье на реке Майенне.

Погода стояла ужасная; мы шли весь день, чуть не босые, в бумажных штанах, в изношенных рваных мундирах, и, шагая по грязи, под проливным дождем, ясно чувствовали, что пришел конец погожим дням и скоро наступит зима. Какая тоска тащить усталых лошадей под уздцы, без конца понукая их криками: «Но! Но!» — подталкивать в тумане колеса повозок, когда в животе у тебя пусто и ветер задувает по все прорехи ветхого мундира! Право же, зачастую поневоле думалось: «Лучше бы умереть!»

Две другие колонны, прибывшие накануне, расположились биваком вокруг Шато-Гонтье, старинного городка, в ту пору совершенно опустошенного. Было совсем темно, когда мы подошли к нему. Наш авангард под командой Вестермана вот уже два часа сражался с неприятелем. На улицах горожане с испугом спрашивали друг у друга, какие получены вести. Никто ничего не знал: авангард находился в шести лье от нас, и состоял он из полутора — двух тысяч человек. Часов около десяти вечера, когда мы уже получили приказ разбить лагерь, авангард примчался обратно, в полном беспорядке — пехота, кавалерия, все вперемешку. Генерал Вестерман, храбрый, но опрометчивый человек, дал заманить себя в засаду в двух лье от Лавала; он понес большие потери, и, не будь темноты, мы, очевидно, следом за его солдатами увидели бы вандейцев.

Итак, на правом берегу Луары дело началось для нас плохо. Приказы и контриприказы следовали один за другим, в главной квартире царпа суматоха, офицеры выходили хмурые из палатки, где Лешель составлял план действий и спорил с другими генералами; эта сумятица, которую видели все солдаты и без стеснения обсуждали вокруг бивачных костров, отнюдь не прибавляла нам бодрости; спать никому не хотелось, а когда люди не спят и будоражат друг друга — это плохой признак.

Никто, даже парижане, не верил в военный талант Лешеля, но он во что бы то ни стало хотел восстановить в армии доброе мнение о себе. Он не желал слушать ничьих советов и считал себя полновластным хозяином; да и представители Конвента, за исключением Мерлена из Тионвилля, поддерживали его. Им ведь было сказано не доверять генералам, и чего ж тут удивительного, если вспомнить о Лафайете, о Дюмурье, обо всех изменниках, уже третий год пытавшихся предать родину.

Поужинав чем попало, армия двинулась дальше. Мне очень хотелось повидать сестру, но она была в дивизии Боюи, которая шла во главе колонны, а когда мы добрались до старого моста под Шато-Гонтье, она была уже далеко. Вандейцы смело шли нам навстречу, намереваясь дать сражение, — они спешили завладеть высотами у местечка Антрам.

Вестерман, оправившийся от своей неудачи, и генерал Даникан \* подошли к Антраму раньше вандейцев и тотчас заняли эти позиции, что сделал бы всякий здравомыслящий человек; к несчастью, Лешель, который следовал за ними с батальонами, сформированными в Орлеане, приказал им уйти с высот и построиться плотной колонной. Нетрудно представить себе, как досадно было генералам повиноваться приказу этого тупого животного; но коль скоро в случае сопротивления они рисковали головой, то немедленно спустились с высот. Как, должно быть, хохотали вандейцы, ибо они тотчас же заняли оставленные нами позиции, и мы издали видели, что они расположились на холмах и втащили туда свои пушки.

Само собой разумеется, дивизии Клебера и Боюи, которые шли в первой линии, развернулись вправо и влево, чтобы обойти вандейцев. Тогда те лавиной ринулись на сформированные в Орлеане батальоны, которые находились в центре. В сражение втянулись все части, и, так



как общего плана не было, каждая дивизия дралась на свой страх и риск. Но вандейцы на сей раз занимали выгодные позиции, их картечь так и косила наши ряды, да еще тысячи их стрелков окружили нас и разили метким огнем.

В довершение несчастья, батальоны из Орлеана, после второго или третьего залпа, дрогнули и бросились бежать с криками: «Спасайся, кто может!» Лешель, вместо того чтобы собрать их, сам помчался на коне во весь опор и проскакал мимо нас вместе с этими трусами из своей свиты. Вандейцы преследовали беглецов, чуть не подгоняя их штыками в спину. Поравнявшись с нашей дивизией, они остановились и атаковали нас колонной. Дело тут пошло жаркое, и право, трудно сказать, откуда летели в нас пули и картечь, — когда начинается такая атака, думаешь лишь о том, как бы поскорее перезарядить пушку, разглядеть в густом дыму вышки неприятельского огня и дать выстрел в ту сторону. Если кто-то из товарищей падает рядом, спешешь поднять банник и заменить сраженного. Ясное дело: каждый защищает свою жизнь.

Мы держались пять часов — от полудня до темноты. Марсо уже давно остался без лошади: ей оторвало ядром голову. С каждой минутой ряды наши редела. Дядюшка Сом по-прежнему был возле меня, — бледный, стиснув зубы так крешко, что его большой горбатый нос чуть не касался подбородка, он наводил пушку; я, левый крайний в орудийном расчете, подавал ядро, раскачиваясь, словно маятник, вместе с другим канониром, стоявшим против меня. Нам не пужно было командовать: «По местам! Берись! Прочищай орудие! Заряжай! Отходи!» Все шло само собой.

С приближением темноты половина наших пушек вышла из строя, — у той, при которой мы состояли, отскочило колесо лафета; зарядные ящики опустели; мы поспешили заклепать орудия, какие не могли увезти с собой, в остальные впрягли лошадей и двинулись в отступление. Дивизии Клебера и Болкон — одна впереди нас, а другая позади, чуть справа, — еще держались. Остервенев, вандейцы преследовали нас по пятам. Мы отходили, но не удирали, как трусы: на ходу заряжали ружья и, оборачиваясь, стреляли в неприятеля, а когда слышали, что вандейцы бегут за нами, останавливались и, сомкнув ряды, встречали их штыками.

Но тут я должен рассказать вам кое-что пострашнее. Отступали мы так около часа; кругом стояла густая тьма, и лишь при вспышках беглого огня удавалось что-то разглядеть. И вот среди шума сражения, среди треска перестрелки, грохота пушечных залпов, пронзительного свиста все сокрушающей картечи и криков раненых я вдруг услышал вопли, от которых кровь застыла у меня в жилах. Мы как раз подошли к деревушке, где дивизия Бошиоп сражалась против тысяч вандейцев, — негодня сумели нас обойти, — а крики, ужаснувшие меня, испускала моя родная сестра Лизбета, причем такие пронзительные, что их слышно было даже среди шума сражения, в котором при свете выстрелов участвовали две дивизии.

Лизбета кричала:

— Подлецы!.. Подлецы!.. Да здравствует республика!.. Победим или умрем!

При отступлении я очутился на правом фланге нашего батальона и, воспользовавшись сумятицей, выскочил из рядов; я побежал в ту сторону, откуда неслись крики. Что же я увидел? Возле ветхой лачуги стоял фургон моей сестры, а вокруг — с десятков вандейцев, и Лизбета, взобравшись на дышло, заццицалась как бешеная, отбрасывая ударами птыка тех, кто пытался залезть в фургон, да еще честила их подлецами. Лачуга горела; в конце темной улочки сгрудились солдаты Майинцкой дивизии, размахивая вместе знамени привязанной к жерди, окровавленной рубашкой, — то была рубанка раненого генерала Бошиоп, которую он дал им как символ единения и возмездия. Солдаты стояли насмерть. Улица была забита трупами. Вандейцы напирали со всех сторон с криками: «Да здравствует король!» Но во всей этой схватке я видел только сестру; я бросился к ее фургону, как зверь, опрокидывая и отбрасывая всех на своем пути.

— Это я, Лизбета!.. Держись!.. — кричал я.

В одно мгновение я повалил на землю человек пять вандейцев, а сам не получил даже царапины; остальные разбежались, вероятно, считая, что за мной следуют еще солдаты. Надо было спешить, но смотрите, что значит материнское сердце: узнав меня, Лизбета уже не думала ни о чем, кроме спасения своего малютки.

— Спаси его, Мишель! — закричала она. — Возьми его и уходи! Они возвращаются! Они сейчас вернутся!..

Но я не стал ее слушать. Схватил лошадь под уздцы и потащил по улице, устланной трупами, заваленной ранеными, объятой пламенем пожара. Лошади не любят наступать на мертвецов, — приходилось тащить их силой. Майнцский батальон дал нам место в своей колонне, и тогда Лизбета, видя, что и она и ребенок спасены, воскликнула, воздев руки к небу:

— Да здравствует республика! Смерть тиранам!

Она не беспокоилась о муже и как безумная лишь прижимала к себе своего маленького Кассия.

Несколько минут спустя, когда батальону приказано было отступить, явился и Мареско, сражавшийся на другом конце деревни. Он уже думал, что его жена и сын погибли. Раненный пулей, он шagal теперь, держась за лесенку фургова, и все глядел на своих любимых, а мне с благодарностью пожимал руку.

Что с нами будет и куда мы идем — в Шато-Гонтье или куда-нибудь в другое место, никто не мог сказать. Мы отступали, бросив пушки, снаряды, обоз. Вандейцы, убедившись, что они не смогут быстро захватить деревню, двинулись дальше, тогда как вся остальная их армия, находившаяся почти в полулье позади, близ Антрамского моста, вела ожесточенный бой с дивизией Клебера, которая одна только и прикрывала наше ужасное отступление.

Я снова взял лошадь под уздцы. Численность наших рот уменьшилась до двадцати — тридцати человек, многие были ранены, лил дождь; мы шли сомкнутыми рядами, стараясь побыстрее отойти от деревни и от огня нашего арьергарда, сверкавшего зигзагами на темной равнине. Мы знали, что там нас прикрывает Клебер, и эта мысль всех ободряла. Посредине батальона плескалась на ветру окровавленная рубашка доблестного генерала Боюп. В ту ночь нас больше никто не атакował. Вандейцы выдохлись. И все же — что тут скрывать? — мы отступали; впервые защитники Майнца бежали от этой орды — и бежали по вине подлеца генерала, который сам дал сигнал к бегству, улетевшая во весь дух.

На рассвете мы прибыли в Шато-Гонтье, и там я с истишим удивлением увидел две наши пушки, уцелевшие при разгроме, а возле пушек — старика Сома, который с довольным видом чистил их. Он, должно быть, тоже считал меня мертвым, ибо, уставившись на меня, крикнул:

— Да неужто же это ты! Стало быть, разбойники не содрали с тебя парик!

Человек пять или шесть капоширов — последние остатки бывшей роты Париж-Вогезы — подошли к повозке посмотреть на Кассия, толстенького малыша с пухлыми щечками; он весело смеялся и не подозревал, что чудом выбрался живым из страшной бойни. Можно только диву даваться, как он не оглох, — надо же в младенчестве наслушаться такого грохота. Да в сравнении с тем, что он слышал, салют в сто один пушечный выстрел, которым встречают появление на свет наследного принца, желая дать ему представление о величии его особы, — просто жалкая музыка.

Марсо собрал под Шато-Гонтье тысячу пятьсот — тысячу восемьсот солдат, приказал выдвинуть на мост две наши пушки, и, когда прибыл наконец Клебер с остатками своей колонны, вандейцы, преследовавшие его, были сразу остановлены. Но вскоре мы узнали, что они переправились через Майенну выше города, и нам пришлось отступить дальше — до Лиона Анжеского.

Для того чтобы обрисовать вам наше положение, достаточно передать слова разгневанного Клебера по адресу Лешеля и его героев-наемников за пятьсот франков, укравшихся за стенами Анже.

— Представьте себе, — говорил он, — изуродованных, промокших до костей, продрогших солдат, у которых нет ни палаток, ни охапки соломы, ни башмаков, ни кренких штанов, ни мушкетов, никакой утвари, чтобы сварить себе похлебку. Представьте, как вокруг знамени собирается двадцать, тридцать, самое большее — пятьдесят человек и наперебой кричат: «Труссы — в надежном укрытии, а мы гибнем тут от лишений!»

Увы, то была печальная истина. Лешель не имел никакого права быть главнокомандующим. Он пролез на этот пост, ползая на брюхе перед чернью, и сам прозвал себя «Генералом сакюлотов». Я называю чернью всех бездельников, пьяниц, горлодеров, бездарных честолюбцев, доносчиков, — словом, все мерзкое отродье тунеядцев, которое живет на чужой счет и которое только злейшие враги народа называют «республиканцами», чтобы уверить нас, будто крестьяне, мужественные ремесленники, бережливые труженики принадлежат к той же породе. К несчастью, эти люди имели большое влияние благодаря своим

доносам и крикливым речам в клубах. Пока они только разиагольствовались, их считали грозными, а когда увидели их на поле боя, поняли, что толку от них — как от соломенных чучел, поставленных на огороде для устрашения воробьев. Вандейцы были бы рады, если бы им довелось сражаться только с такими вояками.

Прибыв в Лион Анжеский, мы пересекли реку и заняли позицию на берегу, справа и слева от подземного моста; Марсо приказал поставить на реду отряд стрелков, и те двумя залпами картечи отбросили вандейцев на почетительное расстояние — то были последние залпы в этой кровавой баталии.

Роялисты отомстили нам за Шоле, — вот что значит, когда тобой командует осел, а не генерал.

После победы под Антрамом вандейцы воображали, что они уже выиграли всю кампанию: они считали Ла-Рош-жаклена, своего вожака, величайшим военачальником в мире; и тут сразу обнаружились замыслы мятежников, ибо они тотчас двинулись в Нормандию, чтобы протянуть руку Питту. Но Питт, которого англичане считают одним из умнейших своих министров, ничего даром не делал, заботясь прежде всего о выгоде для своей нации; и вот он наложил руку на наши колонии, пустил торговый флот Англии по всем морям. Когда только у нас будет такой министр? Словом, Питт хотел получить залог: в первую годову он потребовал, чтобы вандейцы отдали ему какой-нибудь хороший порт на Ла-Манше, и эти доблестные, честные французы тотчас осадили Гранвилль, намереваясь отдать его нашим врагам.

Обитатели Гранвиля, потомственные моряки, из поколения в поколение занимавшиеся ловлей трески и охотой на китов, вовсе не желали сдавать свой город англичанам; они стали защищаться, мужественный гарнизон и представители Конвента их поддерживали. Вандейцы призвали на помощь Бурбона; они ждали, что прибудет его высочество граф д'Артуа, божий человек, по словам Валентина. Но сия августейшая особа убоялась возможных случайностей. Сотни тысяч несчастных резались во имя его божественного права, жгли, истребляли друг друга, но это не побудило его подвергнуть опасности свою священную персону. Напрасно вандейцы с надеждой смотрели на море — ни белое знамя, ни помощь, никто и ничто не прибыло к ним!

Они понесли большие потери под Гранвилем, пытались взобраться на стены крепости, и в конце концов спали осаду.

Сам я не был очевидцем этих событий, но знаю о них, так как тогда в Бретани только и разговору было, что об осаде Гранвиля, и не одни патриоты, а все честные люди негодовали и возмущались. Иные говорили, что не знают, кто больше покрыл себя позором: те, кто готов был отдать родину иностранцам, или те, кто подобно Бурбонам подло покинул людей, жертвовавших своей жизнью ради «божественного права» королей.

Пока на берегу Ла-Манша творились такие дела, в Майнской дивизии, да и во всей армии нарастал гнев против Лепелля. Мы требовали, чтобы нам вернули бывшего прежнего генерала, храброго Обер-Дюбайе\* или Клебера. Наши громогласные требования не понравились депутатам Кошента: в те времена шло так не страшно, как привязанность солдат к своим генералам. Депутаты послали рапорт в Конвент, и оттуда пришел приказ влить Майнцкую армию в другие соединения.

Так перестала существовать эта прекрасная армия, армия нетипичных патриотов, оказавшая столько услуг стране. Уирекнуть ее можно было лишь в том, что она презирала трусов и слишком сильно любила тех, кто отважно и стойко командовал ею посреди величайших опасностей.

В ту пору произошло новое предательство, усилившее в стране недоверие к высшему офицерству: некий Вилан, комендант крепости на острове Нуармутье, отдал п шпигу свою и крепость Шаретту, единственному вождю вандейцев, еще остававшемуся на левом берегу Луары. Все эти подлые измены порождали в людях жестокость. Они уже не смели никому доверять, и казни на гильотине множились.

Мы двинулись в Анже, где должны были преобразовать нашу армию; все дивизии, бригады, батальоны реформировали, и в результате я стал капралом в нашей роте капралов. Но после стольких лишений и страданий, которые мы вынесли, одетые чуть ли не в рубище, не получая не только солдатского жалованья, но зачастую и хлеба, я заболел; я стал харкать кровью и дня через четыре после своего назначения проснулся утром в госпитале, в огромной зале, где из конца в конец плотными

рядами стояли койки. Болезнь моя была следствием удара, полученного мною в деревне Пор-Сен-Пэр. Мне опять пришлось пускать кровь, и я стал таким тощим, что боялся взглянуть на свои руки и ноги; мысленно я говорил себе:

«Бедняга ты, Мишель! Бедняга!.. Если доведется тебе увидеть родные края, право же, надо будет, как прежде, поставить богу свечку и повесить серебряный образок в часовне Бон-Фонтен».

Мой новый батальон ушел в направлении Ренна.

Стоял ноябрь — пора холодных дождей в этой равнинной местности, где морские ветры непрерывно приносят туман, а потому, несмотря на скученность в госпитале, несмотря на то, что тяжело было смотреть, как вносят и выносят носилки, слышать предсмертный бред соседей и думать: «Может быть, завтра настанет и твой черед», — несмотря на все это, лучше было набраться терпения и сидеть здесь, а особенно, когда глинень на улице, где по оконным стеклам хлещет проливной дождь, и представишь себе, как бредут по размытым дорогам твои товарищи, у которых только и есть сухого, что патроны в лядушках. Да еще утешала мысль, что и вандейцам, отброшенным от Гравиля, приходится несладко: сорок — пятьдесят тысяч человек — мужчины, женщины и дети — вынуждены болтаться без крова в поисках пищи, подбирая на дорогах полусгнившие яблоки. Утешение, конечно, печальное, но что поделаешь? Когда люди только и думают, какое бы сделать вам зло, невозможно желать им добра.

Многие наши солдаты, прибывшие из Гравиля с генералом Даниканом, говорили, что среди этих несчастных свирепствует дизентерия и путь продвижения вандейской армии усеян мертвецами, которых она оставляет за собой; рассказывали также, что главные ее предводители велели подогнать к берегу судно, чтобы бежать на нем в Англию, но Стоффле, узнав об этом, задержал их и пригрозил круто с ними расправиться, если они еще раз вздумают бросить тех, кого сами же повлекли в беду. Эти рассказы, как мы узнали впоследствии, оказались истинной правдой. Стоффле, простому леспику из наших краев (ибо родом он из лотарингского города Люневилля), пришлось учить всех этих князей де Тальмон\*, сенжоров д'Отиньян\* и прочих высокородных господ тому, как надо выполнять свой долг, ибо, не вмешайся он, они бы удрали!

Впрочем, рано или поздно так и должно было случиться.

Две армии — Западная и Брестская — соединились в Ренне под командой Россиньоля. Департаменты Сарта, Ла-Манша, Кальвадоса, Мэна выслали еще несколько тысяч патриотов, чтобы мы могли окружить мятежников, и все полагали, что вандейцы теперь уже долго не продержатся, как вдруг пришла весть о разгроме наших войск под Антрэном.

Вандейцы, отброшенные от Гранвиля, двинулись обратно, на Долю, надеясь достигнуть Луары и перенравиться через нее; Россиньоль, столь же блестящий военачальник, как и Лешель, вздумал преградить им путь; но положение у вандейцев было безвыходное, им оставалось одно: победить или умереть; и вот они наголову разбили Россиньоля и отбросили его к Ренну. Пронесли слух, что разбойники ускоренным маршем спускаются к Майенне, что их авангард уже миновал Фужер, что к вечеру они наверняка дойдут до Лаваля, а на следующей день мы увидим их под стенами Анже.

Вообразите наше удивление! Доблестный генерал Бонюэ, еще слабый и не совсем оправившийся от раны, приказал немедленно бить тревогу; и тогда Анже, этот город колоколов и колокольного звона, загудел так, что слышно было за милю вокруг. Грозные звуки набата плыли над обонями берегами Луары. Те из нас, кто уже начал поправляться, высыпали из госпиталя, потребовали, чтобы нам дали ружья и патроны; депутаты Конвента — Тюро, Бурбот, Франкастель — приказали принять меры, необходимые для общественного спасения: если бы разбойники-вандейцы завладели Анже, они могли бы свободно перейти по мостам через Сэ и либо перебить нас, либо спокойно отступить в свой Бокаж.

Какая перемена! И все по той же причине: из-за недоверия к испытанным, боевым генералам и доверия к невеждам, неучам, воображающим, что они все знают. Ах, сколько раз мы были на краю гибели и сколько понадобилось жертв, чтобы спасти революцию!

Было это 5 декабря. Шел снег. Все жители предместьев спешили укрыться в городе: их повозки с домашним скарбом, — а они увозили с собой и шкафы, и столы, и даже двери и оконные рамы, зная, что вандейцы имеют привычку все крушить и жечь, — вереницами стояли



вдоль улиц; на главной площади гремел барабан: били сбор, и национальные гвардейцы толпой сбежались *туда*. Нам, солдат, тотчас расставили на старых укреплениях — от ворот Сент-Обен до Высокого Дуба, и мы снестно принялись рыть на валу, поросшем травой, амбразуры для пушек и прикрывать орудия фашинами и мешками с землей.

Тут сразу стало ясно, какой ужас внушали людям шуаны\*. Нам помогали все горожане, решительно все — женщины, старики, молодежь: подталкивали колеса фургонов, повозок с боевыми припасами и пушечных лафетов, по двое таскали бомбы и, устроив цепь, передавали друг другу ядра, — словом, каждый старался в меру своих сил, а хозяйки даже приносили нам горячего супа, чтобы мы могли согреться, ибо день был холодный, равнина лежала вся белая от снега, а по реке плыли льдины.

Часов около десяти ничего угрожающего в окрестностях еще не было замечено и, если бы моментально в крепость не прибывали гонцы, предупреждавшие, что враг приближается и что Рейнская армия идет нам на помощь, никто бы и не подумал, что на нас надвигается опасность. Но около полудня мятежники показались наконец со стороны Аврилле, на опушке небольшого леса; они так и закинули по берегу речки, спускающейся к Мэлу, и вскоре целым стадом ринулись в предместье. В час пополудни началась канонада, которая продолжалась до темноты. Национальные гвардейцы сдвинули было вылазку, но их пришлось вернуть обратно, в крепость; командовал ими Бошон, и тут его снова ранило. Вандейцы вступили на главную улицу предместья, но вы, конечно, понимаете, что майнцские канониры не позабыли своего ремесла и вражеские пушки недолго стреляли по нашим батареям.

Я уже столько рассказывал вам об осадах и вылазках, что это нападение вандейцев, не обладавших ни военными ресурсами, ни дисциплиной, ни серьезными командами, вероятно, покажется вам мелким по сравнению с другими сражениями. Мы подошли снарядами две-три лагуны вправо от ворот Сент-Обен, а когда роялисты подошли к мосту, наши подняли стрельбу со всех сторон и отбросили их в предместье. Один из муниципальных чиновников был убит. Вот и все, что я помню. Ночью гово-

рили, будто надо ждать большого штурма; на следующий день неприятель попытался поставить одну-две батареи, которые мы подбили, а вечером вся вражеская армия отступила. Мы об этом ничего не знали, бодрствовали на батареях всю ночь, держа наготове зажженные фитили, как вдруг под утро на аванпостах раздалось: «Что идет?» — и в ответ: «Да здравствует республика!», зазвучала «Марсельеза», и мы поняли, что подошли наши; а так как уже не слышно было ни канонады, ни ружейных выстрелов, мы сразу догадались, что роялисты отбыли в другом направлении.

Передовые посты опознали пришедших. Гусары Вестермана, второй батальон Соммы и другие войска вступили в город, и началось братанье. Вандейцы же, получив сведения, что к Шатобриану приближается сильный авангард, и убоившись оказаться между двух огней, поспешили свясть с Анже осаду. Тотчас по их следам послали в разведку отряд гусар, и к одиннадцати часам распространилась весть, что разбойники идут на Флен или на Сомюр, оставляя позади женщин, стариков и раненых, которые, побросав оружие, плетутся, опираясь на палки, в надежде, что их примут за обыкновенных нищих и они таким образом доберутся до Бокажа. Это было уже бедствие, начало конца.

После этой ночи я совсем оправился, тем более что по приказу представителя Конвента Франкастеля все защитники укреплений получили накалиные новые башмаки и добротные шинели из толстого сукна с широкими рукавами — длинные шинели, доходившие до икр. Никогда еще нам не было так тепло; солдаты, пришедшие на помощь городу, с завистью смотрели на нас.

Но еще больше обрадовало меня и подняло во мне дух письмо Маргариты. Когда я вернулся в госпиталь за своими вещами, так как колонна Марсо выступала следом за авангардом, а я хотел занять свое место в орудийном расчете, госпитальный привратник, исполнивший также обязанности почтальона, с сумкой и реестром под мышкой, как раз выкрикивал в большой палате: «Такой-то!.. Такой-то!..» Три четверти вызванных не откликнулись, но вот послышалось имя «Мишель Бастьен», и я ответил:

— Здесь!

— Отлично! Ставь крест или подпись. Получай письмо.

Господи боже! Целых три месяца каждый день тебя ододевают черные думы: «И ты сложишь здесь голову, как другие... Сегодня вечером всему конец... Если не сегодня — завтра... Никто о тебе не тревожится: ни отец, ни мать, ни братья, ни сестры, ни Маргарита, ни друзья — все о тебе забыли. Даже и знать не будут, где лежат твои кости». И вдруг после таких мыслей убедиться, что о тебе помнят и думают!.. Глаза мои наполнились слезами, и, крепко сжимая в кармане драгоценное письмо, я поспешил пойти укропное местечко, где бы никто не помешал мне его прочесть. Я устроился наконец в бывшем кабачке старика Адама, куда заходил в свое время с дядюшкой Сомом, и, усевшись возле углового окна, из которого виден собор, принялся разглядывать одну за другой печати. «Это из Пфальцбурга... пишет Маргарита...» — думал я и с умилением переворачивал конверт, весь непереносимый печатями.

Наконец я разорвал его.

Ах! Я и сейчас мог бы пересказать все письмо до мельчайших подробностей, но если повторить вам ласковые слова любви, которые писала мне Маргарита, иные, пожалуй, рассмеются и подумают:

«Старый любезник все еще воображает себя сердцем и хвастается нежными речами, которыми угощали его почти восемьдесят лет тому назад».

Сама Маргарита посмеялась бы над моим безумством. Оставим же в стороне суетную гордыню, простительную лишь молодости. Ведь в письме говорилось и о таких предметах, которые могут заинтересовать всех и о которых не следует забывать. Да, в своем послании, помеченном ноябрем 1793 года, Маргарита писала, что весь наш край пришел в движение, что дядюшка Жап, Лютюмье, Кошар, Рафаэль Манк — словом, все патриоты города, нашей деревни и наших гор выступили под командой Элофа Коллепа, с патронной сумкой на боку и ружьем на плече, а в деревнях остались только женщины, старики и дети; что поднялся народ после кровопролитной битвы, в которой мы понесли большие потери; что мы вынуждены были эвакуировать лагерь Хорибах и даже оставили позиции под Виссенбургом.

Она сообщала, что Рейнская армия отступила до Саверна, а Мозельская — до Сааргемица по дороге Мец — Пфальцбург и теперь весь наш край представляет собою

военный лагерь, так что, если произойдет большое сражение, в нашей деревне слышны будут пушечные залпы; все оставшиеся дома щиплют корпию, готовят бинты, и каждая семья выделяет хотя бы одну постель для раненых; в Метинге, в Четырех Ветрах и Сен-Жан-де-Шу устроили госпитали, отобрали всех лошадей и телеги для перевозки съестных припасов, а в случае нужды — и раненых. Она писала, что генералов разжаловали, а вместо них прислали двух других истинных сыновей народа — Шарля Пишегрю \* и Лазара Гоша, что они встретились в городе, среди всеобщего воодушевления; что им оказали почетный прием в Клубе равенства; что они осмотрели казармы и укрепления, а затем один поехал в Эльзас принимать командование войсками, а другой — в Лотарингию.

Особенно интересным в этом письме было для меня то, что в наши края приезжал Шовель вместе с Сен-Жюстом \* и Леба \* и что они расправились с гражданскими и военными властями Страсбурга, собиравшимися сдать немцам крепость. Видно, республика пришлась по вкусу этим аристократам-федералистам — они предпочли бы остаться холонами знатных вельмож, чем быть свободными людьми; у них обнаружили белые кокарды, а в сторожевых будках на укреплениях — флажки с короной и лилиями. Посты не охранялись, раненые погибали в госпиталях, — словом, с каждым днем все яснее обнаруживалось предательство. До суда этих изменников — мэра Дитриха и муниципальных чиновников — отправили из города: кого увезли в Париж, кого — в Мец, в Шалон, в Безансон. Вот о чем написала мне Маргарита, а также о том, что весь край опять кишит монахами, капуцинами, неприсягнувшими священниками, которые вернулись в Эльзас с пруссаками и австрийцами, но их, конечно, сразу всех выловят и царство справедливости не замедлит восторжествовать.

Хоть мне и приятно было получить весточку от Маргариты, узнать, что мой отец по-прежнему чувствует себя хорошо, а братишка Этьен горюет лишь о том, что по малолетству не может записаться в волонтеры и пойти барабанщиком, все же меня, как вы сами понимаете, тревожила мысль, что сто тысяч австрийцев и пруссаков находятся всего в десяти лье от наших мест и, значит, Пфальцбург,

несомненно, подвергнется бомбардировке, домик моего отца сожгут, поля дядюшки Жапа разорят и всех любимых мною людей ждет нищета. Разумеется, все это не радовало меня, и я предпочел бы сражаться, защищая родные края, чем истреблять в Ваудее несчастных крестьян, которых можно корить лишь за их невежество, да и то они в чем не виновны.

Словом, сердце у меня сжималось от этой мысли. Но больше всего возмутился я, узнав, что наш дурень Валентин, добровольно пошедший кузнецом в армию принца Коде, имел наглость написать дядюшке Жапу, что недолго ему осталось разгуливать по белу свету: веревка для него-де уже свита, петля сделана и скоро его где-нибудь вздернут. До сих пор я смотрел на Валентина с жалостью, считая, что нельзя винить человека, если он от природы глуп, но после такой его выходки понял, что он озлобился, и это огорчило меня. Ну, что тут можно сказать? Дядюшка Жап распалился всюю и теперь мечтал только об одном: встретить своего бывшего компаньона и расквитаться с ним.

Письмо Маргариты, доставившее мне столько радости, вместе с тем усилило мое негодование против изменников; я понял, что наши враги только и рассчитывают на помощь этих пегодяев, и потому придется под корень истребить предателей.

В тот же день после обеда прибыл Россиньоль. Это бывший часовщик, ставший после взятия Бастилии полковником жандармерии, — человек сухощавый, с крупным носом и быстрыми, часто моргающими глазками. Он был опоясан широким трехцветным шарфом и носил, как то положено командующим, треуголку без галунов. Вестерман со своими гусарами уже преследовал ваудейцев; Россиньоль отдал приказ поддержать его и преследовать ваудейцев в направлении Боже.

Около полутора тысяч, а то и больше патриотов, пеших и конных, вышли из ворот Септ-Обен. Погода стояла отвратительная. На другой день мы узнали, что наш отряд национальных гвардейцев пришел слишком поздно: роялисты, остановившиеся за пять часов до того под Ла-Флешем четвертым Сартским батальоном и двумя пушками на мосту, переправились через реку выше по течению и завладели крепостью; но почти сразу стало известно и то, что они тут же ее оставили и, преследуе-

мне Вестерманом, двинулись на Ле-Ман. Дело в том, что несметная армия, состоявшая из крестьян, женщин, детей, стариков, священников, монахов и проч., не могла долго существовать на одном месте: всей этой орде нужно было есть и пить, и за несколько часов она выпивала и пожирала все, а затем, опустошив амбары и погреба, двигалась дальше.

Росенбольз тотчас повернул на Шатобриан, а оттуда на Рени. Из Анже немедленно выслали сильный отряд, который должен был на дороге к Ле-Ману соединиться с дивизией Марсо. В этом отряде состоял и я; хоть я был еще слаб, но меня радовало то, что я вновь на свежем воздухе, — так тяготила меня жизнь взаперти, в казарме или в госпитале. Шел дождь иперемежку со снегом. В тот же день, к вечеру, мы пришли в дивизию — она стояла лагерем вокруг большого селения, называвшегося Фонтен-Сен-Мартен. А штаб разместился в самом селении. Поговаривали о том, что собираются временно назначить Марсо главнокомандующим. Сам он выехал из лагеря часа за два или за три до нашего прибытия — отправился в дальнюю разведку.

Всю ночь мы слышали справа раскаты пушечных залпов. Это к Ле-Ману подтянулись дивизия Мюллера, прибывшая из Тура, дивизия Тилли — из Шербура и солдаты Вестермана, по пятам преследовавшие вандейцев от самого Ла-Флеша. Защитники Майица, от которых почти ничего не осталось, прибыли из Шатобриана следом за нами под командой Клебера. Дождь, снег, ветер сильно досаждали нам, но каждый предвидел, что дело будет серьезное и думал: «Еще темного терпения, и скоро все наши беды кончатся!» Марк Дивес и Сом с завистью поглядывали на мою новую плотную шинель, но мне было в ней так хорошо, что я ни за какие блага не одолжил бы ее никому.

На рассвете наконец послышались окрики дозорных: «Стой! Кто идет?» Потом проскакала кавалерия, и мы узнали, что возвратился Марсо. Сварили суп, а когда поели, свернули палатки и двинулись к Ле-Ману.

В ту ночь между Вестерманом и вандейцами произошло две-три схватки. Вандейцы одержали в них верх.

Никогда я не мог понять, как это у генералов, которые всегда в пути, всегда в седле, вечно получают донесения,

допрашивают шпионов, плененных, дезертиров, деревенских мэров, начальников почтовых станций, приказывают вскрывать письма, скачут впереди войска, чтобы обозреть местность и выбрать позиции, а потом совещаются между собой, то на военном совете, то на ходу — как у них после всех этих утомительных дел и многих других, о которых я не могу знать, еще хватает бодрости и сил проводить ночи без сна и утром вновь впригтыться в ляжку. Да, мне это казалось просто чудом, а ведь именно так и вели себя настоящие генералы, которых я знал: Обер-Дюбайе, Клебер, Марсо и Болюн. Удивительно, да и только!

До Ле-Мана нам еще оставалось добрых пять или шесть лье. В Фультурте мы обнаружили дивизию Мюллера и депутатов Конвента — Бурбота и Приера. Шли разговоры о том, что Вестерман потерпел поражение при Пошье; депутаты, как видно, были возмущены. Сделали привал; генералы собрались на совет в доме мэра, а потом мы двинулись дальше. В этих местах солдаты Вестермана зарубили саблями сотни роялистов: всюду мы наталкивались на трупы, лежавшие во рвах, на навозных кучах — в деревнях и в открытом поле; там лежали и наши, уткнувшись лицом в землю. Дождь перестал, но было сыро и очень холодно. Дороги развезло, и они стали непроезжими, особенно для пушек и зарядных ящиков.

К Пошью мы подошли только в шестом часу вечера, и тотчас же Вестерман, дожидавшийся нас со своими гусарами и с четырьмя-пятью сотнями нехотинцев, поговорив две минуты с Марсо, повел атаку на мост, так как город построен на другом берегу реки, впадающей в Сарт. За длинной улицей, застроенной всякими мастерскими, начинался Ле-Ман, расположенный на высоком, крутом склоне.

Вандейцы забаррикадировались в Пошье, они даже построили нечто вроде редутов, но погода была такая пасмурная, что не видно было их укреплений.

Все у нас думали, что мы расположимся на бивак и будем дожидаться дивизии Клебера. Депутаты даже спешили, и все батальоны остановились, отыскивая вправо и влево от дороги место для лагеря, как вдруг раздались два пушечных выстрела, за ними — отчаянная ружейная перестрелка и крики: «Вперед! Вперед!.. Да здравствует республика!» — и мы поняли, что этот чертов Вестерман,

не знавший ни сна, ни отдыха, снова выкинул фортель и нам придется поддерживать его своими пушками, драться всю ночь, вместо того чтобы отдыхать. Это уж точно!.. Как только завязался бой, со всех сторон раздались крики: «Вперед! Вперед!» И вот мы уже двинулись куда-то в темноте, нахлестывая лошадёй, с криками подталкивая увязавшие в грязи колеса, ругая и кляня все на свете.

Вандейцы навалили целые горы земли на старом мосту, с обоих его концов поставили налсады, и пока мы сбрасывали это заграждение, вокруг свистели пули, а вдали, со стороны города, загрели пушки. Это означало, что Вестерман и гренадеры бывшего Арманьякского полка, пройдя мост и предместье, уже ворвались в Ле-Ман; разумеется, вандейцы, ожидавшие подобного вторжения, встретили их картечью.

Лишь только очистили мост от завала, все двинулось в путь: пушки, повозки с боевыми припасами, пехота, кавалерия. Шербурская дивизия бегом догнала нас, и видно было, что солдаты там еще больше разъярены, чем мы, и так и рвутся в бой. Правда, они, видно, еще не знали, какие дыры делают в батальоне пушечные ядра, но ничего — узнают.

Все перешли на ту сторону реки.

Будь у неприятеля силы отбросить нас, мы оказались бы в скверном положении: позади нас была река Гюин, налево — вздувшийся от дождей Сарт, впереди — роаялисты, но мы об этом не думали.

Вандейцев в Ле-Мане было еще свыше пятидесяти тысяч: тридцать тысяч бойцов, а остальные — женщины, да высокородные девицы, да раненые, да священники и так далее.

Много лет прошло с того сражения, а еще и теперь по ночам я порою вижу во сне эти картины и как будто все еще слышу этот жуткий гул в городе, эти нескончаемые крики, этот непрерывный гром пушек, от которого на старых улицах сотрясались обветшалые дома и красивые языки вспыхивали на коньках крыш и мрачных темных башнях; вижу, как зигзагами пробегают по реке отблески огня; вижу сотни окон — высоких, низких, освещенных вспыхивающими ружейных выстрелов, а за окнами фигуры людей, передающих из рук в руки заряженные ружья; вижу, как бегут по главной улице под гору гренадеры и



как их сметает картечь, как скачет вперед своего шестого гусарского полка Весторман; внизу высоколе кивера и развевающиеся в воздухе доломаны и ташки, — словом, все это множество людей, мелькавших передо мной в темноте, прорезаемой огнями, среди грохота залпов!

Когда мы добрались до угла улицы, она предстала нам огненной рекой: из каждого чердачного оконца, как из нечи, вырывались языки пламени; выстрелы гремели не умолкая, и уже у стен, свернувшись в комочек, подобрав под себя ноги, жались раненые, боясь, как бы их не раздавили. Мы, со своими лошадьми, пушками, фургонами, мчавшимися во весь опор, нагоняли на этих несчастных ужас. Они знали, что в такие минуты атакующие рвутся вперед и идут напролом, не обращая внимания на то, что под тяжелыми колесами лафетов люди корчатся, как червяки. «Вперед! Вперед!» Не слышишь ничего, кроме этой команды. Падают твой товарищ — ты даже головы не повернешь.

Нас остановили где-то в середине улицы, неподалеку от заслона из телег и повозок, притиснутых друг к другу так, что оглобли их переплетались, как рогатки на позициях; по обеим сторонам этой баррикады засели вандейские стрелки. Нам приказали повернуть и навести орудия. Батальон grenадер из департамента Об прикрывал нас, и тут вдруг началось: черепицы, пули, дымовые трубы обрушились на нас. Вспомнишь эти ужасные минуты, подумаешь: «А все-таки я уцелел», — и невольно воскликнешь: «Бог меня спас!»

Первые же наши выстрелы смели заграждения, в щелки разнесли телеги; тем временем grenадеры топорами или с помощью булыжников выламывали двери в полах роялистов; резня пошла уже внутри домов, из всех окон, со всех этажей неслись неистовые крики: «Да здравствует король!..», «Да здравствует республика!» Слышно было, как враги падают на пол в неиступленной смертельной схватке; шум битвы перекрывали только выстрелы наших пушек, на секунду заглушавшие стоны раненых и крики сражавшихся.

Но главная улица, вверх по которой мы продвигались, оказалась еще не самым опасным местом: все переулочки, выходящие на эту улицу, так узки и так круто поднимаются в гору, что на многих устроены для пешеходов лестницы, и вот на этих-то улочках, из всех этих старых,

повосившихся домишек, украшенных балкопчиками наподобие башенок или корзины для переноски винограда и построенных так тесно, что они почти соприкасаются крышами, градом сыпались на нас пули. Солдатам, получившим приказ выбить неприятеля из этих проклятых закоулков, приходилось остерегаться еще и другого: на головы им летели столы, переносные печи, цветочные горшки, пикафы; ежеминутно их могли раздавить, как пестом в ступке. Недаром через какой-нибудь час атакующие пришли в такое неистовство, что уже сами не давали пощады никому — ни женщинам, ни старикам, ни детям.

Роялисты, укрывшиеся на площади позади своих пушек, стояли стеной: на наши выстрелы они отвечали залпами во все стороны; в воздухе болтались полусорванные ядрами вывески и ставни. Дважды мы получали приказ продвинуться вперед, ближе к площади; мы потеряли многих капитанов, их заменили гренадеры из департамента Об, которые вместе с нами орудовали теперь у пушек. Во второй раз сам Вестерман крикнул нам: «Вперед, тысяча чертей!» Он был дважды ранен, потерял много крови и теперь был бледен как смерть, — только глаза сверкали. Казалось, он ничего не чувствовал, но вдруг, крикнув нам гневно: «Вперед!» — упал от слабости как подкошенный. Его положили за стенкой, сооруженной из булыжников, все считали его мертвым, но через минуту он поднялся без посторонней помощи, ухватился за гриву лошади, сел в седло и поскакал к площади. Мы тоже двинулись в ту сторону.

Чем больше я думаю о таких вещах, тем больше прихожу к убеждению, что в пылу яростного боя человек делается просто одержимым, он не чувствует ни ран, ни переломов, ни потерь крови, ни самых тяжких лишений. В обычное время одна сотая доля всех этих бедствий свалила бы его, в бою же он свалится только мертвый; может быть, поэтому столько солдат умирает после окончания кампании, возвратившись домой: война их поддерживала, а как только взаимное истребление кончилось, силы покинули их.

Страшная эта бойня — залпы, атаки, отступления и новые атаки — длилась шесть часов без передышки; главное было согнать вандейцев на площадь и держать их там, пока не подойдет Клебер. Марсо приказал занять все со-

седние улицы, но для этого пришлось вести сражение в каждом доме. Мы трижды пополнили запас пушечных ядер в зарядных ящиках.

Около полуночи пришел приказ преградить огонь; мы уже захватили все основные позиции, у роялистов оставалась только площадь, где возвышались старинные торговые ряды, окруженные навесом на столбах.

В этом старом здании вандейцы и собрали всех женщин, священников, маркиза и графинь; тут же находились и лошади, и всякое имущество, уцелевшее после разгрома.

Нам дали отдохнуть часа два: все трепетали при мысли, что после этого снова придется идти в бой. Пушки наши были врыты в мостовую, возле каждой лежала груда убитых. Несмотря на усталость, спать никому не хотелось; но так как супу поесть мы не успели, все повытаскивали свой провиант, — за семь часов до того, в Фульгурте, нам выдали рацион, — и мы были счастливы теперь, что в ранцу у нас было привязано по краюхе хлеба. К тому же в конце улицы многие солдаты обнаружили у мертвых вандейцев полные фляги водки, а в их холщовых мешках — большие луковницы и соль.

Каждый следил за неприятелем со своего поста, нематриваясь во тьму, где виднелись фигуры передвигавшихся вандейцев; ибо затягивали большие тучи, но время от времени меж них проглядывала дыра, и мы видели тогда темные массы людей, скученных на площади или высывавшихся из окон домов. Стояла тишина — ни единого выстрела. Лишь иногда слышался окрик часовых: «Стои! Кто идет?» — да шаги наших патрулей, да издали, наверну, в правой стороне города, поднимался какой-то гул — словно гудел ветер; наутро мы узнали, что это враг уходил по дороге на Лаваль — уходили все, кто еще держался на ногах.

Марсо не мог занять эту дорогу, так как мы тогда еще не были хозяевами положения в департаменте Сарта.

В четвертом часу утра разнесся слух, что прибыл Клебер. Мы ждали, что нас снова пошлют в наступление, но оно началось лишь на рассвете: сначала в полной тишине очистили улицы позади нашей позиции, чтобы могла проехать кавалерия. Но я думаю, что неприятель уже был вконец измотан, ибо сразу же после полуночи, когда обе стороны совсем выдохлись и бой затих, множе-

ство вандейцев, даже по предупредив своих начальников, оставили женщин и священников и двинулись по дороге на Лаваль. Думаю, что я был прав, ибо около пяти утра, как только над крышами забрезжил рассвет, внезапно раздался громкий крик: «Вперед! Вперед!» — и мы выскочили из укрытия, все отчаянное сопротивление наших противников длилось не более четверти часа. Вольные стрелки из Касселя с Вестерманом во главе прошли беглым шагом по всей главной улице, из конца в конец. Из окон открыли было по ним стрельбу; даже было дано несколько залпов картечи, которые вывели из строя целые ряды солдат, и все же через десять минут мы уже были на площади.

Мы, канониры, получили приказ следовать вкачь за колонной Вестермана и занять позицию напротив торговых рядов, но они уже опустели — там остались лишь снятые с лафетов, заклепанные пушки, пустые фургоны, раненые да несчастные беззащитные люди, которых тотчас же прикончили. Вся площадь была устлана мертвецами. Вестерман, не останавливаясь, двинулся с шестым гусарским по дороге на Лаваль, следом за беглецами.

Если бы я сказал, что мы не перебили тех, кто засел в домах, что мы дали им возможность удрать и снова решиться нас пулями, что мы пощадил многих из тех фуррий, которые не стесняясь собирали в мешки пограбленное и без зазрения совести приканчивали раненых, — если бы я сказал так, право же, это было бы ложью. Правда, мы, канониры, приставленные к своим пушкам, чтобы дать отпор в случае атаки, — не участвовали в этой резне, но солдаты из Шербурга и других краев, видевшие, как вандейцы сотнями крошили и расстреливали их товарищей, отомстили за погибших... Отовсюду неслись крики, ужасные крики!.. Но что поделаешь? Война есть война: кровь, слезы, пожары, грабежи!.. Горе тем, кто ее начиняет, особенно тем, кто воюет против своей родины, — все эти ужасы падут на их головы; только они одни несут ответ за все это перед родом человеческим и Верховным существом.

Генералы приказали трубить сбор. Клебер и Марсо, депутаты Прьер, Тюро, Бурбот — все пытались остановить истребление пленных: они принялись говорить о законе, о правосудии, чтобы утихомирить разъярившихся

солдат. Но послушайте, мы потеряли больше ста тысяч человек в этой проклятой войне с Вандеей; уже больше года мы терпели жесточайшие лишения; в то время как пруссаки, австрийцы, немцы, итальянцы, испанцы, англичане, голландцы, — словом, вся Европа ополчилась на нашу страну, мы вынуждены были сражаться с предателями, которым следовало бы поддерживать нас против чужеземцев, а не всаживать Франции нож в спину!.. Подумайте обо всем этом, и пусть те, кто корит республиканцев за жестокость, лучше помолчат, — в глубине души они сами признают, что право было на нашей стороне и что мы верно поступили, выполнив свой долг перед родиной и перед самими собой.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

После разгрома вандейцев армия два дня отдыхала в Ле-Мане, по Вестерман, один из величайших кавалерийских генералов, какие только у нас были, не оставил врага в покое, чтобы тот не мог собрать свои силы в кулак перед Лавалем, а потому, несмотря на декабрьский холод и получесные рапы, он преследовал вандейцев по всем деревням, и его гусары истребили их великое множество. В Лавале жены патриотов хватали беглецов, не давали им уйти: кровь их мужей и детей, пролитая роялистами после Антрама, вопияла о мщении. Да и бретонские крестьяне, бедные люди, которые были свидетелями всех ужасов гражданской войны, поглощая вандейцев, их пьянства и распущенности, встречали их теперь вилами и косами.

«Проваливай отсюда, бандит! Пусть тебя там повесят! Растреливал исподтишка честных христиан, а сам молится!.. Проваливай отсюда, проклятый!»

Маркизы, графини, вандейские главари в женском платье, священники в гражданской одежде тицетно молили о пристанище, — им указывали на дверь. А тут являлись гусары с окровавленными саблями: «Вот они! Держи их, держи!»

О господи, да послужит это уроком всем, от кого отвернулось небо и кто восстает против собственной родины!



Да узнают они, что преступнику не суждено долгое преуспеяние, — приходит беда, и все оборачивается против него.

Когда через пять дней мы подошли к Ансони, где остатки этих несчастных пытались переправиться через Жуару на плотях, которые они строили из чего попало — из досок, бочонков, балок и даже полов, — словом, ради плотов рушились целые дома, мы обнаружили гусар Вестгермана на небольших высотах, по ту сторону Кауде. У всех были кольца, серьги, браслеты, золотые кресты — одни нацепили свои трофеи на себя, другие спрятали в карман, третьи обмотали хоругвями эфес сабли. У всех битком набиты были патронташи, а сморкались эти паршивцы

только в кружевные платки. Можно себе представить, какая участь постигла их обладательниц — маркиз и герцогинь, об этом страшно даже подумать.

Представители Конвента Бурбот и Тюро выкупили у солдат немало драгоценностей и отослали в Конвент. Многие капитаны даже передали их в дар республике, ибо она была бедна и нуждалась в деньгах, чтобы отразить деспотов, наступавших на нее со всех сторон.

А теперь вы увидите, что представляли собой знаменитые вожаки роялистов, этот Анри де Ла-Рошьяклен, эти де Сашинно, де Лавиль-Боже, де Жанжери и другие защитники трона и алтаря. Споры нет, массы вандейских крестьян и особенно шуаны, собравшиеся под их знамена в Лавале, были виноваты перед Францией. Виноваты они были и перед своими женами и детьми, ибо, сражаясь против народа, рисковали их жизнью, — это ясно! Они вели себя не как честные люди и порядочные французы. Но виновной тому была их глупость, невежество, в котором их держали столетиями и которое передавалось от отца к сыну. Эти бедняги сами не знали, что они делают, и заслуживали прощенья. Другие же — те, кто увлек их за собой на тот берег Луары, — сострадания не заслуживали. Все эти дворяне, все эти священники, которые ради защиты своих привилегий ввели в обман столько тысяч людей, призывая их уничтожать своих собратьев и обещая в награду за эти преступления царство небесное, — вот кто истинно виновники, вот кто должен был бы нести кару за этот мятеж, вот кто должен был бы пожертвовать собой, чтобы искупить свою вину перед женщинами, детьми, стариками, вот кто в эту тижкую пору, вида, что все запасы истощались, что Луара вышла из берегов от снега и дождя и что построить мост и спасти всех людей невозможно, — эти самые дворяне должны были бы решиться на жертву, явиться к представителям Конвента и сказать:

«Мы такие-то и такие-то. Мы принадлежим к благородной расе победителей, и мы не желали подчиниться вашей республике. Мы увлекли за собой всех этих несчастных и бросили их против вас. Мы обманули их!.. Теперь сила на вашей стороне!.. Так проявите милосердие и пощадите их — ведь они такие же люди из народа, как и мы. Возьмите наши головы, и пусть на этом все будет кончено!»

Пусть Франция живет по новым законам, но пусть она сохранит хотя бы память о людях благородной души, которые отстаивали против всех привилегии своего сословия и которые гордо и мужественно отдали жизнь ради спасения своей армии!»

Ведь именно так поступили бы вы, правда? Я обращаюсь к тебе, первый встречный, к тебе — солдат, к тебе — рабочий, к тебе — крестьянин, ко всем, кто не принадлежит к благородной расе, кто требует для всех только равенства перед законом... Ведь именно об этом вы бы подумали, верно? Да, уверен, что так — смерть не столь уж страшна, когда человек выполнил свой долг, и не надо быть дворянином, чтобы презирать ее. Вот я — уже очень старый человек, я стою на пороге Вечности, но я не стал бы дожидаться ни минуты, я не медля принес бы себя в жертву.

Так вот слушайте! Двинулись мы из Бретани в Момпесон, большой город, возле которого находились стекольные заводы, вроде тех, что имеются в Мейзентале, и на подступах к Ансени наш авангард открыл огонь: в это время на Луаре показался баркас, и в этом баркасе, единственном, который вандейцы сумели найти, ибо при их приближении все плавучие средства были переправлены на левый берег, чтобы они не могли вернуться к себе, — в этом баркасе находился их генералиссимус Анри де Ла-Рошжаклен и с ним — Стоффле, Сашио, Лавиль-Боязе, Вожиро, де Ланжеря и еще несколько вожakov; все они якобы отправились на поиски двух барж, груженных сеном и стоявших на якоре напротив города, чтобы с их помощью спасти своих людей. Так, во всяком случае, пишут роялисты в своих книжках. Представляете себе: генералы, которые отправились за баржами вместо того, чтобы послать доверенного офицера с несколькими солдатами! Да это же курам на смех! Тем более что когда эти храбрецы достигли другого берега, они вошли в лес, находившийся на расстоянии ружейного выстрела, и исчезли в нем, даже ни разу не обернувшись, а брошенные ими несчастные люди ничего больше о них и не слышали.

С нашей позиции на берегу маленькой речки, между двух холмов, мы не могли видеть это печальное зрелище, и я очень этому рад, ибо чувство отвращения сохранилось бы у меня до конца моих дней.

Словом, вот как оно было!.. Несчастные вандейцы —



мужчины, женщины, дети, старики — стояли на берегу Дуары. Теперь они поняли, какая их ждет судьба: канонерская лодка, прибывшая из Наута, уже открыла огонь по их плотам, и те начали тонуть. На том берегу были их родные места, они видели их, но не могли и надеяться, что им удастся туда добраться. С воплями, стеной, обнимали они друг друга.

«Это конец! — говорили они. — Мы погибли!..»

Как это было тяжело и как страшно!

Теперь мы могли не торопиться. Дивизии подходили одна за другой и спокойно занимали позиции вокруг города. Предстоял еще один уличный бой. Семнадцатого декабря вечером Вестерман велел вкатыть на холм две пушки и послал несколько ядер наугад. Тотчас зазвонили колокола — пабат гудел не переставая, до самой полуночи. Шайка вандейцев решила прорваться к Вараду — именно этого и ожидал Вестерман. Он помчался за ними со своими гусарами, нарубил их в куски и вернулся на рассвете, в тот момент, когда последняя колонна роялистов выходила из Ансена, находившемся срава от нас. В ней было еще добрых пятнадцать тысяч душ — мужчин, женщин, детей. Мы не двинулись с места, давая им пройти, но как только они покинули город, туда явились гусары и зарубили саблями сотни оставших; при этом они захватили скот, имущество, шесть шестнадцатидюймовых орудий, стоявших перед мэрией; несчастные бросали все: оставшись без вожakov, без орудий и провианта, они лишились и мужества.

Наша дивизия двинулась за ними. Вестерман же преследовал их по вяткам. Он истреблял их повсюду — в Туние, в Норе, в Блэне. Двадцатого декабря они остановились в Блэне. Марсо решил, что они уже у него в руках и он сможет разом их уничтожить. Мы ускорили шаг, несмотря на ветер и снег, но когда прибыли в Блэн, где нас дождался Вестерман, роялисты, оказывается, уже двинулись по дороге на Савенз и взорвали позади себя мост через довольно большую реку. Мы стали спешно его восстанавливать.

Как раз тогда из Блэна и бежал князь де Тальмон, вместе с Доппесапом, Дезессаром, Перо, Пирроном, Ростаном и ста пятьюдесятью офицерами и высочородными дамами, которые не смогли уместиться на баркасе Ла-Рош-Иваклена. Тальмон был задержан через несколько дней

в Лавале и гильотинирован перед своим замком. Крестьяне же — те предючили умереть как солдаты, с оружием в руках.

Как только мост был починен, мы продолжали погоню. Одиннадцать дней шли мы босые по льду, в бумажных шапках, в рваных мундирах, — понятно, что нам не терпелось настигнуть врага и покончить с ним.

В восьми или девяти лье выше Нанта к нам присоединился Клебер со свежими силами. Бандиты все отступали, но дальше начались болота, и им уже некуда было деваться. Двадцать второго декабря к пяти часам вечера мы почти одновременно с ними подошли к Савенэ, небольшому городку сплошь из старых глиняных домиков, куда на рынок свозили со всей округи дичь, скот, домашнюю птицу. Городок этот стоит на холме, поросшем дробом виеремейку с травой, и в ту пору там было все белым-бело от инея. Вандейцы засели в леске перед холмом, и наш генерал приказал тотчас выкурить их оттуда.

Мы расставили наши орудия справа от дороги, спускающейся к Нанту, и вандейцы — после ожесточенного сопротивления — отступили в город.

Всю ночь мы стреляли, ибо враг прочно окопался на улочках и в садах. Стоял сухой мороз, пробравший до костей. По примеру многих моих товарищей я обмотал ноги соломой. Бивачные огни горели ярко, как звезды: у костра спереди можно было зажариться, а синна мерзла. Никто не спал.

Около полуночи Клебер со своими молодыми офицерами проехал мимо нас. На нем был большой зеленый плащ, подбитый лисой; его рыжевато-каштановые бакенбарды отливали ртутью.

— Сколько у вас зарядов? — спросил он.

— По восемнадцати на орудие, — ответил наш лейтенант. — Ящики полны, генерал, но больше ничего нет.

— Придется беречь заряды, — сказал Клебер. — Надо прикарачивать их штыком и прикладом.

Не сходя с лошади, он посмотрел на нас своими большими светло-серыми глазами и, видно, узнал солдат, получивших боевое крещение под Майнцем.

— Да, — весело заметил он, — погода стоит такая же, как в прошлом году под Майнцем.

— Совершенно верно, генерал, — сказал дядюшка Сом, — но когда мы строили укрепления под Каасселем и возили тачки по мосту через Рейн, было не лучше.

Тут Клебер стянул одну из кожаных перчаток, доходивших ему до локтя, и пожал Сому руку.

— Товарищи, — сказал он, — те, кто борется за права человека, одержат верх. И мы заслуженно будем этими правами пользоваться!

Он был очень доволен, а мы хором крикнули ему в ответ:

— Да здравствует республика!

После этого он ускакал и отправился осматривать позиции, останавливаясь у каждого поста, как он обычно делал накануне битвы.

Похлебку сварил я еще затемно, и, как только бледное декабрьское солнце встало над Дуарой, стрелки на передовой позиции открыли огонь. Они вели его минут двадцать, затем Вестерман, во главе своих гусар и эскадрона конных стрелков, ринулся на бандитов, — те отступили к окопам, которые вырыли за ночь. Возле окопов стояли пушки — падо было их отбить. Нас отправили по Нантской дороге, чтобы мы обстреляли их с фланга, в то время как другая часть ударит им в лоб. Поддерживать нас должен был батальон гренадер. Но вапдейцы мигом смекнули, чего мы хотим, и направили весь огонь на нас.

Пришлось нам остановиться в тут же, с обочины, открыть ответный огонь, но эти несчастные, в конце отчаявшиеся люди ринулись на нас, не обращая внимания на картечь, которой мы их осыпали, и на беглый огонь батальона гренадер, прикрывавших нас сзади. Начался страшный штыковой бой. Примчался как вихрь Вестерман и атаковал роялистов с фланга, но, наверно, и это не остановило бы их, ибо они дрались с невероятным ожесточением и добрался бы до нас, если бы не Марсо, который построил два батальона в колонну и двинулся прямо на их окопы. Тогда те, что атаковали нас, поспешили на помощь к своим. С утра и до полудня мы атаковали их окопы: не успевали они отбросить одну колонну, — за ней являлась другая.

Мы все время потихоньку продвигались и косили их, но так велика была ярость этих людей, что они не отвечали на наш огонь, как обычно делают пушкарки, — не разду-

мывая, лишь бы отомстить, — они, не обращая внимания на нашу картечь, стреляли по наступающим колоннам. Наконец одна из этих колонн ворвалась в окопы, за нею ринулись кавалеристы Вестермана, а мы наступали сбоку, чтобы ударить по вандейцам с фланга; началась резня; мы истребляли их всюду: в окопах, в садах, в городе, в поле, в домах, в церкви.

Тут мы потеряли еще несколько сот человек. В ход было пущено все: и пули, и приклады, и сабли, и штык. «Не давать пощады!» — этого правила придерживались обе стороны. На большой равнине, покрытой снегом, виднелись лишь кровавые пятна, горы трупов и ни одного раненого. Вдали гусары и стрелки летели точно ураган следом за последними из этих несчастных, которые стремились укрыться в болотах, простиравшихся насколько хватал глаз. Мне говорили, что тысячи две или три ушли через эти болота, — вполне возможно, ибо мы устали их уничтожать, а кавалерия не может передвигаться по топям, значит, кое-кому из этих несчастных удалось спастись. Вот и все, что осталось от огромного скопища — от ста тысяч вандейцев, которые за два месяца до того переправились через Луару. Эти люди могли потом говорить своим детям и внукам:

«Да, мы пережили большую войну. Мы видели, как наши отцы и матери, братья и сестры, жены, дети, друзья умирали прямо на дорогах от голода, холода, от усталости и других бед. Мы видели, как их безжалостно истребляли, потому что они не просили у республиканцев пощады и сами не щадили их. Мы видели самое страшное, что только может быть на свете. По самой большой боли, самой тяжелой раной для нашего сердца, самым сокрушительным ударом, стыдом и смертельным позором было для нас дезертирство дворян, которые подняли нас против Франции, а потом, в минуту самой большой опасности, бежали, а также низость некоего Бернье, который ради митры епископа преклонил колена перед бывшим якобинцем Бонапартом».

Так кончилась великая война в Вандее.

Через два дня мы вступили в Наут. Почти одновременно с этим мы узнали о нашей победе под Савенн и о взятии Тулона, который оставили англичане, предварительно предав все огню и уведя с собой наши корабли.

Надо ли описывать восторг патриотов и всех властей, когда мы вступили в город во главе с Клебером, Марсо и Вестерманом, босые, в бумажных штанах, в треуголках, нетрепанных дождем и ветрами, заросшие, все в шрамах и рубцах? Воздух гудел от барабанной дроби и криков: «Да здравствует республика!», из всех окон свешивались трехцветные флаги, женщины и девушки махали нам с балконов, люди на улицах обнимали нас; а потом — парад пушек и знамен, отобранных у роялистов, выступления Гракха и Спеволы Бирона в клубе порта Майяр. А как гостеприимные горожане прямо с улицы тащили нас к себе, какие устраивали банкеты для патриотов и так далее и тому подобное! Нет, это можно и не описывать, ибо все подобные торжества похожи друг на друга — достаточно увидеть два или три. Правда, патриоты Нанта, которым за этот год раз двадцать угрожало вторжение и гибель от пули или пожара, были рады нашей победе даже больше, чем мы сами, а военная комиссия и революционный комитет, где по очереди заседали Гулен, Пинар, Грапмезон, Каррье и многие другие, подогревали пыл тех, кто довольно спокойно относился к нашей победе. В результате нас снабдили свежими лошадьми, одели с головы до ног и разместили на постой к горожанам.

Меня поселили на маленькой улочке, спускающейся к лугам Мов, у одного жестянщика, который с утра до вечера распевал «Наша возьмет, наша возьмет!». Это был старик в больших очках, хороший мастер своего дела, и шел он из страха, в то время как дочка его, высокая бледная брюнетка, непрестанно молилась. Старик посещал Якобинский клуб и дрожал, точно заяц, при малейшем шуме на улице. Рота Марата обыскивала дома; из Савенэ, Монтегю, Тиффожа прибывали люди, задержанные по подозрению, — они шли длинной чередой, растянувшейся на добрых пол-лье. Одновременно поползли слухи, что Шаретт собирает людей, засеявших в болоте, что в окрестностях Маншуля возобновилась партизанская война, но все это было сущей ерундой по сравнению с тем, что мы видели: хребет роялистам был перебит. И сидели бы уж себе спокойно, хотя нам все равно бояться их было нечего.

Республике нужны были солдаты, и нашу армию поделили. Батальон Соны и Луары вместе с первым и вто-

рым батальонами из легиона Аллоброжцев\* двинули против Шаретта; тридцать вторую полубригаду, бывший полк Бассиньи, пятьдесят седьмую полубригаду Бовуази и семьдесят вторую полубригаду Вексена отравили в армию Восточных Пиренеев. С семьдесят второй полубригадой мы проделали всю кампанию после Майнца и теперь расставались со слезами на глазах. Тринадцатую полубригаду оставили в Нанте. Я же, к своей радости, возвращаясь — уже как сержант — в свой старый батальон Париж-Вогезы.

От секций Ломбардцев и Гравилье осталось не так уж много народу, но все это были весельчаки и любимцы Лизбеты, которая так и называла их: «Мои парижане!» Я видел ее каждый день — с Мареско и маленьким Кассием. Рота ходатайствовала, чтобы Мареско дали звание лейтенанта — он вполне заслужил его своей храбростью и доблестным поведением во время сражения под Антрамом. Ему-то это звание было ни к чему, потому что маркитантом быть куда выгоднее, но Лизбета не оставляла его ни на минуту в покое — так хотелось ей стать женой офицера, и под конец я сказал свояку:

— Послушай, сделай так, как хочет жена. Я ведь знаю ее: она не отступится. Это женщина с характером, как все у нас в Лачугах-у-Дубняка.

Он рассмеялся, а когда назначение его пришло, он все-таки был очень доволен. С той минуты Лизбета каждый день спрашивала меня, написал ли и домой, что она стала женой офицера, — это занимало ее больше всего. Она теперь не так уж держалась за свою торговлю, ибо за этот год, с помощью нескольких стаканов водки, сумела прибрать к рукам все трофеи батальона: кольца, серьги, браслеты, знамена, расшитые золотом, — всего этого было у нее полно, и как-то раз, показывая мне свои сокровища, она заметила с схиством, поистине удивительным для девчонки, привыкшей бегать за колясками по большим дорогам и просить подаяние:

— А знаешь, Мишель, если снова будут герцогини, я бы тоже могла ею стать. И наверно, имела бы на это больше прав, чем те, прежние: ведь я прошла всю войну и все, что имею, сама добыла. Те, другие, получили все от рождения, а я всего достигла благодаря смелости и удаче. А потом все перейдет к Кассию. Видишь, мы уже в чинах, лиха беда начало.

Тридцатилетнюю женщину нет предела: Лизбету несколько не смутило бы, что республика принесла в жертву шестьсот тысяч своих солдат ради того, чтобы она стала герцогиней. Не знаю я, как она невежественна и глупа, я бы страшно возмутился, но что спросишь с ограниченного существа. Можно лишь выслушать и пожать плечами.

Сердце сжималось у меня от другого: когда я видел утром и вечером, как везут приговоренных к смерти из башни Буффе на дуга Мов. По-прежнему шел снег, и от одного вида этой вереницы повозок, где сидели несчастные, полуголые, дрожащие от холода люди, со связанными за спиной руками, — мороз подирал по коже. Снег лежал толстым слоем и заглушал все шумы — лишь время от времени раздавалось лошадиное ржание да звякала сабля конвоира; все протекало в полнейшем молчании, — казалось, это движутся тени. Старик жестянщик, его дочь и я стояли, не двигаясь, прильнув к маленьким круглым оконцам. Дочка молилась, старик тяжело вздыхал. Сколько народу проехало так мимо нас — мужчины и женщины, старые и молодые, дворяне и священники! И всякий раз мне вспоминались телеги, которые мы конвоировали от заставы св. Николая до тюрем Нанси, когда по приказу генерала Буе было расстреляно, повешено и заживо колесовано столько беззащитных существ, которые требовали только, чтобы им заплатили по справедливости.

Каррье выполнял волю Конвента, а господин де Буе — волю бывшего монарха. Роялисты вот уже семьдесят пять лет проклинают Каррье, но как же можно поднимать такой крик, когда ты сам подаешь пример, положив начало жестокостям. Военные комиссии судят всех скопом, — существовали они и у роялистов и у республиканцев, только республиканцы в 1793 году впервые прибегли к этим мерам, а те, кто сотни лет пользовался ими против народа, лишь теперь вдруг увидели, что это за зло. Ко всему этому надо добавить, что господин де Буе, действовавший в нарушение закона, ибо казнь через колесование была отменена, заслужил одобрение Людовика XVI и Марии-Антуанетты и свискал их доверие, а Каррье, изобретший новый способ казни — топить осужденных, сложил голову на эшафоте за превышение своих полномочий. Ну, а если бы действия предателей увенча-

лись успехом и мы понесли бы поражение, так ведь по всему королевству, из края в край, стояли бы вассалы с патриотами — герцог Брауншвейгский ведь предупредил нас об этом!

Все это я пишу к тому, что люди-то одинаковы и всегда можно ожидать, что они не останутся в долгу и ответят тебе тем же.

Среди всех этих ужасов я не забывал о своих родных местах. Я написал Маргарите про нашу победу под Савенэ и ждал от нее весточки, но ничего не приходило, и я начал тревожиться. Мне уже чудилось, что Эльзас и Лотарингия захвачены австрийцами и пруссаками.

«Пфальцбург, паперно, осажден, — думал я, — иначе Маргарита, уж конечно, ответила бы мне!»

Я уже видел, как осуществляются угрозы Валентина: Лачуги-у-Дубинка обьяты пламенем; дядюшка Жап, Лютюмье, мой отец и все наши друзья вынуждены бежать и скрываться в лесах. Отчаяние мое было безгранично, несмотря на последний бюллетень Коинвента, в котором сообщалось, что Гош и Пинегрю возобновили наступление; и вдруг я получил долгожданное письмо от Шовеля, из которого узнал много приятного, — письмо это было для меня как целительный бальзам. Я с умилением снова и снова перечитываю его. Оно напоминает мне о славных временах, и я решил, что оно будет хорошим концом для третьей части моей истории.

«МИШЕЛЮ БАСТЬЕНУ, СЕРЖАНТУ РОТЫ КАПОШРОВ ПЕРВОГО БАТАЛЬОНА ПАРИЖ-ВОГЕЗЫ ТРИНАДЦАТОЙ ПОЛУБРИГАДЫ ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ.

*Лондан, 6-го дня 3-й декады 4-го месяца  
11 года Французской республики,  
единой и неделимой.*

Мой дорогой Мишель!

Мы пережили нелегкое время: 1 год Республяки войдет в историю народов.

Я с удовольствием читал все твои письма к Маргарите и раз сто собирался тебе ответить, но нам приходилось бороться со столькими врагами, нам угрожали такие серьезные опасности как внутри страны, так и извне, что я



боялся слишком уж уверенно говорить о будущем или же обескуражить тебя. Ничего дела республики поплыли назад: враги наши отброшены. Они вернутся — но страшно! У нас есть время для того, чтобы передохнуть и подготовиться как следует их встретить.

И ведь смотрю на тебя как на сына и, что бы ни случилось, хочу, чтобы твои дети, которые будут и моими детьми, знали, как вел себя их дед в трудные минуты, — лучшего наследства, чем образец патриотизма и храбрости, мы не можем им завещать. Иного примера я не подам нашим детям, — надеюсь, это пойдет им на пользу.

В своем последнем письме Маргарита писала тебе, что Сен-Жюст, Леба, Репки, Берже и я проезжали в январе через Пфальцбург. Мы ехали из Меца, где инспектировали арсеналы, и направились в Страсбург. Время было тяжелое: опасность давно висела над нами. После сдачи Майнца и Валансьена, мятежа в Лигне, предательства в Тулоне, ударов, нанесенных нам в Вандее, маневров Питта, задумавшего прибрать к рукам наши запасы провизии, неуклонного снижения стоимости ассигнатов, голода в деревнях из-за нехватки рабочих рук, необходимых для возделывания земли, — после всех этих бед Конвент вынужден был принять весьма энергичные меры, за которые я голосовал, потому что они справедливы и были вызваны обещанкой. Конвент обновил состав Комитета общественного спасения, который в тогдашних обстоятельствах оказался слишком мягок, — он предал Марию-Антуанетту и жирондистов суду Революционного трибунала; он издал декрет о приостановке действия конституции и объявил страну в состоянии революционной войны вплоть до заключения мира; \* издал декрет о мобилизации всех граждан с восемнадцати до сорока пяти лет \*, а также о реквизиции лошадей для кавалерии; об уплате налогов натурой для содержания войск; о создании в каждой коммуне революционного комитета, который должен сообщать Главному наблюдательному комитету об интригах контрреволюционеров; он установил максимум на предметы первой необходимости, шкалу заработной платы и оплату за рабочий день \*, твердый курс ассигнатов; направил представителей Конвента в департаменты для ускорения набора людей в армию и переноса оружия, а также в армию — для наблюдения за

генералами, чтобы они служили примером преданности родине... И тем не менее этих мер оказалось недостаточно.

Но хорошие плоды это все же дало. Республика была спасена: победа под Ваттиньи и под Шоле, взятие Лиона показали, что мы находимся на верном пути. Все наши потери произошли из-за предательства или неспособности монархистских генералов, которых мы имели глупость оставить на своих местах; все восстания внутри страны были подняты бывшими депутатами Учредительного и Законодательного собраний, которых темные люди выбрали из числа своих врагов — по наущению министра-жироидиста Рована! — и бывшими чиновниками, не желавшими расставаться с большими деньгами, которые они получали от казны и по Красной книге. Значит, надо было заменить этих генералов более молодыми, выходцами из народа, и обезвредить роялистов, маскирующихся под республиканцев-федералистов.

Этим мы и собирались заняться в Эльзасе.

Но тут возникла серьезная опасность. После того как нас двинули из Майнца в Вандею, две наши небольшие армии — Рейнская и Мозельская — оказались одни на одни перед ста тысячами австрийцев и пруссаков. Они вынуждены были отступить: Рейнская армия на линию Виссенбурга, а Мозельская к Саару. Враг находился между ними. Он мог двинуть свои силы в Лотарингию. Тогда наши армии попытались соединиться. Но, к несчастью, силы противника были слишком велики, и мы потерпели поражение под Пирмазепсом. Пришлось нам отступить из Хорбахского лагеря и отдать врагу оборонительные сооружения Виссенбурга.

Когда в вандемере мы приблизились туда, Рейнская армия уже отступила к Саверну, а Мозельская — к Сааргемиду. Пруссаки вступили в Лотарингию, австрийцы — в Эльзас, Хагенау открыл им свои ворота, Форт Вобан был взят, Лаундау уже три месяца находился в осаде. Везде кипела кипела капучины, неирисягловские священники, эмигранты, которые открыто призывали к гражданской войне, надеясь превратить наш край в Вандею. Страсбургские власти вступили в сговор с противником, намереваясь сдать ему город.

Как видишь, Мишель, положение было далеко не благоприятное.

Комитет общественного спасения назначил Гоша командующим Мозельской армией, а Пиннегрю — командующим Рейнской армией. Никто еще не знал, на что способны эти генералы. Прусские отряды дошли уже до холмов Досентейма, до Сен-Жан-де-Шу; Птит-Пьер и Бити были окружены, и войска наши пали духом. Необходимо было изменить положение.

Сен-Жюст, Леба и я — мы сразу поняли, что придется принять решительные меры. Оба мои коллеги — лучшие друзья Робеспьера, люди молодые, очень образованные, очень спокойные и даже холодные, они отлично все видят и не отступают перед сильными средствами. У меня, по сравнению с ними, душа просто нежная: я часто думаю, что людей надо жалеть, а не гневаться на них.

Случившись по дороге к Саверну, мы с возмущением обнаружили, сколь истощены защитники родины, какую страшную они терпят нужду. Донои и Шнееберг уже покрылись снегом, на равнине дул сырой ветер, а наши батальоны стояли лагерем в грязи, без палаток, без башмаков, без шинелей. Мы встретились с Пиннегрю, толстомерным хитрым крестьянином в форме командующего; он рассказал нам, как обстоит дело у него в армии. Выехали мы оттуда в сопровождении эскорта, ибо разведка противника добиралась до Мармутье, Васселова и даже дальше, и всюду мы наблюдали одну и ту же картину — во всем нехватки, нужда: лошади у кавалеристов стоят прямо под открытым небом, без соломы, без сена, без понои, солдаты бредят по полям, выкапывая оставшиеся в земле овощи, или отправляются на поиски пшеницы в покинутые деревни, рискуя быть схваченными.

Это нас тем более удивило, что представители Конвента Мило и Гийярден, которые были посланы туда еще до нас, создали в Эльзасе, как и во всех угрожаемых районах, революционный легион \*, — легионы эти должны обеспечивать войска всем необходимым. При легионе существует разъездной трибунал, обязанный разбирать споры, которые возникают между гражданским населением и солдатами, занимающимися реквизицией. Но эти представители плохо выполняли свой долг! В Страсбурге народные общества устроили нам роскошный прием, а местные власти заверили, что все обстоит как нельзя лучше, одна-

но мы не могли не заметить, что народ бедствует, солдаты раздеты, никакой дисциплины нет и в помине, как нет и военачальника, которому они бы подчинились, что аристократы кунаются в роскоши, что караульную службу несут плохо, что городские ворота до полуночи стоят настежь и так далее и тому подобно. Увидели мы и то, что гражданские и военные власти находятся в сговоре с врагом.

Племянник австрийского генерала Вюрмсера был арестован в городе и как шпион отправлен в Париж. У полковника, капитана и адъютанта двенадцатого кавалерийского полка были обнаружены белые кокарды, — их тотчас же расстреляли перед строем полка. Мы произвели проверку счетов, обследовали службы, особенно госпитали, где несчастные раненые погибали сотнями; выяснили, что поставки зерна и дров не сделаны, что свечи продают по семь франков за фунт и что от местных властей нечего ждать бдительности или патриотизма, и обложили страсбургских богачей девятью миллионами контрибуции, ибо, согласно одному из декретов Конвента, богачи обязаны содержать гарнизоны, которые их защищают: «Когда народ ручьями проливает кровь за родину, богачи могут дать хотя бы золото!»

Так сказал Дантон, и я с ним вполне согласен.

Богачи, конечно, подняли страшный крик, но, поскольку гильотина стояла на площади, они заплатили в тот же день все, до последнего сантима. Пятьсот тысяч ливров мы отдали, чтобы помочь бедным старикам, которые, оставшись без кормильцев, ибо сыновья их ушли в армию, погибали теперь от голода, а остальное — для получения запоздалых поставок.

Но это было еще не все.

Мы постановили, чтобы муниципалитет Страсбурга в двадцать четыре часа приготовить две тысячи косок для больных или раненых солдат, и им была оказана на месте вся необходимая помощь, равно как уважение и забота, какую заслуживает их доблесть. Кроме того, хирургам будут предоставлены лошади, чтобы они могли объезжать больных; в Савери следовало немедленно выслать десять тысяч пар обуви и две тысячи шинелей, чтобы обуть и оградить от холода защитников родины. Увидев, что эти необходимые, справедливые и патриотические меры, вместо того чтобы вызвать у властей рвение, скорее

возмущают их, мы постановили разжаловать этих подозрительных лиц, отправить их в Мец, Шалон и Безансон и выбрать новых.

Тут австрийцы поняли, что план их провалился, что не видать им Эльзаса, несмотря на обещания бывшей королевы Марии-Антуанетты, которая отдала им этот кусок Франции, дабы уговорить императора выступить против нас. Но меры были приняты нами вовремя: еще несколько дней, и мы упали бы, что желтое знамя заменило на шпигле собора крестьянский колпак.

Оставалось поквитаться с разъездным революционным трибуналом, который не только не выполнил своего долга, но еще и позволил себе, действуя по указке бывшего старшего vicария Шнейдера, выносить суждения по делам, вовсе его не касавшимся, налагать чрезмерные штрафы, взыскивать контрибуции и даже приговаривать к смертной казни. Шнейдер как раз возвращался из поездки по окрестностям Бара, — возвращался с триумфом, в коляске, запряженной шестеркой лошадей. Вот какое постановление мы приняли о нем, — оно доставит тебе удовольствие, ибо ты увидишь, что твоя справедливая жалоба в связи со старухой Беккер не прошла даром. Шнейдер совершил много других преступлений, и теперь, к радости всех добрых патриотов Эльзаса, он получил сполна:

«Представители народа, направленные с чрезвычайной миссией в Рейнскую и Мозельскую армии, услышав, что Шнейдер, обвинитель Революционного трибунала, бывший священник и имперский подданный, прибыл сего дня в Страсбург с неслыханной пышностью, окруженный охраной с саблями наголо, постановляют, чтобы упомянутый Шнейдер завтра, с десяти часов утра до двух часов дня, простоял на помосте гильотины перед всем народом во искупление своей вины, выразившейся в оскорблении нравов нарождающейся республики, а затем препроводить его по этапу в Комитет общественного спасения при Национальном конвенте. На коменданта города возлагается выполнение данного постановления, о чем он обязан доложить завтра, в три часа пополудни... И т. д.»

Вот как мы расправляемся с негодяями, — отсюда и все наши успехи. Стоит нам заколебаться, и нас живо продадут и предадут, ибо все эти короли, дворяне, монахи

и прочие большие и малые деспоты всегда действуют заодно, как воры на ярмарке, когда речь идет о том, чтобы обобрать народ. Наш образ действий, видно, очень им не по нутру, — тем лучше: значит, мы поступаем правильно.

Итак, наведя порядок в мелочах, пора было подумать и о делах более серьезных.

После того как мы потерпели поражение под Пирмазешом и противник занял оборонительные сооружения под Виссенбургом, — пруссаки укрепились на Сааре, а австрийцы — на линии Нидерброи, Френшвиллер и Рейсгоффен в германских Вогезах. Новый генерал — Гош, поставленный во главе Мозельской армии по совету Карпо, прежде всего восстановил дисциплину в войсках, а затем отправил из Сааргемина одну из своих дивизий, чтобы выкурить пруссаков из Эльзастееля. Пруссакки были обращены в бегство, а мы в результате заняли высоты Цвейбрюккенскую и Мимбахскую.

Тем временем Пиннегрю во главе Рейнской армии атаковал австрийцев, засевших в Бергхейме; но противник, усиленно поддержанный принцем Конде, отбил наши атаки. Таким образом австрийцы и эмигранты все еще сидели в Эльзасе, точнее, в Хагенау — самом страшном гнезде реакционеров у нас во Франции. Гош, овладев Цвейбрюккеном, решил на этом не останавливаться и через высоты Кайзерлаутери попытаться подойти поближе к Ландау, но на этот раз его попытка не увенчалась успехом из-за отсутствия слаженности при передвижении; пруссаки держались стойко — они ведь хорошие солдаты. Тогда этот молодой человек показал, что у него и в самом деле есть талант полководца, ибо вместо того, чтобы упорствовать и добиваться их отступления, он после битвы под Френшвиллером, где мы одержали верх, оставил дивизию для наблюдения за ними, а сам с остальной своей армией перешел через покрытые снегом Вогезы и соединился с Пиннегрю, чтобы действовать дальше сообща; на берегу Мозера они ударили по австрийцам с тыла, выкурили их из оборонительных сооружений Виссенбурга и сняли осаду с Ландау.

Это было серьезное дело.

Прибыли Лакост и Бодо с новыми полномочиями. Пиннегрю был явно недоволен тем, что придется делить с кем-то власть, — он хотел действовать один. Лотарингию

прикрывала всего лишь одна дивизия, но пруссаки, к счастью, ничего об этом не знали. Надо было спешить. Макост и Бодо взяли решение на себя и назначили главнокомандующим Гоша.

Это вызвало огромное воодушевление. По всей округе забили в набат; из глубины Лотарингии прибывали батальоны национальной гвардии — все устали от иностранцев.

Вот тут, вернувшись в лагерь, я, к своей величайшей радости, и обнаружил дядюшку Жана, Летиюме, Элофа Коллена и еще пятьдесят славных патриотов во главе отрядов национальной гвардии из Лачут-у-Дубняка, Пфальцбурга, Меттинга, Ликетейма, Саарбурга, Лоркена и прочих окрестных мест. Я воззвал к их патриотическому долгу, чего вовсе не требовалось. По всей линии наших войск, на добрых шесть лье, грозно звучало: «Мандау или смерть!»

Мы продвигались по Эльзасу несколькими колоннами. Австрийцы отступили и заняли позиции перед рекой Лаутер. Гош, его штаб и все мы верхами следовали за основными силами, — мы заранее чувствовали, что победа не может от нас ускользнуть. Гош меньше похож на деревенского жителя, чем Пинегрю, однако он производит впечатление человека более открытого, более прямого. Ему лет двадцать пять, он высокий, красивый, с живыми глазами и энергичным лицом. Но за одно я должен его упрекнуть: слишком часто обещает он солдатам деньги за знамена и орудия, отбитые у врага! Значит, он не очень рассчитывает на любовь к родине и уже в этом возрасте слишком хорошо знает дурные стороны человеческой натуры. Мне больше правится ванн Клебер, который в Торфу сказал капитану Шуардэну: «Ты погибнешь здесь вместе со своими солдатами, зато спасешь армию!» А тот ему ответил: «Слушаюсь, генерал!» Так или иначе, по пока Гош оправдывает доверие республики. Я считаю его прекрасным республиканцем, человеком мужественным и преданным.

В четверг, 6 нивоа, ранним утром мы увидели врага. Он окопался на возвышенности перед старинным Гейсбергским замком. Позади нее и с обеих ее сторон простираются долины и холмы Виссенбурга. Путь к возвышенности преграждали частоколы, завалы, рвы, а с флангов возвышались внушительные редуты.

Гон собрал тридцать пять тысяч человек в центре для главной атаки; три дивизии развернулись справа, две — слева. Мы стояли наготове и только ждали приказа о наступлении, как вдруг приекакали вестовые и сообщили о взятии Тулона. Эта новость тотчас распространилась по армии, и издали, нарастая, словно гром, прокатился крик: «Вперед!» Все ринулось в наступление, и бой начался.

Ты можешь представить себе, Мишель, картину ожесточенной схватки: грохот пушек, треск ружейных выстрелов, бой барабанов, звуки трубы и крик тысяч глоток, но мне кажется, никогда еще никто не слышал такого грохота. Яростные крики: «Ландау или смерть!» — выдмались к небу среди грохота рвущихся снарядов и свиста, с каким они разрезают воздух. Через несколько минут мы уже ничего не видели и не слышали. Мои товарищи и я скакали следом за нашими доблестными солдатами, которые то скрывались за облаком дыма, то снова появились где-то на середине косогора.

Вдруг я полетел носом вниз — прямо в густую грязь, так что даже переначкал себе плечо и шею: осколком гранаты убило подо мной лошадь, и, скажу по правде, придя в себя, я не слишком огорчился, ибо держался в седле неловко и гораздо свободнее чувствовал себя на собственных ногах. Поднялся я с земли и, к удивлению своему, обнаружил, что товарищи мои проскакали мимо, даже и не заметив происшествия. Тогда я выхватил саблю и, как одержимый, бросился вперед, а впереди шел батальон пехотинцев, — они поднимались в гору с ружьем на плече. То и дело шквалами налетал сильный ветер, пронизывавший меня насквозь, и, чем выше мы поднимались, тем сильнее становился шум.

Мы шли в атаку на батарею. Лишь в каких-нибудь двадцати шагах от большой, изрешеченной ядрами насыпи раздалась команда: «В штыки!» — и я понял, что мы у цели. Две наши роты уже были в редуте, остальные следовали за ними, перелезая через фашины и мешки с землей. Я полез вместе со всеми и после короткой рукопашной схватки стал свидетелем разгрома австрийцев: их теснили со всех сторон, они отступали, пытались закрепиться на новой позиции, но наши гнали их штыками в спину. Я бежал со своими, полный ненависти к врагу, горя одним желанием: прогнать его с нашей земли. Длин-



ные белые линии вражеских войск, протянувшиеся по холмам, ежесекундно ломались, словно вдруг обрушивался кусок белой стены и в брешу врывались головные колонны наших солдат, в больших треуголках, с развернутыми знаменами.

Но восемь австрийских батальонов (по-моему, это были венгры), сильный отряд пруссаков под командой герцога Брауншвейгского и кавалерия принца Конде держались долго и дрались отчаянно. Только к вечеру они отступили: австрийцы двинулись по дороге к Франкенталю, а пруссаки — к Бергзаберну.

В Виссенбурге все их обозы попали в наши руки. Слезы выступали у нас на глазах при виде того, как радовались своему освобождению славные эльзасцы: мы обнимались, как братья. А на другое утро, 7 января, мы спозаранку двинулись дальше и в тот же день вступили в Ландау, с которого неприятель накануне снял осаду. Вновь стали мы свидетелями голода. Со всех концов прибывал провиант — Готт заранеe обо всем побеспокоился. После голода это было настоящее изобилие.

Какой это был прекрасный день, Мишель! Сколько удивительных картин видишь при подобных обстоятельствах: встречи друзей, рождественников, коих считали погибшими; воскресение из мертвых несчастных изголодавшихся людей, дошедших до полного истощения! А сколько человечности проявляют тут солдаты после того, как они выполнили свой воинский долг! Рассказывать об этом, право, можно до конца своих дней.

Как раз из Ландау и и пишу тебе это письмо, — из большой гостиницы «Золотое яблоко», что на Почтовой улице, которую ты, наверно, знаешь, поскольку вы были в осажденном Ландау полтора месяца. Дядюшка Жан, Колец, Летюрье и другие здешние патриоты обещали прийти ко мне на обед, — я их жду. Вчера еще мы шагали по колено в грязи и снегу, а сейчас в комнате у меня пылает жаркий огонь, мы хором своим «Марсельезу» и выпьем по добромому стакану вина за здравие нашей республики. А чувствует она себя хорошо, хоть жизнь ей предстоит и нелегкая: все высокородные господа уже начинают понимать, что царство свободы, равенства и здравого смысла должно сменить царствование безмозглых Карлов, Людовиков, Христианов и прочих властителей; народы прозре-

вают и требуют отчета, — надо им только договориться и вместе вести свои дела.

В начале нынешнего года земля нашей республики была наводнена врагами; мы их изгнали и стали хозяевами в своем доме, но нам это досталось нелегко. В 92-ом году я говорил в Пфальцбурге в нашем клубе, что одному народу очень трудно вести войну с завистью, эгоизмом, невежеством всех других народов, что такая война была бы ужасна, — и я оказался прав. Но все равно мы вышли из нее победителями, и эта кампания против Европы, в ходе которой мы дали больше ста сражений и выдержали больше двадцати больших битв, не помешала нам заложить прочные основы грядущего.

Среди бурных событий недавнего прошлого у тебя, понятно, не было времени читать о том, что происходило в Конвенте, — так знай, что и он выполнил свой долг и никогда не забывал о своей миссии — давать благие установления, дабы обеспечить счастье нации в мирное время. Не стану рассказывать тебе о большой военной реформе, имеющей целью восстановить дисциплину в лагерях, внушить доверие молодым рекрутам путем отмены никому не нужной муштры и устарелой, никчемной тактики, которая заменена совместными атаками всех войск. Предписано также во время нашествия врага и гражданской войны постоянно пополнять наши ресурсы. Дюбуа-Крансе, Барно, Приер (тот, что из Кот-д'Ор) и еще несколько членов нашего Военного комитета на славу провели эту огромную работу.

Нашей же большой заслугой я считаю установление во Франции единой системы мер и весов: \* это прекратит мошенничества, существовавшие веками при деловых расчетах между провинциями и наносившие торговле величайший ущерб. Затем мы издали декрет о составлении свода гражданских законов и уже проголосовали первые статьи этого Кодекса, касающиеся прав личности. Далее: для облегчения связи мы наметили главные линии оптического телеграфа; ввели право собственности литераторов и художников на их произведения: до сих пор и сочинители и художники, если только они не получали подачек от какого-нибудь вельможи, умирали с голоду, ибо ловкие мошенники завладевали их твореньями, присваивая себе всю прибыль, причитающуюся автору. А

теперь мы издали декрет, согласно которому композиторы, художники и писатели обладают исключительным правом продавать свои произведения по всей республике и передавать свои авторские права кому им заблагорассудится; их наследники или лица, коим они передали свое авторское право, пользуются им в течение десяти лет со дня смерти автора.

Кроме того, мы издали декреты о новом, республиканском устройстве страны, о единстве и неделимости республики, необходимых для величия и силы нации; о создании книги записей государственного долга; о продаже в кредит и мелкими участками конфискованных поместий эмигрантов; \* о разделе общинных земель; \* о возмещении убытков коммунам, пострадавшим от вражеского нашествия; об установлении пособий многодетным, в зависимости от количества малолетних детей в семье; о возложении на коммуны обязанности содержать стариков, кои не могут найти работу себе по силам. Одним из самых прекрасных и притом самых трудных установлений, которые мы приняли, является новое летоисчисление. Старый календарь возник у народа невежественного и суеверного; восемнадцать столетий сей календарь отмечал развитие фанатизма, порабощение нации, позорное торжество высокомерия, порока и глупости, гонения против добродетели, презрение к талантам и философии, поощряемым жестокими или тупыми деспотами.

Так неужели мы должны начертать на тех же скрижалях рядом со словами, прославляющими преступления королей и мотовничества епископов, слова, прославляющие прогресс человечества, провозглашающие права человека, его освобождение от пут невежества и рабства? Мы не могли этого допустить. Новые времена открыли новую страницу истории: мы издали декрет о том, что новая эра началась во Франции 22 сентября 1792 года, в девять часов восемнадцать минут утра по Парижской обсерватории — в день осеннего равноденствия, когда солнце встает под знак Весов; мы постановили провести полную реформу календаря \* в соответствии с новым точным летоисчислением, и со временем, Мишель, ты увидишь, что это чудесное преобразование даст нашей республике перевес над всеми монархиями, упорствующими в старых заблуждениях, удобных для их господства.

Мы признаем только справедливость и разум — в

пих источник нашей силы, несокрушимой, как сама природа.

Но выше всего я ставлю декрет о народном просвещении\*, ибо недостаточно иметь добрые семена, — нужно их посеять. Выше понятия, почему деспоты налагают узы на свободу слова, свободу мысли и печати, почему они стремятся поставить преграды развитию просвещения, затормозить его: ведь если истина распространится, тираны погибнут! У республики же, наоборот, нет более надежного союзника, чем просвещение. С помощью просвещения она все преодолест, и, каково бы ни было сопротивление врагов и их клеветнические наветы, их обманы, их козни, — плотина прорвана; полная победа — лишь вопрос времени, сей неугасимый свет увидит даже слепые.

И вот мы издали декрет о том, что отцы, матери, опекуны и воспитатели обязаны посылать своих детей и воспитанников в начальную школу. Декрет этот принят 29 фримера. Но это еще только начало, за ним последуют другие меры, которые мы примем в скором времени, — они уже готовятся; у нас будут хорошие наставники во всех науках, в искусствах, земледелии, торговле, навигации и даже в военном деле, — свободному народу надо уметь защищаться. У нас будут военные инженеры, горные инженеры, строители мостов и дорог, географы, кораблестроители. Все то, что наш «великий» король и все короли во всем мире не могли сделать за полторы тысячи лет, мы сделаем за восемь, самое большее — за десять лет.

И пусть себе лакейская братия вонит и клеветает на нас, пусть превозносит прежних повелителей, пусть называет нас, как нынче, «кровопийцами» за то, что мы не отступаем ни перед чем ради спасения родины и прав человека, уничтожая аристократию, нищету и невежество; пусть себе говорят, что хотят, Мишель! Даже если случится беда и нам придется сложить голову, члены Конвента, от первого до последнего, не устроятся смерти: потомки воздадут нам должное!

Дай только бог, чтобы мы сохранили единство и продолжали держаться так же сплоченно, как мы держались со времени падения этих злосчастных жирондистов, которые только вносили смуту и все портили. Если бы они остались хозяевами положения, республика бы уже не

существовало; коалиция королей, ополчившихся на права человека, устроила бы Варфоломеевскую ночь, истребила бы патриотов, и во всей презренной силе был бы восстановлен старый режим, с его дворянством, духовенством, с его отвратительными привилегиями; несчастный народ снова трудился бы как до 89-го года, чтобы содержать в роскоши двести — триста тысяч надменных бездельников; австрияки же, пруссаки, англичане, испанцы и пьемонтцы отхватили бы себе по куску Франции «в возмещение своих военных расходов».

Наша сила в единстве, оно дало нам победу, и оно еще нужно нам для завершения дела революции.

Два человека, благодаря своим дарованиям и своим заслугам, возвышаются в Конвенте над остальными. Робеспьер — это великий преобразователь, который хочет все ввести в рамки: он все отдает государству и хочет, чтобы все записано от государства. Дантон же хочет, чтобы была полная свобода; он хочет, чтобы во всем царило соревнование, а государство вмещивалось бы как можно меньше; он считает, что все должно вершиться по воле народа: выбор судей, депутатов, управителей, чиновников и так далее. Словом, эти два человека придерживаются разных взглядов, которые трудно примирить. Но будущее покажет, кто прав; мое же самое великое желание, чтобы эти два человека — на благо родины — могли полюбить и понять друг друга и чтобы они всегда превыше всего ставили интересы республики... Но вот пришли мои гости: дядюшка Жан, Летиюмье, все старые друзья, — я слышу голоса и смех на лестнице. Дорогой мой Мишель, обнимаю тебя. Дядюшка Жан и все остальные просят передать, что они жмут тебе руку и крепко тебя обнимают. Они говорят, что, будь ты здесь, праздник был бы полнее. Это истинная правда, добрый мой Мишель, мы все были бы счастливы прижать тебя к сердцу.

Твой отец *Шовель*».

Под этим письмом дядюшка Жан своим крупным почерком написал:

«Братский привет, старина Мишель! Эх, как бы я был рад увидеть за нашим столом тебя рядом с Маргаритой. Но это еще будет. Мы еще покуем железо вместе с тобой.

Мерзавец Валентин грозился меня повесить, — он пошел солдатом в армию Конде. Мы их здорово отделили, и теперь они бегут, как зайцы!.. Ну, до свиданья. Целуем тебя тысячу раз. Да здравствует республика!»

Под этими строками стояли подписи более двадцати патриотов.

.....  
Вот и закончен третий том моих воспоминаний.

Вновь близится весна, и я рад. За зиму я потрудил себе глаза, пересчитывая старые бумаги; а теперь до поры до времени сирычем очки в футляр и потом уже докончим длинное сие повествование.

До свидания, друзья. Будем все здоровы — это самое главное.

*Мишель Бастьен.*  
На ферме в Вальтеце.

28 февраля 1869 г.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



ГРАЖДАНИН БОНАПАРТ

1794—1815



THE HIKER'S COMPANION

BY J. H. COLEMAN

Published by the Author, 10, South Street, New York.

Copyright, 1880, by J. H. Coleman.

Printed by J. H. Coleman, 10, South Street, New York.





## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я рассказал вам про нашу кампанию в Вандее — сами вандейцы называют ее великой войной. Мы выкорчевали это вредное племя на обоих берегах Луары, но три четверти наших полегли там костью. Никто не видел с тех пор такого ожесточения.

Остатки вандейских баядвтов, после сражения под Савенэ, скрылись в болотах, тянущихся вдоль побережья, где еще держался последний из их предводителей, знаменитый Шаретт. Этот хитрец всячески избегал сражений в боевом строю; он грабил окрестные фермы и деревни, расположенные среди болот, уводил быков и коров, забирал сено, солому, — словом, все, что можно отнять; несчастным крестьянам, лишившимся крова и пропитания, ничего не оставалось, как присоединиться к нему, и гражданская война продолжалась.

Восемнадцатая полубригада и другие части, стоявшие близ Напта, Ансени и Аиже, выдвинулись вперед большими отрядами, чтобы окружить и попытаться взять в плен предводителя вандейских шаек, но стоило нашим колоннам подойти поближе, как он тут же отступал, а преследовать его в зарослях вишняка и ольховника, среди камышей и кустов, где из засады на нас в любую минуту могли выскочить вандейцы, — не такие уж мы были дураки: ведь нас перебили бы всех до единого.

Вот таково было у нас положение дел в январе и феврале 1794 года. А теперь повествование мое пойдет быстрее: стар я становлюсь, а мне еще надо рассказать историю нескольких лет, пока существовала наша республика, и мне ничего не хочется упустить, особенно из того, чему я сам был очевидцем.

Во время одного из наших походов против Шаретта я снова заболел. Дождь лил не переставая, так что и спали мы в воде; вандейцы частенько отрезали от нас обозы, и мы терпели нужду во всем; трудности, лишения, успешные переходы привели к тому, что у меня снова открылось кровохарканье. Пришлось отправить меня в Напт с транспортом раненых.

В Напте главный хирург сказал, что я не проживу и двух недель; все помещения, лестницы, коридоры были забиты ранеными под Коломбеном, и я попросил, чтобы меня отпустили домой.

— Хочешь повидать родные места, дружок? — с улыбкой спросил доктор. — Ладно, скоро дадим тебе отпусковую.

А дней через восемь или десять он принес мне отпусковой билет, по которому меня освобождали от службы вчистую; уже и койку мою отдали другому.

С той поры прошли годы и годы; доктор, приговоривший меня к смерти, наверняка сам давно уже отправился к праотцам, а я все еще дышу! Да будет это уроком всем больным и старым, которых лекари приговаривают к смерти: они, может, проживут еще дольше тех самых лекарей. Не один я могу служить тому примером.

И вот с отпусковым билетом и кармане и сотней ливров ассигнатами, которые прислала мне Маргарита, как только из моих шнесс узнала, что я лежу в госпитале в Напте, я решительно двинулся домой. Было это в марте, в пору самого страшного террора и ужасного голода. Не думайте, что виновата в том была погода, — нет, год на-

попался хорошо: все зелело и цвело, и еще апрель не подошел к концу, а грушевые, сливовые, абрикосовые деревья уже стояли в бело-розовом цвету. Все благословляли бы всевышнего, если б удалось собрать хоть половину урожая, который обещали поля, но хлеба еще не заколосились и ждать этого надо было многие недели и месяцы.

Я мог бы описать вам, как выглядели берега Луары в те дни: покинутые деревни, запертые церкви, вереницы арестованных, которых гонят куда-то; запуганные люди, которые не смеют поднять на вас глаз; из дома в дом ходят комиссары с трехцветным шарфом через плечо в сопровождении солдат, а за ними — доносчик; на каждом шагу останавливают вас жандармы и просто граждане и требуют подорожную.

Эбертистов, которые стремились уничтожить культ верховного существа, гильотинировали\*, повсюду разыскивали их сторонников, и, само собой, многие дрожали, ибо шло гонение на пьяниц, дебоширов, развратников, на всех, кто попирает справедливость и человеколюбие, — теперь только и говорили, что о Робеспьере да о царстве добродетели.

Худой и бледный, при последнем издыхании, медленно плелся я от этапа к этапу. Иной раз встречные крестьяне провожали меня взглядом и как бы говорили:

«Ну, этому нечего волноваться: недолго он протянет».

Когда я добрался до Орлеана, у меня явилась мысль повидать Шовеля в Париже, — так утопающий хватается за соломинку. Мне казалось, что парижские доктора должны больше понимать, чем цирюльщики, ветеринары и зубодеры, которых посылали нам в армию в 92-ом году. А потом Париж — это Париж: оттуда выходили декреты, приказы по армии, газеты и все важные новости. Мне хотелось повидать Париж перед смертью, и к началу апреля я добрался до его окрестностей.

Описать вам, по примеру Маргариты и Шовеля, этот большой город весь в движении, его предместья, заставы, гонцов, мчавшихся во все концы, широкие улицы, заполненные народом, бесконечное множество нищих в лохмотьях, гул голосов, грохот экипажей, то нарастающий, то замрающий, точно гром, — сами понимаете, этого я не сумею, тем более что очутился я там во времена необычные, один, большой, среди всей этой сумятицы — у меня

голова шла кругом, я не знал даже, с какой стороны я вступил в город и в какую сторону мне из него выходить.

Помню только, что я шел по какой-то широкой улице, которой конца не было, и шел я по ней больше часа, и кого бы я ни спрашивал, где будет улица Булуа, мне отвечали:

— Идите прямо!

Мне казалось, что я с ума схожу.

Было, наверно, часов пять и уже начинало темнеть, когда в конце этой улицы я увидел старинный мост со сторожевыми башнями из тесаного камня, Сену, бесконечную вереницу ветхих домов, теснящихся вдоль берега, черную громаду церкви без колокольни и множество всяких строений. Солнце как раз садилось, и старые крыши домов казались багровыми. Смотрел я на все это и раздумывал, куда же мне повернуть, как вдруг передо мной возникло зрелище столь жуткое, столь ужасное, что даже и сейчас, спустя столько лет, как вспоминаю, кровь во мне кипит.

Я уже перешел мост; вижу: толпа оборванцев — кричат, пляшут, кувыркаются, размахивают палками, засаленными шанками, а среди этой толпы между двумя усиленными парядами конных жапдармов, медленно движутся три повозки с осужденными на казнь. На передней повозке, вдоль которой лежали красные лестницы для гильотины, стояли два человека в одних рубашках, шея и грудь у них были обнажены, руки связаны за спиной. Остальные осужденные сидели на скамьях в глубине, с вытянутыми лицами, и туно смотрели перед собой. А один из тех двоих, широкоплечий, сильный, с круивой головой и глубоко сидящими, палитыми кровью глазами, словно бы хохотал, стиснув зубы. Он походил на льва, окруженного стаей жалких псов, которые лают и прыгают, поровня наброситься и укусить, а он смотрел на них с несказанным презрением, и полные щеки его подергивались от отвращения. Второй, более высокий, сухощавый и бледный, пытался что-то говорить: он бормотал какие-то слова, на губах его выступила пена, негодование душило его.

Эта картина стоит у меня перед глазами — я буду помнить ее до конца моих дней.

Лошадь, сабля, красные лестницы и мерзкий сброд, прилясывающий вокруг, — вся эта процессия прошла

мимо и стала удаляться под стук копыт, грохот колес, крики: «Смерть растленным!.. Смерть предателям!.. Наша возьмет!.. «Карманьолу» давай, «Карманьолу»!.. Долой Камилла!.. Долой Дантона!.. Ха-ха-ха!.. Да здравствует царство добродетели! Да здравствует Робеспьер!» Это коммариное видение терялось вдаль среди густой толпы, запрудившей набережную, среди множества голов, торчавших из окон и с балконов, а следом уже шла вторая повозка, такая же полная, как и первая; за ней — третья. Тут я вспомнил, что Шовель был другом Дантона, и сердце у меня захолодело; увидь я его среди осужденных, я бы ни на что не посмотрел — выхватил бы саблю, ринулся бы на этих негодяев и, наверно, погиб бы, но его там не было. Я узнал только среди прочих нашего генерала Вестермана — победителя при Шатийоне, при Ле-Мане, при Савенэ! Он тоже был там — мрачный, с опущенной головой, со связанными за спиной руками.

Вслед этим повозкам тоже неслись гнусные выкрики, песни, хохот.

Нет, не страх перед смертью, а гнев вызывает дрожь у таких людей, — гнев на неблагодарный народ, допустивший, чтобы полицейские лицеики сначала надругались над ними, а потом поволокли их на гильотину. Эти мерзавцы осквернили нашу революцию\*. Они называли себя санкюлотами и жили припеваючи, окопавшись в поллиции, в то время как народ — рабочие и крестьяне — нес на себе все тяготы\*. Они торчали в Париже и чтили расправу над своими жертвами, в то время как мы, сотни тысяч простых людей, защищали границы отчизны, проливая за нее свою кровь.

Словом, в полном смятении я побрел прочь. Я уже видел гибель нашей республики. Долго так продолжаться не может: нельзя без конца рубить головы друг другу — этим не докажешь людям, что они не правы.

Шагов через сто я наконец обнаружил дом, где жил Шовель. Было уже совсем темно. Я вопел в плохо освещенный коридор. Внизу, слева, жил портной, кривоногий старик с большим красным носом, — его рабочий стол занимал всю конуру. Я спросил, не знает ли он депутата Шовеля. Он оглядел меня сквозь большие очки с головы до пят, подвинулся и сказал:

— Подожди, гражданин, я сейчас схожу за ним.

Он вышел и минут через пять или шесть вернулся в сопровождении толстяка в сдвинутой на затылок шляпе с огромной кокардой, препоясанного трехцветным шарфом. За ним следовало два или три санкюота.

— Вот он, — сказал портной, — этот самый спрашивал Шовея.

Тот, что с кокардой — должно быть, комиссар, — принялся меня расспрашивать, кто я да откуда. Я ответил, что Шовею все это прекрасно известно.

— Именем закона я требую твои бумаги! — заорал он тогда. — Да пошевеливайся, живо!

Тут санкюоты вошли в конуру. Стало так тесно, что я не мог шелохнуться. Я слышал, как в коридор со всех сторон стекались люди — они толпились, спускаясь с лестниц. Я видел, как они смотрят на меня: глаза их в темноте поблескивали, точно у крыс. Я побелел от гнева и вывернул на стол подорожную и отпусковой билет. Комиссар сунул все в карман и сказал:

— Пошли! А вы — смотрите не зевать!

Портной был явно доволен: ему казалось, что награда в пятьдесят ливров уже у него в руках. Я бы с радостью его придушил.

Пришлось идти. Шагах в пятидесяти оттуда, в большом квадратном зале, где какие-то граждане стояли на страже, мои бумаги были внимательно изучены.

Перечислить вам все вопросы, которые задал мне комиссар, — о моих занятиях, о том, куда я держу путь, почему свернул с дороги да откуда я знаю Шовея, — просто невозможно: ведь прошло столько времени. Да и допрос-то длился больше получаса. Под конец он все же признал, что бумаги мои в порядке, и, ставя на них печать, сказал, что Шовель уехал с поручением в Альпийскую армию. Тут меня разобрала злость:

— Чего же вы сразу-то мне не сказали? Куча вы...

Но я попридержал язык. Комиссар же с презрением посмотрел на меня.

— Ему, видите ли, сразу не сказали! Значит, тебе надо было сразу сказать! Ты что же, дуриная твоя бабка, считаешь, что республика раскрывает свои тайны первому встречному?! Ты же мог быть шпионом герцога Кобургского или Питта! У тебя что, на физиономии написано, какой ты благонадежный?

Человек этот, видно, не на шутку разошелся. Поддай он знак солдатам, стоявшим вокруг нас с пиками в руках и внимательно прислушивавшимся к разговору, — меня бы вмиг схватили. У меня достало ума промолчать. Раздосадованный тем, что ему не удалось подценить меня, он указал мне на дверь.

— Ты свободен и постарайся в другой раз быть поумнее — а то несдобровать тебе.

Я послешно вышел и зашагал по улице в том направлении, откуда пришел. Все эти санкиюты по-прежнему некоса поглядывали на меня.

Я пробыл в Париже еще два дня и повсюду видел одну и ту же картину: каждый встречный вызывал подозрение; кто угодно мог тебя задержать; люди старались на улице не смотреть друг на друга. И нельзя сказать, чтобы для такой подозрительности не было оснований. Предательства всколыхнули умы, да и голод побуждал несчастных хвататься за что угодно, лишь бы прожить, и вот они становились доносчиками, чтобы получить вознаграждение! Одна беда повлекла за собой другую: начался террор, а виновниками этого страшного террора были люди, вроде Лафайета и Дюмурье, все те, кто в свое время сдавал наши крепости, пытался поднять армию против народа, подбивал крестьян уничтожить республику. Тяжкие болезни требуют сильных лекарств — тут нечему удивляться.

Вырвавшись из когтей комиссара, я пошел обратно по старой темной улице и наконец набрел на трактир, где оборванцы и бедняки вроде меня могли за несколько монет получить на ночь пристанище. Это было как раз то, что я искал, ибо в такой поношенной, порванной, залатанной форме, в старой треуголке и со старым ранцем меня вряд ли пустили бы в другое место. Итак, я вошел в смрадный зал; старуха, хозяйничавшая за стойкой, вокруг которой пили, курили, играли в карты санкиюты, сразу поняла, что мне нужно. Она провела меня наверх по лестнице, где перила были заменены веревкой, потребовала с меня плату вперед, и я растянулся на соломенном тюфяке, но ненадолго — вскоре клопы, блохи и прочие насекомые прогнали меня оттуда. Тогда я растянулся на полу, подложив под голову ранец, — совсем как в поле, и, несмотря на отвратительные запахи и пьяные крики, доносившиеся снизу, несмотря на шум, производимый

проходившими по улице патрулями, несмотря на духоту, царившую в этой камерке, под самой крышей, и отборную ругань постояльцев, спотыкавшихся на лестнице, — проспал до утра.

Правда, раза два или три я просыпался от сознания, что Дантон, Камилл Демулен, Вестерман — лучшие патриоты — убиты и их отрубленные головы вместе с обезглавленными телами лежат грудой в лужах крови. Сердце у меня сжималось; я благословлял небо, что Шовеля послали с поручением в армию, и снова засыпал от усталости.

Утром я довольно рано спустился вниз. Я мог бы сразу уйти, ибо за постой у меня было заплачено, но лучше было остаться, потому что здесь, наверно, и поесть можно было недорого. Я сел за столик и спокойно позавтракал в одиночестве — съел кусок хлеба с сыром и выпил полбутылки вина. Обошлось мне это в два ливра десять су ассигнатами. У меня оставалось еще семьдесят пять ливров.

Прежде чем перинуться в родные края, мне непременно хотелось побывать в Национальном конвенте. Никаких вестей не доходило до нас эти три месяца, что мы провели в Вандее, скитаясь по болотам и лесным чащам; почти все парижские федераты погибли, а только они и интересовались битвами в Конвенте, якобинцами и кордельерами. Остальные же ни о чем, кроме службы, не думали. Смерть Дантона, Камилла Демулена и многих других патриотов, которые первыми поддержали республику, представлялась мне страшным бедствием: значит, роялисты одержали все-таки верх! Вот какие мысли теснились у меня в голове. В восемь часов я расплатился со старухой, оставил у нее свой ранец, и, предупредив, что найду за ним, отправился в путь.

Все, о чем писала мне Маргарита, рассказывая про Париж, — крики торговцев, вереницы голодных у дверей пекарей, ссоры на рынке из-за припасов, привезенных крестьянам, — все это я теперь сам увидел, только положение стало еще хуже. На улицах звучали новые песни; газетчики выкрикивали заголовки статей, требовавших казни тех, кто нарушил законы морали.

Помнится, сначала пересек я большой двор, обсаженный старыми деревьями, это был раньше дворец герцога Орлеанского, — там сидело много народу, они шли,



читали газеты, смеялись и раскланивались друг с другом, точно ничего не произошло. Немного дальше я увидел пьеску над верандой, которая гласила: «Кабинет для чтения», и вспомнил читальню, которую устроил у нас Шовель для удобства патриотов. Я решительно вошел и сел — никто из находившихся там даже головы в мою сторону не повернул. За два су я прочел целиком подшивку «Монитера» и другие газеты, где писали о процессе дантонистов.

Комитет общественного спасения арестовал дантонистов якобы за то, что они устроили заговор против французского народа, хотели восстановить монархию, уничтожить народное представительство и республиканский строй. Им не дали выступить в свою защиту, отказались вызвать свидетелей, которых они назвали, а когда они возмутились таким беззаконием, Дантон обратился с речью к народу, и народ стал возмущаться вместе с ним, Сен-Жюст и представитель Комитета общественного спасения в Революционном трибунале Бийо-Варенн кинулись в Конвент и заявили, что обвиняемые подняли бунт, оскорбляют правосудие и что, если этот мятеж распространится за стены трибунала, все погибнет.

Но эти визкие люди ни слова не сказали о справедливых требованиях Дантона, об его просьбе вызвать свидетелей, выслушать которых повелевал закон!

Сен-Жюст заявил, что только декрет Конвента способен пресечь мятеж. И этот великий Национальный конвент, который стойко держался против всей Европы, но трепетал перед Комитетом общественного спасения, где хозяйничали Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон, этот самый Конвент принял декрет о том, что председатель Революционного трибунала обязан любыми средствами заставить обвиняемых уважать общественное спокойствие и даже, если потребуется, объявить их вне закона.

Только этого Робеспьеру и надо было.

На другой же день, не выслушав ни свидетелей, ни общественного обвинителя, ни защитников, ни председателя трибунала, убийцы-присяжные решили, что они знают достаточно. Они объявили, что Дантон и его друзья виновны в намерении испровергнуть республику, и судьи приговорили их к смертной казни.

Мне лет пужды напоминать вам о том, что сказали Дантон, Камилл Демулен и остальные дантонисты, —

слова их можно прочесть во всех книгах, которые повествуют о республике. Дантон сказал: «Имя мое войдет в пантеон Истории!» И он оказался прав: имя его начертано на самом верху, а под ним стоят имена его убийц, — Дантон как бы придавил их своей тяжестью! Это был самый первый, самый сильный и самый великий из служителей революции \*. Он обладал добрым сердцем и здравым рассудком, а враги его этим не обладали. Они погубили республику, — он же ее спас. И до тех пор, пока в стране нашей не переведутся честные люди, у Камилла Демуллена будут друзья, которые будут оплакивать его участь, а до тех пор, пока не переведутся люди храбрые, они будут с уважением вспоминать имя Вестермава. Но я говорю сейчас то, что все и так знают, — лучше не горячиться и спокойно продолжать рассказ.

Прочитал я все это с огромным волнением, — газетные строки расплывались перед глазами, — потом направился в Конвент. Первый же встречный, к которому я обратился, указал мне дорогу:

— Это вон там.

Насколько я помню, это было большое здание с лестницей под сводами, находившее в сад; свет в него проникал сверху. Вход туда никому не был заказан, но чтоб получить место на балконе, украшенном трехцветными знаменами и рисованными венками, надо было прийти пораньше. Я сразу нашел себе место в первом ряду. Сидели там как в церкви, на хорах, облокотившись на балюстраду. Визу полукругом шли скамьи, одна над другой, почти до самой стены, а напротив помещалась трибуна. На нее поднимались по боковым лесенкам. Все было дубовое, добротное. Депутаты сходились один за другим и рассаживались по скамьям — одни налево, другие направо, наверху, внизу, посередине, на все это ушел добрый час. Наив балкон тоже заполнился простолюдниками в красных колпаках, с небольшими кокардами; у некоторых в руках были пикеты. Все разговаривали друг с другом, и под сводами стоял гул голосов.

При появлении каждого нового депутата люди вокруг меня восклицали:

— А, это такой-то!

— Вон тот толстяк — это Лежаандр.

— А вон тот, которого служители несут в кресле, — это Кутон.

— А вон Вийо, Робер Линде, Грегуар, Баррер, Сеп-Жюст.

И так далее.

Когда назвали имя Сеп-Жюста, я наклонился, чтобы получше его разглядеть. Это оказался невысокий блондин, отменно красивый и очень хорошо одетый, по сухой и надменный. Тут мне вспомнилось все, что он сделал, и захотелось поговорить с ним где-нибудь с глазу на глаз.

Людей этих называли «добродетельными», но мы, думается, были не менее добродетельными, когда сражались в окопах и редутах под Майнцем, в грязи вандейских болот — голодные, разутые, раздетые. Глухой, видно, все-таки у нас народ, коли он награждает такими прекрасными прозвищами таких надменных господ и преклоняется перед ними, точно это не люди, а какие-то сверхъестественные существа. Все это преклонение идет от рабской закваски, и называть «добродетельными» подобных мерзавцев, которые жертвуют лучшими гражданами в угоду своему тщеславию и деспотизму, — это уж слишком!

Тут появился Робеспьер, и со всех сторон на балконе зашептали:

— Вот он!.. Вот он — добродетельный Робеспьер... Вот он — Неподкупный... — И так далее, и так далее.

Я во все глаза смотрел на него. Он пересек большой зал и поднялся по лесенке напротив, в зеленых очках, со свитком под мышкой. Почти все другие депутаты были в строгом черном платье, он же среди них выглядел этаким щеголем — тщательно причесанный, завитой, в белом галетуке, белом жилете, с жако и вышущенными манжетами. Сразу видно было, что человек этот очень печется о своей внешности и, точно юная девица, смотрится в зеркало. Меня это поразило. Но вот он повернулся к нам лицом, сел, развернул бумаги и словно бы весь погрузился в них, а на самом деле принялся разглядывать сквозь очки зал, так и шныряя взглядом по сторонам. Смотрел я на него, и в голову мне пришла мысль, что очень он похож на лисицу, это хитрое и чистоплотное животное, которое вечно чистится и вылизывает себя с ног до головы. И я подумал.

«Будь ты тысячу раз праведником, я тебя никогда не поверю».

Но успел он сесть, как председатель — Тальен \*, круглолицый, красивый молодой человек, возгласил:

— Граждане представители! Объявляю заседание открытым!



Сейчас я отчетливо помню, какие они все были бледные. Они громко говорили, кричали, произносили высокопарные слова, но, как только умолкали, уголки рта у них опускались и лица становились печальными. Наверно, каждый думал о том, что произошло накануне, а еще больше о том, что может произойти завтра.

Тут случилось нечто такое, что привело их всех в бешенство. В самом начале заседания явился проситель — мясник или, может, торговец скотом, плотный коренастый человек; служители подвели его к самым скамьям, и он во всеуслышанье объявил, что жертвует полторы тысячи ливров на то, чтобы содержать в порядке и смазывать гильотину. Он хотел еще что-то добавить, но ему не дали слова вымолвить. Со всех сторон раздались крики:



— Очистить зал! Очистить зал!

И служители вывели его.

Во время этой сцены Робеспьер что-то писал и делал вид, будто ничего не слышит, но, когда проситель уже направился к выходу, он крикнул:

— Пусть Наблюдательный комитет проследит за этим человеком. Надо еще выяснить, чем вызван его поступок.

Больше он до самого вечера ни слова не вымолвил. Голос у него был звонкий — его хорошо было слышно, несмотря на шум и гул голосов, стоявший в зале.

Затем вошло человек двадцать юношей лет пятнадцати — шестнадцати, в форменной одежде. Это были ученики музыкальной школы. Они без всякого стеснения подошли к трибуне, и тот, что был постарше, прочел петицию, в которой они требовали, чтобы их учителей схватили, передали суду и гильотинировали, и, если Конвент не признает за ними права делать после уроков все, что они хотят, они уйдут из школы.

Требования этих дрянных мальчишек вызвали новый взрыв негодования. Тальен, который был председателем, заявил, что они недостойны называться учениками, ибо по своей ограниченности не способны понять, в чем состоят обязанности республиканца, а потом велел им выйти.

Происшествие это вызвало спор между двумя депутатами: один требовал занести в протокол дерзкие слова озорников, другой же утверждал, что они еще не граждане, а дети, что они не в состоянии сами написать такую петицию и потому надо найти настоящих виновников скандала.

Его предложение и приняли.

Затем зачитали предложения Комитета по финансам и Военного комитета. По этим предложениям Конвент принял два декрета: один устанавливал плату за провоз по Сене и Роане во изменение почтовых тарифов 1790 года; другой предписывал пополнить и свести в полубригады батальоны орлеанцев из Северной и Арденнской армий и считать их ранее сформированными.

Все это меня живо интересовало: я видел, как принимаются наши законы, и должен был признать, что тут все в полном порядке.

В тот день были приняты законы: о возвращении сумм, полученных за службу при дворе Людовика XVI, ибо до

1789 года все должности при дворе продавались и покупались, и теперь республика, уничтожив эти должности, решила вернуть уплаченные за них деньги. Это было только справедливо.

Тем же декретом бывшим дворцовым слугам, которые по старости уже не могли жить своим трудом, назначались вспомоществования и пенсии. Словом, республика показала себя более справедливой и честной, чем другие правления.

Когда же выступил гражданин Кутон и стал говорить от имени Комитета общественного спасения, — тут я стал слушать с особым вниманием. В пудреном парике, увешанный золотыми побрякушками, он походил на старую женщину. Выступал он со своего места: он был калека и не мог подняться по лестнице на трибуну. А сказал он вот что, — и в ту пору страшного террора было над чем призадуматься. Он сказал, что накануне Конвент отклонил декрет, согласно которому каждый член Конвента обязан сообщить, чем он занимался до революции, есть ли у него состояние и откуда оно взялось. Я подумал, что, наверно, многим было бы затруднительно дать сегодня такой отчет. Так вот, сказал Кутон, этот декрет передали Комитету общественного спасения для уточнения, и Комитет сразу приступил к делу, но, решив, что декрет должен явиться лишь началом разных мер, которые надлежит принять в борьбе за чистоту общественных прав, пока никаких изменений в него не внес; сделано это будет позже. Кроме того, Комитет представит доклад о влиянии революционного правления на общественные нравы и еще доклад о конечной цели войны против евронейских деспотов; и потом еще доклад об обязанностях народных представителей, направленных с поручением в армию или в департаменты, чтобы легче поддерживать с ними связь, и, наконец, доклад или проект о проведении раз в десять лет праздника в честь верховного существа.

Зал восторженно слушал его, а Робеспьер, который все время что-то писал, то и дело наклонял голову, как бы говоря:

«Правильно!.. Очень правильно!»

После этой речи стали читать перечень трофеев, захваченных вашими судами у голландцев и англичан, и чтение это продолжалось до восьми часов вечера.

Бедняга Лежаандр, единственный человек, который осмелился выступить перед Конвентом в защиту своего друга Дантона, видя, что чистка еще далеко не окончена, выразил свое удовлетворение по поводу того, что Генеральный совет коммуны Гавр-Марат прислал Конвенту несколько адресов с благодарностью за энергичные меры, принятые против заговорщиков. Об этом никто почему-то не говорил, но он считал своим долгом поздравить Конвент с теми высокими чувствами, которые вызывает его деятельность. Он неоскопа поглядывал на Робеспьера, но этот великий праведник сидел, согнувшись над своими бумагами, и, казалось, не слышал его, — во всяком случае, ни разу за все время не кивнул в знак согласия головой. Бедняга Лежаандр! Наверно, он провел потом прескверную ночь.

После этого заседание было закрыто. Люди, сидевшие на балконах, стали спускаться по лестницам, депутаты выходили в широкие двери внизу, а я шел следом за толпой и раздумывал обо всем, что видел.

Какое все-таки счастье, что я возвращаюсь домой, и до чего же мне надоели все эти необыкновенные праведники, которые все хотят держать в своих руках — и депутаты, и генералов, и солдат, и комитеты, и клубы! Они хотят все за вас решать, во всем навести свой порядок и без жалости отправляют на гильотину мужественных людей, которые просят лишь немного милосердия и свободы. Я прекрасно понимал, к чему должны привести такие меры! Теперь Робеспьер стал хозяином, но долго ли это протянется — кто знает, ибо нож гильотины может блеснуть над любим.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

На другой день, 7 апреля 1794 года, я вышел из Нарвика — хватит, посмотрелся.

Когда перед одним человеком трепещут все и вся; когда достаточно упоминания в его докладе, чтобы на тебя **смотрели** как на преступника; когда наличие доказательств, свидетелей, защитников считается пустой формальностью; когда судей и присяжных нарочно подби-



рают так, чтобы они отпавляли на гильотину тех, кто ему не угоден, — когда дело так обстоит, чего же тут еще рассуждать!

Уходил я из города глубоко опечаленный и совсем больной, весь покрытый пылью, ибо стояла сушь и жара.

По дороге мне то и дело попадались сторожевые посты: останавливали путника, требовали бумаги, делали на них отметки. Робеспьер доверял одной только полиции: почти все судьи в дистриктах, чиновники, депутаты Конвента, направленные в армию или в департаменты, мэры, даже полевые сторожа — все состояли в полиции. Таким образом возникло целое племя сыщиков, которое получало жалованье и жило за счет крестьян, рабочих и всех простых тружеников\*. Можете себе представить, как эти придирки, возобновлявшиеся при въезде в каждый городишко, возмущали путешественников.

На восьмой или девятой день, к вечеру, миновав Шалон, я плелся по дороге в Витри-ле-Франсе, — пот крупными каплями струился у меня по лбу.

«Неужто человек должен столько выстрадать на этом свете, прежде чем он найдет на кладбище вечный покой? — воскликнул я про себя. — Неужто одна порода мерзавцев будет сменять другую, шировать и развезжать, как князья, в каретах, а честные люди должны погибать от непосильного труда и нищеты?»

Присел я на кучу камней у дороги и стал глядеть вдаль, — туда, где у самого горизонта виднелась деревенька; солнце закатывалось, мне хотелось есть и пить, а я не был уверен, хватит ли у меня сил добраться до жилья. Сидел я так в полном унынии, как вдруг на дороге раздался стук колес, я повернул голову и увидел деревенскую тележку, сшитенную наподобие корзины из ивовых прутьев и рысью приближавшуюся ко мне. Правил ею старик в широкополой соломенной шляпе и серой сукопной куртке. По мере того как тележка приближалась, я заметил, что у возницы доброе лицо, большие светло-голубые глаза, добрый рот, а из волосяного кошеля торчит парик с косицей. Он тоже смотрел на меня и первый крикнул:

— Эй, гражданин, ты, видно, устал! Подсаживайся ко мне — хоть отдохнешь немного.

Очень меня это удивило и растрогало.

— Я сам собирался просить тебя, гражданин, об этой услуге, — сказал я, вставая, а он тем временем остановил лошадь и протянул мне руку. — Я совсем из сил выбился!

— Это заметно, — сказал он. — Издалека идешь?

— Из Вальден. Заболел я и списан из армии. А идти мне тяжело — я кровью харкаю. Только думаю о том, как бы мне добраться до родных краев и умереть спокойно.

Тележка тронулась в путь, а он посмотрел на меня и сказал так ласково:

— Ну, ну, молодой человек, и не стыдно тебе! Зачем же пос-то вешать? Пока молод, никогда не надо отчаиваться. Послушай, что я тебе скажу: отдохнешь, подкормишься, попьешь хорошего вина — и все наладится. Уж поверь мне! А ну, пошла, Серая!

Я молчал. Немного спустя он спросил меня:

— А через Париж ты проходил, гражданин?

— Да, — сказал я, — и это меня совсем доконало. Я видел там такое, что сердце кровью обливается. Никак в себя прийти не могу.

— А что же ты там видел? — спросил он, посмотрев на меня.

— Я видел, как лучших патриотов везли на гильотину — Даптона, Камилла Демулена, нашего генерала Вестермана и много других хороших людей, которые спасли нас. Если бы я не был такой больной и кому-то была бы выгода послать меня на казнь, я бы так не говорил, но пусть меня схватят — мне все равно: долго этим мерзавцам держать меня не придется. Ведь до чего же мерзкий сброд!

От гнева и усталости у меня пошла кровь горлом. Я подумал: «Пропал я!.. Ну и пусть!.. Если старик — робеспьерист, пускай доносит!»

А он, видя мои страдания, умолк, побледнел, и глаза его как-будто наполнились слезами, но он посоветовал мне не очень-то распалиться. Тогда я рассказал ему, что я видел, — рассказал, как толпы так называемых санкюлотов бежали за повозками с криками: «Долой предателей!» — и все остальное.

Мы подъезжали к деревне. Бедная это была деревушка: дома точно вросли в землю, придавленные тяжелыми черепичными крышами, сараи развалились, повсюду разбросан навоз. Однако один дом был лучше остальных —

добротю построенный, с садиками по бокам. Перед ним-то и остановилась наша тележка.

Я слез и, поблагодарив доброго человека, потянулся за своим ранцем.

— Куда же ты? — сказал он мне. — Оставайся здесь, гражданин. У нас в деревне нет постоянных дворов.

Тут из дома вышла высокая худая женщина, в старомодной соломенной шляпе, похожей на рог изобилия. Старик крикнул ей еще с тележки:

— Принимай гостя! Этот молодой человек останется сегодня у нас. Он славный малый, мы разольем с ним бутылочку и закусим, как говорится, чем бог послал!

Я стал было отказываться, но он взял меня за плечо и тихонько подтолкнул к двери.

— Полно, полно! Чего там: это дело решенное. Сделай мне удовольствие, да и не только мне, а моей жене, дочке, сестре. Луриета, возьми-ка у гражданина ранец да приготовь ему хорошую постель. А я только распрягу, поставлю лошадей в стойло и сейчас приду.

Делать нечего: пришлось ему уступить. Но, по правде сказать, я не очень протипился. Дом, по-моему, был одним из лучших в округе, а большая зала внизу, с круглым столом посередине, крытым соломенной плетенькой вместо скатерти — и на ней тарелки, кружки, бутылка вина — напомнила мне доброе старое время, когда мы ходили в «Три голубя».

Хозяйка окинула меня удивленным взглядом и провела в заднюю комнатку, окнами выходящую во фруктовый сад.

— Располагайтесь, как дома, сударь, — сказала она.

Давно уже я не слышал, чтобы люди вежливо говорили друг с другом, и меня это даже как-то удивило. Хозяйка вышла. Я вытащил из своего потрепанного ранца что было попривличнее, умылся с мылом в большом тазу, переобулся бабшаки, — словом, сделал все, что мог, и вскоре вернулся в залу. На столе уже стояла супница. Кроме хозяев, там была еще какая-то женщина и девушка лет шестнадцати — семнадцати, очень хорошенькая, которая беседовала с хозяином.

— Садись же, — сказал мне хозяин, — а я только схожу зачу ставни.

Ясел вместе с женщинами. Вскоре он вернулся и мне первому налил большую тарелку овощного супа — такого

я уже два года не пробовал. Затем нам подали по хорошему куску жареной телятины, на столе появился салат и корзиночка с орехами. Ко всему этому вдоволь было хлеба и превосходного вина. Должно быть, семья эта была самая богатая в округе. Пока мы ели, гражданин Лами — наконец-то я вспомнил, как его звали! Да, конечно, его звали Лами, помню, помню, хоть это и было в девяносто четвертом. А сколько с тех пор воды утекло! — так вот, гражданин Лами рассказал, что я видел и в какое негодование меня это привело. Ужин уже подходил к концу. Вдруг одна из женщин поднялась, расплакалась и, приложив платок к глазам, вышла из комнаты; вскоре следом за ней вышли и две другие. Тогда хозяин сказал мне:

— Гражданин, моя сестра вышла замуж в Арси-сюр-Об, и вернулась она оттуда всего три дня назад. Она очень дружна с семейством Дантонов, мы все знаем эту семью и очень к ней привязаны. Я сам не раз встречался с Жоржем Дантоном. Понятное дело, нас это глубоко трогает.

Он уже не обращался ко мне на «ты», и я заметил, что он еле удерживается от слез.

— Ах, какое несчастье, — вздохнул он, — какое странное несчастье!

И он тоже вышел. Я просидел один добрых четверть часа — на сердце у меня было тяжело. В доме стояла тишина. Потом они вдруг вернулись все вместе — глаза у всех были красные: сразу видно, что они плакали. Хозяин принес бутылку старого вина и, откупоривая ее, сказал:

— Давайте выпьем за здоровье республики!. И за гибель предателей!..

Он налил вина мне и себе, и мы выпили. Женщины тоже расселись по своим местам, и сестра гражданки Лами, которую звали Мапон, принялась рассказывать: всего какой-нибудь месяц назад Дантон еще жил у своей матери в Арси-сюр-Об. Он любил прогуливаться по большой зале, выходившей на площадь, двери и окна у него всегда были распахнуты, и всякий мог зайти к нему, пожать ему руку, попросить совета. Рабочие, горожане, крестьяне — он принимал всех, первому встречному, без опаски, говорил все, что думает. Часто к нему приезжали друзья — Камилл Демулен с молодой женой; и вот с ними вместе, со своей женой и двумя детьми, иногда со своим тестем и тещей Шарпантье, он отправлялся к своей матери, которая во втором браке была замужем за гражда-

вином Рекорденом, торговцем в Арси-сюр-Об. Это были самые честные и самые уважаемые люди во всей округе.

Из слов этой бедной женщины я понял, что Дантон сам погубил себя излишней доверчивостью: ясное дело, такой человек, как Робеспьер, который весь Комитет общественного спасения превратил в полицию, поощрявшую допросы, занимавипуюся только сыском да раскрытием заговоров — причем эти заговоры частенько придумывал он сам, — ясное дело, такой человек, уж конечно, держал при Дантоне трех, а то и четырех своих соглядатаев, и те передавали ему, что говорил Дантон, чем возмущался, какие угрозы произносил.

В газетах я читал, что Дантон порядком нагрел руки во время своей поездки в Бельгию, и сейчас, конечно, спросил у этой женщины, богат ли был Дантон. Она ответила, что семья Дантонов жила в достатке и до и после революции; так они и продолжали жить — не лучше и не хуже. Я наперед был в этом уверен: слишком умный человек был Шовель и слишком он презирал деньги, чтобы связаться с мошенником.

Вот и все, что я об этом помню. С тех пор я и вовсе уверовал, что Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и вся эта клика бессердечных честолюбцев забросала грязью могилу великого человека \*, что они гнусно клеветали на него, — ведь если б после смерти дантонистов появились доказательства их вины, сыщики, шнырявшие по Франции, разнесли бы об этом весть повсюду. И еще я уверен, что Вестерман в их глазах провинился лишь тем, что Дантон признал его военные заслуги, когда тот служил в Северной армии, и, сделав простого полкового командира генералом, послал командовать армией в Вандее. Вестерман, шедший в первых рядах на штурм Тюильрийского дворца 10 августа, мог поднять народ на защиту справедливости и отомстить за своих друзей. Поэтому прощя всего было избавиться от этого истинного патриота, несмотря на все его заслуги, что эти «справедники» и сделали.

В общем, я сказал вам, что я обо всем этом думаю.

Добрые люди, у которых я остановился, отпустили меня только после полудня, на другой день. Я позавтракал у них и пообедал, а потом хозяин запряг свою лошадку и сам отвез меня на тележке в Витри-ле-Франсе. Никогда не встречал я таких людей — потому я и помню его и детям своим наказал его помнить. Звали его Ламп —

Жан-Пьер Лами. Это был истинный патриот. А как он ободрял меня: все говорил, что рано мне еще думать о смерти, что я, конечно, поправлюсь. Говорил он это так просто и убежденно, что я поверил ему. И денег он с меня не взял ни единого су — больше того: у въезда в Витри-ле-Франсе мы распили с ним вместе бутылку вина, и он заплатил за нее из своего кармана. Потом он расцеловался со мной, как со старым приятелем, и пожелал мне счастливого пути.

Итак, приободрившись, я двинулся в путь и, следуя совету гражданина Лами, взял себе за правило выпивать за обедом по кружке доброго вина, пусть даже и дорогого. И, конечно, всякий раз я заглядывал к себе в кошелек, ибо при том состоянии, в каком я находился, добираться мне предстояло еще дней восемь, а то и десять. И больше не думал о смерти, а думал о Маргарите, об отце, о дядюшке Жане и все твердил про себя:

«Мужайся, Мишель, они ведь ждут тебя!»

Перед моими глазами вставали родные края, я слышал возгласы друзей:

— Вот он!.. Да это же он!..

И силы возвращались ко мне, я забывал про палку, распрямляя спину и шире шагал. Меня уже не огорчал вид разоренного края, жалобы крестьян на «мабенмум», объявлявшие о твердых ценах в каждом дистрикте, принудительное изъятие зерна, ссоры у дверей лавчонок, появление комиссаров, занятых сбором провианта, и национальных жандармов, встречавшихся буквально в каждом селении, бесконечные требования предъявить документы, допросы, которые утиняли постояльцу в каждой гостинице, прежде чем дать постель, — словом, тысячи мелочей, затруднявших путь.

Случалось, по дороге мне попадалась крестьянская тележка, и меня подвозили за два-три су. После Витри-ле-Франсе местечки и деревни следовали друг за другом сплошной чередой: Бар-ле-Дюк, Коммерси, Туль, Нанси, Люневиль... Но больше всего взволновали меня горы, древние спящие горы, которые все так же будут стоять еще много веков после нас, на них будут смотреть наши дети и наши внуки, когда нас и в помине не будет, и так же, как мы, они поклонятся им, возвращаясь из чужих краев. То были вершины Дагсберга, где с тех пор выстроили белую часовенку, а подалее — Шнееберг, белевший снеж-

ной шанкой над лесами. Вот я и добрал до родных мест. Погода стояла прекрасная.

В тот день в четыре часа утра я вышел из Саарбурга и часов около девяти уже спускался к Миттельбруну; внизу в долине я увидел знакомые деревни — Красные Дома, Верхние Лачуги, Лачуги-у-Дубняка — и лишню городских укреплений, а минут через двадцать я уже входил в город через Французские ворота. Надо ли описывать нашу встречу, наши объятия и нашу радость! Но, увидев, какой я слабый, Маргарита заплакала, а ведь я в таком состоянии пересек всю Францию, чтобы встретиться с ней; Этьен же и старик отец, который тоже оказался тут, ибо день был базарный и он принес в город корзины на продажу, — оба разгоревались при виде меня. До сих пор не могу без волнения вспомнить об этом.

Не успел я расположиться в нашей читальне, как почувствовал необоримую слабость: я ведь столько выстрадал за время пути и столько усилий мне этот путь стоил. Я обнял отца, и вдруг кровь хлынула у меня горлом, и впервые после боя у Пор-Сен-Пэр я потерял сознание. Все уже считали меня покойником. Очнулся я к вечеру на кровати Шовеля, и до того я был слаб, что едва мог дышать. Маргарита, склонившись надо мной, плакала горячими слезами. Я притянул ее к себе, поцеловал в лоб и спросил:

— Я правильно сделал, что так спешил, чтобы увидеть тебя еще раз?

Отец — тот до того расстроился, что не мог подле меня сидеть, хотя доктор Штейнбрэннер — тогда еще совсем молодой человек, но уже достаточно знающий, — сказал, что жизнь моя вне опасности, мне нужен только отдых и покой. И он строго-настрого наказал никого ко мне не пускать, чтобы не приставали с расспросами.

В ту пору я особенно сильно почувствовал, как горячо любила меня Маргарита, и понял, какое счастье выпало на мою долю. Никогда ни за кем так не ухаживали, как за мной: Маргарита днем и ночью не клаясь обо мне и даже все дела забросила.

Я медленно поправлялся. К концу третьей недели Штейнбрэннер объявил, что я спасен, но не раз за это время он боялся, что я с минуты на минуту могу отойти в мир иной. Что тут скажешь? Больших обманывают ради их же блага, и я нахожу это правильным: три четверти

из них потеряли бы всякое мужество, если б знали о своем состоянии. Словом, опасность для меня миновала, и только тут Штейнбреннер разрешил дать мне немного поесть. Каждое утро являлась Николь из «Трех голубей» с корзиной провизии и справлялась о моем здоровье, — ее присылал дядюшка Жан. В тот год, — а было это в 94-ом, — фунт сахара стоил тридцать два су и один денье, а мяса ни за какие деньги пельзю было достать. Да, добрый дядюшка Жан, вы относились ко мне, как к родному сыну; какая бы беда ни приключилась со мной, вы всегда протягивали мне руку, — вы были сама честность, сама доброта. Как редко все же встречаются такие люди и какой глубокий след оставляют они в памяти тех, кто их знал! Так вот: Николь исправно посещала нашу кухню, и таким образом я ни в чем не нуждаюсь. Маргарита улыбалась, глядя, как я улетаю за обе щеки. Наведывался ко мне и сам дядюшка Жан, и другие патриоты — Элоф Коллен, Летюмье, Рафаэль Манк — заходили позвать мне руку.

Когда выздоравливаешь от тяжелой болезни, вот тут-то и ощущаешь по-настоящему радость бытия и все видишь в розовом свете. Я, к примеру, умилялся по каждому поводу и то и дело плакал как ребенок. Простой дневной свет, проникавший сквозь оконные занавески, казался мне донельзя пленительным. А Маргарита и вовсе представлялась красавицей — черные локоны, бледное личико и такие белые зубки! О господи, как вечною, так будто слова мне двадцать лет!

Через месяц силы вернулись ко мне. Я без труда мог бы добраться до наших Лачуг, но свидание с моей матушкой не слишком прельщало меня — я заранее знал, как она меня примет. Весь городок уже говорил о том, что я женись на Маргарите, и мать отчаянно есорилась с отцом по этому поводу.

— Не желаю я иметь в доме еретичку! — кричала она.

— А я желаю! — отвечал ей возмущенный отец. — По закону требуется только мое согласие, а я согласен и даю свое благословение. Можешь кричать и скандалить, сколько душе угодно, — хозяин тут я!

Обо всем этом я узнал только много времени спустя — мой добряк отец все от нас скрыл.

Я же теперь расскажу вам о нашей свадьбе: я уверен, что это доставит нам куда больше удовольствия, чем осада



Майнца или разгром под Коропом, ибо куда приятнее видеть людей счастливыми, чем несчастными.

Итак, да будет вам известно, что к началу июня я встал на ноги, вполне оправившийся после болезни, обутый и одетый Маргаритой, ибо не скрою: у меня не было ни су за душой, и я даже горжусь этим. Она могла сказать: «Мишель весь мой — от ленточки в косе до кончика башмаков». Вот тут-то мы с Маргаритой и написали дядюшке Шовелю в Альпийскую армию, рассказали, как обстоят дела, и попросили его согласия на женитьбу. Он тотчас ответил, что согласен; жаль только, что самого его не будет в Цфальцбурге, но он поручает своему другу Жану Леру быть посаженным отцом у нас на свадьбе.

Он назвал и других людей, которых считал нужным, чтобы мы пригласили: такой уж он был человек, что даже посреди самых важных дел ничего не упускал из виду и проявлял заботу о людях, находившихся вдали от него. Свадьба наша была назначена на 3 мессидора II года Республики, или, если вам так больше нравится, на 21 июня 1794 года. Голод в ту пору был невообразимый. Все знают, что и в обычные-то времена июнь — месяц тяжелый, ведь урожаи собирают только в июле, а то и в августе. Ну, а можете себе представить, что творилось тогда, после 93-го года: все уже давно было съедено, а урожаи еще не подоспел. Рынки пустовали; бедняки, как до революции, косили молодую крапиву и варили ее, приправив солью\*.

Господи, ну, что еще могу я вам сказать? Хотя времена были тяжелые, немцы опустошили всю страну и жизнь стоила очень дорого, хотя то и дело вывешивали списки бывших членов Учредительного собрания, бывших председателей, судей и откупщиков — пособников Луи Капета, Лафайета и Дюмурье, которых ждала гильотина, — все же свадьба получилась веселая. Пировали мы до девяти часов вечера — уже трубили отбой, когда друзья наши стали расходиться, они хохотали, пели, желали друг другу спокойной ночи, будто и не было никакого террора. Мой отец, дядюшка Жан и тетюшка Катрина отправились к себе в Лачурп-у-Дубняка; Этьен запер лавку и пошел наверх спать, и мы с Маргаритой остались вдвоем, самые счастливые люди на свете.

Так прошла наша свадьба, и, конечно, это был самый светлый день в моей жизни.

Дядюшка Жан сообщил мне, что работы в деревне хоть отбавляй и что я могу снова взяться за молот, как только захочу. А потом он намеренул, что намерен передать мне свою кузницу, так как сам хочет заняться земледелием на ферме в Пикхольце.

Так что теперь я мог не тревожиться о будущем: я знал, что в любой день заработаю свои три ливра. Дело, однако, обернулось иначе. На другое утро сидели мы за завтраком — Этьен, Маргарита и я — в нашей читальне, попили вина и лакомлись оставшимся от пиришества салом и орехами; с того места, где мы сидели, нам хорошо видна была внутренность лавочки и витрина, выходявшая на улицу Капуцинов, где висели три наших альманаха, справа лежала стопка газет, а слева стоял большущий флакон с чернилами. Мы были счастливы оттого, что впервые собрались всей семьей. И вот тут, думая их обрадовать, я и рассказала им о том, что пообещал мне мой крестный. Маргарита, в утренней белой блузке, спокойно выслушала меня, а когда я кончил, вдруг произнесла своим звонким голосом:

— Все это прекрасно, Мишель. Пусть дядюшка Жан расстанется со своей кузницей и отправляется к себе на ферму в Пикхольц, — нам-то что. Мы должны думать о своих делах.

— Милая моя Маргарита, — возразил я ей, — что же мне здесь делать — сидеть сложа руки? Не достаточно ли того, что ты одела меня с ног до головы, или ты хочешь еще и кормить меня?

— Нет, нет, я вовсе этого не хочу, — сказала она. — Этьен, по-моему, там дверь звякнула: пойдн взгляни, что им нужно, а мне надо поговорить с твоим братом.

Этьен вышел, и Маргарита, сидя рядом со мной, возле конторки своего отца, принялась рассказывать, что ей хочется расширить дело и торговать колоннальными товарами — перцем, солью, кофе и тому подобным. Все это мы будем покупать из первых рук — у Симоны в Страсбурге, и привозить нам такая торговля будет куда больше, чем книги и газеты, ибо люди сначала думают об еде, а потом уж о просвещении.

— Конечно, — сказал я, — это прекрасная мысль, только нужны деньги.

— Немного у нас есть, — пояснила она, — я сэкономила и сумела отложить четыреста пятьдесят ливров, но это

далеко не все: имя Шовеля известно по всему Эльзасу и Лотарингии, везде его уважают, и мы при желании сможем брать товары в кредит — сколько угодно.

Услышал я про кредит, и волосы у меня встали дыбом. Вспомнился мне старый ростовщик Робен — как стучал он к нам в окно и как бедный наш отец отправлялся на барщину, а мать плакала и кричала: «Ах, эта проклятая коза! Проклятая коза!.. Она всех нас погубит!» Мороз пробежал у меня по коже, и я, по-настоящему, рассказал про все это Маргарите. Тогда она принялась объяснять, что тут совсем другое дело, что мы ведь будем покупать для перепродажи и что у нас будет пятьдесят дней, а то и целых три месяца рассрочки. Но это никак не укладывалось у меня в голове: одно слово «кредит» приводило меня в ужас. Она это поняла и наконец сказала мне с улыбкой:

— Ладно, ладно, Мишель: не хочешь брать в кредит — не будем. Но мы же можем купить товаров на те деньги, которые у меня есть?

— Ну, это другое дело. Пожалуйста, покупай, когда вздумаешь, Маргарита.

— В таком случае, — заявила она, — едем сейчас же: деньги у меня готовы. Торговля газетами у нас совсем захирела: нужда кругом страшная, и у людей нет ни ларца нищего, чтобы платить за газеты. Так что не будем терять время.

Она была такая живая, решительная. Я же, получив от нее завершение, что мы ничего не будем брать в долг, успокоился и с удовольствием думал о предстоящей поездке с Маргаритой в Страсбург. Надо было немедленно позаботиться о местах в почтовой карете Батиста — он отправлялся в путь ровно в полдень. Кошель с деньгами лежал у меня во внутреннем кармане куртки, застегнутой на все пуговицы. Мы сидели на задней скамейке, зажатые между эльзасцами, возвращавшимися домой. Стоял июль, и пыль была ужасная, тем более что дороги содержались плохо, колеи были в фут глубиной, и пыль покрывала не только обочины, но и поля у дороги. Дышать было нечем. Вот каким запомнилось мне наше путешествие. И все же мы с Маргаритой переглядывались и чувствовали себя самыми счастливыми на свете. У подъема на Васселон карета остановилась. Эльзасцы, слава богу, наконец слезли, а к ночи и мы с Маргаритой прибыли на место. Маргарита хорошо знала Страсбург: она отвела меня в гостиницу «Глубокий

погреб», которую держал тогда старик Димер. Нам дали комнату. Какое было наслаждение умыться свежей водой после такой дороги! Ничье людям трудно даже представить себе, что такое может быть, — это надо самому испытать.

Помню еще одно: часов около восьми к нам явилась служанка и спросила, где мы будем ужинать — за большим или за маленьким столом. Я хотел было ответить, что за маленьким, думая, что маленький — это, наверно, для прислуги и, значит, ужин обойдется дешевле. К счастью, Маргарита поспешила сказать, что мы будем ужинать за большим столом, и, когда служанка вышла, пояснила мне, что за большим столом мы заплатим всего двадцать пять су — там ужинают возчики, торговцы, крестьяне, — словом, люди, которые не станут дорого платить, а за маленькими столиками едят богачи, в отдельной комнате, и стоит это три ливра. Дрожь пробрала меня при одной мысли о том, что мы могли потратить шесть франков за один присест. Не стану рассказывать вам про ужин — этак мы никогда не кончим. Достаточно будет сказать, что на другой день, часов около семи мы с Маргаритой рука об руку отправились к Симони, а жил он на углу улицы Мучников и старинной площади, где был зеленой рынок, — теперь там поставили памятник Гутенбергу. Симони знал весь Эльзас, да я и сам был слышал об этом богатейшем купце во всей провинции. И потому представлял его себе разряженным в пух и прах — в красивой шляпе, с цепочками и брелоками. Каково же было мое удивление, когда, завернув за угол, я увидел невысокого человека лет тридцати пяти — сорока, в красной куртке, с косицей, завязанной простою лентой, который перекатывал какие-то бочки и устанавливал ящики у входа в лавку. А Маргарита при виде его сказала:

— Вот это и есть господин Симони.

Это переворачивало все мои представления о богатых купцах, и с тех пор я понял, что не по платью судят о человеке, и никогда уже больше на сей счет не ошибался.

Пока мы пробирались среди всех этих ящиков, бочек и мешков, выраставших горами то справа, то слева, по мере того как их стужали с телег, господин Симони опытным глазом признал в нас покупателей и, препоручив все приказчикам, поспешил следом за нами в лавку, которая выходила на две улицы; двери ее были широко распахнуты;

вдоль стены шел прилавок, в глубине виднелась жилин компата, совсем как у нас в Пфальцбурге, только все это было в три или четыре раза больше.

Боже праведный, какое же зрелище открывалось взору начинающего торговца, какое изобилие: горы мешков с разными разпостями, ящики, громоздившиеся до самого потолка, сотни сахарных голов, корзины с изюмом и вишневыми ягодами, выставленные для обозрения, и этот запах бесчисленного множества дорогих товаров! Мысль о том, что этот перец, эта ваниль, этот кофе прибыли со всех концов света, что эта еда привезена на кораблях из дальних стран, вначале не поражает вас: человек, само собой, прежде всего думает о том, как бы заполучить хоть малую толику собранных здесь богатств; по спустя некоторое время, когда дело уже процветает и ты спокойно сидишь с газетой в руках у теплой печки, — вот тогда-то и начинаешь думать о том, сколько тысяч и сотен тысяч человек, белых и черных, всех рас и всех цветов кожи, потрудились ради твоего преуспеяния.

Не стану вас уверять, что эти мысли пришли мне в голову тогда же, в той большой лавке, — нет!.. В ту пору я увидел лишь, что это крупное, очень крупное дело, и как-то весь внутренне съежился.

Маргарита же, наоборот, держалась очень просто — поставила корзинку на край прилавка и в нескольких словах сообщила господину Симоши о том, что мы хотели бы закупать у него товары и открыть бакалейную торговлю в Пфальцбурге, что денег у нас мало, зато есть желание их заработать. Он слушал нас с добродушным видом, заложив руки за спину; я же стоял перед ним весь красный, точно новобранец перед генералом.

— Так вы, значит, будете дочка Шовеля, депутата Шовеля? — спросил Симоши.

— Да, гражданин. А это мой муж. И дело мы откроем под вывеской «Бастьен-Шовель».

Он рассмеялся и крикнул жене, милой, приятной женщине, такой же подвижной и живой, как моя Маргарита:

— Эй, Софи, эти молодые люди хотят открыть свое дело, займись ими, посмотри, что мы можем сделать для них, а я помогу убрать товар: нас ведь уже предупреждали, чтобы мы потерпелись, а то загромоздили весь проезд.

Множество приказчиков и работниц, засучив рукава, хлопотали вокруг товаров, точно рой трудолюбивых пчел.

Молодая женщина подошла к мужу, он сказал ей что-то шепотом, она кивнула нам и, обращаясь к Маргарите, молвила:

— Пройдите сюда, пожалуйста.

Мы вошли в небольшую контору, помещавшуюся справа от магазина, очень простую и даже темноватую. Хозяйка предложила нам присесть и с улыбкой стала слушать Маргариту. Она просмотрела длинный список, который Маргарита заранее приготовила, и рядом с названным каждым товаром проставила цену.

— И это все, что вы хотите? — спросила она.

— Да, — ответила Маргарита, — на большее у нас нет денег.

— Ассортимент, конечно, надо было бы иметь поразнообразнее: у нас ведь будут конкуренты и все прочее...

— Муж хочет покупать только за наличные.

Хозяйка посмотрела на меня секунды две и, должно быть, сразу увидела, что я простой труженник, крестьянин, солдат и не слишком смыслю в делах, потому что рассмеелась и добродушно заметила:

— Все они сначала такие, наши мужчины, а потом, как расхрабрятся, удержку нет. Ничего, думаю, как-нибудь поладим.

Она спросила, как послать нам товар — обычным путем или срочно, и вышла распорядиться. Маргарита сказала — обычным и, к моему великому удовольствию, велела мне заплатить вперед. Я тут же вывалил содержимое моего мешочка на прилавок. Хозяйка ни за что не хотела брать у нас деньги, но когда Маргарита сказала, что я не усну, если за все не будет заплачено, мигом пересчитала положенные мной четыре рубли по сто ливров и выдала нам расписку: «Получено в счет поставки товаров». А затем эта славная женщина — мы потом стали с ней добрыми друзьями и она не раз, положив мне руку на плечо, со смехом говаривала: «Ах, мой милый господин Бастьен, какой же вы были вначале трусишка и каким вы стали храбрым с тех пор, — может, даже слишком храбрым!..» — так вот эта славная женщина проводила нас до дверей и весело с нами распростилась, пообещав до конца недели доставить все товары в Пфальцбург. Она окинула взглядом ящики, которые вносили в магазин, и, весело смеясь, принялась болтать о чем-то с мужем, а мы с Маргаритой направилась к «Глубокому погребу».

В тот же вечер, часов около десяти, мы вернулись в Пфальцбург. Я вдруг уверовал в себя и уже не сомневался, что дело у нас будет прибыльное. Следующие два дня Маргарита объяснила мне, как вести торговые книги: сначала делают черновую записку всего, что за день отпущено покупателям в долг; потом это переписывают в грессбух, где на каждого покупателя заведена своя страница; кроме того, существует книга учета, куда заносятся все поступления, все заказы, сколько и в какие сроки надо платить по векселям, — оплаченные же счета и векселя складывают пачками и хранят отдельно. Вот вам и вся бухгалтерия, если торгуешь в розницу, и была она у нас всегда в полном порядке — никогда никаких придирачек или штрафов.

Но раз уж я заговорил об этом, надо рассказать вам и про то, что я пережил, когда прибыл наш товар. Увидев этот скромный груз, я так и обмер и воскликнул про себя:

«Как, и за это мы заплатили четыреста пятьдесят ливров?! Господи, это же крохи какие-то... Нас обокрали!»

И, глядя на то, как на прилавок выгружали товар — немножко перца, немножко кофе, — я все повторял про себя:

«Плакали наши денешки! Ни за что нам их не вернуть... ни за что!»

Но это было еще не все: следом за товарами появился счет, который чуть не вдвое превышал нашу сумму, ибо нам прислали немало такого, чего мы и не заказывали, как, например, имбирь, мускатный орех, мыло, свечи, так что мы еще оставались должны Симони больше трехсот ливров.

Тут я пришел в страшную ярость и все отослал бы обратно, если бы Маргарита без устали не твердила мне, что мы все прекрасно распродадим и что Симони вовсе не хотят нас разорить, а наоборот: они сделали это, желая оказать нам услугу.

В ближайшие три дня нам пришлось купить еще двое весов и заказать три ряда ящичков для нашей бакалеи, так что мы в придачу оказались должны еще и столяру, и слесарю, и всем вокруг. Если я не облысел за эти первые недели, так только потому, что волосы у меня были сильно густые. И если бы не моя беспредельная вера в Маргариту, если бы не моя любовь к ней и не заверения дядюшки Жака, что в случае чего он поможет нам вылезти из беды, — если бы не это, я бежал бы из дома без оглядки,

ибо у меня из ума не выходил ростовщик, а с ним — позор и разорение. Ночью я не мог глаз сомкнуть! Позже я узнал, что мой бедный отец тоже провел не одну бессонную ночь. Мать заметила, что он тревожится, смекнула, в чем дело, и с утра до вечера все твердила:

— Ну как там они — не разорился еще? Скрыпят потихоньку? Если не сегодня, так завтра разорится!.. Этот паршивец еще опозорит нас на старости лет... Так я и знала... Иначе и быть не могло!..

И все в таком роде.

Бедный мой отец с ума сходил. Он ничего мне про это не говорил, но по его осунувшемуся лицу и встревоженным глазам я видел, как он волнуетея.

Но вот месяца через два я убедился, что и горожане, и окрестные жители, и солдаты, привыкшие покупать у нас газеты, бумагу, чернила, перья, стали заодно брать у нас и табак, и соль, и мыло — все, что им требовалось; убедился я, что и хозяйки узнали дорогу в нашу лавочку и по грошу да по ливру денежки стали возвращаться к нам; а когда мы заплатили по счету Симони и Маргарита показала мне, что мы за день зарабатываем от восьми до десяти ливров, тут я вздохнул с облегчением и не только позволил ей послать в Страсбург заказ на те товары, которые у нас вышли, но и закупить новые, каких у нас до сих пор не было, а покупатели их спрашивали.

Продолжали мы и нашу прежнюю торговлю — газетами, чернилами, бумагой, республиканскими брошюрами, и, хотя лавочка отнимала у нас немало времени, по вечерам, после ужина, подчитав выручку и сложив стопками монеты, мы принимались обсуждать, что творится в стране. Кто-нибудь — Этьен, Маргарита или я — брал «Декаду», или «Народного трибуна», или «Республиканский листок» и читал вслух о том, что делается на свете.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Помните, в ту пору только и речи было, что о Северной кампани, о битвах при Куртрэ, Понт-а-Шине, Флерюсе; Журдан и Шинегрю находились на передовой линии, у наших границ. А в стране Робеспьер забирал все



больше власти. Он издал декрет о поклонении Верховному существу и о том, что народ должен верить в бессмертные души. Говорили, что скоро цаконец наведут во всем порядок; вот покончат с главными преступниками, казни прекратятся, и настанет царство добродетели. Главное: походить во всем на древних римлян. Якобинцы вроде бы приближались к этому идеалу, но не совсем. Многие граждане, которых раньше звали Жозеф, Жан, Клод или Никола, переменяли имя; в новом календаре были сплошные Бруты, Цинциматы, Гракхи \*, но для людей, не широко образованных, это ровным счетом ничего не значило. На патристических празднествах богини появлялись почти лагншом. Очень все это было непристойно и омерзительно.

Ну, где же тут здравый смысл — стремиться походить на тех, про кого большая часть народа даже не слыхала, нас же превращать в древних, полудиких язычников. Но никто не возмущался этими глупостями, ибо допросы сыпались градом, человека хватали, судили и через двое суток гильотинировали. Стоило Робеспьеру выступить в Конвенте — депутаты принимали решение опубликовать его речь, она печаталась, рассылалась по всем клубам и муниципалитетам и выставлялась для всеобщего обозрения, как в наши дни — послание епископа. Ну, совсем так, будто сам господь бог произнес эту речь.

И вот вдруг, в июне или в июле, человек этот замолчал: он перестал появляться в Наблюдательном комитете и Комитете общественного спасения. До сих пор я искренно считал, что он думал, будто без него и не обойтись, что его станут на коленях умолять вернуться, и тогда он продиктует свои условия стране. Я всегда так считал еще и потому, что его друг Сен-Жюст, вернувшись с фронта и видя, что никаких изменений не произошло, все и без них идет своим чередом, заявил, что стране нужен диктатор и этим диктатором может быть только праведник Робеспьер. Заявил он это в Комитете общественного спасения, но остальные члены Комитета поняли, куда клонит эти «праведники» и не согласились с его предложением! Тогда неподкупный человек пришел в ярость и решил избавиться от тех, кто посмел противиться его воле. Все, что я потом читал о Робеспьере, лишней раз доказывает, что я правильно в нем разобрался: это был доносчик, который своими доносами держал всех в страхе. Теперь он решил

донести на самих членов Комитета и расправиться с ними так же, как с Дантоном.

Как раз в эту пору, в конце июля, возжаки нашего клуба, получив распоряжение от якобинцев, отправились во главе с Элофом Коллетом в Париж, на праздник термидора. Люди у нас встревожились: они решили, что готовится какой-то крупный переворот. Все уехавшие были приверженцами Робеспьера — особенно Элоф. И жители нашей округи боялись теперь даже разговаривать друг с другом.

Так продолжалось дней восемь или десять. И вот в одно прекрасное утро почта принесла весть, что Робеспьер, Кутон, Сен-Жюст и все их друзья были схвачены и на другой же день гильотинированы. В городе началось нечто странное: жены и дети наших патриотов решили, что их отцов, братьев и мужей постигла та же участь. Можете представить себе, каково было этим людям: они не смели ни плакать, ни владать в отчаянье, ибо сам Сен-Жюст издал декрет о том, что люди, сочувствующие преступникам, объявляются таковыми, а те, кто дает преступникам приют — пусть даже собственной своей матери, — заслуживают смертной казни. Теперь вообразите, как у всех щемило сердце!

И вот в такое-то время, когда все дрожало, 1 августа, вечером, — мы с Маргаритой как раз были вдвоем в нашей комнатке, выходящей на Рыночную площадь, и собирались ложиться спать, — кто-то дважды постучал в ставню. Я решил, что это кто-нибудь из горожан забыл купить, скажем, свечку или масла, и отворил ставню. Передо мной был Элоф Коллет!

— Это я, — сказал он. — Отвори.

Я выскочил из комнаты, чтобы отпереть входную дверь; на душе у меня было тревожно: впустить к себе приверженца Робеспьера, вернувшегося из Парижа, — это было в ту пору дело нешуточное, но ради старого друга Шоведа я рискнул бы головой.

Коллет вошел. Я запер дверь на щеколду и вернулся следом за ним. На столе стояла свеча, освещавшая комнату, — Элоф огляделся, прищулился. Как сейчас вижу его — в большой треуголке и серо-голубом суконном сюртуке; на спине болтается толстая коса от парика, щеки ввалились, крупный вздернутый нос помертвел.

— Вы один? — спросил он, садясь.

Я, не отвечая, сел напротив него. Маргарита осталась стоять.

— Все погибло! — немного помолчав, сказал он. — Мошенички, воры, грабители взяли верх. Нет больше республики. Нам по чистой случайности удалось спастись.

Он швырнул треуголку на стол, а сам не спускал с нас глаз, стремясь проникнуть в наши мысли.

— Вот беда-то! — произнесла Маргарита. — Очень мы тревожились после вашего отъезда.

И Элоф, еще больше понизив голос, и великом молчании ночи рассказал нам о том, как все видные якобинцы, предводители провинциальных клубов, получили приглашение прибыть в Париж на праздник термидора, ибо готовилась всеобщая чистка. Но когда они туда прибыли, они обнаружили, что все прогнило: и Конвент и Комитеты, — исключение составляли лишь отдельные якобинцы, свято державшиеся своих благородных целей. Тут Робеспьер выступил со своим докладом, обличавшим Комитеты и Конвент, сам того не желая, — скорее по привычке или из страха, — постановил напечатать доклад, но мошенички, чувствуя, что над ними нависла опасность, изъяли доклад из печати и вернули его на рассмотрение Комитетов. Это было совсем уж гнусно, ибо Робеспьер как раз и обличал Комитет общественного спасения и Комитет общественной безопасности и хотел провести в них чистку. Не могли же члены этих Комитетов сами себя судить! Тогда Робеспьер в тот же вечер прочел свой доклад в Клубе якобинцев, и все патриоты поддержали его; подумывали даже о том, чтобы поднять против Конвента секция Парижа. Пейан\*, Флерио-Леско\* — мэр Парижа, Априо\* — командующий национальной гвардией, — словом, все истинные санкюлоты горели желанием в ту же ночь захватить Комитеты и уничтожить засевшую в них продажную клику.

Но Робеспьер, будучи слишком «добродетельным», возражал против восстания, ибо, сказал он, «Конвент может объявить вас вне закона». Лучше уж опрокинуть Гору и Комитеты, объединившись с правыми и с центром Конвента — с благонамеренными депутатами центра, которых раньше называли «болотными жабами». Однако эти бесхарактерные люди, не зная, кто из них числится в черных списках, — а все они чувствовали себя более или менее пятинами, — в ту же ночь дали себя уговорить мошени-

никам, и в результате назавтра, в воскресенье 9-го термидора \*, когда Сея-Жюст в самом начале заседания выступил в Конвенте с речью, Тальен, один из величайших негодяев, каких знала Гора, прервал этого праведника. Тут вмешались и другие. Самому Робеспьеру не дали сказать ни слова: все члены Конвента, справа, слева, сверху, снизу, хором и поодиночке кричали, чтобы он замолчал, называли его Кромвелем, тираном, деспотом, триумфиром и, наконец, постановили предать его, Робеспьера, его брата Огюста \*, Кутона, Сея-Жюста и Леба — суду; их всех тут же схватили и отвезли в парижские тюрьмы.

Вот что рассказал нам Коллен. Мы слушали его, полнятно, с великим удивлением.

Он поведал нам далее, что, пока шло заседание, народ ждал на улице, а к вечеру, узнав, что произошло, все, как один, поднялось на защиту великих патриотов. Доблестная Коммуна велела бить в набат; члены муниципалитета освободили заключенных и привели их в мэрию. Однако предатели тем временем арестовали Анрио, который, будучи, по своему обыкновению, навеселе, скакал верхом по улицам, призывая народ к восстанию, и препроводили его в Комитет общественной безопасности.

Все это произошло между пятью и семью часами вечера. В семь часов должен был снова собраться Конвент. Это было известно. Тогда Коффиаль \* с сотней пушкарей-патриотов бросился в Тюильри освобождать Анрио, и пушкари завели орудия на двери Конвента, чтобы депутаты не могли войти. К несчастью, Анрио, сказал Коллен, вместо того чтобы спокойно сидеть в Тюильри, отправился в мэрию за распоряжениями; тут стали подходить депутаты, пушкари разбежались, и Конвент, не обращая внимания на набат и на крики, доносившиеся снаружи, не считая на угрозу мятежа, объявил Анрио, обоих Робеспьеров, Кутона, Сея-Жюста, Леба, всех заговорщиков из Коммуны и главных якобинцев вне закона. Во все секции Парижа были тотчас направлены комиссары, чтобы зачитать этот декрет, а Баррас \* был назначен командующим войсками, которым поручалось усмирить мятежников.

— И во всем, — с возмущением сказал нам Коллен, — виноват Анрио. Этот несчастный уже с утра панькался и, вместо того чтобы отдавать распоряжения, только орал и размахивал саблей.

Я подумал о Саптере, Лешеле, Росспьоле: все они, эти горланы, похожи друг на друга, и всех, кто следовал за ними, ждало либо поражение, либо гильотина.

Не помня себя от горя, долговязый Элоф рассказал нам далее, что санюлоты, боясь, как бы их тоже не объявили вне закона, вместо того чтобы поддержать Робеспьера и честных деятелей Коммуны, толпами двинулись в Тюильри и с криками «Да здравствует Конвент!» — присоединились к Баррасу. Между часом и двумя часами утра, еще до того как рассвело, вся национальная гвардия, невзирая на сопротивление горсти патриотов, открывших перестрелку, чтобы ее задержать, прошла по обоим берегам Сены и заняла мэрию, где находились подлинные представители народа. Арию выбросили из окна, Робеспьеру выстрелили прямо в лицо, Кутона вытащили на улицу и бросили в канаву, Леба сам покончил с собой, Сен-Жюста, Робеспьера-младшего и всех главных республиканцев, награждая пушками, ударами прикладов, свистками и плевками, поволокли обратно в тюрьмы, а самого Робеспьера положили на доску и понесли в Конвент, где на него не пожелали даже взглянуть: эти мошенники заявили, что-де самый вид его оскорбляет их взоры. В конце концов всех этих мучеников, вместе со многими другими якобинцами, муниципальными чиновниками и прочими лицами, объявленными вне закона, под крики и улюлюканье осыпавшей их комьями грязи толпы поволокли на гильотину, установленную на площади Республики. От побоев и унижений несчастные еле держались на ногах. Бедный Кутон, едва живой, упал на дно повозки и, как о милости, молил, чтобы его скорее прикончили. Максимилиана Робеспьера решили казнить последним: его поставили напротив эшафота, чтобы он видел, как гильотинируют его друзей. А когда настал его черед, начав-роялист сорвал с него повязку, показал разъяренной толпе его изуродованное лицо и затем обезглавил, как и остальных.

Элоф Коллен с содроганием рассказывал нам все это, а мне веломнилось Давтон, Камилл Демулен, Вестерман. Я видел, что продажная сволочь поступала с новыми жертвами точь-в-точь, как с теми. С отвращением слушал я рассказ Коллена. А когда он, весь бледный, умолк, я сказал:

— Послушай, гражданин Элоф, то, что ты рассказал, ничуть меня не удивляет. Меня скорее удивляет то, что на это потребовалось столько времени. В такую пору, когда против нас выступила вся Европа, да еще Вандея в придачу, к чему было приостанавливать действие конституции девяносто третьего года; к чему было создавать Комитет общественного спасения, Главный наблюдательный комитет и Революционный трибунал; к чему было применять террор против аристократов, себялюбцев, заговорщиков и предателей, сдававших наши крепости и показывавших врагам дорогу в нашу страну, если вот уже много месяцев на гильотине гибнут лучшие патриоты! Разве это не стыд и позор, что такие люди, как Дантон, Демулен, Эроде Сенель\*, Лакруа\*, Базпр\*, Филлино,\* Вестерман и многие другие, которые стояли во главе событий в великие дни революции, были отправлены на гильотину без суда и следствия и казнены трусами, дрожащими за свою шкуру и укрывавшимися в дitches, — людьми, засевавшими в своих полицейских участках, точно науки и науки?! Разве это не позор для Франции и республики? Разве казнь Дантона пошла нам на пользу? Разве десноты не ликовали в тот день? Да наши величайшие враги не могли бы причинить нам большего вреда! Все добропорядочные и здравомыслящие граждане содрогались от негодования.

Колден смотрел на меня, опершись кулаком о стол, поджав губы.

— Ты что же, не веришь в добродетель Робеспьера, а? — спросил он наконец.

— В добродетель Робеспьера и Сен-Жюста?! — повторил я и пожал плечами. — Да разве можно верить в добродетель негодяев, умертвивших Дантона за то, что он был выше, сильнее, великодушнее всех их, вместе взятых, за то, что он хотел заменить гильотину свободой и милосердием, ведь при его жизни не могло быть и речи о диктатуре?! В чем же выражалась эта их необыкновенная добродетель? Что они такого сделали, что возвышало бы их над остальными? Или они подвергались большим опасностям, чем семьсот или восемьсот тысяч граждан, двинувшихся в деревянных башмаках к нашим границам? Или тервели голод и холод и ходили зимой босиком, как мы в Вандее? Нет, они говорили длинные речи, выносили приговоры, отдавали приказы, осуждали на смерть тех,

кто был померой их честолюбию, и, наконец, попытались провозгласить себя диктаторами. Ну, а я против диктаторов, я предпочитаю свободу гильотине. Слишком это удобно — убивать тех, кто думает иначе, чем ты, — последний разбойник может так поступить. А я сражался за свободу; за то, чтобы иметь право говорить и писать все, что думаю; за то, чтобы иметь свое достоинство, свои поля, луга, дома, не облагаемые ни десятиной, ни прочими поборами, и никаких привилегий мне не надо, ибо все это было бы заработано честным трудом; я хочу распорядиться своим добром по своей воле — продать его или копить, если мне так нравится, не боясь того, что какие-то там высокодобродетельные, неодокупные личности, чонорные, точно старые девы, станут совать нос в мои дела и говорить мне: «Ты слишком хорошо одеваешься, ты слишком вкусно ешь, ты не похож на римлян, — надо тебе отрубить голову!» Гиенные десноты — вот они кто! Олицетворение эгоизма и гордыни!.. Эти люди всю жизнь провели за письменным столом и вдруг решили, что можно изменить род людской с помощью обвинительных заключений и приговоров: если гильотина будет наготове, тогда, мол, они станут слушаться!.. Фу! Как подумаю, прямо тошно становится.

Я весь кипел от гнева. Коллен, не найдя, что мне ответить, вдруг встал, взял свою треуголку и поспешно вышел. Маргарита закрыла за ним дверь, накинула щеколду и вернулась. Я думал, что она станет упрекать меня; она же, войдя в комнату, сказала:

— Ты прав, Мишель, это были несчастные люди, которых обуяла гордыня. Я видела здесь Сен-Жюста: он так много мнил о себе, что еле отвечал, когда с ним заговаривали. Ах, насколько же лучше были бедняга Дантон и Камилл Демулен! Вот уж кто никак не походил на первых людей республики, — лица у обоих такие добрые, такие мужественные. А те были такие сухие, чонорные, и глядели на вас сверху вниз, с высоты своего величия: наверно, считали, что в их жилах течет кровь иная, чем у нас. Но все равно республике нанесен страшный удар: монешники, ставшие теперь хозяевами положения, предадут нас.

— Ну что ты, что ты, Маргарита! — сказал я. — Неужто ты воображала, что какие-то там пять или шесть человек составляют всю Францию. Народ — вот главное, — народ,

который трудится, который сражается, защищается, который экономит и откладывает — для себя, не для других. И то, что он завоевал, будь спокойна, он не уступит дееспотам и рабам, даже если они и столкнутся между собой. Придется скосить нас всех до единого, чтобы отобрать у нас хотя бы одну травинку. А остальное наступит само собой: дети наши получат образование, они будут знать, чего стоила нам каждая пядь земли. Не думаю я, чтобы они оказались глупее и трусливее нас и дали обобрать себя.

Так закончился этот день. Наутро то, что рассказал нам Элоф Коллен, уже знал весь город. И лица у людей стали совсем другими: одни словно вылезли на свет божий из-под земли, другие словно ушли в землю. Не надо, однако, думать, что террор сразу окончился. Правда, из Нанси, из Меца, из Страсбурга вернулось много полумертвых от страха узников: эти люди только и ждали, что их пот-вот вызовут в Революционный трибунал, а оттуда повезут на гильотину! В одной нашей округе я знаю таких человек пятьдесят, и все они в один голос повторяли, что 9 термидора их спасло. Но люди эти, вместо того чтобы радоваться своему спасению, пылали мстостью и мечтали гильотинировать других. Вот тут-то и началось преследование якобинцев. Якобинцами стали называть не только сторонников Робеспьера, но и дантонистов, эбертистов и всех республиканцев вообще. Истинные патриоты поняли, откуда ветер дует, и объединились... Вот почему по сей день никто не обижается, если его называют якобинцем, хотя Робеспьера больше и нет. А ведь вышадил им счастье иметь во главе Дантонов, Кампьялов Демуленов или Вестерманов, никому бы не пришло в голову их казнить.

Итак, смерть Робеспьера слотила всех патриотов, и презрение стало уделом Талленов, Фуше \*, Баррасов, Фре-ронов — всех тех, кого называли термидорианцами, ибо они свергли Робеспьера 9 термидора, и, как выяснилось, не в интересах республики, а в своих собственных. Прозвали их «партией мародеров», и вы сами дальше убедитесь в справедливости этого названия, ибо, повествуя вам о себе, я всегда буду рассказывать и о том, что происходило в стране. Человек живет не только ради себя, а ради всех честных людей, и тот, кто заботится лишь о своих нуждах, не достоин звания гражданина просвещенной страны.



При бережливости Маргариты, ее здравомыслии и любви к порядку, торговля наша, ясное дело, шла хорошо, и я не стану вам рассказывать, какие мы неделю за неделей получали барыши, какие товары продавали и из чего вообще складывалась наша жизнь. Когда человек живет у себя, а не на чужбине; когда он не ходит по кабакам и не пропивает того, что зарабатывает; когда он в ладу со своей женой и сам следит за своими делами, — тогда дни его текут безмятежно, и все они наполнены счастьем, особенно в молодости.

И тем не менее год у нас выдался на редкость тревожный: помнится, никогда еще не было в стране большей смуты, большего страха и большей нужды, чем после смерти Робеспьера. Газеты же пестрели описаниями разных празднеств, танцевальных вечеров, новых мод и всяческих увеселений: только и разговору было что о госпоже Кабаррюс \*, о вдове Богарне \* и еще пяти или шести дамах, которые устраивали у себя пиршества и пытались, так сказать, возродить бывшие галантные нравы. А тем временем спекулянты всею скупили зерно, был отменен максимум, ассигнаты упали в цене, мошенники процветали, вернулись жирондисты, федералисты, эмигранты; патриотов, выполнивших приказания Комитета общественного спасения, предали суду; страну наводнили монахи, требовавшие, чтобы им вернули их часовни, и священники, требовавшие, чтобы им вернули их церкви; вслед за парижским Клубом якобинцев закрыли и все остальные, — словом, победил всякий сброд, который тотчас принялся вопить, шуметь, угрожать; все это — и тысяча других причин — привело к тому, что народ впал в полную нищету и люди, как мухи, мерли от голода.

А тут еще наступила зима! Я так и не сумел понять, почему у нас в ту зиму был такой голод, ибо осенью предыдущего года, проходя через Францию, я сам видел, что дела обстояли совсем не плохо: фрукты, овощи, хлеба — все обещало хороший урожай. Возможно, все съели на корню, как бывает, когда люди изголодаются и не могут дольше ждать. Иные говорили, что виной всему неиспровержение законов и отмена максимума на цены; что роялисты и термидорианцы заранее сговорились об этом,

чтобы восстановить народ против республики, — глядишь, он и потребует возвращения королей, принцев и герцогов, которые, как известно, с помощью епископов и милости божией могут дать вам и ведро и дождь.

Одно скажу: глядя, как термидорианцы по предложению Сийеса\* вернули жирондистов, вступили в союз с роялистами, устраивали кутежи с женщинами и прославляли себя в своих газетах, народ совсем пал духом, а тут еще, когда и без того было плохо, стало известно, что часть жителей Парижа потребовала, чтобы Конвент восстановил королей и объявил о своем раскаянии: зря же поддерживал революцию. Вот как с помощью хитрости, разврата, изобретая всякие бесстыдные моды и прочие мерзости глумясь для подражания, мошенники добиваются торжества своих пороков, выдавая их за добродетели, поворачивают и ушние честных людей, а сами растаскивают народное добро, иными словами: достигают того, к чему всегда стремились, и, став хозяевами положения, овлачивают нашими денежками свои кутежи.

Многие мерзавцы разбогатели в 94-м году: они покупали двадцатифранковые ассигнаты за десять су и оплачивали ими не только государственные земли, но и свои старые долги, хотя брали в свое время и долг звонкой монетой. Все было бы потеряно, если бы и армия пошла по этому гнусному пути, но как раз в армии были живы республиканские добродетели. Термидорианцы и их дружки успели занять места монтаньеров в Комитете общественного спасения, но такого Карно, Приера из Кот-д'Ор, такого Робера Линде, неутомимых тружеников, способных создавать, кормить армию и руководить ими, — патриотов, день и ночь думающих лишь об исполнении своего долга, — таких людей болтунам и интриганам не так-то просто заменить, поэтому пришлось их еще на какое-то время оставить на своих местах. В армии же их знали и разделяли их образ мыслей.

И вот в то время, как внутри страны, где правили Тальены, Фрероны и Баррасы, царило сплошное разложение: мяскадены\* безнаказанно убивали патриотов своими палками со свинцовыми набалдашниками, устраивались «балы жертв» и такие же богослужения, модные туалеты назывались «справедливостью», «человеколюбием», а люди, которые их носили, предавались самому низкому

распутству, — наши республиканские армии продолжали одерживать большие победы.

В эту страшную зиму 1794/95 года армия Самбры и Мааса под командованием Журдана, а также Северная армия во главе с Пишегрю отбросили немцев и англичан за пределы нашей страны; они вступили в Голландию и завладели всем левобережьем Рейна — от швейцарского Базеля до самого моря. Это была одна из самых блистательных кампаний республики; морозы стояли трескучие, и наши гусары, промчавшись галопом по льду, захватили даже цевриятельский флот, — такого еще никто не видел и, наверно, никогда не увидит.

Сколько раз по вторникам и пятницам, в рыночные дни, когда бедняки наводняли нашу лавочку на Рыночной площади и поисках соли и табака, а ветер швырял снег даже за наш прилавок и лед покрывал крыльцо и пол у порога, — сколько раз, глядя на широкую белую улицу за дверями, на деревья у крепостного вала, клонимые ветром, я думал:

«Холодно у нас!.. Ох, и холодно!.. А все же нашим храбрым товарищам, которые шагают сейчас по большим дорогам — босые, обернув ноги соломой, — приходится куда хуже!»

Отпуская товар покупателям, отвечая одним, другим, я не переставал об этом думать, и мне вспоминался Майниц, Ле-Ман, Савенз, хотя ту пору и сравнить нельзя было с этой зимой 1794 года, когда вино и даже водка замерзали в погребах.

Вечерами, когда мы сидели за закрытыми ставнями, и печурке потрескивал огонь, Маргарита подсматывала медяки, я складывал их столбиками, а мой брат Этьен читал о вступлении наших войск в Утрехт, в Аргейм, в Амерсдорф, в Амстердам, о переправах через плотины и каналы, о том, как наши гусары потребовали сдачи английского флота, вмерзшего в лед у острова Тексель, и о других, не менее удивительных вещах, — сколько раз глаза мои наполнялись слезами; Маргарита же, бросив считать выручку, сколько раз говаривала:

— Ну, что ж, пусть парижские роялисты требуют отмены прав человека и гражданина, ничего у них не выйдет: республика одерживает победы и деспоты бегут!

И все вместе мы восклицали:

— Да здравствует республика, единая и неделимая!

Все главные якобинцы нашего города, даже Элоф Коллен, помирившийся со мною, поняв, что я говорил тогда от чистого сердца, — все взяли за обыкновение приходить к нам после ужина потолковать у нашей печурки. Наша читальня стала местом сборища патриотов: здесь, у нас, узнавали главные новости, возмущались тиранами и пением «Марсельезы» отмечали наши победы. Что поде-лаешь? Это у нас в крови. Даже через двадцать пять лет у Бастьенов-Шовелей звучала только эта песня, и когда в доме не пели, весь город знал, что роялисты одержали верх.

К концу этой суровой зимы мы торговали уже всеми бакалейными товарами, и жители Пфальцбурга и окрестностей должны были нам более девятисот ливров: когда люди терпят такую нужду, а ты знаешь, что они честные, трудолюбивые, бережливые, нельзя им отказать в кредите и не отпустить в долг то, без чего не обойтись. Мы тоже задолжали Симони по меньшей мере столько же, сколько другие должны были нам, но он написал нам, чтобы мы не беспокоились и не торопились с уплатой: если надо, он подождет еще три месяца, ибо год сейчас для всех трудный, а под конец он предлагал нам забрать у него еще товару.

Первого марта 1795 года мы произвели первый учет в нашей лавке; это необходимо для каждого торговца, который хочет знать истинное положение своих дел: что он продал, что у него осталось, в убытке он или получил барыши; может ли расширить дело или должен остановиться, — только прощелыги живут, ни о чем не думая, пока к ним не явится судебный пристав и сам не произведет учет их имущества.

Итак, мы с радостью обнаружили, что после уплаты Симони и поставщикам книг у нас останется еще полторы тысячи ливров чистого дохода, — после такого тяжелого года это было просто замечательно.

Само собой, мой отец и дядюшка Жан раз в неделю уж непременно приходили к нам в гости, а отец еще обещал у нас каждое воскресенье. Пока свирепствовал голод, Маргарита никогда не забывала на прощанье сунуть ему в карман ломоть хлеба и добрый кусок мяса, — она скорее оставила бы нас без ужина, чем отступила от своего обыкновения, и я тем сильнее ее любил. Мы уже знали, в котором часу должен прийти мой славный отец, и утром

с порога видели, как он, улыбающийся, появляется в конце улицы и, расправив плечи, весело здоровается со всеми встречными, даже с детьми, а те кричат ему:

— Здравствуйте, дядюшка Бастьен!

А он улыбался в ответ и, войдя к нам, спрашивал:

— Ну, Мишель, ну, дети, как дела?.. Все хорошо?

— Да, отец.

Тогда, обив о порог башмаки, чтобы не осталось снега, он говорил:

— Что ж, войдем! Войдем!..

Мы проходили в читальню; он грел руки у печки и с нежностью посматривал на Маргариту. Дело в том, что мы были в ожидании — ждали самой большой радости, какая выпадает на долю человека, и добрый мой отец знал об этом. Думаю, что в ту пору он чувствовал себя счастливейшим человеком на свете: он бы, наверно, охотно зашел, но радость его выливалась в умиление. Он обычно утирал глаза и говорил:

— Господи, как же мне повезло в жизни! Вот ведь какой везучий я человек!..

Он забывал обо всем: о ростовщике, о поборах, о нищете, которую терпел целых пятьдесят лет, о Николае, о матери, о моем отъезде из родных мест в 92-ом, — и видел только нас: Этьена, ставшего уже почти взрослым; меня, вернувшегося с войны; Маргариту, мою милую женщину. А все остальное — об этом он не думал.

Время от времени получали мы весточки и от Шовеля, — это были самые счастливые дни для Маргариты, но письма приходили короткие, не такие, как прежде, — всего несколько слов: «Милые дети, целую вас. Ваши весточки доставляют мне большое удовольствие. Надеюсь, мы еще проживем все вместе. Времени в обрез, а положение серьезное. Передайте поклон дядюшке Жану, Коллену и другим...» Чувствовалось, что он боится, не осмеливается откровенно писать. Но мы хоть знали, что он здоров, — и то хорошо. После выполнения своей миссии в Альпийской армии Шовель должен был вернуться в Париж, и мы надеялись, что он заедет к нам на обратном пути.

Итак, наш первенец появился на свет в последний день марта 1795 года, — крепныш с толстыми щечками, пухлыми ручками и ножками, молодец хоть куда. После великих тревог и волнений, увидев его в руках у матери, под



белым одеялом, на кровати с занавесками, я почувствовал, как что-то могучее, повстигие страшное по своей силе, сдавило мне грудь. Казалось, верховное существо парит над нами и говорит мне:

«Даю тебе этого ребенка, чтобы ты сделал из него хорошего гражданина, борца за справедливость и свободу».

Слезы подступили у меня к горлу, и я поклялся в душе, что в меру своих сил и возможностей сделаю из него человека. Маргарита молчала — только с улыбкой смотрела на него. Старуха Орсон и другие кумушки со смехом восклицали:

— Ну и красавец! Прямо великан!

И уже два каких-то гражданина, зашедших в лавку, спрашивали, нельзя ли посмотреть на него. Тут появился мой старик отец и дядюшка Жан.

— Поздравляю, Мишель, поздравляю! — восклицал дядюшка Жан.

А отец, посмотрев на малыша, розового и толстенького, вдруг заплакал, потом засмеялся и принялся меня обнимать. Поцеловав Маргариту, он сказал:

— Вот теперь мы будем совсем счастливы. А когда он подрастет, я буду ходить с ним в лес гулять.

Словом, всякий может себе представить, как оно было.

Появление первенца по-иному окрашивает всю нашу жизнь. Маргарита от счастья слова не могла вымолвить — только смотрела на меня, и мы улыбались друг другу.

— Он похож на тебя, Мишель! — были первые ее слова. — Ах, до чего же отец будет рад!

Я еще многое мог бы рассказать об этом дне, но что бы я ни рассказывал, все равно те, у кого не было детей от хорошей жены, не поймут меня, а тем, у кого они были, — ну, что я скажу им нового?

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Все наши большие победы к тому времени были окончены: мы завоевали Бельгию и Голландию, левый берег Рейна, часть Пьемонта и Испанию. Остальные же наши враги жаждали только мира. Даже Шарретт, заседавший в своих болотах, и тот не мог больше тянуть. Республка объявила о помпловании бунтовщиков: им позволялось отстроить свои дома, вновь возвести церкви и честно трудиться на своей земле. Им обещали даже возместить нанесенный ущерб, при одном условии: что они будут вести себя тихо. Каррье, Пшара и Гранмеаона отправили на гильотину за превышение полномочий в Комитете общественной безопасности. Чего еще могли требовать вандейцы? Все считали, что они образумятся и у нас надолго воцарится мир. Но тут мерзавцы, намеревавшиеся три года назад растащить по кусочкам Францию, видя, что их дело прогорело, — накинулись на Польшу. В газетах только и речи было что о знаменитой Екатерине, императрице всей Руси, самой большой развратнице во всей Европе, о генерале Суворове да о польском герое Костюшко\*.

Костюшко одерживал одну победу за другой, как вдруг приняла весть о странном разгроме в Праге, о поражении борцов за свободу и, наконец, о декларации союзников, в которой говорилось, что «коль скоро полики не могут жить в мире и согласии между собой и поставить во главе государства неспособное правительство, они, союзники, во имя справедливости и общего блага,

решили подселить страну между собой». Так мог бы оправдать свой поступок любой ворюга, пойманный с поличным и отправленный на каторгу за то, что он пропик в чужой дом и обокрал его, а ведь это были король Прусский, император Австрийский, императрица всея Руси, и тамошние епископы возносили в их честь хвалу!

Не надо было обладать особым умом, чтобы понять, что эти тираны вовсе не желали иметь рядом страну, где народ свободен, и, прикончив нашего единственного союзника, скоро снова примутся за нас. Прекрасная Гора прекрасно поняла бы это: между республикой и королями долгому миру не бывать. Либо вся Европа должна была стать свободной, либо мы должны были вернуться к рабству! Но разве это могло возмущать роялистов? Или всех этих жирондистов, которые снова сидели в Конвенте и именвались теперь «Группа семидесяти трех»? Ведь императоры и короли были им лучшими друзьями. Жирондисты рассчитывали на них и вместе плели заговоры. Поэтому они и не боролись с голодом. Им хотелось вызвать возмущение в народе, а потом сказать:

«Вот если бы у нас был король, все пошло бы иначе: наши порты были бы открыты, и мы стали бы получать зерно. Мы бы заключили выгодные договоры с немцами, англичанами, русскими. Расцвела бы торговля, заработали бы мануфактуры и так далее...»

За них были термидорианские секции вокруг Тюильри, мелкие и крупные торговцы, ремесленники богатых кварталов Парижа. Монтаньяров в Конвенте оставалось так мало, что они слова не могли вымолвить в защиту народа. Даже Карно — и того сместили, посадив на его место в Комитете общественной безопасности жирондиста, некоего Обри, который тут же принялся выводить в отставку всех генералов-патриотов, всех офицеров, пользовавшихся любовью солдат. Человек этот поступал совсем как министр Людовика XVI, назначавшие изменников комендантами крепостей. Все это видели, но что тут поделаешь? Сила была у реакции. На юге начинался белый террор. Монтаньяры, понятно, мешали изменникам, и те решились от них избавиться.

И вот на другой день после рождения нашего маленького Жан-Пьера, 12 жерминаля III года Республики, парижские газеты вышли с сообщением о том, что изгонявшиеся люди хлынули к Тюильри, ворвались в зал



заседаний Конвента, требуя хлеба, а термидорианцы выставили их вон. Значит, теперь народ пошел войной на буржуазно, а это было совсем уж плохо!

С той же почтой пришла весть, что Конвент, воспользовавшись этим, отправил Колло-д'Эрбуа, Бийо-Варенна и Баррера\* без суда на каторгу в Кайенну, а Камбона, Мелье, Монза Вейля — словом, всех, кто спас Францию, когда роялисты хотели отдать ее врагам, — посадили в тюрьму. Короче говоря, повторялась старая история: страпу продавали, чтобы урвать себе местечко получше, ренту, несплю, привилегии!

В тот день, хоть я и чувствовал себя бесконечно счастливым в кругу своей семьи и друзей, хоть мне и приятно было видеть рядом жену, сына, старика отца, я с радостью взял бы ружье и пошел бы громить изменников. Наверное, немало людей нашло бы в себе мужество поступить точно так же. Но какой бы из этого вышел толк? Возглавить нас было некому: всех наших ирредуктивных казнили! Ах, какая беда!

Вот когда патриоты поняли, к чему мы пришли. Я с радостью отдал бы всю свою кровь, чтобы воскресить Робеспьера и Сен-Жюста, которых я ненавидел, а Коллеи положил бы голову на плаху, чтобы вернуть Дантона и Камилла Демулена, которых он считал безответственными. Но когда зло свершилось, никакими жалобами и сожалениями тут уж не поможешь.

Через несколько дней термидорианцы, жирондисты и роялисты отправили на гильотину страшного Фукье-Тенвиля\*, бывшего общественного обвинителя, и пятнадцать судей Революционного трибунала. Полцейские никуда бежали за повозкой, на которой везли Фукье-Тенвиля и, передразнивая его выступления в трибунале, кричали:

— Ты лишился слова!

Он же отвечал:

— А ты, безмозглый народ, лишился хлеба!

И он был прав: реакционеры не давали подвозить в Париж провиант; народ получал лишь две унции хлеба на человека в день! А в наших краях уже ежали озимые, и крестьяне распродали свои запасы зерна и сена, видя, что яровые обещают хороший урожай, — словом, никакого голода не было. Но роялистам нужны были бунты, чтобы иметь повод разгромить народ, — они чувствовали

за собой поддержку и стремились стать хозяевами в стране, а потому и морили голодом несчастных парижан.

Ждать им пришлось недолго: 20 мая 1795 года, значит — 1 прернала III года, вспыхнуло восстание; голодный бунт, когда женщины, дети и несколько батальонов Антуанского предместья ворвались в зал Конвента с криками: — Хлеба и конституцию девятию третьего года!

Граф Буасси-д'Англа шесть часов просидел в шляпе на своем председательском месте, окруженный лесом топоров, пик, штыков, направленных ему в грудь. Уверен, что монсеньер граф д'Артуа не желал бы очутиться на его месте. Этот Буасси-д'Англа был роялист, но человек смелый: у него даже хватило духу снять шляпу, когда ему острастки ради поднесли на пике голову депутата Феро.

Все это пересказывали тысячу раз.

Восстание и прернала продолжалось три дня\*. Пока народ был хозяином положения, Конвент, подчиняясь его воле, принял множество декретов, которые на другой день были все сожжены. У народа не было вождей, и он не сумел воспользоваться своей победой. Если бы Дантон был жив, он, конечно, выступил бы с требованиями от имени народа. На другой день двадцать тысяч термидорианцев и роялистов, поддерживаемые шестью тысячами драгуи, отбросили восставших назад, в бедные кварталы, откуда их выгнал голод, и народ, потерявший столько тысяч своих сыновей, защищая наши границы, отступил. Он не решился принять бой и признал себя побежденным.

Это было последнее большое восстание. Если бы не было известно, что наши армии стоят на стороне республики и в случае чего могут двинуться на Париж, чтобы восстановить ее, термидорианцы, жирондисты и роялисты уже тогда посадили бы на трон Людовика XVIII. За одну ту неделю все члены бывших Комитетов общественного спасения и общественной безопасности, за исключением Карно и Луи из департамента Нижнего Рейна, а также двадцать один депутат и десять тысяч истинных патриотов были арестованы и сосланы или гильотинированы. Какое счастье, что Шовель находился в армии с поручением! Хитрость для изменников куда важнее силы: силой они ничего не добились, а теперь все было у них в руках. Они расформировали патриотически настроен-

ную жандармерию, отобрали у национальной гвардии пушки, а у ремесленников — оружие. Теперь уже ни один рабочий не входил в гражданскую гвардию. В Париже был восстановлен гарнизон из линейных полков — как до 89-го года. Словом, оставалось только посадить на трон короля.

Но республиканские войска еще стояли под ружьем. Значит, надо было найти продажных генералов, способных предать парод, а потом написать его величеству: «Возвращайтесь, государь! Опасность миновала! Возвращайтесь к своим детям, которые плачут без королей, принцев и епископов. Скажите, что все это время Вы путешествовали, а теперь возвращаетесь в лоно своей семьи, или придумайте что-нибудь другое. Приезжайте, все будет хорошо. Не бойтесь, потомок Людовика Святого, трон Ваших отцов ждет Вас».

Да, наши честные жироидисты, которых принято изображать несчастными жертвами, замыслили это с самого начала. Но они были слишком уверены в успехе и немного поторопилось: еще не все якобинцы умерли, как и не все кордельеры. Да и крестьяне не хотели расставаться со своими наделами, приобретенными у государства и церкви, как и со многим другим, о чем вы узнаете дальше.

Однако это не помешало уничтожению патриотов по всей Франции. В Цфальдбурге — Элоф Колден, Манк, Агри Бюрк, Лаффрени, Лусто, Тэвено, все должностные лица, состоявшие в Клубе равенства, оказались не у дел и еще были рады, что так легко отделались. Мэром у нас тогда стал Штейнбрэннер — он занимается только своей медициной, предоставив секретарю мэрии Фролигу заправлять всеми делами. Сам он и полчаса в день не проводил в мэрии и, по-моему, никогда не читал газет. Остальные члены муниципалитета — содержатель постоялого двора Матие Элингер, владелец кофейни Миттенгоф и начальник почтовой станции Массон — в лучшем случае занимались составлением актов гражданского состояния и не заботились ни о чем, кроме собственных дел.

Вот в какой все приходит упадок, когда те, кто стоит у власти, только и думают, как бы урвать себе побольше, и используют парод для личного обогащения. В такие времена самые мужественные люди спускают и сидят по домам, выжывая, когда представится случай вернуть себе свои права.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вот в такую-то пору к нам на минутку заехал Шовель: у подножия холма он свернул на проселок, ведущий в Савери, и, таким образом выиграв во времени, опередил почтовую карету на полчаса. Мы только что подчитали выручку — я после десяти закрывал лавку, — как вдруг дверь отворилась, и он вошел в дорожной нарядке на плечах.

— Это я, дети мои, — захихавшись, произнес он. — Забежал поцеловать вас и тут же еду дальше.

Можете себе представить, как мы сначала удивились и как потом кинулись его обнимать! Шовель возвращался в Париж. Он почти не изменился, только немного сгорбился, щеки ввалились, а брови стали совсем седые. Его живые глаза слегка затуманились, когда он взял на руки малыша и поцеловал его. Потом, с малышиком на руках, принялся рассказывать по нашей читальне — все смотрел на него, улыбался и приговаривал:

— До чего же славный малыш! В шесть лет он наизусть будет знать катехизис прав человека.

Я послал моего брата Этьена за Элофом Колленом, а потом велел покараулить на дороге почтовую карету и предупредить нас, когда она появится. Маргарита плакала, а я даже побледнел от огорчения — уж очень не хотелось мне так скоро расставаться с Шовелем. Элоф пришел не сразу — всего за несколько минут до почтовой кареты, и я помню, как рыдал этот рослый детина, говоря о Робеспьере, Сен-Жюсте и нынешних изменниках. Шовель спокойно выслушал его и сказал:

— Да, очень все это плохо, конечно!. Но люди есть люди и не надо делать из них богов: стоят-стоят, а потом рушатся. Дантон и Робеспьер были великими патриотами. Дантон любил свободу, Робеспьер ее не любил: она подрывала его представление о престоле власти. Это и погубило обоих, ибо рядом они существовать не могли, но один не мог обойтись без другого. Однако идеи их остались! Революция наполовину осуществлена: крестьяне получили свою долю — у них есть земля, не облагаемая ни десятиной, ни оброком. А теперь надо, чтобы рабочие и ремесленники получили свою долю, чтобы они

тоже могли пользоваться плодами своего труда. Достичь этого можно только с помощью свободы и просвещения. Свобода всех уравнивает, а привилегии возвышают одних над другими. И вырастает гора, которая потом обваливается. Революция тогда кончится, когда все будет равно — и не раньше.

Он еще что-то говорил, только вот что — я уже не помню. Потом приехала почтовая карета, начались слезы, поцелуй, и он уехал, этот настоящий патриот и превоенный человек.

Все это я вспоминаю сейчас, как сон. После стольких лет картины пережитого вдруг возникли передо мной, и я расцветовался. Было это в конце прералии — на юге как раз начались убийства. В Лионе, Марселе, Арле, Эксе, Тарасконе и в других местах роялисты уничтожали сидевших в тюрьмах патриотов, а потом влясали вокруг груды трупов. Шайки Иегу и Солица, подстрекаемые депутатами-жирондистами, останавливали почтовые кареты на больших дорогах, убивали республиканцев и грабили общественную казну. Вся Франция возмущалась, но Конвент, где полно было реакционеров, не обращал на это внимания. Термидорианцы, заметив, что после подавления восстания они стали лишними в Конвенте, и чувствуя, что скоро начнут вытаскивать на свет их старые грехи, а тогда уж полетят и их головы, — попытались сблизиться с монтаньярами, твердо державшимися прежней позиции.

Теперь стало ясно, что восстание было подготовлено роялистами: как только жажда мести улеглась и с истреблением якобинцев, дантонистов, эбертистов и прочих было покончено, голод в Париже сразу прекратился\*. А ведь в июле еще не был снят весь урожай — откуда же взялось это изобилие зерна и провизии, когда ни того, ни другого и в помине не было во время голодухи? Где же это видано, чтобы продукты появлялись в избытке до сбора урожая? Или зерно прямо в мешках вырастает из земли? Словом, всякий, кто над этим призадумается, вынужден будет признать, что голодный бунт подстроили роялисты, чтобы потом разделаться с народом и навязать ему короля.

А еще говорят, что Франция — страна монархическая! Немало пришлось отрубить голов, чтобы сделать нас монархистами! И если хорошенько посчитать, то куда боль-

ше было их отрублено после термидора, чем до, поговоря уже о предательствах и прочих преступлениях, которым нет числа. Все они были заодно — и внутренние и внешние наши враги. Не успел в Париже произойти переворот, как в газетах появилось сообщение о том, что английский флот подходит к берегам Бретани; что англичане вынудили наш флот уйти в порт Лориан, а сами выгружают на Киберонском полуострове пушки, снаряды, эмигрантов и мешки с фальшивыми ассигнатами; что шуаны и прочие вандейские бандиты, несмотря на свои клятвы и обещания, зашевелились, как черви в развороченной куче, и спешат соединиться с неприятелем. Стоплю нам хоть немного дрогнуть, — и Людовика XVIII провозгласили бы королем.

Людовик XVII, сын Людовика Канета, как раз в это время умер у одного сапожника, и эмигранты вместе с европейскими деспотами уже провозгласили графа Прованского королем Франции\*. Мы бы только посмеялись над этим фарсом, если бы три четверти наших депутатов не были заодно с чужеземцами. Народ трепетал. Люди боялись читать газеты из опасения узнать о какой-нибудь новой гнусности.

Но счастью, Гош был не то, что Лешель, и, став командующим нашими силами в Вандее, посмелся ступить войска и двинуться навстречу неприятелю. Прочел слух, что двадцать тысяч шуанов и десять тысяч англичан во главе с тремя или четырьмя тысячами бывших наших дворян направляются к Ренну по дороге на Париж; но тут мы узнали, что Гош перерезал траншеями Киберонский полуостров, установил там пушки и запер наших врагов на полуострове; затем он захватил на перешейке замок Шентьевр и открыл по мятежникам такой ураганный огонь, что многие из них, теснимые нашими колоннами, бросались в море, а остальные безоговорочно сдались.

Термидориалцы, соединившиеся к тому времени с остатками моптапьяров, направляли тогда в Бреста своего друга Таллеа, и Таллеа, вдруг вспомнив, что эмигранты ему вовсе не друзья, приказал расстрелять их всех на площади. Расстреляли семьсот одиннадцать человек, а крестьян отпустили. Это была большая потеря для дворянства.

Вы и представить себе не можете, как довольны были люди, получив наконец эту хорошую весть после столь-

ких дурных. Слава Гоша росла. Тут все сразу вспомнили про его былые победы на Рейне и на Мозеле, и каждый подумал:

«Да, именно такой человек нам и нужен!»

К несчастью, у республики не было ни гроша: Камбон уже не ведал казной, ассигнаты выпускали миллиардами, и никто не хотел их брать. С тех пор как отменили закон о максимуме, все торговцы взвинтили цены: фунт свечей стоил теперь шесть франков, фунт табаку — двенадцать и все остальное в таком же роде.

А в нескольких мле от нас, на том берегу Рейна, те же товары продавались по обычным ценам. Роялисты же, ендешине и Конвенте, вместо того чтобы отменить ассигнаты, сохраняли их, желая нас разорить. Никогда еще в торговле не было такой неразберихи, ибо ассигнаты могли ходить только, если б был закон о максимуме. Ну и контрабанда, конечно, процветала повсю, тем более что англичане задерживали все суда с сахаром, перцем, кофе и тому подобным. Товары эти стоили неслыханно дорого. Наши дети не знали даже, как они выглядят. Да и солдаты терпели недостаток во всем: себялюбие, мошенничество, распутство разьедали армию сверху донизу. Даже у нас в Пфальцбурге появились щеголи-лоботрясы, наряжавшиеся «жертвами»: широкий белый галетук замотан вокруг шеи до самого носа, на шляпе — черный врен, слова цедают сквозь зубы и смотрят на вас через плечо в подзорную трубку.

Это бы, конечно, немало всех позабавило, если бы не возникали мысли о том, что подобные грибы-поганки вырастают только на гнилом дереве и что республика кормит тысячи таких. Пять или шесть распутниц, которые при Робеспьере изображали из себя богинь Разума или Природы, теперь тоже решили вырядиться под осужденных на казнь: они надели прямые гладкие платья-рубашки, с длинными, узлыо повешенными поясами, что не мешало им каждый вечер хохотать и веселиться в харчевне «Лебедь» со всякими франтами, сыновьями бывших соляных приставов, различных контролеров и смотрителей времен Людовика XVI. Эти добродетельные особы изобрели даже подобие больших карманов или мешков, которые болтались у них внизу, чуть не у самых пиколотов, — называлось сие нововведение ридикюлем, и обладательницы его держали там пачки ассигнатов и

платочки с вышитыми на них — в знак печали — слезками. Господи, до чего же люди глупы! Вот так живешь-живешь на свете уже который десяток, и тошно даже вспоминать обо всех глупостях, какие видел за это время, — прямо не верится, что так могло быть.

Однако самым неприятным было то, что в страну толпами стали возвращаться кюре и монахи, которые служили еще при короле. Они озирались по сторонам, точно крысы, вылезавшие с наступлением ночи из своих нор, и, осмелев, набрасывались даже на священников-патриотов, проде отца Кристофа из Лютцельбурга.

Этот доблестный священник все последние пять лет нигде не выезжал из наших краев, жил своим трудом — делал резную мебель и держал школу, ничего не требуя от республики. Он покупал у нас все, что ему было нужно для своего скромного обихода, и очень жалел, что не повиделся с Шовелем в его последний проезд.

Но когда я думаю об этом далеком смутном времени, больше всего умиляют меня картины нашей семейной жизни — первые шаги нашего маленького Жан-Пьера, хлопоты Маргариты. До чего же велика любовь матери!.. Как все ее тревожит! Стоит появиться ребенку — и она уже ни днем, ни ночью не знает покоя: при малейшем крике она просыпается, вскакивает, успокаивает маленькое существо, поет ему, смеется, носит его на руках, укачивает; стоит ему прихворнуть — она не отходит от его постельки. И так целыми неделями, месяцами, не зная усталости. Смотришь на нее и сам становишься лучше и еще больше начинаешь любить своих родителей!

После того, как у нас родился Жан-Пьер, я раза два или три видел свою мать: она стояла напротив, под навесом старого рынка, притаившись за столбами возле мастерской башмачника Тюрбена, и смотрела на наш дом, — седые волосы ее были запряты под чепчик, из-под обтрепанного, холщового платья торчали сабо. Мне показалось, что она очень постарела. Глянул я на нее из нашего оконца, и сердце у меня сжалось. Я бросился к двери, чтобы позвать ее, пригласить в дом, но она спустилась по лесенке, ведущей на улицу Кровотокающего сердца, и я не смог ее разыскать.

Мне пришла в голову мысль, что, быть может, ей понравился пап мальчиш, ее тянет к нему, и вот теперь мы наконец с нею помиримся. Слезы навернулись у меня на



глаза, но я ничего не сказал об этом Маргарите, боясь ошибиться.

Да и старик отец, укачивая, точно хорошая нянька, малыша и глядя на него счастливыми глазами, не раз тихонько говорил мне:

— Если бы твоя мать, Мишель, увидела его, она благословила бы тебя, благословила бы нас всех.

И вот, когда однажды в воскресенье, сидя у нас в спальне, он повторил это, я спросил:

— Вы в самом деле так думаете, отец? Вы в этом уверены?

— Уверен ли я? — воскликнул он, судорожно стиснув руки. — Ну, конечно, уверен. Это доставит ей величайшую радость... Только вот не смеет она прийти: ведь она так бранила твою жену, и теперь ей стыдно.

Тогда я взял ребенка на руки и сказал отцу:

— Раз так, пошли. Давайте проверим.

— Куда пошли? — недоумевая, спросил он.

— Да в Лачуги-у-Дубняка.

— А твоя жена?

— Маргарита будет только рада, уж вы не беспокойтесь.

Бедный мой отец, весь дрожа, последовал за мной. В лавке я сказал Маргарите:

— Матери приятно будет взглянуть на нашего малыша. Я пошел. К полудню мы вернемся.

Маргарита побелела: она, видно, слышала, что говорила про нее моя мать, но женщина она была добрая и, понимая, что я прав, возражать не стала.

— Иди, — сказала она. — Пусть твоя мать знает, что мы не такие жестокосердые, как она. К тому же я никогда не забуду, что она твоя мать.

Тут отец взял ее за обе руки и хотел что-то сказать, но, должно быть, слезы душили его, он так и не вымолвил ни слова, и мы двинулись в путь. Лишь когда мы уже шли полем, у самой деревни, он вдруг принялся превозносить добродетели Маргариты, ее сердечное к нему отношение, да и не только к нему, а ко всем вообще. В глазах у него стояли слезы. Я молчал, занятый мыслью о том, как удивится при нашем появлении мать, — я вовсе не был уверен, что она хорошо нас встретит.

С таким настроением мы вошли в деревню, миновали харчевню «Три голубя» и, не останавливаясь, прошли

мимо других домиков. Старая улочка была почти пуста, ибо, помимо множества новобращцев и солдат-ветеранов, еще служивших в армии, немало патриотов было мобилизовано на подвозку съестных припасов и снарядов, так что в поле работали одни женщины да старики.

Мать, слишком уже старая для полевых работ, прядла пряжу, что давало ей от пяти до шести лиаров в день; отец зарабатывал от восьми до десяти су своими корзинами, а в остальном Клод, Матюринна и я втихомолку помогали старикам. Так что если бы не старость, которая всегда приносит с собой болезни и легкую грусть, они были бы вполне счастливы.

Погода стояла отменная, в садах полно было фруктов: через ограды свешивались ветки, усеянные яблоками, грушами, сливами, совсем как в дни нашего детства, когда Никола, Клод, Лизбета и я, босоногие, оборванные, бегали по пыльной дороге или вместе с другими ребятами, большая половина которых уже давно на том свете, отправлялись в Скалистую лоцишу.

Воспоминания детства невольно пахлынули на меня, и я призадумался. Две или три старухи смотрели на нас из окошек, но не узнали меня. Воздух гудел от бесчисленного множества мошек, пчелы летали среди листвы. Да, люди исчезают, а вот это — вечно.

Внезапно, завернув за угол старого сарая, я увидел мать, сидевшую на ступеньках нашего дома. День был воскресный, она принарядилась, надела башмаки. И молилась, перебирая четки. Что такое примиди, дуоди, триди, флореали, прернали и тому подобное, она даже знать не желала: весь наш республиканский счет дней и месяцев \* казался ей выдумкой дьявола. Итак, она молилась. При звуке наших шагов она повернула голову, но не шелухнулась. Я решил, что она все еще сердится на меня, но я был неправ: как только она увидела ребенка, ее большие высохшие руки протянулись к нему, она попыталась встать и, вся дрожа, снова опустилась на ступеньку. Ни слова не говоря, ибо я был не меньше ее взволнован, я передал ей ребенка. Она положила его к себе на колени и, обливаясь слезами, принялась целовать. Потом воскликнула:

— Да подойди же, Мишель, чтобы я тебя тоже поцеловала. Только сейчас я думала: «Придется, видно, пойти

к этой еретичке, чтобы повидать моих детей!» А вот господь и прислал тебя ко мне.

И она расцеловала меня.

Потом она развернула пеленки и, увидев, какой малыши розовый, пухленький, весь в ямочках и перевязочках, так и зашлась от радости и гордости.

— Эй, Гертруда! Марianne! — закричала она соседкам. — Идите сюда! Посмотрите, какой ребеночек!.. Тю-тю-тю!.. Ангелочек, да и только! А как похож на нашего Никола!

Кумушки не заставили себя долго ждать, и мы все — отец, мать, я, старухи — склонились над малышом, словно дети над только что найденным гнездышком. Мы смеялись, обменивались восклицаниями, но голос моей матери перекрывал всех. Беззубые старухи строили ребенку рожи, и тот смеялся вовсю. Так продолжалось больше четверти часа. Потом, прихрамывая, подошел старик Сент-Илер. Все восторгалось тем, что ребенок такой здоровенький, так хорошо выглядит, — и не удивительно: после пяти лет нужды и голода жителям Лачуг-у-Дубинька не часто приходилось видеть таких детей.

Мать, пыжась от гордости, все приговаривала:

— А ты все-таки молодец, что пришел, Мишель. Ты у меня хороший сын.

Отец никогда не видел ее в таком хорошем настроении.

— Вот говорил я тебе!.. — шепнул он мне на ухо. — Хе-хе!

Всех огорчало только то, что малышу нельзя дать ни груш, ни яблок, ибо у него еще не было зубов.

К полудню малыши начал кукситься, и моя мать, хоть ей и приятно было всем его показывать, поняла, что он проголодался и пора нести его домой. Пачевая что-то себе вод нос, она запеленала его и проводила нас до самых городских укреплений, счастливая и гордая тем, что несет малыша.

Очень я старался уговорить ее зайти к нам, но она только сказала:

— В другой раз, Мишель, в другой раз... Потом...

Отец сделал мне знак, чтобы я не настаивал, потому что у нее от радости до гнева — один шаг. Словом, так она и не пошла с нами, и у караульной передала мне ребенка.

— Ну, идите же и не мешкайте: мальчик кушать хочет.

Она все стояла и смотрела нам вслед, пока мы не достигли Французских ворот, и дважды крикнула мне:

— Приходи к нам еще, Мишель, приходи поскорей!

Я кивнул в знак согласия.

Так я помирился с матерью. Эта приятная новость обрадовала Маргариту: она была очень за меня довольна. Все было теперь улажено, и я надеялся, что мать в один прекрасный день спокойно и незаметно явится к нам в гости. Мы с Маргаритой решили никогда не заговаривать с ней о прошлом. Коли не можешь сказать человеку ничего приятного, лучше промолчи, да и вообще не стоит вспоминать о горестях нашего брениго мира, — к чему без конца к этому возвращаться.

Хватало с нас и новых неприятностей, которые приносил с собою каждый день, чтобы еще помнить старые! А неприятностей у нас было предостаточно — и тревог тоже; за август и сентябрь 1795 года опасность, которая полтора месяца назад нависала над Бретанью и Вандеей, придвинулась к нам. Вот уже пять месяцев, как армия Самбры и Мааса под командованием Журдана и Рейнско-Мозельская армия под командованием Пашегрю стояли на месте, терпя недостаток во всем: в оружии, снарядах и даже командирах, смещенных этим предателем Обри, который сидел теперь вместо Карио в Комитете общественного спасения.

Закон о том, что половина контрибуций будет выплачена сеном, соломой, ячменем и овсом, еще не был принят, а потому республике приходилось расплачиваться за все злоподучными ассигнатами и соответственно вынуждать их все больше и больше.

Наша войска на левом берегу Рейна обложили Майнц, а в это время на правом берегу Вюрмсер и Клерфе только ждали случая, чтобы снова вторгнуться к нам. Урожай собрали, и все почему-то стали ждать перемен. Торговля у нас пошла вдруг необыкновенно бойко. Город кишмя кишел оборванными солдатами, направлявшимися в Страсбург. С утра до вечера на улице стоял неумолчный шум: гремели барабаны, звучали трубы, слышался мерный шаг батальонов и полков. «Но, но, пошел!.. Да здравствует республика!.. Вперед, воители свободы!..» — звучало вокруг. Офицеры и унтер-офицеры то и дело забегали в нашу лавочку пропустить стаканчик водки и тотчас спешили вслед за своей колонной, — грозная туча войны

надвигалась на нас, и в лавочке нашей всегда полно было солдат.

Храбрые наши воины сразу узнавали во мне отставного солдата — начинались рукопожатия, и мне не раз приходила в голову мысль взять снова ружье, патронташ и зашагать в ногу с ними. Мне слышался треск перестрелки и крики: «Вперед! В штыки!» Меня бросало то в жар, то в холод, как бывало, когда барабаны били: «В атаку!» — и я делал первый шаг левой, но тут взгляд мой падал на нашего Жан-Пьера, сидевшего на руках у Маргариты, я сразу успокаивался и возвращался в свою раковину, радуясь тому, что отпуская у меня в порядке. Да и все действия нашего Конвента, предававшего республику, не вызывали у патриотов особого желания жертвовать жизнью, защищая его несправедливые законы. Каждый говорил себе: «Ну хорошо, мы помрем. Кто же останется? Роялисты, цеголи, всякие там Кабарюсы, бывшие лакеи и придворные поставщики, державшие лавки близ Тюильри; гнусные убийцы с юга, которые снова станут требовать возвращения потомка Людовика Святого — графа д'Артуа и эмигрантов. Нет, нет! Скоро этому Конвенту придет конец, а там посмотрим».

Сами понимаете, что платили нам не золотом и даже не монетами по пятнадцать или тридцать су, а если б кто и дал такую деньги, у нас не нашлось бы сдачи. Лунддор стоил полторы тысячи франков ассигнатами. Где же было хранить такие кучи бумаги? Спасали нас тогда медяки. Каждую неделю я наполнял ими ящик — входило туда ливров триста — четыреста, заколачивал его гвоздями, перевязывал крест-накрест бечевкой и посылал Батиста к Симону, а тот присылал мне взамен расписку и товары.

С тех пор как в прерывале народ потерпел поражение, изменники вообще перестали заниматься чем бы то ни было, их газеты поносили республику, в клубах призывали к восстанию, а у нас только и разговору было что о шайках разбойников, которые засели в лесах, останавливают экипажи, грабят фермы и отбирают у евреев добро. Одна такая шайка в Миттельброве, желая выведать у старика Лейзера и его жены, куда они спрятали деньги, подвергла их пытке раскаленными углями и до того поджарила им ноги, что они умерли. Шиндерганнес орудовал в горах от Эльзаса до Пфальца, и Батист, отправляясь в Страсбург, всякий раз засовывал за пояс два пистолета в аршин

длинной, а в солому прятал саблю и ружье. Помню, как-то раз прошел слух, что бандиты остановили почтовую карету у Гольдерлохских скал, и Батист отказался отвезти мой ящик, тем более что уже вечерело.

Пришлось мне, — чтобы он так не боялся, — взять ружье, сесть рядом с ним на козлы и проводить его до Саверна. Если бы Шиндергашнес объявился в ту ночь, он познакомился бы с сержантом Бастьеном из тринадцатой легкой. Но все прошло спокойно, и, не желая волновать Маргариту, я в тот же вечер вернулся проселком из Саверна, с ружьем за спиной. Вот ведь до какого безответственного положения довела страну «Группа семидесяти трех». Они надеялись с помощью преступлений и предательства заставить нас просить о возвращении короля, ибо открыто объявить себя роялистами они бы никогда не посмели: наши республиканские войска тотчас снялись бы с места и, форсированным маршем покрыв расстояние, явились бы к ним.

Эта группа назначила тогда комиссию из одиннадцати человек для подготовки новой конституции. Все патриоты были в ужасе: это значило, что теперь роялисты установят свои законы.

Новая конституция была принята 17 августа 1795 года и вошла в историю под названием «конституции III года». Прежде всего она провозгласила, что основой порядка служит собственность: тут уж всякому стало ясно, что тот, кто не унаследовал ренты или, вроде Тальена и многих других, не добыл ее иным путем, отныне ничего не стоил. Деньги ставились выше всего — выше храбрости, честности, таланта, преданности родине, выше всех добродетелей.

Далее в конституции говорилось, что депутатов будут выбирать выборщики, а те, в свою очередь, будут избираться по одному от двухсот граждан не моложе двадцати одного года, *которые платят прямой налог*. А для того чтобы стать выборщиком или депутатом, в свою очередь, *надо платить налог, равный стоимости двухсот рабочих дней*.

Таким образом по этой конституции три четверти наших бывших депутатов-монтаньяров не могли бы быть избраны. Теперь французский народ должны были представлять лишь те, кто сочувствовал пруссакам и австрийцам в Шампани и роялистам с англичанами — в Вандее. Судите после этого сами, правы ли были Дантон, Марат,

Робеспьер и прочие монтаньяры, не доверявшие жирондистам, которые спешили разрушить все, что народ создал с таким трудом.

Эта распрекрасная конституция III года оновещала нас еще и о том, что вместо Законодательного собрания у нас будет теперь два совета: Совет старейшин, состоящий из двухсот пятидесяти членов не моложе сорока лет, и Совет пятисот; что Совет старейшин будет обсуждать и предлагать законы, а Совет пятисот будет принимать их или отвергать; кроме того, вместо Комитета общественного спасения у нас будет теперь Директория из пяти членов — она будет назначать министров и следить за тем, чтобы они выполняли законы, вести переговоры с иностранными державами и приводить в действие наши армии.

Таким образом, эти честные люди, которых принято считать жертвами и которые в 93-м году выдавали себя за преследуемых республиканцев, прежде всего восстановили: 1) право вето Людовика XVI, которое они передали Совету старейшин; 2) должности министров, которых назначала Директория; 3) право объявлять войну и устанавливать мир; 4) разделили граждан на активных и пассивных и утвердили двухстепенные выборы, как до 89-го года. Словом, оставалось только посадить во главе страны одного человека вместо пяти директоров, и круг был бы завершен. Уж лучше было бы прямо сказать, что с революцией покончено и что короли, низложенные республикой, одержали над нами верх.

Но страна находилась в столь бедственном положении, что, невзирая на все это, конституция была принята. В Пфальцбурге только Коллен, Манк, Жанги, я да еще пять-шесть патриотов высказались против.

В довершение всех мерзостей реакционеры, засевшие в Законодательном собрании, опасаясь, как бы народ не выбрал в Совет пятисот республиканцев вместо жирондистов и роялистов, издали декрет о том, что две трети членов Совета избираются из членов Конвента. И тут произошло такое, чему от души посмеялись все здравомыслящие люди: эти щеголи и аристократы, воображившие было, что народ непременно их выберет, вдруг возмутились и принялись кричать, что Конвент этим декретом посягает на суверенитет народа. Сразу проявились и алчность и себялюбие этих молодчиков: им ничего не стоило пойти против своей же партии, раз та не дала им первых мест.

Вся золотая молодежь и богатые лавочники взбунтовались, и Конвент вынужден был призвать на помощь якобинцев и выдать им оружие.

Якобинцы охотно разделились бы с теми, кто травил их с самого термидора, но старые лисенцы, засеянные в Конвенте, испугались, как бы якобинцы не перебили их молодых взбунтовавшихся друзей. Правда, старики и молодые тянули каждый в свою сторону, но смертельной вражды между ними не было, старики понимали молодежь: на их месте они поступили бы так же. А потому генерал Мену\* получил приказ действовать осторожно, ищадить заблудшую молодежь. И Мену так пощадил восставших, что, взяв с них слово разойтись, отвел войска.

Казалось, все на этом и кончится, но восставшие были людьми шной породы: увидев, что войска отходят, они решили, что Конвент боится их, и вместо того, чтобы сложить оружие, вздумали диктовать Конвенту свои условия. Тогда Конвент, к великому своему сожалению, вынужден был заменить Мену Баррасом, генералом, прославившимся 9 термидора, а Баррас избрал своим помощником якобинца Бонапарта, которого Обри, как робеспьериста, уволил в отставку. Человек этот не отличался мягкостью. Он решил, что настала пора свести счеты с господами из секции Лепеллетье и соседних с ней, и тотчас вооружил народ; затем, набрав пушек и снарядов, он повел жителей предместий на буржуа и аристократов, которым порядком досталось от них. Бонапарт без жалости расстрелял их картечью на ступенях церкви Сен-Рок. В Конвенте были крайне опечалены этим обстоятельством, но молодых людей надо было проучить. Пятьсот человек полегло на месте стычки; началось это после полудня, а к девяти вечера все уже было кончено\*.

Вместо того чтобы круто и сурово обойтись с побежденными, как это было в жерминале и преринале, на сей раз Конвент проявил мягкость и снисходительность: расстреляли всего двух бунтовщиков и никто не был сослан. Ведь это же были свои, роялисты, — просто они переусердствовали, пытались отхватить побольше народного добра. Как же тут не быть снисходительными! Закрыли, правда, общества, в которых они состояли, — вот и все!

Якобинцы, получив ружья и патроны, могли бы пустить их в ход против Законодательного собрания, но на-



триотам надежда бойня. Любимцы их лежали в могиле! Кем заменить Дантона, Демулена, Робеспьера, Сен-Жюста? Уж конечно, не Лежандром, Тальеном, Фрероном и им подобными.

Все эти события, происходившие в Париже, привлекали наше внимание, и мы обсуждали их каждый вечер в нашей читальне, пока нас не отвлекло другое: к нашему краю подступала война. Крепость вооружалась, как в 92-м; через город нескончаемой вереницей тянулись войска — пехоте, конные, из Альянской армии, из Ванден, отовсюду. Главной ареной военных действий снова становились берега Рейна, Мааса и Мозеля. Торговля у нас шла так бойко, что мы еле успевали обслуживать покупателей. И вот однажды, когда я садился в полдень обедать, Маргарита протянула мне письмо.

— Оно пришло сегодня утром, — сказала она. — От какого-то старика из Ванден. Он просит тебя приехать в Фенетраж повидаться, но у нас сейчас столько работы, что без тебя нам не обойтись.

Смотрю: записка от моего давнего друга — Сома. Его, вместе с их батареями, перебрасывают в Рейнско-Мозельскую армию, под Майнц, и он специально делает крик в пятнадцать лье, чтобы обнять меня.

Прочитав записку, я побледнел.

— Почему ты не дала мне это письмо в семь часов утра, когда оно пришло? — спросил я Маргариту. — Один из моих самых давних товарищей, человек, рядом с которым я многие месяцы ерзался изо дня в день, делает крик в пятнадцать лье, чтобы позвать мне руку, и не находит меня на месте! Да разве так можно?

— А я решила, что это какой-то старий пьянчужка, — сказала она.

Меня затрясло. От возмущения я не мог слова вымолвить. В эту минуту я увидел проезжавшую мимо почтовую карету, схватил шапку и выскочил из дома.

— Стой! Стой! — закричал я Мюро.

В кармане у меня не было ни гроша. Дядюшка Мюро остановился, я сел на козлы рядом с ним, лошади рванули, и мы помчались. Добрых четверть часа я молчал: все никак не мог прийти в себя. Наконец, заметив, что Мюро с удивлением смотрит на меня, я рассказал ему о том, что произошло.

— Э, — сказал он, — это пустяки. А рассердился ты правильно. Все бабы друг на друга похожи: на уме у них только муж да детишки.

И он долго еще разглагольствовал, но я его не слушал. Начался большой подъем к Вэхему, и карета еле ползла; сгорая от нетерпения, я попросил Мюро одолжить мне шесть ливров и с быстротою лани помчался по дороге. Сердце у меня обливалось кровью при одной мысли, что бедняга Сом, быть может, уже ждет меня и — чего доброго — еще уйдет, так и не дождавшись. Я прошел через Меттинг, Друзинген и другие деревни, лежащие на моем пути, не глядя по сторонам и нигде не останавливаясь. К трем часам, проделав пять лье, я подошел к Фенетражу. Едва переступив порог харчевни «Звезда», я спросил:

— Он ушел?

— Кто это? — переспросил меня дядюшка Брикб.

— Да тот, который ждал меня.

— Сержант капопрров?

— Да.

— Ну, он нас честно ждал. Но теперь уже будет с час, как ушел.

Значит, я все же опоздал. От огорчения и неволью воскликнул:

— Бедный старик!.. Вот ведь бедняга!.. Надо же — прийти из такой дали!.. Ах, какая беда!

Присел я к столу и, перекусив куском хлеба с вином, написал моему доброму старому товарищу длинное письмо, в котором все ему объяснил и извинился. Я наклеил на письмо марку и сам опустил его в кружку, а затем двинулся в обратный путь, размышляя о том, какие эгоистки эти женщины. Право же, даже лучишке из них — отъявленные эгоистки: думают, что любить можно только их да семью.

В Цфальдбург я вернулся поздно. Городекие ворота были уже закрыты: пришлось звать старика Лебрена, чтобы он открыл.

Подходя к паней лавке, я увидел сквозь щели в ставнях свет, тихонько дважды постучал, и Маргарита открыла мне. Она явно плакала, и я сразу расчувствовался. Я хотел было извиниться перед ней, но она была так рада моему возвращению, что, не дав мне рта раскрыть, принялась винить во всем себя. Словом, вместо того чтобы

дуться на меня, как я опасался, она после этого случая стала еще больше меня уважать.

Что-что, а женскую природу я отлично знаю. Женщины любят людей прямых и подчас с ними нужно говорить твердо и резко — все, что думаешь. И всегда настаивать на своей правоте и требовать послушания, иначе любая — будь она самой хорошей или самой скверной из женщин — так тебя к потю прикмет, что и будешь сидеть под банмаком и ходить по струнке.

После того случая Маргарита стала еще нежнее со мной: теперь я читал по утрам письма и я же отдавал все распоряжения — сначала, конечно, посоветовавшись с женой.

Но все же мне было грустно оттого, что не удалось повидать моего друга Сома: положение становилось все серьезнее, и, кто знает, ведь можно было и не увидеться с товарищами по оружию. Журдан перешел Рейн в Дюссельдорфе и пошел вверх по правому берегу. Все, конечно, думали, что он действует в согласии с Пиннегрю, что тот тоже перейдет реку либо у Гунингена, либо у Страсбурга и потом они вместе нападут на врага. Содня на день ожидали известия, что обе армии передвигаются вместе по правому берегу. Но прошло три недели, а Пиннегрю все стоял на месте. Журдан очутился между двух неприятельских армий — Вюрмсера и Клерфе. Сразу, конечно, возникала мысль об измене, особенно у старых солдат вроде меня, которые знали, что значит рассчитывать на помощь и не получить ее. Я видел, к каким страшным последствиям это могло привести!

Наконец стало известно, что Пиннегрю все-таки решил перейти Рейн и без боя взял Мангейм. Весь Эльзас и вся Лотарингия праздновали победу. С каждой почтой надеялись узнать, что Журдан и Пиннегрю соединились в Гейдельберге и, вклинившись таким образом между двумя вражескими армиями, раздавят их теперь одну за другой. Пиннегрю надо было лишь немного пройти вперед, но он двинул не всю армию, а две дивизии, которые были тут же окружены и уничтожены. Клерфе вошел победителем в Гейдельберг. Журдан, опасаясь нападения с тыла, переправился обратно через Рейн в Нейвиде. Противник вернулся в Майнц. Вражеские войска перешли мост и заставили нас снять осаду с левобережной части города. Пиннегрю потерял еще девять тысяч человек, которых он

зачем-то оставил в Мангейме, когда переходил через реку, а перейдя, стал беспорядочно отступать к Виссенбургским укреплениям.

Тем временем к нам прибывали тысячи раненых. Даже и половину их не удалось разместить по лазаретам, а потому они заполнили все соседние деревни. Немало их привозили из Меца. У всех горожан был кто-нибудь на постое, и обе наши казармы были забиты этими несчастными — совсем как в Анже, Сомюре и Нанте после сражений под Лавалем, Ле-Маном и Савенэ. Тем, кто еще не видал такого, казалось, что раненые со всего света прибывают в Нфальцбург. Им и псевдомек было, что генералы никогда не говорят правды о своих потерях и в допесенных уменьшают их раз в десять.

Однажды утром, когда я открывал свою лавку, через Французские ворота в город въехали несколько обозов с ранеными. На старом рынке, прямо на улице, под открытым небом разложили матрасы. Дело было в начале ноября, и погода стояла уже холодная, — и хорошо, что холодная, ибо от раненых, большую часть которых не перевязывали с самого Кайзерслаутерна, Гомбурга и Цвейбрюккена, шел настоящий смрад.

Пока телеги не торопясь подъезжали к площади и их разгружали, ко мне подошел гражданин Дапрео, главный аптекарь местного госпиталя, и сказал, что один из раненых хочет со мной поговорить.

Я последовал за ним и посреди рынка, на матрасе, возле большого столба, увидел давнего моего друга Сом; глаза у него запали, и был он такой желтый, что я с трудом его узнал.

— Это я, Мишель, — сказал он. — Ты что, не узнаешь меня?

Я наклонился, чтобы поцеловать его, но от него шел такой страшный запах, что мне стало нехорошо, и я схватился за столб. Он заметил это.

— У меня в бедре застряла картечь. Скажи, чтобы меня увезли отсюда, я сам себя буду перевязывать.

Я пришел в ужас при одной мысли, что у нас в доме будет такой запах. По счастью, подле меня уже стояла Маргарита.

— Ты знаешь этого человека? — спросила она.

— Да, это мой бедный товарищ Сом.

Она тотчас распорядилась, чтобы его отнесли к нам и через нижний коридорчик подняли наверх, в комнату, где у нас была лишняя кровать. В эту минуту на носилках принесли сразу еще пять или шесть раненых, и я пошел к себе.

«Боже мой! — думал я. — Вот ведь несчастье! Надо же, чтобы самые дорогие люди возбуждали такое отвращение!»

Но во многих случаях женщины оказываются мужественнее нас — верховное существо послало нам это в утешение. Иначе, что бы с нами со всеми стало? Три четверти больных были бы брошены на произвол судьбы.

К тому времени, когда прибыли повозки с Сомом, Маргарита все успела приготовить в комнате наверху. Сидя в лавке, я слышал шаги санитаров на лестнице, но у меня не хватало духу пойти за ними, а ведь я видел страшную резню в Вандее, но когда человек сам находится между жизнью и смертью, среди всех этих ужасов, он уже ни на что не обращает внимания.

Скажу вам одно: первую неделю никто, кроме Маргариты и доктора Штейнбрэннера, не ходил наверх. Даже старая акушерка Мари-Анна Ламель, жившая на той же площадке, не вытерпела зловония и ушла. Маргарита резала бинты и шиндела корпию. Однажды утром пришел доктор вместе со своим коллегой Шьефором, чтобы извлечь застрявшую пулю. Им это далось нелегко, ибо Сом, человек удивительно стойкий, кричал на крик, так что было слышно внизу.

Но хватит обо всех этих ужасах!

Через какие-нибудь три недели бедный мой товарищ уже ходил на костылях и, по своему обыкновению, посмеивался:

— Вот видишь, Мишель, я и на этот раз выскочил, хе, хе!.. Больно хорошо твои жена за мной ухаживала: если бы не ее наваристые супы, быть бы уже мне на том свете!

И это верно. Сколько других раненых, из-за плохого ухода, нашли успокоение на новом Тополитном кладбище по дороге в Мец! Много лет спустя, когда в этих местах прокладывали новую дорогу, откопали уйму скелетов. Прохожие останавливались, смотрели на них и говорили:

— Зубы-то у них какие белые! И все целехоньки!

Еще бы! Ведь в 95-м году этим молодцам было по двадцать—тридцать лет. Ради славы и денег Пиннегрю послал

тогда на смерть пелые две дивизии, не говоря уже о тех, что погибли при отступлении. Этот злодей в ту пору уже сговорился с принцем Ковде, обещал сдать ему Гунвиген, а потом вместе двинуться на Париж. *Вот вам герой-роялист!* За две недели он погубил своим предательством множество республиканцев, служивших под его началом. Да Комитет общественного спасения за полтора года не гильотинировал столько аристократов и изменников! И после этого находятся люди, которые до сих пор не могут без охов и ахов говорить о терроре: они, видно, считают крестьян ослами; но предупреждаю — они ошибаются! Народ, которого обманывали целых шестьдесят лет, начал понимать что к чему, он не желает больше слушать красивые слова и громкие фразы, он хочет знать правду.

В то время еще никто не считал Пишегрю, завоевателя Голландии, изменником. Я, правда, не доверял ему, но не решался громко высказывать свое мнение. Однако Сом в первый же день, как сошел вниз на костылях и сел с нами за стол, рассказал, вкосо поглядывая на меня, как было дело, и я понял, что мы думаем с ним одинаково. Под конец он вскричал, как, бывало, в 92-м году парижские федераты:

— О, Марат! Истинный друг бедного народа! Они начали с тебя! Твой зоркий глаз стеснял их, и они вонзили тебе нож в сердце. Ты один видел правду и умея угадывать будущее. Ты раскусил всех этих Дюмурье, Кюстинов и Лафайетов. Этого Пишегрю ты бы тоже засадил за решетку, прежде чем он успел бы нанести удар! Ох, Марат!

И бедный старик, еле сдерживая слезы, вверил взгляд в пустоту.

Ни разу еще мой старший товарищ не высказывался так откровенно, как в тот день. Маргарита, Элоф Коллеи, Рафаэль и другие патриоты, сидевшие у нас, стали вспоминать Дантова, Робеспьера, Сен-Жюста, но он только с жадностью посмотрел на них и замахал рукой.

— Э, что там! — воскликнул он. — Конечно, это были добрые патриоты, а все-таки сущие дети! Цедаром они все друг с другом перессорились. Если бы Марат был жив, он помирил бы их: у него одного было больше здравого смысла, чем у них у всех, вместе взятых.

Сом, конечно, преувеличил малость, как всегда бывает, когда человек распадется. Долгая болезнь сделала его раздражительным! К тому же старина любил Марата,

как я любил Дантона, а Элоф Коллен — Робеспьера. Это у нас, французов, такой уж недостаток: слишком мы привязываемся к людям и ставим их выше принципов. Мы готовы приписать им все таланты и все добродетели, если только они защищают наши идеи. Словом, нам необходимы вожди! Эта злополучная наша слабость принесла величайшие несчастья нашему народу, она породила раздоры среди республиканцев и одни стали уничтожать других, — эта слабость в конце концов погубила республику.

Из всех патриотов, каких я знал в то время, один только Шовель ставил идеи выше людей; и он был прав, ибо люди уходят, а идеи вечны.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В то время, когда Пинегрю отдал свои дивизии на погребление австрийцам, у нас проходили выборы. Вскоре после этого газеты сообщили, что Конвент объявил свою миссию законченной и новые депутаты, разделившись по возрасту, образовали Совет старейшин и Совет пятисот; Совет пятисот затем избрал пятьдесят членов, из которых Совет старейшин выбрал пять директоров: Ларевельера-Лепо\*, Летуриера\* (из Ла-Манна), Ревбея, Вarrаса и Карно — вместо отказавшегося Сийеса. Каждый год один из пяти директоров подлежал замене, но они могли быть избраны и вновь. А в обоих Советах одна треть членов обновлялась каждый год.

Конвент закончил свою деятельность 26 октября 1795 года, таким образом он просуществовал три года и тридцать пять дней и издал свыше восьми тысяч декретов. Но после 9 термидора и возвращения жирондистов-роялистов честные члены собрания и истинные республиканцы уже не могли помешать большинству открыто губить республику. Поэтому все порядочные люди были счастливы, что Конвенту пришел конец.

В тот же день мы получили от Шовеля письмо, в котором он сообщал нам, что возвращается в Пфальцбург, а еще через день, во вторник, когда все жители округи съезжаются на рынок и наша лавка была битком набита покупателями из горных мест, в широкополых шляпах,

с плетенками и корзинами, появился и он сам, с кожаным саквояжем в руке. Как, должно быть, порадовало это зрелище Шовеля, знавшего толк в торговле! Мы вышли из-за прилавка и бросились обнимать его, — радость нашу нетрудно себе представить. А он весело приговаривал:

— Ладно, ладно, детки. Продолжайте свое дело! Поговорим после. А пока я пойду отогреюсь в читальне.

Он просидел там три часа, наблюдая за нашей торговлей сквозь стеклянную дверь с мелким переплетом; глаза его блестели от удовольствия. Знакомые крестьяне и патриоты друг за дружкой шли здороваться с ним. Все шутили, смеялись, а мы старались побыстрее отпустить покупателей, чтобы перекинуться с ним словечком, — и снова возвращались за прилавок.

Только к часу дня, когда торговцы зерном, овощами и птицей отправились обратно по своим деревням, смогли мы наконец спокойно пообедать и поговорить.

Особенно радовало Шовеля то, что мы не только бойко торговали напитками, а также бакалейным и мелочным товаром, но еще и распространяли в большом количестве газеты и патриотические книги. Он все ходил взад и вперед по нашей комнатушке с ребенком на руках и восклицал:

— Вы делаете нужное дело! В былые времена, когда я шагал из деревни в деревню с коробом за плечами, на это уходило столько сил! А теперь люди сами идут к нам, и все у нас под рукой. Наши клубы закрывают, ну и пусть: мы откроем клуб в каждой лачуге, даже в глухих горных деревнях. Вместо того чтобы читать по вечерам истории о разбойниках да колдуньях, люди будут читать рассказы о героических подвигах и благородных поступках наших граждан, об их открытиях, изобретениях, начинаниях на благо родины, об успехах торговли, ремесел, земледелия, — словом, обо всем, что может пойти на благо людям, а не затуманивает их сознание, внушая всяческие суеверия, и не является пустым времяпрепровождением. Мы принесем этим громадную пользу.

Он был очень рад познакомиться с моим давним приятелем Сомом; они с первого же взгляда оценили друг друга и, точно старые товарищи, обменялись крепким рукопожатием.

В тот же вечер, после ужина, пришли Рафаэль Манк, Коппец, новый раввин Гугенхейм, Ароц Левин, дядюшка



Жан и мой отец. После того как с объятиями и изъявлениями радости было покончено, они заговорили о политике.

Шовель рассказал о том, как обстоит дела; при нынешнем положении, сказал он, когда страну раздирают распри, когда мы стоим на пороге разрухи, а народ над духом, патриоты должны быть вдвойне осторожны. Дядюшка Жан заметил, что конституция 11 года ведь утвердила за каждым право на то, чем он владеет, — значит, революция более или менее закончена. Но Шовель горячо возразил ему:

— Вы очень ошибаетесь, дядюшка Жан, эта конституция ничего не доводит до конца, наоборот: все неясно. Выработали ее роялисты-конституционалисты и буржуазия для того, чтобы отстранить народ от управления страной и не дать ему воспользоваться плодами побед республики над деспотизмом, хотя он имеет на это законное право. Когда я говорю, что буржуазия — сообщница роялистов в этом гнусном деле, то я разумею не честную буржуазию, а всяких интриганов, пытающихся сбить ее с толку. Настоящие буржуа — это дети народа, возвысившиеся над ним благодаря своему уму, образованию и храбрости; это торговцы, фабриканты, подрядчики, адвокаты, законники, доктора, честные писатели, разные художники, — словом, все те, кто вместе с крестьянами и рабочими способствует обогащению нашей страны\*.

Эти буржуа хотят лишь свободы; в ней — их сила, их будущность. Без свободы эта настоящая буржуазия, та, которая в свое время потребовала уничтожения цехов и гильдий, а затем в провинции составляла наказания представителям третьего сословия, которая благодаря своей твердости и своему здравому уму сумела восторжествовать над королем, дворянством и духовенством, — без свободы эта мужественная и стойкая буржуазия, честь и слава Франции на протяжении веков, неминуемо погибнет!.. Но рядом с этой буржуазией, к сожалению, существует другая, которая всегда жила за счет казенных мест и пенсий, монополий да привилегий; которая во всем была послушна королю, лишь бы иметь высочайшее соизволение обдирать как лшпку народ.

Эта буржуазия не хочет свободы — ведь свобода возвышает ум, труд и честность над интригами; буржуазии же эта предпочитает жить щедротами какого-нибудь

принца или правителя, — так легче. И детей своих она воспитывает в таком же духе: учит их сгибать спину, кланяться до земли перед сильными мира сего, — и вот они уже пристроены, и будущее их обеспечено. Эта-то буржуазия, несмотря на наши протесты, и прозацила конституцию Третьего года: семьдесят три жирондиста, вернувшиеся после термидора в Конвент, да еще роялисты — вот оно и получилось большинство. Теперь куда легче стало осуществить переворот, которому тридцать первого мая девяносто третьего года помешал Дантон. Мы никак не могли!.. Эти господа ввели двухстепенные выборы, создали два Совета и Директорию; и козь скоро им нужна была поддержка, эти мераавды увлекли за собой и настоящую буржуазию, внушив ей страх перед народом и приобщив к барышням.

Шовель говорил так ясно и доказательно, что ему ничего было возражать.

— Итак, — продолжал он, — депутатом теперь может быть лишь тот, кто имеет собственность или доход, равный стоимости двухсот рабочих дней. Чего же добились этим так называемые честные люди? Они отделили народ от буржуазии и посеяли между ними вражду. Они воображают, что теперь, после революции, народ станет, как прежде, отдавать свою кровь и плоды своего труда таким вот буржуа, которые будут управлять страной, выжимая из нее все соки, с помощью конституционного монарха, какого-нибудь толстяка, обязанного только сладко пить и сладко есть. В их конституции отведено место для такого короля, — временно его занимает Директория. Многие предлагали уже теперь призвать короля, но, на их беду, Людовик Восемнадцатый рассчитывает на большее: он не желает никакой конституции, он хочет быть королем «милостью божией», как Людовик Шестнадцатый и Людовик Семнадцатый, абсолютным властелином, окруженным дворянством, а вовсе не буржуазией. Вот в этом-то и все затруднение! А народ, лишенный своих прав, никаких затруднений им чинить не станет: они уверены, что он покорится... Вот дурачье!

Шовель рассмеялся, согнувшись в три погибели над нашим маленьким столом, но все мы молчали, и он продолжал:

— А знаете, что все это означает? Что революция не кончилась, что она идет и идет. Только слепой этого

не видит. Появись Дантон через три, четыре, десять или двадцать лет, армия для него уже будет готова, и ею станет ограбленный народ, требующий справедливости! Дантон скажет слово, и снова вспыхнет революция; снова прогонят короля, принцев и интриганов. Честная буржуазия окажется разоренной: коммерция пошатнется, ремесла захиреют. Ей опять придется расплачиваться, в то время как стяжатели, захватив казну, укроются в безопасном местечке, чтобы переждать грозу. А затем эти стяжатели вернутся с очередным принцем и составят новую конституцию для новых буржуа, ибо у прежних уже не будет ни гроща в кармане, — они же будут неизменно благоденствовать вместе со своим королем. Понемногу дела наладятся, но основной вопрос по-прежнему не будет решен; после Дантона появится какой-нибудь победоносный генерал; он двинется на Париж, громогласно возвещая:

«Я иду защищать права народа».

Народ едва ли станет выступать против этого генерала. И вот начнется новая революция! И она будет возобновляться до тех пор, пока буржуазия не откажется от аристократов и интриганов, действующих от ее имени, открыто не примет сторону народа, не станет вместе с ним добиваться свободы, равенства, справедливости и не признает республику, основанную на всеобщем избирательном праве — единственно возможной у нас формой правления. Вот тогда революция будет окончена. Откуда же возьмутся беспорядки, если народ и буржуазия будут заодно? Каждый гражданин займет тогда то место, какое он заслужил своим трудом, умом и добродетелью; и можно будет жить спокойно, не боясь со дня на день лишиться всего. Помните мое слово: молодые люди вроде Мишеля еще убедятся, что, пока пропасть между народом и буржуазией не будет уничтожена, пока хоть один рабочий, говоря о буржуа, сможет сказать: «Это привилегированный», — революции будут следовать одна за другой. Конституция Третьего года породит великие беды. Она ничему не положит конец, как думает дядюшка Жан, — наоборот; она развяжет гражданскую войну, которая будет длиться многие годы.

Все наши друзья с удовольствием слушали Шовея, а мой приятель Сам то и дело вскакивал со своего места и пожимал ему руку.

— Правильно, гражданин, я тоже так думаю. — говорил он. — Революция только тогда может кончиться, когда просвещенная буржуазия станет во главе ее и будет поддерживать республику. Буржуазия — это штаб народа. К несчастью, у нас нет теперь таких буржуа, как Марат, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Камилла Демулен, а ведь все это были буржуа, адвокаты, доктора, ученые, люди, способные ударить в набат, поднять секции и пойти во главе народа.

— Да, — согласился с ним Шовель, — но их всех поглотила революция. Вот аристократы и не боятся теперь жителей предместий, ибо те лишались вождей. Народ устал от междоусобиц, а последний голод перед преринальским бунтом и вовсе доконал его. Теперь роялисты ищут генерала, который мог бы поднять армию против республики; если они найдут такого, буржуазия погибла: сколько бы она ни звала на помощь народ, раз она его предала, народ не станет вмешиваться. А в результате — наиболее просвещенная часть нации, трудолюбивая буржуазия, будет парализована, ибо у нее не хватило смелости быть справедливой по отношению к народу, записать его образованием, воспитанием, приобщить его к управлению страной, выдвинуть на первые места, если он того достоин. Тунеядцы должны гибнуть и исчезать, а люди труда — возвышаться, и судить о том, какое место должен занимать человек в обществе, следует по его делам, а не по деньгам. Вот в чем смысл нашей революции. Если буржуазия не хочет этого понять, тем хуже для нее: пусть объединяется с роялистами — она будет, как сор, выметена вместе с ними, ибо в конце концов республика восторжествует во всей Европе.

Шовель любил выражаться пространно. Я уже не помню всего, что он говорил, но главное осталось у меня в памяти, ибо если у нас и не появилось нового Дантона, зато в генералах недостатка не было, даже в генералах английских и прусских, русских и австрийских, которые явились топтать нас своими саножницами. А такого уже не забудешь! И причиной всему была конституция III года.

В тот вечер собравшиеся у нас друзья остались очень довольны: теперь они яснее поняли, что представляет собой наша конституция, и решили время от времени собираться, чтобы потолковать о положении в стране.

А Шовель уже на другой день целиком занялся нашей торговлей: он подробно осмотрел наш товар, узнал, сколько

мы получили барыша, сколько задолжали, сколько взяли в кредит. Помните, на третий или на четвертый день после своего приезда он выписал такое множество газет и республиканских брошюр, что я подумал, уж не помещался ли он. А он только посмеивался и говорил мне:

— Не волнуйся, Мишель! Все, что я куплю, я наверняка продам. Я принял для этого кое-какие меры.

К концу недели мы получили несколько пакетов с небольшими объявлениями, отпечатанными у Жарейса в Сабурге. Эти объявления, величиной с ладонь, гласили: «Бастьен-Шовель торгует: чернилами, перьями, бумагой и прочими канцелярскими принадлежностями; он же торгует: бакалейными товарами, галантереей и прикладом для военных; отпускает водку и всякие папки; выдает книги для чтения за тридцать су в месяц и прочее и прочее».

— Послушайте, папана, — спросил я его, — что же вы собираетесь делать с этими объявлениями? Уж не хотите ли вы разослать людей по деревням, чтобы их расклеить? Вы же знаете, что крестьяне наши почти поголовно неграмотны. К чему же такие расходы?

— Мишель, — отвечал он мне, — эти объявления сделаны для тех, кто умеет читать. Мы их подклеим с внутренней стороны к переплету книг, которые продаем или даем для чтения; они попадут в самые разные руки и все будут знать, что Бастьен-Шовель продает много всяких товаров.

Здорово это он придумал, и вот целые две недели по вечерам мы наклеивали объявления на книги из нашей библиотеки, на брошюры с текстом «Прав человека» и даже на календарь, которые пользовались наибольшим спросом.

Другие бакалейщики, торговцы галантереей и скобяным товаром, а также вином и водкой, видя, что наша лавка всегда битком набита покупателями, удивленно восклицали:

— Да что у них там такое, что весь город бежит к ним, как на ярмарку?

Одни видели причину в том, что лавка наша стоит на углу улицы, другие — что она напротив рынка; на самом же деле успех нам принесли объявления, благодаря которым имя Бастьена-Шовеля стало известным за три, за четыре льва от Пфальцбурга, равно как и то, чем он торгует. Тогда и другие, видя, как бойко идет у нас дело,

Затем он точно так же усмирив и Бретань, истребил  
всех иудеев, а христианам сжег: — Книжите сновидно, молитесь богу, встаете утром, при  
вспугблике все свободны, кроме рабобинков, которые всег  
хотят поубавиться, а делят ничего не хотят.

Люди в толу вревени в болышинстве своем до того  
устану, до того намушались, что мажками лишь поков.  
В Парике вевствились, танивали, каваки празники,  
развакандь на все лады. И, новитно, говорю о чье-  
нах Совета питисот, Совета стареини и Лирветорни,  
об их женах и сыгах. Не раз Шовель, читая об этом,  
качал головой и говорил:

— Эта Лирветорня пахо кончит, но некая во всем  
впнеть ее. Люди так настраивались, потеряли столько кро-  
ви, а те, кто был у власти, оказались такими черствыми  
и жестокими — и к себе и к другим; они превратили до-  
броделъ в такую тяжкую муку, что народ пад духом,  
теперь уже ни во что не верит и на все махнул рукой. Сиди  
бог, чтобы наши герцоги оказались патриотами и пори-  
училими людьми! Ну, кто нынче может избобичить их, по-  
тннить в суд, осудить и наказать? То, на что Ларфасты  
и Лемурье шли, рискуя жизнью, теперь ни для кого не  
составит труда.

Очень мы образовались, а особенно Сом, когда узнали,  
что Ливерю наконец сменил. В Парике у некоего Ле-  
метра нашли бумажки, показывавшие, что он, Парик, быва-  
ет-и-Анжис, Камбесерес, Ланжонне, Шар, мавар, бан-  
литской мажи Нелу и многие другие нели перенеску  
с графом Прованским, именовавшим себя в ту пору Лю-  
довиком XVIII. По-настоящему — сеголосаго авестовать их  
и преть сяду, нам это делалось в пренние годы, но при  
Лирветорни республика была так слаба, что малейший  
нужия казнен не мог силой простым смертным. У Лирве-  
торни хватало сил лишь на то, чтобы преследовать патрио-  
тов, требованных посланованных конституция 93-го года;  
против них отличались все — точно это были преступни-  
ки, хуже тех, что намеревались продать родину.

Там пропала зима.

Други, подступившие к Эльзасу и Лотарингии, не прет-  
приняли ничего серьезного, никак, полагаясь на то, что  
реакция внутри страны достаточно быстро встанет свое  
дело и они скоро смогут вступить в Парик без вся-  
ких боен.

начали торговать теми же товарами. В было войтушки, по нашему Шонгюль привезли удобривший мени: мени: — Да что ты, Мингел, пусть себе! Сами-то голоны у буди нест, — вот они и стараются нам подкупить. А это знают, что мы всею будем обходить их. Вот это и называешь торговлей, подобно торговле. Если хочешь сам торговать, свободной, найю, чтоб она была у всех. Мы должны только сделать, чтобы маньчжур-индуйч мерзавцы и монголы не наехали на них, объявивши с мангем Баттеван-Шонгюль на наркотини — вот этого уже нельзя сказать. Тогда мы продадим и сун, и дуюно наместить им не удастся, ноо честные люди, каких бы убеждений они ни принадлежали, всегда выступают против монголинов. Потому и гунгестунют сун, потому и уязвляется правосудие.

Птак, с возвращением Шонгюль наша маленькая торговля стала все больше и больше процветать, а мангю тем зима 1730 года была очень тяжкая: конечно, несчитая той все росло, и вместо не хотел принимать их.

Инвертория же выпискала все новье и новье, но на наустояли, а наю было содержать армию, платять мангоманье чиновникам, судическим и прочим. Подкопание было просто отчаянное! Принимое, каке платят денгер, чтобы поковия пожелел нагудой: сенок, сокомой и разного рода зерно — эти нужи армии. Эта мера выказала сильный ронот: крестьяне, потухшие почти зауром дуюнью часть государственных земель, теперь и думать об этом забыли, а если и не забыли, то они не желали служить, — бедняки и неохотность всякую пустили борю. А ведь если разобратся, все мало от глупости, потому что, откажись мы содержать армию, дуюние перулись бы во Францию и крестьянам не удалось бы сохранить свою землю.

В ту же зиму Том уездный Вангю, которая снова поставил и расчот на прибытие графа д'Артуа. Но этот пономон Людовика Квитого и Генриха IV оказали трудом Вангюинис на острове Лье, он, несмотря на все уговоры Шаррета, отказался вступить в Вангюю и возвратился в Англию, бросил на прощание судьбы несчастных, которые хотели, чтобы его не пощадят.

Том разрознил восточных, очисти леса и болота от мягачников и разрознил мирным жителям поселяются в свои черны; он взял в плен Стюфре и Шаррета и расстрелял их. Стим он и прославился.

В конце марта Сом, вполне оправившийся от раны, расширился с нами и уехал в свой батальон в Рейнскую армию, командовать которой только что назначили Моро. Месяца через полтора я получил письмо от Мареско, который находился в то время вместе с Лизбетой в тринадцатой временной полубригаде, сформированной из вантаза из первого и третьего батальонов вольонтеров Приморской армии. Он писал мне из Италии, из города Чераско. Было это в апреле 1796 года.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Настала весна IV года, и по стране прошел слух о крупных победах в Италии, однако у нас в краю куда больше интересовались тем, что происходит с армиями Самбры и Мааса и Рейнско-Мозельской, которые только еще собирались начать кампанию. Ну, не все ли нам было равно, шестьдесят или восемьдесят тысяч австрийцев находится по ту сторону Альп, если двадцати тысяч солдат в горных проходах достаточно было, чтобы не пустить их во Францию? Мы могли только радоваться: чтобы сохранить за собой Италию, австрийцам приходилось держать там добрую треть своих сил. Зато нам, если бы мы вздумали их атаковать, надо было выставить столько же солдат, а это значило обнажить побережье у Бреста и Шербура, Пиренейскую границу и границы на севере и востоке страны, — впрочем, со временем все равно нам пришлось это сделать. Проиграй мы хоть одно большое сражение на Рейне — и республике бы не устоять. Люди здравомыслящие понимали это, и тем не менее наши победы в Италии, следовавшие одна за другой, изумляли весь мир.

Нас же совершенно изумило письмо Мареско. Зять мой, как и все его земляки, ни в чем не знал ни меры, ни удержу; письмо свое он начинал с воззвания Бонапарта:

«Солдаты, вы ходите голодные и раздетые. Правительство многим вам обязано, но ничего не может для вас сделать. Я поведу вас в самые плодородные долины мира, там ждут вас почести, слава и *богатство*. Солдаты, неужели у вас неостанет храбрости?»



Велед за тем этот мерзавец подробно расписывал победу за победой — при Монтепотте, Миллесимо, Дего, Мондови. Мне казалось, будто я слышу его голос: он не говорил — он орал и плясал, как при рождении Кассия. Ни стрельба, ни пожары — все ему было ни о чем. Нахватать, нахватать побольше — только об этом он и думал. Время от времени он прерывал свое повествование и возглашал, что на свете существует лишь один генерал — Бонапарт! А все прочие — Клебер, Марсо, Гош, Журдан — по сравнению с ним мозгляки, сущие карлики. После Бонапарта он признавал только Массена, Лягарна \*, Ожеро \* да еще двух-трех из Итальянской армии. А потом начиналось все сначала вперемежку с описаниями награбленной добычи и того, как довольна Лизбета да как хорошо выглядит Кассий. Письмо нестрело незнакомыми нам названиями — Бормида, Кераско, Чева и тому подобными, звеневшими, как цимбалы.

Всю жизнь буду помнить, какое у папани Шовеля сделалось лицо, когда он прочитал это письмо, сидя у нашего столика в читальне. Он поджал губы, насунулся и с минуту задумчиво смотрел перед собой. Особенно привлекло его внимание воззвание Бонапарта: он читал его и перечитывал чуть ли не вслух. Дойдя до того места, где Мареско восклицал, что Бонапарт, который был от горшка два вершка, величавее Клебера, в котором было шесть футов росту, Шовель усмехнулся и промолвил тихо:

— Твой зять не учитывает величия души, а душа — она ведь тоже занимает место и прибавляет рост. И-то видел его, этого Бонапарта, мы друг друга знаем!

В конце своего длинного послания Мареско писал, что с того места, где стоит их батальон, видна вся Ломбардия, со своими рисовыми полями, реками, городами, деревнями, а вдали — на расстоянии этак ста ле — высятся бело-спешные вершины Альп! И все это принадлежит им, писал Мареско. Они покорят эту страну, ибо верховное существо создало мир для храбрых. Он советовал мне вернуться в строй, уверяя, что теперь повышения не придется долго ждать и не будет недостатка ни в довольствии, ни в деньгах. Ну, о чем еще может писать алчный грабитель!

Лизбета, не знавшая грамоты, как видно, велела ему прочесть ей письмо, ибо внизу страницы стояло пять или

шесть крестов, как бы говоривших: «Да, я тоже так думаю. И да здравствует веселье, битвы и повиновения! Все должно нам принадлежать, и мы всего нахапаем, а я стану герцогиней».

Письмо это вызвало немало толков в нашем краю. Я дал его почитать дядюшке Жану, а дядюшка Жан позавтра передал его другим. Оно переходило из рук в руки, и все говорили:

«Бонапарт — ведь он же якобинец, старинный друг Робеспьера. Он расстреливал роялистов и вандемеров. Уж конечно, он восстановит «Права человека».

Такие разговоры мы слышали каждый день.

После термидора снова открылся наш бывший клуб, только последние месяцы там собирались великие старые одры, приверженцы бывшего кардинала де Рогана, причастные к сбору союзного палого и десятины, и принимали разные петиции о возвращении эмигрантов, о возмещении убытков монастырям и прочее, и тому подобное. Ни один разумный человек не ходил их слушать, так что волеизволей они ораторствовали для самих себя, а это всегда скучно.

Но в пятницу, через несколько дней после того, как пришло письмо от Марсело, патриоты, приехавшие на рынок, захватили клуб. Элоф Коллеп написал длинную речь; дядюшка Жан Леру хотел, чтобы собравшиеся подписали обращение к солдатам Итальянской армии и выразили благодарность ее главнокомандующему генералу Бонапарту. Часов около одиннадцати, в самый разгар торговли в лавке, пашаля Шовель вдруг надел свою куртку, взял картуз и вышел. Куда он отправился, мы не знали, как вдруг с площади донесся страшный шум. Я выглянул на улицу и увидел Шовеля, за которым гналась по пятам толпа всяких мерзавцев, осыпавших его бранью и тумаками. Они, наверно, избивли бы его, если бы он не свернул в караульную, у входа в мэрию.

Я, понятно, помчался к нему на помощь. Он был смертельно бледен и весь трясся от негодования.

— Ведите этим мерзавцам разойтись! — повелительным тоном говорил он офицеру. — Трусы — набросались на старика!.. Прошу у вас защиты!

Из караульной к нему вышло несколько человек. Меня до крайности возмутило то, что подле него не было ни

дядюшки Жана, ни Рафаэля Манка, ни Коллена — никого, кто бы мог его защитить. Оказалось, что он произнес гневную речь против беспринципных патриотов, которые всегда выступают на стороне силы, вместе с победителями славят победу и, чтобы получить свою долю пирога, готовы распластаться перед кем угодно, будь то Лафайет, Дюмурье или Бонапарт!.. Он громил в своей речи людей без убеждений, которые ставят свои эгоистические интересы выше соображений справедливости и порядка.

Не прошел он и мимо воззвания Бонапарта, которое все считали выше всякой похвалы, а он сказал, что вот так же мог бы выступить Шиндерганнес перед своими бандитами: «Вы любите хорошее вино, дорогую одежду, красивых девушек, но в долг вам не дают, а касса ваша пуста. Так пойдемте со мной: я знаю одну ферму в Эльзасе, которая вот уже сто лет переходит от отца к сыну. Люди там трудолюбивые, экономные. Нападём на них и ограбим! Неужели вы проявите слабость?»

Тут его слушатели пришли в такую ярость, что толстый Шляхтер, дровосек из Сен-Вита, ринулся на возвышение и схватил его за шиворот, и если бы у Шовеля, несмотря на маленький рост, не было стальных мускулов, лежать бы ему на мостовой. Шляхтеру попался противник, не уступавший ему в силе, но Шовель, весь растерзанный, видя, что никто из друзей не приходит ему на помощь, решился сойти с возвышения. Награждаемый тумаками, пинками и руганью, он добрался до дверей и вышел на площадь. Так и ввиду, как он, стоя на крыльце мэрии — седые волосы всклокочены, одна щека в крови, — обернулся к бежавшим за ним женщинам и громовым голосом крикнул:

— Подождите!.. Подождите!.. Все это еще падет на головы ваших детей!.. На их костях и крови построят королям трон!.. И вы еще плачетесь, несчастные! Вы еще взмолитесь о том, чтобы вам вернули свободу и равенство!.. Вы еще вспомните Шовеля: каких заслужили хозяев, таких и получите!..

— Да замолчи ты, идиот!.. Замолчи!.. Ишь, какой Марат напелся! — кричали ему эти ничтожества.

Он пошел в караульную. Я был ни жив, ни мертв. А он сел на скамью, вытер щеку платком и попросил воды. Солдаты подали ему мащерку.

— Иди спокойно домой, Мишель, — сказал он мне. — Это только цветочки, ягодки еще впереди. А вот Маргарита, наверно, волнуется. Ведь эти негодни могут выбить вам стекла и разграбить лавку. Чего ж тут удивительного, — с горькой усмешкой добавил он, — раз такая пошла нынче мода и каждый хватает, что может.

Я только было собрался идти, как вбежала Маргарита, бледная, с нашим малышом на руках. Впервые я видел, чтобы она так плакала, ибо женщина она была мужественная. Тут и папаша Шовель расчувствовался.

— Нам жалеть нечего, — сказал он, — а вот тех несчастных, которых приучили преклоняться перед силой, стоит пожалеть.

Тут он передал мне малыша, оперся на руку дочери, и мы вышли все вместе на Рыночную площадь в сопровождении солдат. По счастью, толпа уже разошлась, не учинив у нас погрома.

Возле дома нас ждал только один из наших друзей — отец Кристоф: он, как и Шовель, решил, что толпа может пойти нас грабить, и встал у двери с толстенной дубиной в руках. Увидев нас, он раскрыл объятия и бросился нам навстречу.

— Шовель, — воскликнул он, — дайте я вас расцелую. Все, что вы говорили, очень мне по душе, но, на беду, я был в другой стороне рынка и не мог вас поддержать.

— Вот и хорошо, — сказал Шовель. — Оважи мы малейшее сопротивление, эти мерзавцы прикончили бы нас. А ведь они дважды выбрали меня своим представителем, — сокрушенно добавил он. — И я добросовестно выполнял свои обязанности. Пусть выбирают теперь другого, но мне они глотку не заткнут: все равно я буду говорить про этого Бонапарта то, что думаю, буду говорить, что в своих воззваниях он не призывает к добродетели, к свободе, к равенству, а лишь твердит о плодородных долинах, почестях да богатстве.

Все-таки папаше Шовелю после этой истории пришлось неделю провести в постели. Маргарита ухаживала за ним, а я каждый час к нему навещался, и всякий раз он принимался жалеть народ.

— Ведь эти несчастные по-прежнему хотят, чтоб была республика, — говорил он. — Только вся беда в том, что роялисты и крупные буржуа захватили власть, лишили

народ великих прав по своей конституции, а у народа нет воздей, и теперь все свои надежды простые люди возлагают на армию. В прошлом месяце надеялись на Журдана, что-де, мол, он все спасет, после Журдана — на Гоша, после Гоша — на Моро, а теперь — на Бонапарт!

И он стал рассказывать о Бонапарте, который в 1794 году был простым бригадным генералом и командовал артиллерией в Итальянской армии. Оказалось, что он маленький, худощавый, черноволосый, очень бледный, с выдвинутым вперед подбородком и светлыми глазами, очень приметный и ни на кого не похожий. Желание поскорее выбраться из зависимого положения читалось в его глазах. Даже депутатам он подчинялся через силу и дружил только с Робеспьером-младшим, видимо, надеясь таким образом сойтись и с Робеспьером-старшим. Но после термидора он мгновенно сблизился с Баррасом, палачом своего друга.

— Я видел его, — продолжал Шовель, — в Париже двенадцатого вандемьера, после того, как сместили Мену за то, что он слишком мягко повел себя с восставшими буржуа. Баррас вызвал тогда Бонапарт в Тюильри и предложил ему вместо Мену взяться за дело. Было это в большом зале, примыкающем к залу заседаний Конвента. Бонапарт попросил двадцать минут на размышления и стал у стенки, заложив руки за спину, опутив голову, так что волосы закрывали ему лицо. Я наблюдаю за ним. Вокруг полно было депутатов и посторонних, они ходили взад-вперед, разговаривали, обменивались новостями, а он — точно застыл!.. И уверяю тебя, Мишель, что думал он не о том, как повести атаку, — свой план он мог выработать только на месте, — нет, он спрашивал себя: «А что это мне может дать?» И отвечал: «Так это же здорово!.. Роялисты и якобинцы воюют между собой. Мне плевать и на тех и на других. За роялистами — сторонниками конституции — стоит буржуазия, за якобинцами — народ. Но коль скоро парижская буржуазия делает ошибку, восставая против дополнительного акта и закона о переизбрании двух третей, которого хочет провинция; коль скоро она требует, чтобы большинство либо ушло в отставку, либо образумилось, — я при таком положении вещей ничего не теряю, а только выигрываю. Я вооружу якобинцев из предместьев, которые тогда будут смотреть

па меня как на своего, и выносию требования большинства, расстрелив восставших. Баррас, этот дурак, которому я отдам всю славу, взамен выхлопочет для меня какое-нибудь хорошее местечко, повысит меня в чине, а я потом еду ему на шею».

Вот, Мишель, что он себе говорил, — несколько не сомпеваюсь, что так оно и было, ибо все остальное не требовало размышлений. Даже не дождавшись, пока пройдет двадцать минут, Бонапарт объявил, что согласен. Через час он уже отдал все распоряжения. Ночью прибыли пушки, были вооружены секции. В четыре часа утра пушки выдвинули на позиции, прислуга стояла наготове, с зажженными фитилями; в пять часов начался бой, в девять — все было кончено. Бонапарт тотчас был вознагражден: ему дали звание дивизионного генерала; Баррас, ставший тем временем членом Директории, женил его на одной из своих знакомых — Жозефине Богарне и назначил командующим Итальянской армией. Бонапарт слишком хитер и слишком честолюбив, чтобы выступить против народа на стороне конституционалистов. Все остальные наши генералы — люди кутаные, боятся промахнуться, вот и держатся за всех сразу, так что не поймешь, за кого они. Кто бы ни командовал — выполняют приказ, и все. А Бонапарт — тот открыто заявил, что он якобинец, смело сам заключает перемирия и идет в Париж деньги, знамена, картины.

Словом, человек он на редкость опасный, ибо, если он и дальше будет одерживать победы, весь народ пойдет за ним. Буржуа, которые пекутся только о своем благе, вместо того чтобы возглавить нашу революцию, поплетутся в хвосте, и парод, которого они лишены права голоса и которым хотят править с помощью конституционного монарха, станет смотреть на них как на первейших своих врагов. Да, простой люд скорее пойдет в солдаты к Бонапарту, чем будет прислуживать разным пронырам, которые отбирают у него одно за другим все права и хотят, чтобы великий парод, пробудивший от сначки Европу, гнул спину, а кучка интриганов наслаждалась жизнью. Вот каковы дела! Либо хитрость, либо сила — что хочешь, то и выбирай, а народ — он устал от жуликов. Если конституционалисты этого не видят, если они и дальше будут молчаливать, стоит Бонапарту или любому другому генералу объявить, что он закрепляет за пародом государственные земли и от имени народа требует отчета о вы-

подлепни «Прав человека», — п всех этих ловкачей мнгом стоят с теплых местечек. Силе может противостоять только справедливость, но чтобы народ возжелал справедливости, надо, чтобы ему вернули все его права. Посмотрим, хватит ли у нынешних правителей ума это сделать.

Вот какие речи держал паваша Шовель.

Но тут я должен кое в чем признаться. Потом я горько в этом раскапвался и с радостью умолчал бы сейчас, если бы не обещал поведать всю правду. Дело в том, что детство у меня было нелегкое — пришлось и на больших дорогах милостыню просить, и у дядюшки Жана коров пасти, — словом, немало я памыкался и теперь был так счастлив, узнав достаток, что и слышать не хотел ни о чем, что могло бы как-то нарушить мои дела. Да, такова печальная правда! Ведь чего только не было в нашей лавке: сахарные головы свисали с потолка; целые ящики стояли с солью, перцем, кофе, корицей; в кассе позвонивали медьки и даже серебряные монеты, — все это такому бедняку, как я, казалось просто чудом. Я и не мечтал ни когда о таком. А до чего же приятно было сидеть вечером у стола, смотреть на Маргариту, держать маленького Жан-Пьера на руках, слушать, как он называет меня пашой, чувствовать на щеке поцелуй его влажных губок. Ясное дело, мне странно было, что эта чудесная жизнь может кончиться. И когда Шовель начинал все ругать, носил Директорию, Советы, генералов и заявлял, что нужна новая революция — иначе не будет порядка, я действительно бледнел от ярости. Я говорил себе:

«Нет, право же, он слишком многого хочет! Все и так идет хорошо: торговля оживает, крестьяне получили, чего хотели, мы — тоже. Липь бы и дальше так было. Больше нам ничего не надо! Если эмигранты и поны попытаются сквиринуть правительство, — так ведь мы живо подоспеем и наши республиканские армии тоже. Что ж заранее тревожиться?»

Вот как я тогда думал.

Шовель напервяка догадывался об этом. Недаром он то и дело ополчался против слишком благодушных людей, которые довольны тем, как идут у них дела, и ни о чем другом не заботятся. Им и в голову не приходит, что хитростью у них можно все отпять, ибо они не требуют настоящих прочных гарантий, не требуют, чтобы народ сам управлял страной.

Я понимал, что это камни в мой огород, но в спор с ним не вступал и упорно продолжал считать, что все идет как нельзя лучше.

А тем временем победы следовали одна за другой. Бонапарт, разгромив Пьемонтскую армию и оттеснив армию Болье \*, перешел через По и вступил в Милан; он разбил Вюрмсера \* под Кастильоне, Роверето и Бассано; Альвинци \* — под Арколой, Риволи и Мантуей; папскую армию — в Толентино \* и принудил противника сдать нам Авиньон, Болонью, Феррару и Анкону. Журдан и Клебер, одержав победы под Альтенкирхеном, Укератом, Кальдиком и Фридбергом, взяли форт Кенигштейн и вступили во Франкфурт. Тогда Моро перешел Рейн в Страсбурге, захватил форт Кель, одержал победы под Рейхеном, Раштадтом, Этлингенем, Ифортсгеймом, заставил австрийцев отступить из Нерсегейма в Допаверт и пошел через Баварию в Тироль на соединение с Бонапартом. Но тут эрцгерцог Карл неожиданно напал на Журдана в Вюрцбурге и, подавив его численностью своих войск, заставил отступить, — тогда отступить пришлось и Моро. Это было его знаменитое отступление через восставшую Швабию, когда каждый новый день нес с собой новую бой, когда наша армия выводила из строя целые вражеские полки. Наконец Моро овладел проходами из Адской долины и, одержав еще одну, последнюю, победу под Бибераком, привел свою победоносную армию в Гунинген.

В жизни не видал я солдат, более преданных своему генералу, чем солдаты Моро. Все это были старые, убежденные республиканцы, никогда не жаловавшиеся на то, что они разуты, и даже гордившиеся своими лохмотьями. Среди них был и Сом. Он написал нам тогда несколько слов, вконец растрогавших Шовеля:

«Наши парни еще не испорчены: им можно не гонорить о плодородных долинах, почестях и богатстве».

Очень насменило Шовеля то, как Сом ахал и охал по поводу трубки Моро, которую генерал непрерывно курил, пуская густые клубы дыма даже во время сражений: когда схватка становилась особенно жаркой, трубка дымила без передышку; когда же бой затихал, утихомиривалась и трубка. Ну, не ребенок ли этот Сом! Впрочем, люди простодушные всегда всему удивляются, превращают какой-нибудь пустяк в великое деяние, а о собственном героизме умалчивают.



Зима 1796/97 года оказалась довольно тихой.

После поражения под Вюрцбургом Журдана сместили. Вместо него в армию Самбры и Мааса назначили Бернонвиля; в свое время о нем немало говорили в связи с Трирской кампанией 92-го года, а также когда после измены Дюмурье он попал в Ольмюце в плен. Получив назначение, Бернонвиль занялся чисткой армии: расжаловал несколько комиссаров, прогнал поставщиков, расстрелял мародеров и впервые назначил офицеров казначеями. К несчастью, дезертиров после этого стало еще больше, а все офицеры, привязанные к Журдану, подали в отставку. Дело принимало серьезный оборот.

Тем временем австрийцы перешли Рейн в Мангейме, заняли Гюнсдрюк, находящийся всего в нескольких часах марша от нас, но были разбиты под Крейцнахом. Начиная ноябрь. Заключили перемирие, и солдаты расквартировались на зиму между Мангеймом и Дюссельдорфом.

Но в Эльзасе все продолжало кипеть. Моро, прежде чем снова перейти Рейн, решил закрепить за собой плацдарм в Германии и оставил в форте Кель, на правом берегу, несколько батальонов. Командовал ими Дезо\*. А эрцгерцог Карл, со всей своей армией, окружил этот клочок земли тройною цепью траншей и начал осаду. В Страсбурге и даже у нас день и ночь слышался гул канонады. Австрийцы потеряли там от двадцати пяти до тридцати тысяч человек. Кроме того, они осаждали также предместное укрепление Гуингена. Под конец, понеся там огромные потери и людьми и деньгами, они с радостью согласились подписать с защитниками форта почетную капитуляцию. В результате французы вернулись в Эльзас со своими пушками, оружием и имуществом; они пели, смеялись и шли под грохот барабанов, высоко держа изодранные знамена.

Немало говорили в ту пору и об экспедиции Гона к берегам Ирландии — да вот только буря вроде бы разметала его корабли и не дала ему дойти до цели; и о продвижении Вонапарта на Тироль; и об отъезде эрцгерцога Карла в Италию в качестве главнокомандующего австрийской армии; и о том, что отряд в двадцать тысяч солдат нашей Рейнской армии под командованием Бернадотта\* идет в том же направлении.

Все это интересовало обитателей наших краев, — но только не нашего Шовеля. Его занимали лишь выборы — обновление одной трети Совета пятисот; он надеялся, что если выборы будут удачными, еще удастся наверстать упущенное.

— Теперь наша республика может не бояться муже-земцев, — говорил он. — Большинство деспотов поставлено на колени: они с радостью заключат с нами мир, если мы того пожелаем. Но условия этого мира должны обсуждать представители народа, а не роялисты, которые охотно отдадут все, чем мы сильны, своим друзьям из-за границы. Поэтому от предстоящих выборов зависит судьба нашей революции.

В Саарбурге, Друлингене, Саверне и других местах начались подготовительные собрания, и бедный наш старик, теперь уже совсем седой, открыл кампанию. Каждое утро он вставал часа в четыре, в пять, — я слышал, так он спускался на кухню, открывал шкаф и отрезал кусок хлеба. И, запасясь таким образом, мужественно отправлялся в путь с высоко поднятой головой. Он уходил в горы за четыре, а то и за пять лье и выступал там с речами, подбадривая патриотов и обличая реакционеров. Но счастью, отец Кристоф и два его взрослых брата из Хенгста всегда сопровождали Шовеля, иначе аристократы убили бы его. Дядюшка Жан, Коллен, Летюмье, все наши друзья не раз заходили ко мне, предупреждали:

— Послушай, Мишель, попытайся ты его удержать! В бывшем Даргебургском графстве заправляют теперь роялисты, а ты знаешь, какие они там дикари. Так именно в этом графстве Шовель собирается дать бой бывшему монаху Шлоссеру и леонсбергскому отшельнику отцу Григорию. Даже национальные жандармы — и те боятся совать нос в эти разбойничьи притоны, где не рассуждают, а сразу пускают в ход нож. Шовеля наверняка там прирежут. Вот увидишь, в один прекрасный день принесут его нам на посылках.

Я понимал, что в их речах есть доля правды, и, узнав однажды, что фанатики и роялисты, живущие в горах, грозятся прикончить любого республиканца, который появится у них в округе, я позволил себе сказать об этом теще и взмолился, чтобы он не ходил туда: все равно это ни к чему.

Чего я только не послушался от него про выскочек, погрязших в своем эгоизме! Кровь бросилась мне в голову: я вскрикнул и вышел. Маргарита кинулась за мной. А у меня было такое настроение: все бы бросил и ушел куда глаза глядят. Но тут Шовель отиравился в свои странствия, и я, тронутый слезами Маргариты, остался. В тот же день, часа в четыре, до нас дошла весть, что в Лютицельбурге произошла драка и убито много народу. Несмотря на всю мою злость на Шовеля, я сразу вспомнил, сколько он мне сделал добра, как часто давал мудрые советы, как мне доверял, и сердце у меня уняло. Я помчался следом за ним. В долину я прибежал, когда уже стемнело; деревенская площадь, освещенная факелами, отражавшимися в Зорне, походила на разворощенный муравейник. Патриоты все-таки одержали верх, но при этом отец Кристоф, его брат Генрих и многие другие порядком пострадали. Шовель каким-то чудом сумел выбраться из свалки, и я уже слышал, как он говорит, обращаясь ко множеству женщин и мужчин, сбегавшихся из окрестных мест. Несмотря на гул толпы и грохот воды, падающей на мельничные колеса, его звонкий голос был далеко слышен. Вот что он говорил:

— Граждане, нация — это мы! Мы — единственные настоящие хозяева страны, мы — дровосеки, крестьяне, рабочие, ремесленники всех родов. Мы народ, и управлять страной надо в интересах народа, ибо он трудится, он назначает на должности, он этим людям платит, его щедротами все живут. И если интриганы и бездельники, которые не постеснялись просить помощи у австрияков, пруссаков и англичан, сражались в рядах наших врагов и не раз терпели от нас поражение, проездут теперь в депутаты, значит, все наши усилия пойдут прахом. Члены нашей Директории \*, наши генералы, наши судьи, наши чиновники станут изменниками, потому что их назначат изменники, и трудиться они будут не в наших интересах, а наоборот, не нам на благо, а для того, чтобы легче было нас обирать, объедать, сесть нам на шею и пернуть нас в рабство! Берегитесь! Ведь те, кого вы выберете своими представителями, станут хозяевами над вами. Пусть каждый подумает о своей жене и детях. И так уже многие из-за ценза потеряли право голоса. Это очень прискорбно. А всему виной пропавшие выборы. Враг действует исподволь, осторожно, потихоньку. Не будьте слишком доверчивы,

выбирайте только хороших людей, которых вы знаете, которые будут печься о ваших интересах.

Шовель еще долго говорил в таком духе; среди слушателей его то и дело раздавались возгласы одобрения.

Потом выступал отец Кристоф и многие другие, а часов около девяти прибыли жандармы, и толпа рассеялась: мужчины, женщины и дети расходились группами по тропинкам, ведущим в горы, одни — в сторону Гарбурга, другие — в сторону Шеврофа и Харберга. Это было одно из последних больших предвыборных собраний на моей памяти. Обернулся я, вижу — прямо передо мной Шовель. Он уже и думать забыл о нашей ссоре и весело мне сказал:

— А все-таки, Мишель, кое-чего добиться можно. Вот если бы мои товарищи по Конвенту — каждый в своем краю — провели такую кампанию, у нас слова было бы большинство. Не такая уж плохая у нас Директория, надо только ее оживить, сделать злее, чтобы ее боялись, как боялись в свое время Комитета общественного спасения, а добиться этого можно лишь в том случае, если на пошых выборах народ открыто покажет, что он стоит за республику. Откуда у нас эта разруха, разбой, мошенничество, почему народ разочаровался во всем, а реакционеры так обнаглели? Все потому, что в Третьем году были неудачные выборы. Когда народ лишают права выбирать своих представителей, когда прямые налоги ставит выше человека и по ним судят, давать ему право голоса или нет, — тогда от имени народа начинают действовать интриганы и устраивают все так, как им выгодно. Они продаются за тепленькое местечко, за деньги, за почести, а злобно продают и родину.

И пошло это все от наших знаменитых жирондистов, которых все так икали, когда они ушли из Конвента, — от этих Лаважюше, Пасторе \*, Порталис \*, Буасси-д'Англа, Барбе-Марбуа \*, от Жоба Эме, который в свое время пытался поднять восстание в графстве Дофине, от этих де Воблаиов \*, де Мерсанов и де Лемере, оказавшихся потом тайными агентами Людовика Восемнадцатого. Республика была нужна этим людям лишь для того, чтобы уничтожить последних республиканцев, а заговор этого безумца Бабефа \*, думавшего, что ему удастся таким образом добиться раздела земель, помог им отправить на тот свет еще сотни патриотов на том основании, что они-де все —

одна шайка. При этом они смотрели сквозь пальцы на заговоры роялистов — Бротье, Дюверна и Лавиллернуа, на то, что убийцы на юге творят свое черное дело, эмигранты свободно возвращаются в страну, енископы создают союзы вроде Якобинских клубов с тем, чтобы оттеснить народ от управления страной и посадить на трон короля. В результате Директории не на кого опереться. Да и откуда взяться этой опоре? Изменники забрали власть, и республиканцы поневоле стали уповать на армию в надежде, что появится какой-нибудь генерал, который сумеет привести в чувство роялистов. Вот ведь в чем беда-то! Все это время — с первого дня и до последнего — роялисты держали свою линию, действуя то силой, то хитростью, а чаще всего — предательством. Этим нескончаемым козням туеядцев, которые с помощью чужеземных деспотов мечтали запрячь народ и заставить его работать на себя, не было конца, и даже у самых мужественных граждан опускались руки.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Весь март и апрель 1797 года шли предвыборные собрания по местечкам и коммунам, и Шовель не пропустил ни одного из них. Но, помимо этих собраний, край волновали и другие немаловажные события: приготовления Моро к переходу через Рейн, замена Бернонвиля Гоцем на посту главнокомандующего армией Самбры и Мааса, а также обращение Бонапарта к своим солдатам накануне новой кампании, вывешенное на дверях клубов и мэрий.

«КОМАНДУЮЩИЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИЕЙ БОНАПАРТ —  
К СОЛДАТАМ ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИИ

*Главная штаб-квартира в Бассано,  
20 плювиоза V года (10 марта 1797 г.).*

Со взятием Мантуи закончилась кампания, за которую родина будет вам вечно благодарна. Вы вышли победителями из четырнадцати генеральных сражений и семидесяти схваток. Вы взяли в плен свыше ста тысяч солдат и офицеров противника, отобрали у него пятьсот полевых

орудий и две тысячи крупнокалиберных, а также четыре pontонных моста. За счет контрибуций, взысканных вами с покоренных стран, мы содержали, кормили и оплачивали армию на протяжении всей кампании. Кроме того, вы послали министру финансов тридцать миллионов, что явилось существенным вкладом в государственную казну. Вы пополнили Парижский музей множеством ценных предметов и произведений искусства, созданных мастерами древней и новой Италии на протяжении тридцати веков.

Вы завоевали и подарили республике красивейшие земли Европы. Ломбардская \* и Цизадапская \* республики обязаны вам своей свободой. Французский флаг впервые реет на Адриатике, против древней Македонии, в каких-нибудь двадцати четырех часах марша от нее. Короли Сардинский и Неаполитанский, папа и герцог Пармский вышли из враждебной нам коалиции и вежливо заискивают перед нами, добываясь нашей дружбы. Вы выгнали англичан из Ливорно, Генуи и с Корсики. Но это еще не все. Вам предстоит выполнить великую миссию: на вас возлагает родина все свои надежды, и вы по-прежнему будете достойны ее доверия. Из всего множества врагов, объединившихся, чтобы задуть нашу республику, как только она родилась, против нас стоит сейчас один только император. Это уже не монарх могущественной державы, ибо существует он на деньги лондонских купцов. И сам он, и его политика подчинены интересам этих злокозненных островитян, не знающих ужасов войны и с улыбкой иззирающих на страдания, которые терпит народ на континенте».

И так далее и тому подобное. Под конец он заявлял, что эта кампания закончит австрийских монархов, которые последние триста лет с каждой войной теряли часть своего могущества, восстановили против себя народ, отняв у него все права, и теперь вынуждены будут писать под дудку англичан.

После этого всем стало ясно, что война снова заново захватит от Голландии до Италии, и чем дальше продвинуется наши войска, тем больше придется им выдержать сражений. Однако положение наше было не такое уж скверное: вместо того чтобы сражаться с врагом на нашей земле, как в 92-м и 93-м годах, мы через Тироль собирались вторгнуться в его владения. Эрцгерцог Карл, лучший из

австрийских полководцев, уже готовился к встрече с Бонапартом. Через город проходили отряды повстанцев — они шли на пополнение армий Дельмаса и Бернадотта, направивших несколько своих дивизий в Итальянскую армию.

Благодаря передвижению войск торговля вдоль всей границы шла очень бойко. У нас еле хватало товаров, чтобы обслужить всю эту массу, — а люди все шли и шли, и не было конца этому потоку. Шовеля же интересовали только общественные дела. Он ходил на все предвыборные собрания, и роялисты, смотревшие на него, как на своего опаснейшего врага, подкарауливали его на дорогах. Маргарита жила в вечном страхе — я это видел, хотя она и ничего мне не говорила; я это чувствовал по ее тону, когда часов в восемь или девять вечера, заслышав звяканье колокольчика и шаги отца, она восклицала:

— Ну вот и он!.. Наконец-то!..

И спешила к нему навстречу с малышом на руках. Он целовал Жан-Пьера, а потом заходил к нам выпить стаканчик вина и съесть кусок хлеба. В волнении он шагал вокруг стола, рассказывая нам о боях, которые ему пришлось выдержать, а это были самые настоящие бои, ибо эмигранты, во множестве вернувшиеся в страну, объединились со сторонниками конституции III года, величайшими лицемерами, какие когда-либо стояли во главе Франции.

Вспоминаю я это и по сей день восторгаюсь нашим мужественным стариком, который все принес в жертву свободе и отказался от всех земных благ, лишь бы помочь народу устоять и удержать его от пути, ведущего к гибели.

Но в ту пору я думал прежде всего о себе: еще недавно я ведь не имел ни гроша за душой и вдруг стал владельцем доходного дела; предприятие мое расширилось, и мне не хотелось ударить лицом в грязь, да и обязательства перед семьей росли, ибо мы ждали второго ребенка. А тут еще поди состязайся с другими торговцами, которым наплевать было на все правительства — лишь бы дела у них шли хорошо. И вот я частенько ловил себя на таких мыслях:

«Мой тесть просто рехнулся!.. Задумал повернуть все по-своему. Да разве мы не выполнили свой долг? И не пострадали за эти шесть лет? Кто может в чем-либо нас

упрекнуть? Пусть теперь другие жертвуют собой — каждому свой черед. Нельзя на одних и тех же все взваливать. Неразумно это!..»

И так далее и тому подобное.

Я злился на Шовеля за то, что он бросает нашу лавку в рыночные дни и отиравается на предвыборные собрания; что из-за его речей мы теряем наших лучших клиентов; что он совсем не интересуется нашей бакалейной торговлей, точно ее и не существует. Уверен: дома его удерживала только продажа газет и патриотических брошюр, — иначе он уже давно бы колесил по Эльзасу и Лотарингии с коробом за плечами.

Так или иначе, по старания этого честного человека, как и тысяч других якобинцев, не увенчались успехом. Все ранее совершенные ошибки обычно и выходят боком во время революции. Как нам не хватало тогда тех, кого в свое время принесли в жертву Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон, считая их недостаточно праведными! Но теперь и они мертвы, и народ, уставший, изверившийся, *невестественный*, остался один на один со множеством мерзавцев и честолюбцев.

Выборы V года имели еще худшие последствия, чем выборы III года: поскольку народ был лишен права голоса, еще двести пятьдесят роялистов вошли в состав Советов и, *объединившись с остальными их членами, поспешили выбрать Нишегрю председателем Совета пятисот и Барбе-Марбуа — председателем Совета старейшин*. Это ясное ясного означало, что они решили заплевать на «Права человека» и считали, что пришла пора посадить на трон Людовика XVIII.

Директория мешала им, ибо она занимала место, предназначенное для отирывка Людовика Святого. И вот новые депутаты решили повести дело так, чтобы у Директории опустели руки и она перестала во что-либо вмешиваться. Не теряя времени, они принялись за выполнение своего плана и меньше чем за четыре месяца, с 1 прерпая по 18 фрюктидора, вот что натворили: добившись смещения члена Директории Летураера и посадив на его место Бартедеми\* (роялиста!), они отменили закон, запрещавший родственникам эмигрантов занимать государственные посты, а также декреты Конвента, направленные против предателей, которые в свое время сдали англичанам Тулон; они вернули из ссылки неприсягнувших свя-



ценщиков; поставили Директории в упрёк подписание договоров с Италией без ведома обоих Советов, хотя повинен в этом был Бонапарт; поощряли убийства и грабежи на западе и на юге страны, отказываясь помочь правительству бороться с этим злом; пожелали восстановить католические церкви на том основании, что католицизм-де неповедует огромное большинство французов, что это религия наших отцов, единственное наше достояние, которое-де поможет нам забыть четыре года кровавой резни, — точно начали ее не эти добрые католики-вандейцы.

Два или три якобинца резко выступили против, а население Парижа так мрачно это встретило, что пришлось обоим Советам попридержать свою прыть. Тем не менее роялисты свалили на Директорию все беды, от которых страдала республика — и падение стоимости ассигнатов, и расхищение казны, — и неизменно отказывали ей во всем, чего бы она ни попросила. Они непрестанно кричали, что только национальная гвардия может спасти положение. Принимать же в национальную гвардию следовало лишь тех, кто платил ценз. Таким образом получалось, что у буржуа будет оружие, а у рабочих и крестьян — нет! Это был главный козырь их плана, ибо тогда Людовик XVIII, принцы, эмигранты и епископы могли бы преспокойно вернуться в страну и, нигде не встретив сопротивления, получить обратно свои земли, свои звания — все, что отпала у них революция.

Стремясь отвлечь внимание народа от своих гнусных замыслов, роялисты на все лады расписывали в своих газетах процесс Бабефа в Вандомском суде, — так действуют воры на ярмарке: один показывает вам разные разности, а другой очищает ваши карманы.

Но ничто — ни шум вокруг суда над Бабефом, ни Итальянская кампания, ни переход через Тальяменто, ни взятие Градишки, ни стычки близ Ньюмарка и Клаузена, ни битва под Тарвисом, ни вторжение в Истрию, Карниолию и Каринтию, ни восстание в Венеции в тылу у наших войск, ни мирные переговоры в Леобене, ни исчезновение с лица земли Венецианской республики, уступленной Бонапартом Австрии, ни переход Гоша через Рейн в Нейвиде, ни победа под Геддерсдорфом и отступление австрийцев к Нидде, ни переправа Моро через Рейн под огнем противника, ни взятие форта Кель, ни весть о мирных переговорах и повсеместное прекращение военных

действий, — ничто не могло затуманить мозги патриотам. Они видели предательскую возню роялистов и в обоих Советах, видели, что те перетянули на свою сторону буржуа, — теперь ясно было, что нация сможет от них избавиться, лишь дав им решительный бой.

Они как бы открыли все иллюзы, и теперь грязь извне без помехи хлынула к нам: Эльзас и Лотарингию заполонили эмигранты. Большая часть жителей нашего города, как говорится, живо обратилась в новую веру и стала на сторону «порядка». В часовне Бон-Фонтэи служили молебны о возвращении несчастных изгнанников, — бывшие наши священники отправляли службу; старухи с утра до вечера толпились у Жозефа Птикана, бывшего церковного певчего, и, развесив уши, слушали его разглагольствования о том, как ему жилось в изгнании. Власти об этом знали, но никто и палец о палец не ударил, чтобы это прекратить. Словом, продали нас со всеми потрохами!

Иной раз вечером Шовель, сидя за изготовлением пакетов, грустно говорил:

— До чего же больно видеть, когда такой вот Бошпарт, который еще вчера был никем, угрожает народным представителям, а эти представители, которых мы выбрали защищать республику, собственными руками уничтожают ее! Да, низко же мы пали! А народ спокойно смотрит на этот срам, — это он-то, которому достаточно было бы дунуть, чтобы от этих мошенников и следа не осталось — и от тех, которые нанадают на него, и от тех, которые вроде бы хотят его защитить.

— Наш народ, — добавил он как-то, — напоминает мне того негра, что смеялся и ликовал, глядя, как дерутся двое американцев. «Вот так двинул! — восклицал он. — Вот здорово! Ух, как лихо!» А кто-то вдруг и скажи ему: «Ты тут смеешься, а знаешь, почему дерутся эти двое? Драка эта решит, который из них паднет тебе веревку на шею и продаст тебя, твою жену и твоих детей, а там тебя заставят работать, строить тюрьмы, в которых ты будешь сидеть, воздвигать крепостные стены, возле которых тебя будут расстреливать, и если ты посмеешь хотя бы шикнуть, — до смерти забьют». У негра, конечно, сразу пропала охота смеяться, а вот французы — те не унимаются, смеются себе: народ наш любит драки, а об остальном не думает.

— Всякий раз, как Шовель заводил об этом речь, я мысленно восклицал:

«Ну, а я-то тут что могу поделать?»

Двадцать — тридцать ливров дохода в день, вино и водка в погребе, мешки с рисом, кофе, перцем в лавке, — есть от чего закружиться голове. А ведь таких, как я, были тысячи! Мелкие буржуа любой ценой стремились разбогатеть! И должен прямо сказать: дорого мы за это заплатили.

И все же желание отстоять «Права человека и гражданина» возобладало во мне, и я вдруг понял, что Шовель прав: надо держать ухо востро.

В ту пору газеты много писали о некоем Франкони, акробате, наумлившем парижан своими виртуозными упражнениями на лошади. Теперь, когда отошел в прошлое суд над Бабефом, отгремели походы Бонапарта, Гоша и Моро, — циркач был в центре внимания всех газет. И вот вдруг в термидоре, во время Пфальцбургской ярмарки, этот самый Франкони заезжает к нам со своей труппой по пути в Лотарингию и Шампань. Он обосновывается в городке, разбивает на площади большую парусиновую палатку, прогуливает лошадей, призывно играет на трубе и бьет в барабан, оповещаая о представлении. И толпы людей ходят смотреть на него. Я бы и сам с радостью пошел туда Маргариту, пусть бы даже это стоило мне два или три франка, но в праздничные дни наша лавка всегда полна народом и отлучиться нет никакой возможности.

Этим бы дело и кончилось, если бы наши односельчане, заходившие в лавку — то один, то другой, — не рассказали мне, что Никола — подумать только! — работает наездником в труппе Франкони. Я же, считая, что если Никола, на беду, вернется во Францию, то по закону он будет приговорен к смерти за переход на сторону врага с оружием в руках, отвечал им, что они ошиблись, что мы уже давно получили похоронную. Но они только головой качали. И вот как-то раз, часов в шесть вечера, когда у нас шел об этом спор, в лавку вдруг вошел высокий парень в голубой куртке, обшитой серебряными галунами, в роскошной шляпе с белыми перьями, сдвинутой на ухо, в высоких сапогах с золочеными шпорами и, щелкнув хлыстом, воскликнул:

— Ха-ха, Мишель! Это я!.. Раз ты сам не жалуешь ко мне, пришлось, как видишь, мне побеспокоиться.

— Это был он, погоды! Все, находившиеся в лавке, уставились на него, ну а мне, несмотря на все мои страхи и уверения, что он умер, пришлось его признать и расцеловать. Не отстал от меня и Этьен и бросился к нему в объятия. От несчастного отчаянно разлило подкой. Папаниа Шовель наблюдал за этой сценой из нашей читальни сквозь застекленную дверь. Маргарита, зная, что грозит изменнику по законам республики, с дрожью смотрела на него. Однако не могли же мы его выгнать, и, подтолкнув его к читальне, я сказал:

— Поидем!

— Ага! — продолжая покачиваться, воскликнул он. — Ты, значит, понял, что я явился к тебе на ужин? А вино у тебя есть?.. А это есть?.. А то?.. Видишь ли, не стану от тебя скрывать, я привык себя баловать. Хе-хе-хе! А это еще что такое?.. Смотри-ка ты... Да она совсем педурна, эта крошка!

— Это моя жена, Никола!

— А, крошка Шовель!.. Маргарита Шовель... Коробейница... Знаю, знаю...

Маргарита вся так и испыхнула. Покупатели в лавке засмеялись. Наконец Никола вошел в нашу читальню.

— Э, да тут и старик Шовель!.. Живете, значит, всем семейством!.. А короб — по боку!..

— Да, Никола, — сказал Шовель, беря пачку табаку и прищуриваясь, — мы теперь стали бакалейщиками. Не всем же быть полковниками в труппе Франкони.

Можете себе представить, как мне было стыдно. Никола не очень-то поправилось, что его назвали полковником у Франкони. Он искоса посмотрел на Шовеля, но ничего не сказал. Я решил попытаться от него отделаться и шепнул ему на ухо:

— Ради бога, Никола, будь осторожен: все в городе узнали тебя. А ты ведь знаешь, закон об эмигрантах...

Но он не дал мне договорить и, развалившись на стуле возле письменного стола, вытянул ноги и, откинув голову, принялся размагальствовать:

— Хм, эмигрант!.. Да, я эмигрант! Все честные люди убралась отсюда, остался один сброд. Так, говоришь, меня узнали, — тем лучше! Плевал я на весь этот сброд. У нас есть друзья — там, наверху. Они зовут нас, они раскрыли перед нами двери... Узнаете? Это вам не ассигнаты... Это валют к вашей республике... Хе-хе-хе!

Он сунул руку в карман штанов и, вытащив оттуда десяток лудиров, подбросил их в воздух. Какое несчастье иметь такого брата, пьяницу, предателя, продажного дурака, который этим еще и хвастается!

Тут папаша Шовель, видя мое замешательство и понимая, как мне стыдно, сказал:

— Никола пришел очень вовремя. Пора и ужинать, давайте выпьем по рюмочке за нашу республику, а потом расстанемся добрыми друзьями. Правда, Никола?

Маргарита, все еще красная и сердитая, вошла в эту минуту с супницей; Этьен побежал за вином. Стол был накрыт — оставалось только поставить еще один прибор. Никола искося, с высокомерным видом поглядывал на все это.

— Суп с капустой... — промолвил он, будто и не слышал слов папашы Шовеля. — Белое эльзасское вино... Нет, пойду-ка я лучше в «Город Базель».

Он встал и, повернувшись к моему тестю, вдруг добавил:

— А что до тебя, можешь не беспокоиться: ты у нас на примете! Инь чего захотел, пить за твою республику! — Он оглядел старика с головы до пят и с пят до головы. — Чтобы я, Никола Бастьен, королевский солдат, стал пить за твою республику!.. Ничего, веревку для тебя мы уже приготовили!

Шовель продолжал сидеть и лишь с презрительной усмешкой поглядывал на него: он был стар и слаб, — этот верзилка в одну минуту мог бы его прикончить. Меня охватил такой гнев, что на минуту я лишился дара речи. Потом наконец выдавил из себя:

— Осторожней, Никола, осторожней!.. Это же мой отец...

— А ты бы лучше помолчал!.. — отрезал он, взглянув на меня через плечо. — Женился на дочке кальвиниста, царевницы, маленькой...

Но тут я схватил его под мышки, зажал, как в тисках, и, задев за сахарные головы, свисавшие с потолка, поволок из лавки. Поскольку дверь была раскрыта, я вышвырнул его на улицу, шагов за десять от дома. По счастью, в 97-м году мостовые еще не были замощены, иначе ему бы не подняться. Он так орал, так ругался, что, казалось, небеса обрушатся. Позади меня Этьен с Маргаритой тоже оба что-то кричали. Изю всех окол,

выходивших на папу маленькую площадку, повисовывались люди. Никола поднялся на ноги — он был очень бледен — и, стиснув зубы, двинулся на меня. Я стоял, не шевелился. Несмотря на всю свою ярость, он все же не дошел до меня и остановился: видно, понял, что я его сейчас же разорву. Тогда он крикнул мне:

— Ты был солдатом и умеешь драться. Приходи за арсенал.

— Ну что ж, волка из Королевского немецкого, — сказал я. — У меня еще сохранилась сабля со времен тринадцатой полубригады. Ници свидетелей. Через двадцать минут я приду. И прозвать меня тебе не удастся: я эти приемы знаю!

Этьен, обливаясь горячими слезами, принес мне треуголку; я отшвырнул ее в сторону и захлопнул дверь лавки. Маргарита, бледная как полотно, сказала:

— Не станешь же ты драться с братом!

— Тот, кто оскорбляет мою жену, мне не брат, — сказал я ей. — Через двадцать минут все будет кончено.

И, не обращая внимания на Шовеля, кричавшего, что с изменниками не скрещивают клинков, я свил с гвозди саблю и пошел за Лораном и Пьером Гильдебрандами, чтобы позвать их в свидетели. Спускалась ночь. Я вышел на улицу и повернул в одну сторону, а Шовель — в другую, к мэрии. Четверть часа спустя, вместе со своими свидетелями, я уже шагал по Крестной улице. Свидетели мои тоже на всякий случай прихватили с собой кавалерийские сабли. Но не успели мы свернуть на Арсенальную, как услышали вдалеке крики:

— Стой!.. Стой!.. Держи его!

Никола на большой рыжей лошади вихрем промчался мимо часового — тот даже не успел преградить ему путь штыком. Теперь уже крики: «Держи! Держи его!» — раздавались со стороны Немецких ворот. Мы побежали туда. В ту же сторону, следом за негодеем, поскакали национальные жандармы, прибывшие из Саарбурга. Тогда мы повернули назад и разошлись по домам. Шовель, дождавшийся меня у двери, сказал:

— Я пошел в мэрию, чтобы сообщить властям об этом пакостнике, которого надо было немедленно арестовать, но оказалось, что там о нем уже знали: он, как тупое животное, всюду показывал свое золото, и за ним следили от Бламона до Саарбурга. Теперь он стацил у Франкони

одну из лучших лошадей и удрал: увидел жандармов на площади и понял, что дело худо. Франкони взял его к себе в городе Туле. Он явный шпион, роялистский доносчик.

То, что рассказал Шовель, глубоко возмутило меня. Но пора было ужинать. Маргарита искренне радовалась тому, что все так кончилось. А папаша Шовель, улетая за обе щеки, приговаривал:

— Вот ведь счастье, что у Мишеля такая силаща!.. Лихо он сгрел этого бандита! Я и глазом не успел моргнуть, как он промелькнул среди цветов и сахарных голов, точно подхваченное ветром перышко!

Очень мы все смеялись.

Однако дело на этом не кончилось, ибо на другое утро, часов около десяти, в самый разгар торговли, в лавку к лам ворвалась моя матушка, всклокоченная и разъяренная до крайности. Она поставила корзинку на прилавок и, не обращая внимания на покупателей, даже не взглянув на малыша, которого держала на руках Маргарита, принялась, выпучив глаза, меня поносить. Как только она меня не обзывала — и Иудой, и Канюком, и Шипдерганнесом, и повесят-то меня, и выметут нас всех как навоз, — словом, чего только не наговорила! Перегнувшись через прилавок, она тыкала мне в нос кулаком, а я молча смотрел на нее. Тут вмешались посторонние:

— Да уймитесь же вы! Уймитесь!.. Нельзя так безобразничать!.. Этот человек слова вам не сказал!.. Постыдился бы!.. Плохая вы мать!

Но она, распалившись, принялась их дубасить. А те, понятное дело, в долгу не остались. Я кинулся было ей на подмогу, но это только вызвало у нее новый прилив ярости.

— Отойди от меня, иуда, отойди! — кричала она. — Не нужен ты мне. Пусть меня избивают, пусть! Пойди донеси на меня, как на своего брата Никола!

Голос ее был слышен даже на площади; возле нашей лавки стал собираться народ, а потом подоспела и стража. Увидев за окном их большие треуголки и ружья, мать моя лишилась дара речи. Я вышел на улицу и, подойдя к начальнику караула, стал уговаривать его не забирать бедную старуху: она ведь сама не ведает, что творит, но он и слышать ничего не хотел, и Шовель едва успел вывести ее через заднюю дверь на улицу Капуцинов.

Однако начальник караула не унимался: ему непременно надо было кого-нибудь задержать. Пришлось добрых четверть часа его уламывать да еще выставить всем его людям по стакану вина.

Какое несчастье иметь родителей, у которых нет ни ума, ни здравого смысла! Сколько ни тверди, что каждый отвечает только за себя, легче самому пойти в тюрьму, чем видеть, как туда ведут твою мать, хоть она, быть может, сто раз это заслужила. Да, очень это тяжело. По счастью, ни жена моя, ни тещь, ни кто-либо другой из семьи никогда больше не вспоминали об этом случае. И без того хватало с меня неприятностей. А коли изменить ничего нельзя, так лучше и не думать об этом.

Мать моя пришла к нам тогда в первый и в последний раз. Благодарение богу, мне не придется больше к этому возвращаться.

Рассказ мой со всею ясностью показывает, какие расчеты строили роялисты, по их ждал не очень-то приятный сюрприз: наступал и наш черед посмеяться.

Из всех постановлений Совета пятисот и Совета старейшин, принятых после новых выборов, Шовель одобрял лишь то, где выносилось порицание Директории, решавшей вопросы войны и мира, не советуясь с народными представителями. Когда же Бонапарт, разгневанный этим порицанием, направленным прежде всего против него, написал в Париж, что, заключив пять мирных договоров и нанеся последний решающий удар коалиции, он полагает, что имеет право если не на гражданские почести, то хотя бы на спокойную жизнь; что его репутация связана с добрым именем Франции и он не позволит всяким английским паймитам чернить ее; в вообще он предупреждает, что время, когда трусливые адвокатшкы и презренные болтуны отправляли на гильотину солдат, — прошло и что Итальянская армия во главе со своим генералом может очень скоро очутиться у заставы Клиши, — папаша Шовель, прочитав это в «Сантинеле», обвел текет красным карандашом и разослал газету более чем двадцати патриотам, принеся в виду:

«Ну-с, что вы на это скажете?»

Все старые друзья собрались у нас, в нашей маленькой читальне, и долго спорили вот о чем:

«Что лучше: отправиться в Каппену, если Совет пятисот во главе с Пиннегрю восставит короля, дворян и спи-



скопов, или быть спасенным от этого несчастья Бонапартом и его восемьюдесятью тысячами солдат, привыкших к железной дисциплине?»

А решить, что лучше, было трудно.

Тогда Шовель сказал, что, по его мнению, есть только один способ спасти республику: если буржуа, заседающие в обоих Советах, прочитав это письмо Бонапарта, решат отстаивать справедливость, выступят против роялистов и обратятся к народу с призывом поддержать свободу. В таком случае народ, увидев в их лице вождей, пойдет за ними, Директории придется держать ответ, а генералам — сбавить тон. Но если буржуа будут по-прежнему присваивать себе все блага революции, народу ничего другого не останется, как выбирать между Людовиком XVIII и генералом-победителем, и тысяча против одного, что генерал окажется хозяином положения и народ примет его сторону.

Все, кто был тогда у нас, не слишком высоко ставили Директорию, считая, что там сидят воры и грабители, люди без ума и без совести, которые думают лишь о том, как бы нахватать побольше миллионов, и не решаются приструнить собственных генералов. И все же Директория была в тысячу раз лучше обоих Советов, зараженных роялизмом. Поэтому, если начнутся волнения, патриоты должны стоять за Директорию.

Городские ворота были давно уже заперты, когда участники нашего небольшого собрания стали расходиться. У меня сразу полегчало на душе, потому что, пока шли споры, я все ждал, что вот-вот раздастся стук в ставню и среди ночной тишины прозвучит голос полицейского офицера Меньоля:

«Именем закона откройте!»

По счастью, ничего такого не произошло, и мы мирно разошлись около часу ночи. Было это в июле 1797 года. Через несколько дней, проснувшись утром, мы прочитали в газетах, что генерал Гош во главе армии Самбры и Маса, насчитывающей двадцать семь тысяч человек, движется на Париж, что в ночь с 9-го на 10-е он прошел через Мезьер и, невзирая на возражения генерала Ферпино, форсированным маршем пересек департамент Марны. В связи с этим роялисты из обоих Советов подняли в газетах страшный крик, они требовали от Директории

объявлений, грозили карами армиям и генералам, осмелившимся подойти слишком близко к столице.

И вот Совет пятисот, в связи с докладом Пишегрю, постановил отмерить по прямой расстояние в шесть мириаметров, предусмотренное статьей 69 конституции. Исполнительной директории вменялось в обязанность проследить за тем, чтобы в течение десяти дней после принятия этого декрета на каждой дороге, на определенном расстоянии от Парижа, был установлен столб с надписью: «Граница расположения войск, предусмотренная конституцией». На каждом из этих столбов должен висеть текст статьи 69 конституции, а также статей 612, 620, 621, 622 и 639 Уголовного кодекса от 3 брюмера IV года. Командующий вооруженными силами, представитель гражданских или военных властей, — шыми словами: *представитель любой законенной конституцией власти*, давший войскам приказ преступить эту границу, будет объявлен виновным в покушении на общественную свободу, взят под стражу и наказан в соответствии со статьей 621 Кодекса о преступлениях и наказаниях.

Похоже, что весь этот шум, равно как и декрет, на какое-то время испугали Директорию. Гош получил приказ отойти. Он выполнил его. Но всем стало ясно, что достаточно какому-нибудь из генералов сделать пять или шесть форсированных переходов — и правительство окажется в его руках. Переворота не произошло только из-за покладистости Гоша и слабости членов Директории, не решившихся довести намеченное до конца. Но тут, в связи с 14 июля, командование Итальянской армии обрушилось на роялистов. Особенно отличилась в ту пору дивизия Ожеро. Ожеро, победитель при Кастильоне, уроженец Антуанского предместья, смело объявил, что он за Директорию и против обоих Советов, — и Директория тотчас назначила его командующим семнадцатым военным округом, куда входил и Париж. В конце июля он прибыл на место нового назначения. Теперь все только и говорили об Ожеро, об его роскошных мундирах, расшитых золотом, о бриллиантовом султানে на его треуголке. Да, неплохо мы повоевали в Италии!

Пишегрю, командовавший охраной Совета пятисот, был бедняком по сравнению с Ожеро, которого многие ставили выше Бонапарта.

Не думаю, чтобы Пинегрю возлагал особенно большие надежды на столбы, которые по декрету решено было поставить на дорогах. Он, наверно, предпочел бы иметь под рукой живых солдат и командовать ими, чем полагаться на статьи 621 и 639.

Карно, член Директории, всегда стоявший на стороне закопа, упорно, вместе с Бартеlemi, поддерживал Советы, тогда как три других директора выступали против них. Патриоты, собиравшиеся у нас по вечерам, не раз жалели этого честного человека: очутившись среди мошенников, он вынужден был теперь выступать заодно с теми, кого презирал, ибо те, другие, заслуживали еще большего презрения! Надо было ему подать в отставку.

В июле и в августе никаких перемен не произошло. Урожай в 1797 году был неплохой. В Эльзасе наступало время сбора винограда, и, судя по всему, вино обещало быть хорошим. Казалось, мирная жизнь потихоньку налаживалась. Как раз в эту пору я, помнится, прочитал речь Вернадотта, которого Бонапарт направил в Париж для вручения Совету пятисот последних знамен, захваченных в Италии. Вот что он там сказал:

«Верховные блюстители закона, следящие за тем, чтобы родина чтла и уважала конституцию, вызывайте и впредь своей деятельностью восхищение всей Европы, уничтожайте раскол и раскольников. Завершите великое дело мира. Человечеству требует этого, оно не хочет больше, чтобы лилась кровь».

Так говорил этот гасконец. Вручив Директории бумаги, доказывавшие, что роялисты замышляют ее гибель, он далее заявил, что наши армии жаждут лишь на деле проявить свою преданность обоим Советам.

Однако дней через пять или шесть через Пфальцбург вдруг промчались курьеры, громко крича: «Да здравствует республика!» — и разбрасывая на своем пути прокламации. Все подбирали их и бежали домой читать. В лавку к нам ворвался Элоф, крича точно полоумный:

— Кончено с ними, кончено!.. Республика победила! Да здравствует республика, единая и неделимая!

В руках у него была прокламация, и своим зычным голосом он принялся ее читать, а мы, сгрудившись вокруг, слушали и ничего не понимали. Мы уже не приходили от всего в восторг, как в I или во II году, — мы столько всего перевидали, что уже ничто не могло нас взволновать,

а вот удивиться — удивились. Даже Маргарита, держа на руках малыша, с улыбкой смотрела на меня. Шовель сосредоточенно нюхал табак и всем своим видом как бы говорил:

«Ну что ж! Я знаю даже, как это было: солдаты одержали верх».

А вот и прокламация — я нашел ее вчера среди старых бумаг. Не стану переписывать ее целиком: нельзя приводить столько прокламаций — это скучно, да и потом все они похожи друг на друга.

#### ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКТОРИЯ — ГРАЖДАНАМ ПАРИЖА

*18-го фрюктидора V года Республики,  
единой и неделимой. Два часа утра.*

Граждане!

Роялисты совершили новое покушение на нашу конституцию. Вот уже год, как они пытаются распатать все основы, на которых зиждется республика, а теперь они решили, что у них достанет силы окончательно ее разрушить. Большая группа эмигрантов — лионских душителей и вандейских бандитов, прибывших сюда, пользуясь тем синехождением, которое мы открыто им выказывали, напала на часовых, охраняющих Исполнительную директорию, однако благодаря бдительности правительства и военного командования их преступные действия не увенчались успехом. Исполнительная директория представит народу достоверные доказательства происков роялистов. Вы содрогнетесь, граждане, когда узнаете, что угрожало вашей безопасности, вашему имуществу, самым драгоценным вашим правам, вашему самому священному достоинству, и сможете измерить всю глубину бедствий, от которых может ограбить вас только нынешняя конституция».

Эта прокламация вместе с доказательствами роялистского заговора была вывешена Кристофом Штейнбрениером и муниципальными чинами на дверях клуба и мэрии, а также на городских воротах и разослана по всем деревням.

Восемнадцатого фрюктидора роялисты потерпели поражение, от которого не могли оправиться многие годы. На другой день мы узнали, что они еще и пальцем не успели шевельнуть, как на них напали, чтобы предотвра-

тить заговор. В ночь на 17 фрюктидора генерал Ожеро во главе двенадцати тысяч человек окружил Тюильри. Часов около трех утра грохнула пушка, давая сигнал к атаке. Стража, охранявшая оба Совета — около тысячи человек, — не оказала ни малейшего сопротивления. В ту же ночь комиссия инспекторов созвала заседание обоих Советов; таким образом большое число депутатов, вместе с полковником, начальником охраны, были взяты на месте и препровождены в тюрьму Тампль. Отряд, посланный в Люксембургский дворец арестовать Карю и Бартеlemi, обнаружил там лишь Бартеlemi, — очевидно, Карю успел скрыться. Наутро, когда члены обоих Советов потянулись друг за другом в Тюильри, арестовали уже всех заговорщиков, а остальные депутаты, собравшиеся на факультете медицины в Одеопе, сами учинили суд над своими собратьями, которых оказалось пятьдесят три человека, и приговорили их к ссылке, равно как и редакторов, владельцев и сотрудников нескольких реакционных газет, — всех их повезли в Кайенну на судах, принадлежавших государству.

Среди сосланных были Буассен-д'Англа, Пишегрю, Барбе-Марбуа, Обри и многие другие, уже известные по бумагам, захваченным у Леметра. Все это до крайности обрадовало патриотов.

Я же радовался тому, что гражданину Карю удалось бежать. А остальные — если мне и было жаль их, то я скоро утешился, прочитав развешанные по всему городу документы. О заговоре роялистов было известно еще в ту пору, когда Бернадотт произносил свою прекрасную речь перед обоими Советами, — этот хитрец уже отлично знал, что многие депутаты-роялисты предадут нацию, ибо он тогда специально приехал из Италии, чтобы представить Директории доказательства измены. Бошарт, заняв Венецию, велел арестовать английского консула и некоего д'Антрега\*, одного из опаснейших агентов Людовика XVIII. И вот у этого д'Антрега захватили бумаги, написанные его рукой. Там рассказывалось, каким образом некоему графу де Монгайяру\*, тоже роялистскому агенту, удалось лодку и хитрому, как все люди его породы, удалось подкупить Пишегрю. Оказывается, принц Конде, зная о том, что у Монгайяра сохранились во Франции знакомые, вызвал его из Швейцарии. — он находился тогда в Базеле, — в Мюльгейм (было это в августе 1795 года) и

предложил прощунать Пиннегрю, штаб-квартира которого находилась тогда в Альткирхене. Поручение это было не из легких, поскольку при генерале состояло четыре народных представителя, которые призваны были наблюдать за ним и в случае необходимости вернуть его на путь долга.

Однако Монгайр, положив пятьсот или шестьсот лундоров в карман, решил все-таки попытаться счастья. В помощь себе он взял некоего Фох-Бореля<sup>4</sup>, владельца типографии в Невшателе, фанатически преданного Бурбонам и готового служить им верой и правдой, и другого жителя Невшателя — Курана, некогда состоявшего на службе у Фридриха Великого и за плату способного на все. Монгайр дал им особые инструкции, снабдил паспортами, придумав, что они едут во Францию в качестве иностранных негодянтов, заинтересованных в приобретении государственных земель и тому подобном, и, отправив их с божьей помощью попытаться счастья подле Пиннегрю, на счет которого он, видимо, был уже достаточно осведомлен, сам вернулся в Базель.

О дальнейшем пусть вам расскажет сам Монгайр: я приведу здесь его записки, ибо роялисты никогда не оспаривали этот документ, — а потом всегда полезно знать, как судят о себе сами предатели.

«Тринадцатого августа 1795 года, — пишет Монгайр, — Фох и Куран отбыли в Альткирхен, где находилась штаб-квартира. Они пробыли там неделю и ни разу не смогли поговорить с генералом, которого все время окружали народные представители и генералы. Однако Пиннегрю заметил их, особенно Фохна. То и дело встречая этого человека в самых разных местах, Пиннегрю понял, что тот ищет повода с ним поговорить и как-то, проходя мимо Фохна, обронил: «Надо будет поехать в Гуинген». Фох тотчас отправляется в Гуинген. Пиннегрю приезжает туда с четырьмя представителями. Фох изыскивает возможность понасться ему на глаза в глубине коридора. Пиннегрю замечает его и, глядя на него в упор, говорит, хотя на улице льет дождь как из ведра: «Пойду пообедаю к мадам Саломон». Эта мадам Саломон — любовница Пиннегрю, и замок ее находится в трех лье от Гуингена. Фох сразу пускается в путь, приезжает в деревню, после обеда идет в замок и спрашивает генерала Пиннегрю. Тот выходит к Фоху в коридор с чашкой кофе в руке. Тогда Фох говорит, что у него есть рукопись Жаа-Жака Руссо,

которую он хочет вручить генералу с дарственной надписью. «Прекрасно, — говорит Пишегрю, — но я хотел бы сначала с ней ознакомиться, ибо у этого Руссо представление о свободе отличается от того, как я ее понимаю, и мне было бы крайне неприятно видеть на такой рукописи свое имя». — «Хорошо, — соглашается Фох, — но мне надо еще кое о чем с вами поговорить». — «О чем же? И кто вас послал ко мне?» — «Принц Конде». — «Молчите и ждите меня здесь». Немного погодя он проводит Фоша в отдаленную комнату и там, оставшись с ним наедине, спрашивает: «Что же хочет от меня его высочество принц Конде? Объяснитесь». Фох, растерявшись, все перезабыв, начинает лепетать что-то невразумительное. «Да успокойтесь вы, — говорит ему Пишегрю. — Я разделяю взгляды принца Конде. Чего же он от меня хочет?» Тогда Фох, прибодрившись, говорит ему: «Принц Конде хочет вам довериться. Он рассчитывает на вас. Он хочет, чтобы вы действовали заодно». — «Все это довольно неопределенно и туманно, — заявляет Пишегрю. — Слова, слова. Поезжайте, спросите письменных инструкций и возвращайтесь через три дня в мою штаб-квартиру в Альткирхеве. Я буду там один, ровно в шесть вечера». Фох немедленно отправляется в путь, приезжает в Базель, бежит ко мне и восторженно рассказывает обо всем. Я всю ночь писал письмо генералу Пишегрю. Принц Конде, облеченный всей полнотою власти Людовика XVIII, за исключением права раздавать орденские ленты, своею собственной рукой начертал, что он уполномочивает меня вступить в переговоры с генералом Пишегрю. Вот почему я и писал генералу. Для начала я постарался вызвать в нем чувство подлинной гордости, присущее всем великим людям, а потом, показав, сколько он может сделать добра, намекнул, как благодарен ему будет король за то благо, которое он окажет родине, восстановив королевскую власть. Я сказал, что его величество намеревается сделать его маршалом Франции и губернатором Эльзаса, ибо трудно найти для этого края лучшего управителя, чем тот, кто так мужественно его защищал. Он будет награжден красной орденской лентой, ему покажут замок Шамбор вместе с парком, двенадцать пуншек, отбитых у австрийцев, миллион наличными, двести тысяч ливров годового дохода и дворец в Париже; город Арбуа, родина генерала, будет переименован в Пишегрю и на

пятнадцать лет освобожден от всяких палогов; ему будет положена пенсия в двести тысяч ливров, половина которой в случае его смерти перейдет к жене, а пятьдесят тысяч ливров — детям, на вечные времена, пока не исчезнет с лица земли его род.

Вот что было предложено генералу Пишегрю от имени короля.

Что же до его армии, то я пообещал ему от имени короля утверждение всех его офицеров в чине, продвижение по службе всех тех, кого он порекомендует, равно как и комендантов крепостей, которые их сдадут, а также освобождение от налогов всех городов, которые откроют свои ворота. Жителям всех сословий было обещано безусловное и безоговорочное всепрощение.

Я добавил, что принц Конде выразил пожелание, чтобы он объявил по армии о своей приверженности королю, сдал ему город Гуниген и вместе с ним пошел на Париж.

Пишегрю с величайшим вниманием прочитал письмо и затем сказал Фопу: «Прекрасно. Но кто этот господин де Монгайяр, который выдает себя за лицо, облеченное столь высокими полномочиями? Я не знаю ни его, ни его подписи. Он автор этого послания?» — «Да, он», — говорит Фоп. «Видите ли, — говорит тогда Пишегрю, — прежде чем решиться на какой-либо шаг, я хочу быть уверенным, что принц Конде, руку которого я хорошо знаю, действительно согласен со всем тем, что написал мне от его имени господин де Монгайяр. Поезжайте немедленно к господину де Монгайяру и скажите, чтобы он довел до сведения принца Конде мой ответ».

Фоп оставил при Пишегрю господина Курана, а сам отправился ко мне. В Базель он прибыл часов в девять вечера и тотчас отчитался в своей миссии. Я незамедлительно поехал в Мюльгейм, где помещалась штаб-квартира принца Конде. Нашел я туда лишь за полночь. Принц уже спал, я велел его разбудить. Он усадил меня прямо к себе на постель, и мы стали совещаться. А ведь казалось бы, речь шла всего лишь о том, чтобы принц Конде, узнав о состоянии дел, согласился письменно удостоверить генералу Пишегрю, что я не написал ничего лишнего от его имени. Однако мы проговорили всю ночь, прежде чем он решился на этот столь необходимый, простой и легко выполнимый шаг. Его высочество принц, отличающийся необычной храбростью и являющийся в снгу своего



неколебимого мужества достойным сыном великого Конде, во всем остальном — человек мелкий. Перешителный, бесхарактерный, окруженный посредственностями, людьми на редкость низкими, а подчас даже развращенными, он позволяет им вертеть собой, хотя прекрасно знает им цену». И так далее и тому подобное.

На трех больших страницах описывает Монгайяр низость, подлость и глупость друзей принца, затем продолжает свой рассказ:

«Пришлось потратить немало труда и просидеть с ним на кровати девять часов, чтобы заставить его написать генералу Пишегрю письмо в девять строк. Сначала он не хотел, чтобы оно было написано его рукой; потом не хотел ставить под ним дату; потом отказывался писать его на бумаге со своим гербом; потом долго сопротивлялся, не желая скреплять его своей печатью. Наконец он сдался и написал Пишегрю, чтобы тот со всем доверием отнесся к письму, написанному графом де Монгайяром от его, принца, имени и по его поручению. Затем возникло новое затруднение: принц во что бы то ни стало желал получить обратно свое письмо. Пришлось убеждать его, что если он не станет требовать письмо, ему скорее его вернут — после того, как оно сыграет свою роль. Он с трудом сдался.

Наконец на рассвете я двинулся в обратный путь — в Базель — я велел Фошу спешно схватить в Альткирхеп, к генералу Пишегрю. Генерал вскрыл письмо принца, быстро пробежал глазами содержащиеся в нем девять строк, признал почерк и подлинность и вернул Фошу со словами: «Я видел подлинность принца — больше мне ничего не нужно. Слова принца достаточно для всякого француза. Верните ему письмо». Затем они перешли к обсуждению того, чего же хочет принц. Фош пояснил, что принц хочет: 1) чтобы Пишегрю объявил армии о своей приверженности королю и стал под белое знамя; 2) чтобы он сдал принцу Гунпиген. Пишегрю отказался. «Я ничего не люблю делать наполовину, — сказал он. — Я не желаю быть третьим томом в издании Лафайет — Дюмурье. Я знаю свои возможности — они довольно большие и основательные: я могу рассчитывать не только на свою армию, но и на определенные элементы в Париже, в Конвенте, в департаментах, в армиях, которыми командуют мои коллеги-генералы, разделяющие мои взгляды. Я люблю доводить дело до конца: хватит, Франция не может больше

существовать как республика, ей нужен король, и этим королем должен быть Людовик XVIII. Но переворот следует затевать лишь тогда, когда все будет готово и мы сможем действовать быстро и наверняка. Вот мой девиз. План принца ничего нам не даст: его выбьют из Гунзигена через четыре дня, а через две недели и со мной будет покончено. У меня в армии есть смельчаки и есть проходимцы. Надо отобрать смельчаков и бросить их в такой маневр, чтобы у них не было возможности отступить и чтобы они понимали: все их спасение в успехе дела. Для этого я готов перейти Рейн в указанном мне месте, в назначенный день и час, с любым количеством солдат любого рода войск. Прежде всего я разменю по крепостям надежных офицеров, которые думают так же, как я. Проходимцев я отошлю подалее — туда, где они не смогут навредить, и так их расставлю, чтобы они не могли друг с другом соединиться. Затем, перейдя через Рейн, я провозглашу себя сторонником короля и стану под белое знамя; мы соединимся с корпусом принца Конде и армией императора, я снова перейду Рейн и вступлю во Францию. Крепости сдадутся, — охранять их от имени короля будет поручено имперским войскам. Я же вместе с армией принца Конде пойду дальше. Тут уж мы используем все наши возможности. Мы двинемся на Париж и через две недели подойдем к городу. Но вы должны знать, что слово «король» не вертится у французского солдата на языке. Чтобы он крикнул: «Да здравствует король!» — надо сначала дать промочить ему горло и супуть в руку золотой. И надо, чтобы в эту минуту он ни в чем не пуждался. Моя армия должна получить жалование вперед, за первые четыре или пять дней марша по французской земле. Идите, доложите все это принцу, передайте ему донесение, написанное мной собственноручно, и сообщайте мне его ответ».

На этом я и кончу: хватит о предателях. Теперь вам ясно, что бедный мой старик Сом, на свою беду, вместе с нашей батареей попал в число тех, кого Пиннегрю называл проходимцами и кого он разместил так, чтобы они не могли друг с другом соединиться. В результате погибло десять тысяч человек!.. Представляю, какое у Сомы было лицо и как он скрежетал зубами, когда читал объяснение всей этой подлости! Так и вижу его с этой бумагой в руке, и сердце сжимается: ведь он подозревал, бедняга,

что дело пахнет изменой, еще когда получил пулю в бедро, а вокруг него, как подкошенные, падали товарищи по оружию, ибо отступить было некуда. Да, теперь он твердо знал, что не ошибся.

В нашем краю, где полегли тысячи солдат, все пылало праведным гневом. Люди считали, что ссылка — этого еще недостаточно для таких бандитов, ибо об их деяниях рассказывали не только документы, присланные из Италии. По распоряжению Директории были отпечатаны также бумаги, раскрывавшие заговор Дюверна, Броттье и Лавиллернуа. Воззвания Дюверна и письма, обнаруженные в обозе австрийского генерала Клинглина при последнем переходе через Рейн, отпечатанные и размноженные в тысячах экземпляров, доказывали, что заговор роялистов охватывал всю Францию и что главные заговорщики сидели в Законодательном корпусе.

Тогда Баррас, Реубель и Ларевельер сразу стали свистителями республики. И ссылки, восстановление законов против священников и эмигрантов, запрещение их родственникам занимать государственные посты, ограничение свободы печати и особые условия приема в национальную гвардию — все это сразу показалось хоть и прискорбным, но правильными и необходимыми мерами. Даже то, что разжаловали Моро, направившего бумаги Клинглина Директории лишь 22 фрюктидора. Возникло подозрение, что он решил дожидаться конца сражения и принять сторону победителей. Пост его был передан Гону, которого поставили теперь во главе обеих армий на Рейне. Против этого никому не пришло в голову возразить.

Роялисты, сославшие после 9 термидора столько монтаньяров и патриотов, теперь кричали и стонали по поводу того, каким страданиям подвергались их единомышленники в Синнамари, как они голодали, сколько потерпелись от жары и болезней в Каёенне. Конечно, это ужасно, но никогда не надо считать себя выше и лучше других, — ведь большие ядовитые мухи, созданные верховным существом, сосут кровь не только у роялистов, но и у республиканцев. Если бы роялисты отменили ссылку, когда были хозяевами в стране, их тоже не стали бысылать в Каёенну, а просто посадили бы в тюрьму или изгнали из страны. Недаром говорится: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе».

Но вернемся к 18 фрюктидора. Двух членов Директории — Карно и Бартемея — заменили Мерленом из Дуэ и Франсуа из Певшато\*. Якобинцы уже решили, что одержали верх, но вскоре борьба между ними и конституционалистами возобновилась в клубах. Эти конституционалисты, именовавшие себя республиканцами, не желали иметь иной конституции, кроме конституции III года. Это были себялюбцы, которых волей-неволей вынуждена была поддерживать Директория, поскольку, не будь конституции III года, не существовало бы ее самой.

Тогда подлинные республиканцы стали пастороженно относиться к Директории, несмотря на меры, которые она принимала для уничтожения роялистов, несмотря на то, что военные комиссии расстреливали неуспевших бежать эмигрантов, а высылка неприсягнувших священников шла полным ходом. Поползли слухи, что Директория хочет распустить оба Совета до наступления всеобщего мира и остаться единовластным хозяином страны. Правда, громко об этом не говорили, ибо Директория была всемогуща. Даже Шовель — и тот стал осторожнее: помалкивал, хотя все знал. Я решил, что он далеко от истины! Шовель возмущала Директория больше, чем любое другое правительство, ибо она закрепила за собой право назначать и смещать судей, мэров и всевозможных чиновников во всех пятидесяти трех департаментах, часть которых осталась без депутатов, ибо те были сосланы; она могла закрывать газеты, распускать клубы, приостанавливать набор в национальную гвардию и объявлять осадное положение. И вот однажды Шовель вдруг воскликнул:

— Что же мы теперь значим при таком правительстве? Что осталось народу? Даже если бы все пять наших директоров были Дантонами, даже если бы все они обладали здравым умом, мужеством и чувством патриотизма, которого им явно не хватает, я бы все равно считал, что при таких полномочиях подобное правительство — бич для народа. Это же настоящие деспоты!.. Нас только и спасает то, что они глупы и трусливы. Но стоит какому-нибудь генералу выставить их за дверь и преспокойно усесться на их место, ему и менять ничего не придется и не надо будет присваивать себе никаких прав: мы сразу станем его рабами. Да вот уже и теперь нам приходится молчать, ибо стоит кому-нибудь из этих грабдак подать знак, — и нас

мигом схватят, осудят, конфискуют все наше имущество и ушлиют навсегда. Где же наши гарантии? Я их не вижу. В их руках вся исполнительная власть, а оба Совета имеют право лишь высказывать пожелания, как это делали провинциальные собрания при Людовике Шестнадцатом.

Больше всего возмущало Шовеля то, что у Директории не хватало духу спросить с Бонапартом: она не решилась вывести его в отставку и, вместо того чтобы вызвать в Париж и потребовать отчета, предпочитала держать в Италии, где он по своему усмотрению создавал, распускал, расширял, разъединял и объединял целую плеяду мелких республик. После предварительных переговоров о мире в Леобене все газеты писали только о Бонапарте: «Обращение командующего Итальянской армией Бонапарта к гражданам 8 военного округа». — «Бонапарт — в штаб-квартире Пассериано». — «Послапец Французской республики Жозеф Бонапарт в папской резиденции». — «Подробности приема папой французского посла Жозефа Бонапарта». — «Генерал Бонапарт устанавливает границы Цизальпинской республики». Генерал Бонапарт сделал то, генерал Бонапарт сделал сё!

Можно было подумать, что, кроме Бонапартов, во Франции вообще никого больше не существует. Смерть Гопа; назначение на его место Ожеро; разрыв переговоров с Англией, которая не рвалась была сохранить мир, но не желала возвращать нам колонии; трудности, с которыми сталкивалась Директория; разлад в Советах — все это стоило на второй план. Газеты кричали только о Бонапарте!.. Кто-то, а он, видно, знал, какое действие имеют даже самые мелкие объявления! Одной своей Итальянской кампанией он наделал больше шума, чем все наши генералы, вместе взятые, своими кампаниями на севере и юге, в Германии, в Шампани, в Вандее и в Голландии — с начала революции. Кругом говорили только о мире, который собирает заключить генерал Бонапарт, о маркизе де Галло\*, кавалере ордена св. Жанье, о Людвиго фон Кобенцеле, графе Священной Римской империи, о некоем господине Игнаце, бароне Дегельмане и других лицах, уполномоченных вести переговоры с генералом Бонапартом.

После стольких битв, стольких страданий и мытарств все, конечно, жаждало мира: крестьяне, ремесленники, буржуа, — все хотели спокойно жить со своими женами и

детьми, трудиться, сеять, собирать урожай, покупать и продавать, не боясь, что могут вернутся австрийцы, нандейцы, англичане, испанцы. И не удивительно! Однако, когда читаешь сейчас описания тех лет, получается, будто пожелал этого Бонапарт, будто именно он внушил людям любовь к миру, — ну, а это, понятно, ни в какие ворота не лезет. Не будь на свете Бонапарта, страна все равно жаждала бы мира и добилась бы его, ибо мы припесли другим народам куда больше бедствий, смертей и пожаров, чем они — нам. Словом, все были по горло сыты войной. И если бы простые люди могли заключить мир без помощи королей, принцев и членов Директории, мир установился бы сам собой.

Но вот наконец мы узнали, что знаменитый договор между нашей республикой и императором Австрийским, а также королем Венгрии и Богемии заключен. Оставляя за собой левый берег Рейна, который мы завоевали до Бонапарта и где стояли наши войска, генерал Бонапарт отдавал взамен его величеству императору Австрийскому и королю Венгрии и Богемии, в полную собственность и владение, Истрию, Далмацию, Фриуль, острова на Адриатическом море, принадлежавшие ранее Венеции, самый город Венецию, лагуны, — короче говоря, всю Венецианскую республику, которой мы никогда не владели. Австрийцы, наверно, были рады-радешеньки, ибо их теперь отделяло от Бельгии пространство в сто лье. Непонятно только одно: стоило ли так уж прославлять этот договор, на который австрийцы согласились бы и до Итальянской кампании, где они проиграли столько битв.

Вот какие бывают чудеса!

Да, по этому договору король Венгрии и Богемии уступал нам еще Ионические острова, которые и без того были нашими.

Видно, народы более слепы, чем последний из крестьян: у нас никто не сочтет большим умником того, кто сначала разорится на тяжбе, а потом пойдет на мировую. Поэтому-то адвокаты и жиреют за счет простофиль, а генералы — за счет глупого народа. А ведь со знаменитого мирного договора в Кампо-Формио \* и началась вся слава Бонапарта.

Все, что я вам тут говорю, люди здравомыслящие и тогда понимали и обсуждали между собой, но народ, про-

стой народ — тот ничего не знал и ни в чем не разбирался, он ликовал и славил Бонапарта. Он уже забыл, сколько раз за эти четыре года мы лупили немцев, — нет, все сделал Бонапарт!.. Так иной раз бывает на рынке, когда взвешивают товар: кладут на весы мешок за мешком, — все не хватает, а потом положат последний — и сразу перевес. Тут уже никто не помнит о двадцати предыдущих, — важен только этот последний, двадцать первый мешок. Люди глупые так и считают. Вот какой он, народ! А все от невежества!

Теперь вы увидите, к чему все это привело, ибо ничто не проходит бесследно.

В газетах появились такие заметки: «Милан, 26 брюмера. — Генерал Бонапарт вчера утром выехал из Милана в Рапштадт, где он возглавит французских представителей на мирных переговорах». — «Мантуя, 6 ноября. — Пребывание генерала Бонапарта в этом городе явилось значительным событием, о котором нельзя умолчать. Ему был отведен бывший герцогский дворец. Управители города и члены муниципалитета в парадной форме явились его приветствовать». Или, например, такие: «Проезд генерала Бонапарта через Швейцарию был воспринят здесь как великое событие, ибо жители уже давно обеспокоены угрозой вторжения в их страну. Бонапарт своим дружеским отношением к депутации бернцев, явившейся к нему, успокоил наш народ. Люди поверили в его искренность и великодушие». — «Бонапарт 21-го прибыл в Женеву и обедал у французского резидента. Жители уже несколько дней ждали на всех дорогах его проезда. Наконец гонцы оповестили о его приближении». — «Сегодня утром близ Авенна у генерала Бонапарта съехала карета. Он вышел из нее и прибыл в город пешком, в сопровождении лишь нескольких офицеров и отряда драгун. Он остановился возле кладбища. И один из жителей, некто Мора, славный малый пяти футов восьми дюймов росту, с удивлением уставился на генерала. «Надо же, такой малеский каркас у такого великого человека!» — воскликнул он. «Как у Александра Великого», — вставил я, а слышавший меня адъютант улыбнулся. Бонапарту воздавали почести по всей Швейцарии. Дозанна встретила его палочницей». — «Второго фримера Бонапарт обедал в маленьком городке Роль. Его прибытие в Базель было ознаменовано залпом из крепостных орудий. Такой же орудийный салют

был дан крепостью Гунишген и всеми окрестными реду-  
тами». И так далее и тому подобное.

Да и в Париже, в Совете пятисот, славословиям не было конца. Поклонники Бонапарта ликовали, они не закрывали рта: «Наконец-то мы получили этот мир, почетный и прочный. Благодаря ему забывают источники народного процветания и потекут блага; дерево свободы получит живительные соки и принесет нам сладчайшие плоды; зарубцуются раны, нанесенные долгой разрухой войны нашему режиму; мы сможем наконец облегчить участь немущих, покровительствовать развитию искусств и ремесел, дать толчок торговле; наконец-то те, перед кем наше государство в долгу и над чьей участью мы столь часто проливаем слезы, перестанут быть заброшенными сиротами нашей родины».

Ну, что еще вам сказать? Все падали шпц перед этим солдатом, а он, попирая вас сапожищами, будто даже оказывал этим вам честь. До чего же люди способны пресмыкаться — просто уму непостижимо. И если герои вроде Бонапарта \* начинают смотреть на своих ближних как на убойный скот, — ничего тут нет удивительного: сами они в этом и повинны. Тот, кто не уважает себя, не заслуживает ничего, кроме презрения.

Похоже, что все эти почести, которые Шовель называл пошлостями, под конец надоели самому Бонапарту, ибо в то время, когда по всему Эльзасу воздвигали триумфальные арки — от Гунишгена до Саверна, а в наших краях — из Миттельбропа, Сен-Жан-де-Шу, из Четырех Ветров, из Нижних и Верхних Лачуг, со всех окрестных деревень стекались люди, неся еловые ветки, поскольку то была единственная зелень, которую свежней зимой можно у нас найти, — мы вдруг узнали из газет, что генерал Бонапарт, повидавшись со своим дедом по материнской линии и расцеловав его в большом зале, где базельские власти устроили ему роскошный обед, отбыл под залпы крепостных орудий на правый берег Рейна и, должно быть, уже находится в Раштадте, городе-крепости великого герцогства Ваденского, где созывался конгресс для составления условий всеобщего мира. А на площади в Ифальцбурге стояла триумфальная арка, и разочарованные люди под дождем, в грязи, расходились по домам.

Дядюшка Жан, мой отец и Летюмье, мокрые, как утки, зашли пообсохнуть к нам в читальню. Жаловаться никто



не смел. Дядюшка Жан заметил только, что после конгресса Бонапарт наверняка проедет через наш город, — вот тогда мы его и увидим, а столбы триумфальной арки выкрашены прочной краской — как-нибудь до тех пор достоят.

Маргарита сходила за бутылкой вина и поставила на стол стаканы, яблоки и корзиночку с орехами. Пока все отогревалось и грызли орехи, подошли еще несколько патриотов: Элоф Коллен, Рафаэль Манк, Дени Тэвено. Все они были очень огорчены, особенно Элоф, который приготовил великолепную речь в честь гражданина Бонапарта. Шовель, попуру сидевший за печкой, слушал их, слушал, да как расхохочется. Все вздрогнули от удивления.

— Чему вы смеетесь, Шовель? — спросил его дядюшка Жан.

— А я представляю себе, как гражданин Бонапарт катит в своей посольской карете, обитой атласом и бархатом, в Раштадт и, беря добрую понюшку табаку, думает: «Неплохо у нас идут дела!.. Роялисты, якобинцы, конституционалисты, вся эта свора глупцов, которых два-три хитреца ловко водят за нос, — все они у меня в руках. Три года назад, когда в Онейле, Ормеа и Саорджио я с утра до вечера топтался под дверями депутата Огюстен-Бон-Жозефа Робеспьера и превозносил права человека, разве кто-нибудь мог мне такое предсказать. Еще в прошлом году, Бонапарт, ты стибался в три погибели у двери гражданина Барраса, чтобы получить аудиенцию. И директор принимал тебя хорошо или плохо в зависимости от того, хорошо или плохо он цвел. Слуги, видя, что ты без конца толчешься в приемной, улыбался и переглядывались у тебя за спиной: «Это он! Опять его принесло!» А ты говорил себе: «Крепись, Бонапарт, крепись, так надо, гни спину перед королем этой мрази, смирай свою гордость, корейканец, это путь к удаче!» И вот ты скачешь по дороге в Раштадт, предшествуемый гондами, позади — веренища побед, о прибытии твоём возвещают газеты. Якобинцы, конституционалисты и роялисты поют тебе славу, от тебя они ждут — одни свободы, другие короля, а третьи — конституции».

И Шовель захохотал пуще прежнего. Элоф Коллен закричал, что Бонапарт — настоящий якобинец, что все его воззвания доказывают это и что нельзя обвинять

человека без оснований. Тут Шовель, сверкнув глазами, сказал:

— Вы посмотрите, каким он был тихоней и каким стал наглцом, — вот вам и основания. После своих побед в Италии, когда любая стычка преподносилась как сражение, он стал уже не говорить, а кричать, при малейшем замечании грозил подать в отставку, противникам своим не давал слова вымолвить и преследовал их даже в Париже. Он приписывал себе одному все успехи на внешнем и на внутреннем поприще, самым позорным образом играл на трусости членов Директории, на их низости и пороках. Ведь он перетянул их на свою сторону с помощью денег, — слыханное ли дело? В каждом его письме только и разговору что о миллионах, которые он добудет тут или там! Да разве наша республика когда-нибудь так себя позорила? Разве мы не отрубили голову Кюстину за то, что он занимался вымогательством в Пфальце? Неужто мы затем вели войну, чтобы отбирать у народов их деньги, их имущество, — все, что им дорого, как память о былом могуществе и свободе? Да разве само поведение генерала Бонапарта не раскрывает всей его натуры? Кто еще отдал бы на разграбление мародерам целые города, а ведь именно так он поступил в Павии и Вероне! Он этим навеки запятнал Францию! А его солдаты, когда они вернутся на родину, — откуда у них возьмется уважение к семье, личности, собственности, если с первого дня похода они только и слышали от своего генерала: «Я поведу вас в самые плодородные долины мира. Там вас ждут почести, слава и богатство!» Нет, не такой представлялась наша республика народам при ее зарождении: она стремилась дать им права, а не обкрадывать их, отбирая все их достоинство. В Италии мы вели грабительскую войну, и, как это ни печально, теперь эти грабители вместе со своим вожаком возвращаются сюда и хотят привить нам то, чему они научились в Италии: презрение к роду людскому. Толпа, что падает ниц перед героем, уничтожает в его душе последние остатки уважения к народам. После миллионов, привезенных из Италии, мы скажем: подавай нам еще. И вместо того, чтобы добывать их трудом и бережливостью, мы станем добывать их разбойничьей войной. И Бонапарт станет нашим властелином. Он кушит нас всеми этими сокровищами, отобранными у Европы. И мы будем всецело принадлежать ему. Кто сможет против этого возразить?

Шовель разошелся: от возмущения голос его так и гремел. Покупатели в лавке стояли и слушали, — да его, наконец, слышно было и на улице. А нападать на Бонапарта теперь стало небезопасно: наша подлая Директория до того докатилась, что уже ни в чем не могла ему отказать, и одного его слова было достаточно, чтобы арестовать первого встречного. Патриоты, собравшиеся у нас, один за другим стали расходиться. Те, что немного задержались, были рады-радешеньки, когда Маргарита стала накрывать к ужину.

— Пошли, пошли! — воскликнул дядюшка Жан. — Желаем хорошего аппетита! Поздненько уже, а меня ждут в деревне.

И они ушли.

— Давайте садиться за стол, — мрачно сказал Шовель.

В этот вечер больше не было произнесено ни слова о политике, но я хорошо его запомнил. Из всего, что говорил тогда Шовель, было ясно, что он хорошо знал Бонапарта и давно его разгадал. Последующие события достаточно красноречиво показали, что он не ошибся.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Через несколько дней стало известно, что Бонапарт уехал с Раштадтского конгресса, так ни до чего и не договорившись, и прибыл в Париж. На первых страницах всех газет можно было прочесть:

*«Французская республика 16 февраля»*

Вчера около пяти часов вечера генерал Бонапарт прибыл в Париж. Исполнительная директория на будущей неделе устраивает ему торжественный прием во дворе Люксембургского дворца, который будет специально для этого украшен. Состоится обед на восемьдесят персон...»  
И так далее и тому подобное.

И на другой день:

«Генерал остановился в доме своей супруги на улице Шантрей, близ Шоссе-д'Антен. Это скромный маленький дом, без всяких претензий».

И затем:

«Власти департамента Сены объявили о своем намерении посетить генерала Бонапарта, но он сам прибыл в Ратушу в сопровождении генерала Бертье\*. Его приветствовал бывший член Конвента Матье. Генерал ответил скромно, но с достоинством.

Кассационный суд направил к Бонапарту депутацию из нескольких своих членов. Они были весьма уважительно приняты им.

Мировой судья округа явился приветствовать генерала Бонапарта. Генерал отдал ему визит.

Бонапарт редко выезжает — и не иначе, как в простой карете, запряженной парой».

И так далее.

А потом Бонапарт обедал у Франсуа из Неншато и всех поразил своими познаниями: с Лагранжем\* и Лапласом\* он говорил о математике, с Сийесом — о метафизике, с Шенье\* — о поэзии, с Галуа — о политике, с Дону\* — о законодательстве и гражданском праве. Просто удивительно, как много он знал, — куда больше, чем все остальные, вместе взятые.

А на другой день он отправился с ответным визитом в кассационный суд. Он прибыл туда в одиннадцать часов с одним-единственным адъютантом. Все члены суда, в полном составе и при полном облачении, приняли его в комнате заседаний. И оказалось, что он знает законы лучше их всех.

За этим последовал большой прием в Люксембургском дворце. Начало торжества было ознаменовано орудийным залпом. Навстречу Бонапарту вышел кортеж из полицейских комиссаров, мировых судей, чиновников двенадцати муниципалитетов, департаментских властей и представителей пятидесяти других ведомств. Кого только не было на этом празднике: и комиссары казначейства, и комиссары учета, и члены торговых, гражданских и уголовных судов, и члены Академии наук и искусств, и офицеры Генерального штаба! Музыка играла патриотические и революционные гимны.

Газеты расписывали кортеж, его маршрут, прибытие на место, полукруглый алтарь, установленный посредине огромного амфитеатра, знамена и военные трофеи, восторженные клики толпы; речь министра иностранных дел Талейрана-Перигора, бывшего епископа Отенского, члена

Учредительного собрания, того самого, который в свое время служил мессу на Марсовом поле и вопреки напе рукополагал присягнувших священников, — словом, комедианта, каких мало! Затем речь Барраса, сравнившего Бонапарта с Катонем\*, Сувратом\* и прочими патриотами древности, с которых-де он брал пример; ответная речь Бонапарта, военные гимны и прочее и тому подобное.

Эх, несчастные защитники Майнца! Бедные генералы армии Самбры и Мааса, Рейнско-Мозельской, Пиренейской, Вандейской армий! Сколько боев и сражений дал ты в 92-м, 93-м, 94-м и 95-м годах, когда положение было куда сложнее и опаснее, чем в Италии! Именно вам, да и нам следовало бы хвалиться тем, что мы двадцать раз спасали родину, причем спасали ее ценою величайших страданий, разутые, раздетые, голодные... Однако ни один из нас, ни один из наших командиров, несмотря на все их мужество, стойкость и честность, не удостоился и тысячной доли почестей, какие вынажи Бонапарту. Никто не вызывал такого всеобщего восторга и преклонения, как он. Оказывается, еще вовсе не достаточно выполнить свой долг, — главное, кричать об этом на всех углах и заставить кричать газеты: «Я сделал то! Я сделал сё! Вот я какой! Я гений! Я шлю своей стране знамена, картины, миллионы!» И перечислять все, что ты послал: и пушки, и военные трофеи. Да еще неустанно твердить солдатам: «Вы первые вояки в мире!» И тогда люди подумают: «А он — первый генерал!» Да, сыграть комедию, швырять золотом, выпустить на цепу барабаны, трубы, султаны, галуны, — и французы у тебя в кармане!

У Шовеля были все основания, прочитав это, сказать:

— Бедный, бедный народ! Самый мужественный, больше всех стремящийся к справедливости, а вот ведь: стоит перед ним разыграть комедию, и он голову теряет. Здравого смысла нет уж и в помине: он ничего не видит и не понимает, куда его ведут. Робеспьер с его мрачной физиономией и высокопарными словами о добродетели и этот — со своей славой, — величайшие комедианты, каких мне довелось видеть. Дай только бог, чтобы эта комедия не слишком дорого нам обошлась!

Шовель рассчитывал на Клебера, Ожеро, Бернадотта и Журдана и смотрел на них, как на спасителей республики. Смерть Гюга привела его в полное отчаяние. Он

частенько повторял прекрасные слова, которые произнес умиритель Ванден, обращаясь к своим войскам:

«Друзья, обождите, не складывайте грозного оружия, которое помогло вам столько раз одержать победу. Коварные враги, забыв о том, что вы есть на свете, строят козни, чтобы восстановить во Франции рабство, от которого вы ее навеки избавили. Они используют все: фанатизм толпы, интриги, подкуп, финансовую разруху, оскудение республиканских институтов и отстранение от дел людей, оказавших в свое время великие услуги родине. Они стремятся разложить общество, утверждая, что так-де складываются обстоятельства. Мы же противопоставим им честность, мужество, бескорыстие, верность добродетелям, о которых они понятия не имеют, и тем победим!»

Да, но теперь Гош уже покоится рядом со своим другом Марсо в небольшом форте близ Кобленца, а бескорыстие, верность добродетелям и честность не способны воскресить мертвеца!

Солдатам же Итальянской армии достались все почести и все блага, какие дала революция. Этот мир, которым так дорожил наш народ, был добыт нашими походами за Рейн скорее, чем Итальянской кампанией, а всю славу его принесли Бонапарту. Но он дорого заплатил за эту несправедливость!

Так, в празднествах и обедах прошла зима, и все превозносили только одного человека. Ожеро, раздосадованный тем, что его все время отодвигают в тень, возвысил было голос протеста, но добился лишь того, что у него отобрали командование вашими войсками в Германии и послали в Черпиньян. Бертье получил пост командующего Итальянской армией, а Бонапарт устроил так, что его выбрали в Академию на место его бывшего друга Карно, того самого Карно, который за два года до этого одобрил намеченный им план кампании, когда Бонапарт еще был никем и стремился спускать расположение всех, кто мог бы помочь ему стать кем-то.

Теперь стали поговаривать о большой экспедиции в Англию во главе с самим Бонапартом. Но для этой экспедиции ведь надо было сварядить суда, дать армии все необходимое, — словом, требовалось много денег, а, по слухам, в Швейцарии, у бернцев, золота было хоть отбавляй. Недаром их звали «господа бернцы». Эти господа не сделали нам ни малейшего зла, да только вот жители кан-

тона Во уж больно жаловались, что они их угнетают, заставляют обрабатывать свои земли и взимают с них налоги.

Возможно, жители кантона Во и были правы, но зато что, и, думаю, Директория никогда не вмешалась бы, если бы не толстая монна господ бернцев. На беду, для экспедиции в Англию требовались деньги, а золото господ бернцев не давало нокко Баррасу, Ревбелю и другим членам Директории. Итальянские миллионы возбудили у них аппетит, — дело было худо!

И вот в январе семьдесят пятая полубригада под командованием генерала Рамона переправилась через Женевское озеро и стала в Лозанне. За ней последовал генерал Менар с целой дивизией, — мы вскоре узнали из газет, что его воззвание произвели должное впечатление:

«Доблестные солдаты! Свобода, провозвестниками которой вы являетесь, зовет вас в кантон Во. Французская республика хочет, чтобы жители этого кантона, сбросив с себя ярмо, стали свободными...» И так далее и тому подобное.

Вся Швейцария пришла в движение. Госнода бернцы, фрибургцы и солерцы, отлично понимая, что все дело в их золоте, вместо того чтобы отказаться от своих давних привилегий и опеки над другими кантонами, выставили против нас войска. А вот жители Базеля, Люцерна и Цюриха оказались поумнее: они тут же предоставили своим подопечным все права. Но это не устраивало Директорию: в Париже, видите ли, хотели, чтобы Швейцария стала республикой такой же, как наша, единой и неделимой, а не состоящей из отдельных кантонов. Вместо Менье на пост командующего назначили генерала Брюна \*, прославившегося своими молниеносными атаками в Италии, и он тотчас снялся с места. Тут все кантоны, кроме Базельского, объединились, чтобы противостоять нашему вторжению. Через наш город снова потянулись комиссары Директории, реквизищики, поставщики и войска, множество войск. Это необыкновенно оживило наш край, и торговля шла как никогда бойко. Швейцарцы защищались неуступленно, особенно в маленьких кантонах, где все были отличные стрелки да к тому же хорошо знали тамошние места. Но наши войска вторглись к ним сразу с двух сторон — через Базель и через Женеву,

и богатству их с каждым днем грозила все большая опасность.

Не стану вам рассказывать обо всех этих схватках, стычках и неожиданных нападениях в горных проходах, вести о которых доходили до нас изо дня в день. Генерал Никола Йорди, бывший комендант у нас в Майнце, нанес противнику несколько ловких ударов и захватил уйму пленных, знамена и пушки.

Несмотря на всю ужасающую несправедливость этой войны, я всегда радовался, когда отличались ветераны.

Наконец Солер, а потом Берн сдались. Директория добилась своего: бесконечные обозы потянулись по дороге в Париж. Из Берна вывезли даже медведей — с тех пор и появились у нас в Зоологическом саду мишка Мартыи. Все его семейство прибыло к нам в пяти ящиках, груженных на повозки, среди множества других ящиков, уж наверняка не с медведями. Говорят, что послал все это гражданин Рашина, зять члена нашей Директории Реубели.

События эти произошли в феврале и марте 1798 года.

А незадолго перед тем мы узнали, что в Риме, неподалеку от дворца нашего посла Жозефа Бонапарта, убили генерала Дюфо. У папы-то ведь тоже было немало денег. Бертье двинулся на Рим: всем стало ясно, что теперь экспедиция в Англию будет спарижена, что войска ни в чем не будут терпеть недостатка, а флот будет отлично оснащен.

Да, не забыть бы мне рассказать, какая радость вынала и ту пору на мою долю: я повидался с сестрой моей Лизбетой и с ее маленьким Каснем. Мареско стал теперь капитаном в пятьдесят первой полубригаде, куда 11 прернала IV года вошла бывшая тринадцатая легкая. Он был еще в Италии, но тут из пятьдесят первой полубригады выделен батальон для Батавской армии, и Лизбета решила воспользоваться случаем, чтобы навестить нас и похвастать своими трофеями.

И вот однажды утром, когда я раскладывал на витрине щетки, косы, штуки фланели и мольстопа, ибо, помимо бакалейных и мелочных товаров, мы теперь стали торговать еще и мануфактурой, — словом, занялся делом и время от времени поглядывал на площадь, я вдруг увидел на улице Кровотокающего Сердца какую-то важную даму, всю в золоте и оборках, которая шла в нашем направле-



нии, ведя за руку мальчика в гусарской форме. Не одни я, многие смотрели на нее из окон. Я же думал: интересно, кто эта важная дама, с золотыми серьгами в ушах, вся в брелочках и цепочках. Мне казалось, что я где-то уже видел ее.

Она шла не спеша, кокетливо покачивая бедрами, и вдруг, дойдя до рылка, побежала во всю прыть, крича:

— Мишель! Да ведь это же я!

Мне вспомнился Майнц, отступление из Антрама и все прочее, и я не на шутку расчувствовался. А Лизбета уже висела у меня на шее, и от неожиданности я не мог слова вымолвить. Мне и в голову не приходило, что я так люблю Лизбету и ее малыша.

Тут из дому вышла Маргарита, а за ней папаша Шовель.

Лизбета говорила Кассию:

— Да поцелуй же его — это твой дядя!.. Ах, Мишель, помнишь тот день, когда была бомбардировка?



Он еще был тогда совсем маленький, правда? А отступленпе из Лавалья!

Она расцеловалась с Маргаритой, а потом, смеясь, поцеловала и папашу Шовеля — он явно был в хорошем настроении. Малыш, такой же курчавый, как и отец, сидел у меня на руках и, положив ручонку мне на плечо, добродушно смотрел на меня. Смеясь и болтая, как самые счастливые люди на свете, мы прошли через лавку в нашу читальню, и Лизбета, которую явно стесняла длинная шаль и шляпа, тотчас сбросила их на стул.

— Все это ерунда, побрякушки! — рассмеявшись, заметила она. — У меня в гостинице целых пять ящичков этого добра — и кольца, и цепи, и сережки. Я с собой все привезла, чтобы подразнить здешних дамочек. А по мне — хоть бы этого и не было! Был бы хороший платок на голове да хорошая теплая юбка на зиму! Да еще бы рюмочка водки!

Тут в комнату вошел Этьеп, который был занят в лавке, и Лизбета слова принялась ахать и умиляться. Словом, я липний раз убедился, какая она добрая душа, и порадовался, что она совсем не похожа на Никола.

Этьеп даже заплакал от радости. Он хотел тут же бежать к отцу и предупредить мать, но Лизбета заявила, что после обеда сама собирается пойти в деревню. Она сказала, что хотела бы поцеловать моих детей, и когда мы отвели ее к ним, заметила про Жан-Пьера:

— Ну, этот — вылитый гражданин Шовель. Я бы признавала его из тысячи. А дочурка, по-моему, похожа на тетюшку Лизбету — такая же светленькая, большая и сильная. Ах вы, ангелочки вы этакие!

Очень нам было приятно это слышать. Потом мы вернулись в читальню. Слух о приезде Лизбеты уже разнесся по городу, и к нам потянулись друзья и знакомые. Всякого нового пришельца-патриота, молодого или старого, Лизбета встречала как старого друга, на «ты»:

— Э, да, никак, это Коллен! Как идут дела, Коллен?

— Смотри-ка, да это же папаша Рафаэль!

Подобная бесцеремонность их, конечно, удивляла, но, видя, какая она пикарная дама, все решили, что, наверно, она имеет право так себя держать.

Обед, за которым было выпито несколько бутылок

доброе вино, прошел очень весело. Лизбета рассказывала нам о своих богатых трофеях в Павии, Пиаченце, Милане, Верове, Венеции. Она хохотала, описывая, какие лица были у тех, кого грабили.

— Черт возьми, гражданка Лизбета, — заметил Шовель, — так значит, вы веди грабительскую войну...

— Да бросьте вы! — позразила она. — Это же все были попы и аристократы! Неужто жалеть таких людей? Да будь на то их воля, они бы всех нас отравили на тот свет, мерзавцы! Стоит повернуться к ним спиной, как они у нас в тылу поднимают восстание... Вот гнусные выродки!.. Правда, мы расстреляли немало монахов, капуцинов... Как возьмем в плен — сразу на расстрел... У Бонапарта это железное правило. Никаких рассуждений. «Раз тебя схватили с повстанцами, дело ясное: отряд в восемь человек, к стенке и — прощай!» Знаете, это быстро приводило их в чувство, граждане Шовель, и воинственного пыла как не бывало.

— Ну еще бы, все шло гладко, точно по нотам.

— Я думаю, — рассмеялась Лизбета. — А у меня, знаете ли (и она сделала вид, будто хватает что-то и рассовывает по карманам), были карманы до пят. Иной раз Мареско вроде бы рассердится да как крикнет: «Ах ты, мародерка ты этакая! Вот велю расстрелять тебя перед всей ротой для острастки!» Но тут все расхохочутся, и он расмеется со всеми. Подумайте сами, неужто надо было ждать, пока прибудут фургоны комиссаров, генералов и полковников? Да разве мы не рисковали своей шкурой так же, как они?

— Конечно, — соглашался Шовель, — но ведь добро-то народное...

— Народное?.. Вот глупости!.. Народное добро все разошлось по карманам реквизиционеров. К тому же знамена, картины, миллионы — все это пошло Директории от имени командующего. Вы видели списки?

— Да, видели.

— Так вот, разве поход на Майнц, война в Вандее и в Голландии принесли нам хотя бы четверть всего этого?

После обеда и рюмочки вина Лизбета собрала все свои побрякушки и с Этьеном и Кассием отправилась в Лачуги-у-Дубьяка. Мы с порога смотрели им вслед, а папана Шовель заметил:

— Ну и мародерка!.. Эх, бедный ты мой Мишель, и семейка же у тебя!

Он, однако, улыбался, ибо Лизбета так просто и откровенно рассказывала о своих похождениях, что сразу видно было: она считает это справедливым и таким же естественным, как, скажем, выпить рюмочку водки. И даже похвалялась своими деяниями, как большою заслугой! Но самое смешное, что все дамы нашего города, которые прекрасно знали, что Лизбета — дочь старика Вастьена из Лачуг-у-Дубняка, и помнили, как она, босая, чуть ли не в одной рубашке, бегала по большим дорогам, восторгались теперь ее платьями, шляпками, кольцами и манерами важной дамы. Прожила она у нас неделю и каждый день, утром и вечером, меняла туалеты: то паденет шелковое платье, то бархатное, и все — с отделкой по итальянской моде. Иные платья были такие жесткие, точно из картона — столько на них всего было пантито: наверняка она стащила их в какой-нибудь церкви или старинном замке, где хранились подвенечные платья со времен первых пап. А впрочем, кто ее знает!

Многие дамы, весьма почитаемые у нас в Пфальцбурге, при виде ее тихонько восклицали, обращаясь к соседке:

— Взгляните-ка!.. Нет, вы только взгляните!.. Ах, безобразница! До чего разоделась-то!..

И, нимало не смущаясь, они посылали слуг в «Город Базель» с просьбой, чтобы госпожа Мареско дала им поносить какое-нибудь украшение или драгоценность: ведь и им хотелось прослыть модницами. Лизбету приглашал к себе господин мэр, госпожа комендантша, — ей оказывали у нас прием почти как Бонапарту в Париже.

Да, немногие люди умеют соблюсти свое достоинство и не сгибаются в три погибели перед теми, кто преуспел! Мне было стыдно до ужаса. Зато дома, к нашему великому удовольствию, как только не издевалась над ними Лизбета!

— Везде одно и то же, — пожимая плечами, говорила она. — Утром, когда я хожу в своей будничной юбке, в старых туфлях, повязав голову красным платком, все говорят: «А вот идет бывшая маркизантка из тринадцатой легкой!», а вечером, как нацеплю всю эту мишуру, сразу говорят: «Госпожа каштанша!» Того и гляди, еще за бывшую примут. Но я головы не теряю: что днем, что

вечером соображаю одинаково. Эх, до чего же глупы люди! Как они любят, чтобы им пыль пускали в глаза.

Пока Лизбета не уехала, отец каждый день приходил к нам обедать и играл с маленьким Кассием. Бедный старик был в полном умилении и со слезами на глазах постоянно повторял:

— Господь милостив к моим детям. Вот уж никогда не думал, что при моей-то нужде они будут так жить.

Он не мог полюбоваться на свою дочку. Каждое ее слово было для него непреложною истиной.

— Ах, — частенько восклицал он, — если б бабушка Анна и дедушка Матюрэн видели вас, они бы решили, что это дагсбургские помещики.

— Правильно, папаши Бастьен, — говорил Шовель, широко улыбаясь и протягивая ему попошку табаку, — и всем этим мы обязаны революции: это она всех уравнила и смела разделявшие людей перегородки. Надо только, чтобы те, кто вчера платил оброк, не стали завтра взимать его. А те, на ком пытаются ездить, пусть сами себя защищают — это их кровное дело, мы-то выполнили свой долг.

Что же до моей матери, ее было не затащить к нам. Она ходила к Лизбете в «Город Базель», любовалась ее сокровищами и, воздев руки к небу, восклицала:

— Благословение божье на вас! Послушай, дай мне это! И вот это тоже!

Однако Лизбета знала, что все переключает к мадонне на Сен-Вита, и потому дарила матери лишь старые тряпки, а вечером говорила нам:

— Если бы я ее послушала, вся моя добыча перешла бы назад, к попам и фанатикам.

Скоро Лизбета уехала. Бертье вступил в Рим. С ним был и Мареско. Он написал об этом Лизбете, и она пожалела, что оставила бригаду. Она стала торопиться, говоря, что, мол, хочет, чтобы папа благословил Кассия. На прощанье она обещала всем ифальцбургским дамам, нашей матушке, тетушке Катрине привезти разные реликвии — кусочки креста господня, частицы мощей святых мучеников, ибо все это снова входило в моду.

Накануне своего отъезда она потащила нас с Маргаритой к себе в гостиницу и насильно всунула мне боль-

шие часы с релетицей, которые сохранились у меня по сей день и отлично идут. Ну и подарок же это был — просто чудо: на задней крышке выгравирована маленькая корона, и бой медленный, красивый, точно у соборного колокола. Эти часы так и прослужили мне всю жизнь. Но тогда я не хотел их брать.

— Это тебе Мареско прислал, — сказала мне Лизбета, — в память о том, как ты спас нам жизнь во время отступления из-под Автрама. — Она крепко поцеловала меня и, передавая мне Кассия, сказала: — Он тоже просит тебя принять наш подарок, Мишель. Мареско сказал мне: «Эти часы — для твоего брата. Я добыл их своею шпагой. Я не отдавал за них презренный металл какому-нибудь часовщику на углу: они добыты на поле боя, и я кровью заллатил за них. Передай ему это, Лизбета, и скажи, чтобы он поцеловал нашего малыша».

Тогда я взял часы и положил в карман. Мне приятно было слушать такие слова: видно, подарком был я в солдатах.

Лизбета настаивала, чтобы и Маргарита выбрала себе кольцо по вкусу. Маргарита взглянула на меня. Я знаком дал ей понять, что надо согласиться, иначе сестра обидится. Маргарита выбрала совсем скромное колечко с жемчужинкой, поблескивавшей, как слеза, по после отъезда Лизбеты так ни разу его и не надела: ей все думалось, а вдруг это кольцо принадлежало какой-нибудь девушке или женщине, убитой во время погрома. Мне тоже являлись такие мысли, но я ни слова не сказал жене о своих подозрениях.

Лизбета сунула мне еще сто франков для отца, наказав ничего не давать матери, ибо она тут же отнесет деньги неирисягнувшему полу из Генридорфа.

В день отъезда Лизбеты, часов в пять, мы все собрались в читальню — тут был и дядюшка Жан, и Летюме, и многие другие наши друзья. Когда погрузили все ящики, Батист пришел за Лизбетой. Мы расцеловались, и сестра моя с Кассием, сопровождаемые добрыми напутствиями и наилучшими пожеланиями здоровья и счастья, сели в карету, дожидавшуюся их среди толпы любопытных у наших дверей. Было там и несколько дам со своими мужьями. Они раскланялись с Лизбетой, обменялись последними приветствиями, и Лизбета, приподняв Кассия, крикнула нам:

— До свидания, Мпшель! До свидания, Маргарпта! Все до свидания!

Отец все еще держал ее за руку. Лизбета нагнулась, поцеловала его, потом протянула ему ребенка, и карета покатила в направлении плаца. Увиделись мы с ней через много, много лет, а иные до той поры и не дожили.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дело приближалось к апрелю месяцу, и все со дня на день ожидали увидеть в газетах известие о том, что наши войска отплыли в Англию. Теперь мы уже ни в чем не терпели недостатка — одни только Берн принос Директории свыше двадцати пяти миллионов в виде золотых и серебряных слитков, а также пушек, снарядов и всяких припасов.

Доктор Шван из Страсбурга, бывший председатель Клуба друзей и братьев и большой приятель Шовеля, проезжал как раз в это время через Пфальцбург и заехал к нам. Мы пригласили его отобедать с нами. Человек он был ученый и разбирался не только в политике, но и в медицине и знал о всяких новых открытиях во Франции и в Германии. Он рассказал нам про то, какие войска готовят к отправке в Англию, и нас это немало удивило. В экспедиции должны были участвовать лучшие части Рейнской и Итальянской армий, самые опытные моряки из Бретани и с юга, а также лучшие генералы: Клебер, Деза, Рейнье \*, Ланн \*, Мюрат \*, Даву \*, Юно \*, Андреосси \*, Каффарелли ди Фальга \*, Бертье, — словом, все самые стойкие, самые нештатные, самые способные воины, отличившиеся в пехоте, кавалерии, артиллерии или инженерном деле. Шван направлялся в Париж, потому что один из его старых друзей — Бертолле \* пообещал представить его Бонапарту, если он захочет участвовать в экспедиции. Известно было, что Монж \*, Жоффрау де Септ-Илер \*, Денон \*, Ларрей \*, Дежсетт \* и многие другие уже заявили о своем желании ехать.

— К чему такое множество ученых? — спросил его Шовель. — Или у англичан своих не хватает? Мы что, к дикарям едем, что ли?

— Ей-богу, не знаю, — отвечал Швап. — Просто ума не приложу, в чем тут дело. Должно быть, есть какой-то тайный резон, который нам неизвестен.

— Но если наших лучших солдат, наших лучших генералов, первых наших ученых, — вскричал Шовель, — увозят из страны, с чем же мы останемся, случись несчастие? Раинтадтский конгресс растянулся до бесконечности — все это не предвещает добра. А потом ведь может подняться ветер, как в девяносто шестом году, и разметать наш флот, или англичане нападут на него и, подавив численностью, уничтожат, да и немцы, обнаружив, что мы остались без генералов, без опытных войск, без денег, могут пожаловать к нам в гости, — все это надо иметь в виду. А особенно, если учесть, что наше вторжение в Швейцарию и занятие нашими войсками Рима возмущают всю Европу, что на нас смотрят как на воров, что жители Вены, насколько можно судить по вчерашнему «Монитеру», подняли против нас настоящий бунт: забросали камнями французское посольство, выбили стекла, сорвали наш флаг. И в такую-то минуту нас решают оставить без всякой защиты! А ведь речь тут идет уже не о роялистах и республиканцах, речь идет о существовании нашей родины, о нашей независимости. Или наша Директория состоит не из французов. Любое правительство, даже правительство Калонна, не стало бы подвергать нас такой опасности. И ради кого, ради чего? Ради того, чтобы Бонапарт мог покружиться во главе такой великолепной армии! Да что эти люди, с ума сошли?

— Нет, — сказал Швап. — Просто место члена Директории очень завидное, а если Бонапарт останется, никому там не усидеть, кроме него.

Шовель больше ни слова не сказал: он давно уже подзревал это. Поскольку Швап скоро уехал, намереваясь отбыть в Англию вместе с экспедицией, мы несколько дней не без тревоги ждали вестей об ее отплытии.

Основная масса солдат стягивалась в Тулон. И потому внутри страны и вдоль побережья происходило непрерывное передвижение войск. Выводили части из Генуи, из Чивита-Веккии. Возможно, и пятьдесят первой полубригаде предстояло участвовать в этом деле.

Газеты панеребой кричали о том, что придется дать бой в Гибралтаре, ибо англичане стоят на страже про-



лива. Брюпа назначили командующим Итальянской армией. В наших краях было тихо. Все взоры были устремлены туда, на юг, и вдруг 26 или 27 мая 1798 года мы узнали, что наш флот поднял якоря и двинулся в Египет. Вслед за тем появились воззвания.

— Ну, еще бы, — сказал Шовель. — Конечно, гражданин Бонапарт предпочитает сражаться с кучкой дикарей в Египте, чем с англичанами. Эх, бедный ты мой Мишель, предвижу я, что настоящие бои развернутся здесь, на Рейне, как это было в девяносто втором и девяносто третьем годах. Ну, что нам делать в Египте? Правда, пять или шесть знаменитых разбойников — Камбиз\*, Александр Великий\*, Цезарь\* и Магомет\* — устраивали прогулки в эту страну. Она в некотором роде даже была их родиной, как родиной тигров считается Бенгалия. Все они устремляли туда взор и только там чувствовали себя хорошо. Но чтобы мы, чтобы наша республика была заинтересована в Египте, — это мне как-то непонятно. Хватит с нас и Европы, где нам надо держаться против всех монархов, зачем же нам еще турецкого султана себе на шею сажать!

Он брал какую-нибудь карту, из тех, что продавались у нас в лавке, и часами сидел над ней. Патриоты заходили к нему потолковать об экспедиции. Теперь поползли слухи, что мы нападём на англичан в Индии, — так думал Рафаэль Манк и старик Тубак, бывший школьный учитель в Димерингене. В газетах тоже писали, что мы двинемся в Индию, страну, откуда привозят перец и корицу. Шовель слушал эти немислимые глупости, поджав губы, даже не улыбаясь. Лишь время от времени он в отчаянье восклицал:

— Боже мой, боже мой, почему это люди не видят дальше своего носа! Вот беда-то!

Однажды к нам явился Тубак, держа под мышкой какую-то толстую немецкую книгу, и объявил, что в той стране, откуда привозят перец и корицу, есть также бриллианты и золото, — он узнал об этом из книги. Он тыкал пальцем в страницу и восклицал:

— Теперь вы понимаете, гражданин Шовель, теперь-то вы понимаете, почему Бонапарт хочет попасть в Индию?

— Да, — сказал, вспыхнув, Шовель, — я понимаю, что вы и, к сожалению, многие другие — просто ослы, на которых пока надели узду, а потом еще и навьючат. Да

знаете ли вы, какое расстояние отделяет Египет от Индии? Несколько сот лье. И на этом пространстве есть и реки, и горы, и пустыни, и болота, и племена там живут более дикие, чем наши волки. Скажем, чтобы из Египта добраться до Мекки, а это меньше половины пути, арабы едут на своих верблюдах недели и месяцы, и столько их погибает от голода, жажды и зноя, что путь их через пустыню можно проследить по костям. И вы думаете, что Бонапарт всего этого не знает, что он не смотрел на карту, а если и смотрел, то все равно хочет идти в Индию на золотым песком и алмазами? Нет, Тубак, он знает это лучше нас с вами, но он глядит на народ как на своего рода удобрение, необходимое для произрастания генералов, и я начинаю думать, что он не так уж не прав. С тех пор как конституция Третьего года отделила народ от буржуа, и интересы у них стали разные, народ лишился головы, а буржуа — сердца и рук. И те и другие возвращают военную силу, от которой они и погибнут. Бонапарту не было бы нужды забираться в такую даль, если бы он хотел напасть на англичан. Прошел бы через Гибралтар — и все. Англичане ведь есть не только в Индии — они иждут его и на своих берегах, в каких-нибудь пятнадцати или двадцати лье от нас. К тому же они сильнее почувствовали бы войну у себя дома, чем где-то на другом конце света.

— Но в таком случае, — воскликнул Тубак, — зачем же он отправился в Египет?

— А затем, что теперь все заговорят о Бонапарте!.. Он забрал наши лучшие войска и наших лучших генералов и спокойненько двинулся войной на людей, у которых нет ни ружей, ни снарядов, ни армии. Само собой, он их раздавит, как мух, и будет слать нам отчеты о блистательных победах, все будут говорить о нем, а ему пока ничего больше и не нужно. Против нас же тем временем враг двинет тысяч сто или двести отборных солдат, и, чтобы спасти отечество, нам придется объявить всеобщее народное ополчение. И даже если мы одержим победу, все равно найдутся завистники, которые, чтобы принизить Журдана, Бернадотта или Моро, станут кричать: «Мы победили в Египте! Победили! Да здравствует непобедимый Бонапарт!»

Если же мы потерим поражение, что вполне возможно без старых опытных солдат, Бонапарт со своим

флотом примчится спасать республику, и льстецы опять-таки станут кричать: «Победа! Победа! Да здравствует непобедимый Бонапарт!» Завистники будут молчать, ибо они трусы, а если и вздумают что-то сказать, так Бонапарт-победитель быстро заткнет им рот, ибо он станет хозяином положения. И будет у нас вдоволь и перца, и корицы, и бриллиантов, и золота, и можете мне поверить: никто не вспомнит про Индию!

Тубак слушал его, широко раскрыв глаза, и только лепетал:

— А-а, понимаю!

Не думайте, что один Шовель ясно понимал, что происходит. Тысячи людей понимали это не хуже него. Все старые якобинцы говорили:

— Бонапарт честолюбив!.. Он думает только о себе... Нам надули!

Но одно дело видеть то, что происходит, и совсем другое — пойти против течения. У каждого есть свои причины: один хочет жениться, у другого — на руках семья, а третий, припоминая низости и предательства во всех партиях, говорит себе:

«Э-э, ну какое мне дело до всего этого? Раз он такой сильный и такой хитрый, раз народ, Директория, оба Совета, все генералы пресмыкаются перед ним, чего же я-то буду стоять? Меня собьют с ног, раздавят — и дело с концом. И ради кого? Ради себялюбцев и трусов, которые только скажут: «Вот сумасшедший!» — и без зазрения совести используют себе на благо мою погибель. А коль скоро меня не станет, дети мои пойдут по миру. Нет, надо покориться. Только дураки жертвуют собой во имя справедливости и прав человека. И никто им за это спасибо не скажет».

Многие при этом добавляли:

— Примкнем-ка лучше к льстецам. Тогда будут у нас и тепленькие местечки, и чины, и пенсии, а наши дети будут жить припеваючи за счет тех, у кого от гордости не гнутся колени.

Однако продолжим наш рассказ, — не стоит на этом задерживаться, ибо не слишком все это весело, как поразмыслишь.

После отплытия Бонапарта несколько дней газеты только и писали что о наших внутренних делах, о захвате верхнего Валлиса нашими войсками, о назначении

Бернадотта послом в Батавию, однако думали все лишь о нашем флоте, об опасностях, какие подстерегают его на море, ибо англичане, уж конечно, начнут преследовать наши корабли и дадут нам бой. Но отсюда не поступало никаких вестей. И от этого молчания, — а ведь речь шла о многих тысячах человек, добрых гражданах, отправившихся в опасное плавание, — сердце сжималось в груди. В газетах говорилось о деятельности наших комиссаров в Цюрихе по розыску новых сокровищ; о том, что из крымских портов вышел русский флот в составе двенадцати военных кораблей и четырнадцати фрегатов, намеревавшихся напасть в открытом море на наши суда; о блокаде англичанами порта Флессинген; об аресте гражданина Флика, редактора «Газеты Верхнего Рейна», по распоряжению командующего нашей армией в Швейцарии генерала Шавембурга, и о многом другом, казавшемся нам таким незначительным по сравнению с тревожными вестями, которые давно не давали нам покоя.

А о флоте — по-прежнему ни слова!

В ту пору один Раина вызывал не меньше толков, чем Бонапарт, и газеты уделяли ему не меньше внимания. Ему вечно не хватало денег, и швейцарцы кудахтали, как курица, несущая яйцо, но все равно мысль о флоте затмевала все остальное и люди тревожились, ибо никто о нем ничего не знал. Наконец 8 июля, через каких-нибудь полтора месяца после отплытия кораблей из Тулона, мы узнали, что наши войска овладели островом Мальта и что мы потеряли при этом всего трех человек, а русскому посланнику наряду с восемьюдесятью офицерами, находившимися в крепости Мальты, предписано в трехдневный срок покинуть остров. Известие это повело многих на мысль, что теперь не только австрийцы и англичане будут против нас, но также и русские.

А в Раштадте тем временем продолжались совещания. Нам уступали левый берег Рейна и отдавали Майнц в обмен на Венецию, но наши представители требовали еще Кель и Кассель на правом берегу, а кроме того, настаивали на разрушении крепости Эрейбрейтштейн, которую, несмотря на переговоры, продолжали осаждать наши войска.

Со своей стороны, немцы не желали отменять право на владение дворянскими и церковными угодьями на левом берегу Рейна, который уже уступила нам Австрия; таким образом получалось, что в одной и той же республи-

лике будут действовать разные законы: те, которые существовали до 89-го года, и те, которые были введены после 89-го года, а это уже противоречило всякому здравому смыслу. Кроме того, надо было условиться о таможенных и дорожных пошлинах, о строительстве новых мостов между двумя Бризаками, — словом, переговоры до того затягивались, что им не предвиделось конца.

Поскольку переговоры эти происходили всего в нескольких ле от нас, а от отмены старинных дорожных пошлин, от установления свободной навигации по Рейну, от раздела между государствами вод и островов должна была выиграть наша торговля, весь Эльзас и вся Лотарингия живо интересовались тем, как там шли дела.

Бонапарт же не пожелал этим заниматься: слишком это было мелко для столь великого гения. Он метил дальше, в Индию! Пусть наши представители как хотят справляются на конгрессе с Меттернихом \*, хитрецом из хитрецов среди немцев.

Конгрессе проваседал весь год, хотя то и дело возникали слухи, что совещания прерваны. Знаменитый мир в Кампо-Формио, который заключил генерал Бонапарт и благодаря которому он так прославился, право же не стоял того, чтобы отправлять за море такую великодушную армию, такой великолепный флот и такое множество генералов во главе с ним самим.

Кому нужен такой мир, если нет сил его поддерживать? Поэтому наша Директория и не очень-то на него рассчитывала. Восстановление соляного налога, введение подати с количества окон и дверей, разрешение продать еще на сто двадцать пять миллионов государственных земель, которое Директория получила от Советов, декрет, принятый Советами по докладу Журдана о принудительном наборе в армию граждан в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет, — все это показывало, что стране нужны люди и деньги, и притом быстро. Но низость никогда еще не пробуждала в народе энтузиазма, и Директория отлично это понимала: время волонтеров и патриотических подвигов прошло. Когда конституция ничего не дает народу, его приходится насильно гнать на войну. В такую пору родину подменяет человек, который одерживает победы и раздает пенсии.

Изю дня и день, из недели в неделю, тридцать тысяч семейств ждали вестей из Египта. Казалось уже, что их

всех поглотило море, как вдруг 15 сентября 1798 года, через четыре месяца после отплытия эскадры, мы прочитали в «Монитере», «что генерал Бонапарт, высадившийся 23 мессидора в Александрию, заключил договор о дружбе с арабскими вождами; затем он двинул свои войска на Каир и 5 термидора во главе армии вступил в город, а теперь, овладев всем Нижним Египтом, двинулся дальше; что эскадра адмирала Брюйеса \*, стоявшая на якоре в заливе Абукир, уже собиралась вернуться во Францию, по тут появилась английская эскадра, превосходящая ее по количеству и классу судов; завязался бой, который обе стороны пели с упорством, беспримерным в истории; во время этого боя взлетел на воздух адмиральский корабль, два или три других затонули, несколько кораблей, как английских, так и французских, сели у берега на мель, а остальные французские суда хоть и держались на воде, но были полностью выведены из строя».

Думается, нет нужды описывать, какие лица были у тех, кто читал этот отчет.

— Значит, — сказал Шовель, — у нас нет больше флота, лучшие наши войска находятся за шестьсот лье отсюда, в несах, среди арабов и турков, не имея возможности ни вернуться во Францию, ни получить подкрепление, чем, конечно, не замедлят воспользоваться англичане, итальянцы и немцы и все вместе навалятся на нас. Мы уже имели дело с одной коалицией во времена Учредительного и Законодательного собраний, а потом Конвента, теперь будем иметь дело со второй. Вот когда мы до конца насладимся благами, которые даровал нам гражданин Бонапарт.

Вскоре после страшной вести о разгроме нашего флота мы узнали, что прославленный Нельсон, возвращаясь со своим флотом из Абукира, зашел в Неаполь, где был принят с распростертыми объятиями королем Неаполитанским, что он чинил там свои корабли, пировал и наслаждался победой.

А потом пришли вести, что русские двинулись на нас через Польшу, что король Неаполитанский попал на Римскую республику, а в Пьемонте и Тоскане — восстание. Шаампионне \*, командовавший нашими войсками в Риме, двинул свою армию навстречу неаполитанцам. Он дал им бой и отбросил жалкие остатки их к Неаполю. Из города на подмогу солдатам высыпало множество нищих, так

называемых лаццарони. Шампионие пришлось пустить в ход картечь, чтобы разогнать этот сброд, и поджечь их лачуги. Дядюшка Гурдые, который был там, рассказывал мне потом, что эти люди, как скот, снят прямо под открытым небом, среди бела дня, на церковных панертах и едят одни макароны. Что ж, я верю ему. Вот до такого состояния хотели низвести и нас бывшие наши короли, владетельные сеньоры и епископы, чтобы самим жить, ничего не боясь. Гордое созвание человеческого достоинства, смелость, образованность — все это им помеха. При таких господах люди постепенно совсем вырождаются и станут чем-то вроде лаццарони или улиток и гусениц. Но господам-то что до этого? Им оно только спокойнее: и глубокая нищета, царящая вокруг, и уничижение ближнего не мешают этим людям считать себя представителями бога на земле.

Так или иначе, лаццарони порядком досталось, а король Фердинанд, который был для них почти как господь бог, королева Неаполитанская, сестра Марии-Антуанетты, смертельно ненавидевшая всех нас, и весь их двор трусливо бежали, увозя с собой свои сокровища и предоставив нищим по мере сил и возможностей защищаться самим.

После этого Шампионие основал Партенопейскую республику. Это была нятая республика, основанная нами в Италии, столь же прочная, как и все остальные.

Пока Шампионие продвигался к Неаполю, Директория, дабы помешать королю Сардинскому напасть на него с тыла, приказала Жуберу \* захватить Пьемонт. Король бежал на Сардинию, а мы заняли все крепости, слили его армию с нашей и стали теперь хозяевами всей страны от Альп до берегов Сицилии.

Было это в декабре. Год 1798 подходил к концу.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Новый год — и это уже чувствовалось — обещал быть не менее тяжелым, только по-иному: Павел, ставший по милости своей матери Екатерины и своего отца Петра III, которые много годы держали его взаперти, —

душевнобольным и опасным маньяком, вступил на росейский престол; он тотчас же провел насильственный набор в армию, принял к себе на службу наших эмигрантов и во всеуслышанье объявил себя другом Людовика XVIII. Он считал, что Бонапарт, завладев Мальтой, нанес ему личное оскорбление, ибо ведь он провозгласил себя великим магистром ордена мальтийских рыцарей, что вообще ни с чем не вязалось, поскольку мальтийские рыцари (а их было всего двести или триста человек) объединились в свое время, чтобы защищать христианство от турок. Мы видели, как они его защищали: двадцать пять полонеров 92-го года, выходцев из простых крестьян, куда лучше сумели бы отстаивать свою честь и свои права. Но тут уж ничего не поделаешь: маньяк повелевал миллионами людей, и никто не посмел объяснить ему всю uselessность положения. А получалось, что ради мимолетной прихоти этот взбалмошный человек готов был послать на смерть и истребление тысячи солдат, — вот вам они, блага деспотического правления. Существой на свете только люди такой породы, человечеству давно бы уже пришел конец. По счастью, если деспоты думают лишь о том, как бы побольше уничтожить себе подобных, люди простые, не обуреваемые гордыней, не кричащие, что они — посланцы господни, приносят своим ближним столько же пользы, сколько те, другие, приносят зла.

Я уже рассказывал вам про доктора Швана, который вместе с нашей экспедицией хотел отплыть в Египет. Так вот славному этому человеку не повезло: прибыл он слишком поздно, когда все хорошие места были уже розданы. Через несколько месяцев, возвращаясь из Парижа, он снова заехал к нам и рассказал об одном удивительном открытии, которое, по его словам, явится необычайным благом для человечества. Но чтобы понять все значение этого блага, надо представить себе, какие опустошения производила у нас оспа до 1798 года. Это было страшно! Болезнь выпыхивала то в одной деревне, то в другой, она распространялась со скоростью пожара, и все содрогалось от ужаса, а особенно отцы и матери.

— Вот она, объявилась! — говорили люди. — К нам приближается... Столько-то заболело... Такая-то женщина... такая-то девочка изуродованы... А такой-то окривел... А такого-то просто не узнать... Столько-то народу умерло, столько-то стало глухими, столько-то ослепло!..



Ах, какая была паника!

А потом через несколько недель бедные девушки и женщины, дотеле свежие и беленькие, появились в полном отчаянье, смущенно прикрывая лицо платком. Только по голосу их и можно было узнать.

— Боже мой! Да ведь это же Катрина... А это—красотка Луиза... А это Жакоб из такой-то деревни... Боже мой, надо же такому случиться!

Сколько таких несчастных видел я у нас в лавке! А сколько обещаний жениться было нарушено — можете мне на слово поверить.

Но больше всего жаль было детей. Поговаривали о том, чтобы нарочно их заражать. Когда оспа объявлялась в каком-нибудь месте, люди говорили:

— Пойдите туда, положите вашего ребенка рядом с больным — он тогда не так сильно болеть будет... Да к тому же — легче потерять маленького, чем схоронить большого!.. И кожа у детей нежнее, скорее заживает!

Мне самому говорили это сотни раз. И правильно говорили. Но представьте себе на минуту несчастного отца, который отирается к больному с ребенком на руках; представьте себе, как он несет крошку, как прижимает к своей груди, а сам думает:

«Нет!.. Не сейчас!.. В другой раз... Еще успеется!..»

И, вернувшись, говорит старикам, которые со страхом его ждут:

— Знаете, дедушка или бабушка, не хватило у меня на это духу. Пойдите-ка вы с ним сами.

А старики тоже думают:

«Правильно он сделал... По-нашему, тоже лучше подождать!»

И ждали. А потом вдруг оспа объявлялась в городе — у тебя самого или соседа... После голода это было самым страшным бедствием, какое я помню. Три четверти жителей, — особенно в деревне, где легко простудиться, — были обезображены.

Раза два или три Шовель говорил мне, чтобы мы заразили малютку Аннету, но я не хотел это делать, да и Маргарита тоже.

Что же до Жан-Пьера, то я говорил себе:

«Ну к чему мужские красота... Надо нам сходить в Сен-Жан или в Генридорф, там сейчас как раз оспа — и по очень свирепствует...»

Но всякий раз, перед самым уходом, мужество покидало меня.

Словом, когда ко всем нашим тревогам и неприятностям — тут и новые законы, лишившие нас всех наших прав, и боязнь новой войны, — прибавилась еще и оспа, это было уж слишком.

Заражать своих детей мог лишь тот, у кого сердце жесткое. Нашим детям было тогда три и четыре годика, и я предпочитал положиться на милость божью, авось пронесет, ибо доводы Шовеля не казались мне такими уж беспорными.

Тут, как я уже вам говорил, приехал к нам из Парижа доктор Шван. Да проживи я двести лет, никогда не забуду, как он рассказывал про новое открытие, сделанное в Англии, — про прививку «коровьей оспы». Он объяснил, что это — такие выжимки из коровьего вымени; детям делают укол, вводят в тело жидкость, и она спасает от болезни. Обнаружил это один английский доктор по фамилии Дженнер, который вот уже пятнадцать лет делает прививки; он проверил свое открытие на множестве народу — все подтвердилось. Да и вообще те, кто находится при коровах, — женщины, которые доят их, ухаживают за ними, — вечно ходят с нарывами на руках, но оспой никогда не болеют.

Сердце мое переполняло желание поверить ему. Я смотрел на наших детей и думал:

«Ах, если б это было правдой!.. Ах, если бы это в самом деле было так!.. Тогда, мои детки, вы на всю жизнь остались бы такими, как сейчас, и сохранили бы свои розовые щечки, ясные голубые глазки, пухлые губки и нежную кожу!»

Мargarита смотрела на меня, и по лицу ее я видел, что она думает о том же.

А Шовель все расспрашивал нашего гостя: ему хотелось знать поподробнее. Шван, любивший поговорить, как все старые ученые, охотно рассказывал об открытии: он читал обо всех сделанных опытах, просмотрел все описания, все свидетельства, — словом, он считал, что это дело верное. Тут вдруг Шовель воскликнул:

— А ведь я знаю эту болезнь у скота — она совсем не опасна. Я наблюдал ее не раз на вогузских фермах, там, где скотный двор находится у реки, в сыром месте. На теле у коровы выступают такие большие белые нарывы.

— Совершенно верно, — сказал Шван и принялся описывать эти нарывы, так что под конец Шовель снова воскликнул:

— Вот, вот! И жидкость в них прозрачная, как вода. Ей богу, если б у меня не было оспы, после всего, что ты, Шван, мне рассказал, после всех этих опытов и стольких подтверждений, я немедленно привил бы себе коровью оспу.

— И я тоже, — сказала Маргарита.

Я тоже сказал, что верю в эти прививки, но у нас в семье все переболело оспой: меня она изрядно пометила, у Маргариты осталось несколько пятнышек, а вот Шовель и Шван стали совсем рыбые.

Все мы, конечно, подумали о детях, но ни у кого не поворачивался язык заговорить о них; начал этот разговор Шван: он сказал, что у его дочери трое детей и, как только он приедет в Страсбург, он сам сделает им прививки, ибо жидкость, образующаяся при коровьей оспе, и есть вакцина.

— Если ты даешь мне слово патриота, что сделаешь это, — воскликнул Шовель, — я и нашим привью оспу и всем, кого ни встречу.

Шван поклялся, что сделает внукам прививку, и сказал, что ручается за успех, но сначала надо найти вакцину. Он уехал часов около пяти на почтовой карете и пообещал нам заняться прививками и сообщить о результатах.

Не успел он уехать, как нас охватило беспокойство и страх; очень уж нам не терпелось поскорее получить от него весточку. Каждый вечер мы снова и снова возвращались к разговору об этом, но когда прошло месяца полтора, а от него все не было ни слуху ни духу, мы решили, что на этом все и кончилось. По мнению Шовеля, Шван, видно, обнаружил, что коровья оспа тут ни при чем, и я был даже рад, что мы не сделали прививки нашим детям: в таких случаях всегда хочется, чтобы испытанию подвергся кто-то другой, а не ты сам и не твои близкие.

Но вот в феврале 1799 года у нас началась страшнейшая эпидемия оспы. Из окрестных деревень то и дело доносился колокольный звон: болезнь подступала все ближе и ближе — из Вехема она перекинулась в Миттельброн, из Миттельброна — в Ликегейм. Однажды

утром в лавку к нам явился Жан Боном, муж Кристины Летюмье, моей кумы. Он был без шапки, без галстука, еле живой от горя.

— Жена моя и дети погибли! — воскликнул он и заплакал.

У Бонима было двое хорошеньких шалунов, которые в рыночные дни играли с нашими детшками. А славная Кристина до сих пор тепло относилась ко мне: она частенько вспоминала, как мы с ней танцевали вальсы в Лютцельбурге, как она приходила утром к нам в кухню, засучив рукава блузки, качала воду из водокачки и говорила мне своим певчим голоском:

— Здравствуйте, господин Мишель.

А потом она вышла замуж, и я был ее шафером и кавалером Маргариты. И наши дети тоже дружили. Старший ее сынишка, маленький Жан, толстенький мальчуган, с пухлыми щечками, кудрявый, как барашек, бывало, поцелует мою маленькую Липету и, закатив большие голубые глаза, скажет:

— Вот она, моя жепушка! Никакой другой не хочу. Очень это было смешно.

Теперь можете себе представить, как мы расстроились: ведь это были наши самые старые друзья и первые клиенты, почти как своя семья. Я попытался приободрить несчастного Бонима, говорил ему, что все образуется, что никогда не надо терять надежду. Но он уже не в силах был с собой совладать и только все твердил:

— Ах, Мишель, Мишель! Если бы ты их видел!.. Они такие красивые, точно их на вертеле поджарили, просто узнать нельзя. Кристина ходила за ними, а вот теперь и она слепла. Боже мой, боже мой! Хоть бы мне тоже умереть.

Он побежал к аптекарю Триболену, а оттуда — обратно к себе. Через два дня стало известно, что дети умерли, а у матери она в самой тяжелой форме.

После похорон папаша Летюмье приехал в город: казалось, он совсем ума лишился. Был он трезвенником, а тут отправился в харчевню «Гнедая лошадь», напился там белого вина и принялся кричать страшным голосом, так что даже нам было слышно:

— Нет его, вашего верховного существа!.. Вообще ничего нет, ничего! У всяких мерзавцев живут дети, а у нас мрут.

Потом он пришел к нам в стелю, обнял Шовеля. Вот что делала эта болезнь: никого не щадила и могла явиться к тебе, будь тебе даже сто лет, если ты не бодел ею.

Теперь сами понимаете, в каком мы были отчаянье оттого, что Шван ничего не писал нам про прививки. Отчаянье наше все возрастало, ибо болезнь приближалась к Пфальцбургу. Делошло уже к весне. И вот однажды утром, выходя из дому с сундучком Шовеля, — я как раз собрался ехать в Страсбург, чтобы подвести расчеты с Симоном, — я столкнулся на дороге с доктором Шваном и двумя другими почтенными господами, которые с улыбкой поздоровались со мной. Шовель, услышав голос своего старинного приятеля, тотчас вышел из читальни.

— Ну так вот, — сказал Шван. — Я проделал опыт на своих внуках. А нашим прививать будем?

— Где же коровья оспа? — спросил Шовель.

— Вот здесь, в моем чемодане!

И он показал нам еляпку с еще свежей вакциной. Мы так и опетели. Вокруг нас стояли покупатели и с удивленным смотрели на все это.

Всем скопом мы вошли в читальню. Два других приехавших тоже оказались докторами. Они рассказали нам, как после прививки на теле появляются паровы, как они лопаются, потом подсыхают, — температура при этом бывает совсем невысокая, и дети Шванца после прививки чувствуют себя уже хорошо. Все у них протекало именно так, как описал английский врач Дженнер. И тем не менее ни у меня, ни у Маргариты не хватало духу сказать доктору Швану, что мы согласны. Мы, наверно, так и не решились бы, если бы не Шовель, который вдруг воскликнул:

— Все ясно. Раз ты, Шванц, сделал прививки и все проверил, и эти два гражданина тоже, нечего и раздумывать. Теперь попробуем сделать прививки нашим детям. Что вы на это скажете?

При этом он посмотрел на нас. Маргарита побелела, как полотно, я же молча опустил голову. Немного погодя Маргарита спросила:

— А им будет больно?

— Нет, — ответил доктор Шван. — Мы им сделаем маленькую царапину на руке, чтобы туда попало немного коровьей оспы. Дети и не почувствуют.

Маргарита тотчас пошла за дочкой, которая спала в своей колыбельке, принесла малытку, поцеловала и передала Шовсею.

— Держи, отец, — сказала она, — раз ты в это веришь.

Тут я подумал о том, что болезнь уже перекинулась из Мятельброна в Красные Дома, и, решившись, отправился за сынишкой, который бежал по рынку. Правда, сердце у меня сжималось от страха.

— Пойдем-ка, Жан-Пьер, — сказал я, беря его за руку.

Мне казалось, что я сейчас сойду с ума. Внизу, в читальне, Аннета на коленях у матери плакала и кричала вовсю. Войдя в комнату, я увидел, что она сидит до пояса голенькая и на ручке у нее возле плеча — канелышка крови. Она потянулась ко мне, и я взял ее на руки.



— Может, нам не делать сейчас прививки Жан-Пьеру. — спросил я, — а подождать и посмотреть, что получится?

— Нет, — сказал Шовель. — Ну, в крайнем случае он заболит оспой: хуже ведь ничего не может быть.

— Да что вы! — рассмеялся доктор Шванн. — Можете не волноваться. Я ручаюсь, что все будет в порядке.

Малыш посмотрел на всех и вдруг спросил:

— А что со мной будут делать, дедушка?

— Ничего. Сними-ка курточку. Или, может, ты трусишь?

Но наш маленький Жан-Пьер был весь в деда: он молча снял курточку, и ему сделали прививку. Причем, он даже не отвернулся, а смотрел, как ему ее делали, — так, во всяком случае, рассказывала Маргарита, ибо и вышел из комнаты, ругая себя за то, что не воспротивился этим опытам. Я обзывал себя жестокосердным и целую неделю потом раскаивался и содеянном, вина во всем Шовеля, мою жену, весь белый свет, но вслух этого не говорил. Страх у меня прошел, лишь когда парывы стали подсыхать. Маргарита тоже боялась, но и виду не подавала, чтобы не напугать меня еще больше. Наконец парывы подсохли. Теперь я уже думал только об одном:

«Господи, хоть бы помогло!»

И не удивительно, что я так думал, ибо эпидемия уже бушевала у нас в городе. Покупатели, заходившие к нам в лавку, то и дело рассказывали:

«Оспа уже на такой-то улице... Она уже на такой-то площади... Столько-то солдат попало вчера в госпиталь... Еще столько-то людей заболело... Такой-то ребенок к вечеру непременно умрет...»

И так далее и тому подобное.

А я то и дело поглядывал на детей: они по-прежнему хорошо себя чувствовали, играли и смеялись. Оспа обошла весь наш квартал, но нас не тронула. В эту же пору получили мы письмо от Швана из Страсбурга: он писал, что ни один ребенок из тех, кому были сделаны прививки, не заболел. Тут уж мы так обрадовались, что и сказать нельзя. А наш дед Шовель потерял сон и покой: он решил сделать прививки всем детям в нашей округе и сам отправился в Страсбург за вакциной.

Но не думайте, что так просто было уговорить людей делать прививки себе и детям. Народ легко верит всяким

басням, которые ему рассказывают, и дает себя обмануть и обобрать, а вот поверить во что-то серьезное, что явно в его интересах,— ни за что не заставишь. И с прививками дело оказалось потруднее, чем с картофелем: хоть вся наша деревня и смеялась над дядюшкой Жаном, когда он стал сажать толстую бурую кожуру, но смеялась она всего-навсего год. А как все зацвело и потом с каждым ударом мотыги из земли стали выкапывать груды каких-то диковинных капитанов величшно с кулак, — все и признали, что Жан Леру, оказывается, не такой уж дурак! И на другой год все кинулись к нему за кожурой для посадки и тотчас забыли, какую великую услугу он оказал краю.

Но с прививками все обстояло иначе. Казалось, люди делали вам одолжение, соглашаясь послушать об этом благе, а тем более позволить, чтобы им сделали парашину и тем самым помогли избежать страшной болезни.

Признаюсь, я иногда не стал бы так стараться: если бы это дурачье вздумало смеяться надо мной, я бы тут же оставил их в покое.

А вот Шовель, сколько бы его ни оскорбляли, ни обзывали и ни отталкивали от себя мерзкие людишки, все это приписывал их невежеству и думал лишь о том, как бы побольше сделать прививок. И так он был этим увлечен, что даже устроил прием для желающих в нашей бывшей читальне, — отец Кристоф каждый день присылал к нему десятки людей. Ну и зрелище же это было — потеха, да и только! Мужчины и женщины, кормилицы с малыми детьми сидели рядами в комнате, и все кричали и говорили разом. Шовель стоял посредине и рассказывал о благостном действии коровьей оспы, и если ему удавалось кого-то уговорить, лицо его озарялось радостью. Он много шел за ланцетом, помогал людям снять блузу или куртку, делал прививку и говорил:

— Только смотрите не смажьте. Лучше забинтуйте руку. Завтра или послезавтра нарвет — днем раньше или позже, неважно. Потом нарыв подсохнет, тогда считайте, что от оспы вы спасены.

Если люди противились, он сердился, возмущался, а то принимался лстыть, уголаривать, — словом, такое было впечатление, точно ему вменили в обязанность спасти от оспы наш край. Не раз я видел, как он войдет, бывало, в



лавку, подбежит к конторке, возьмет монету в пятнадцать су и, сунув ее в руку какому-нибудь горемыке, скажет:  
— Ну, пойдём, я сделаю тебе прививку.

Такая его одержимость, понятно, раздражала меня: я предпочел бы не раздавать денег направо и налево, но я никогда в жизни не посмел бы сделать замечание Шовелю: он бы мигом взорвался, стал бы обличать эгоистов, которые ни о ком, кроме себя, не думают, а Маргарита сказала бы, что он прав!

Так или иначе, наша лавка стала местом сбора кормилиц и прививочным пунктом. Но нашему славному Шовелю все было мало: целый божий день он занимался коровьей оспой, получал письма, отвечал на них, просматривал статьи, делал выписки. Маргарита помогала ему в этом, а я нередко думал:

«Ну, зачем тратить столько времени, сил и денег на людей, которые даже спасибо не скажут, а если хоть немного приболеют, так еще и вызнут с тебя!»

И считал, что это ни к чему.

Однако торговля у нас вовсе не захирела, а наоборот: слава о Шовеле распространилась все дальше и дальше — теперь его уже знали за десять лье в округе и не только как бакалейщика и торговца водкой, материей и мелочным товаром, но и как бывшего депутата и человека, делающего прививки от оспы. Так его и называли: «Депутат, тот, что делает прививки и дает книжки читать», — и все, даже в горах, понимали, что речь идет о нем. От покупателей поэтому у нас отбоя не было.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Об эту пору деспоты, узнав, что наши лучшие войска находятся в Египте и не могут вернуться на родину, поскольку флота у нас больше нет, снова устроили против нас сговор. Питт брался дать на войну денег, император Австрийский — солдат, а полоумный император всея Руси, провозгласивший себя великим магистром Ордена мальтийских рыцарей, не замедлил двинуть против нашей республики две армии по сорок тысяч человек каждая. Из газет мы узнали, что вел на нас эти полчища прославлен-

ный русский генерал Суворов\*, устроивший резню в Турции и Польше, предавший огню польскую Прагу, не щадивший ни женщин, ни детей.

Тем временем конгресс в Раштадте, несмотря на эти приготовления к войне, продолжался. Немцы по-прежнему стояли на своем и не желали уступить нам Кель и Кассель на правом берегу Рейна. Да это и понятно: они хотели быть хозяевами у себя на земле. И все же мы давно заключили бы мир, если бы Директория согласилась пожертвовать мелкими имперскими князьями и отдать их владения Францу II, который охотно расширил бы свою империю за счет Германии. Но нам ни к чему было укреплять Австрию; к тому же Пруссия поддерживала этих князьков, и не считаться с этим было бы противно здравому смыслу.

Так или иначе, пока Меттерних развлекал своими витиеватыми речами наших представителей, русские вступили в Богемию, а Франц II постепенно выставил корпус в шесть тысяч человек и занял Граубюнден, — всем сразу стало ясно, что это значит.

Наша Директория подняла страшный крик, стала требовать объяснений, а под конец заявила, что если русские продвинулись дальше в глубь германских земель, Франция будет рассматривать это как объявление войны. Франц II не потрудился даже ответить на это. Мелкие немецкие князьки, которые дотеле соглашались на предложенные нами условия мира, один за другим стали покидать Раштадтский конгресс. Скоро там остались одни наши представители и Меттерних, а вокруг — австрийские войска.

Теперь уже никто не сомневался, что у нас снова будет война, куда более страшная, чем раньше, и что все завоевания революции снова окажутся под угрозой. Начался принудительный набор в армию, но шел он не так успешно, как прежде. В июне 1791 года под ружье было поставлено сто пятьдесят тысяч человек; в сентябре 1792 года — сто тысяч; в феврале 1793 года — триста тысяч, потом в апреле еще тридцать тысяч, а при поголовном ополчении в августе — миллион пятьдесят тысяч человек. После этого новых наборов в армию не объявляли. С помощью этой массы солдат была завоевана Голландия, левый берег Рейна, Швейцария, Италия, были отброшены за пределы

Франции испанцы и были снаряжены две экспедиции — в Ирландию и в Египет.

Теперь, 3 вандемьера VII года, начался новый набор в армию и уже стали обучать рекрутов, число которых предполагалось довести до ста девяноста тысяч. А пока в поход двинули старые войска. Они шли через наш город, — это были по преимуществу пехотинцы, — и направлялись они в Швейцарию, где на Рейне, от самых гор до Констанцского озера, стояли наши войска под командованием Массена\*; кавалерия же двигалась через Эльзас, и обратном направлении, спеша на подкрепление Рейнской армии, находившейся под командованием Журдана; проходили через наш город и части, направлявшиеся дальше, на соединение с армией, стоявшей между Майнцем и Дюссельдорфом, — командовал ею Бернадотт.

Все эти испытанные в боях войска не насчитывали и ста тысяч человек, набор же рекрутов еще не кончился, и молодые солдаты присоединились к старым лишь много позже, да и то первые пополнения были направлены прежде всего в Италию, где нашими солдатами командовал Шерер\*. Хотя это и было давно, но я хорошо все помню, ибо Мареско в одном из своих писем горько на это сетовал. Получалось, что девяносто тысяч солдат должны были защищать Швейцарию, Эльзас и весь левый берег Рейна вплоть до Голландии.

А в Баварии под командованием эрцгерцога Карла находилось свыше семидесяти тысяч немецких солдат; в Фюрарльберге под командованием швейцарца генерала Готце стояла двадцатиняти тысячная немецкая армия; в Тироле было сорок пять тысяч человек во главе с Бельгардом и в Италии — шестьдесят тысяч человек во главе с Креем\*. В Голландии со дня на день ожидалась высадка сорока тысяч англичан и русских, а у нас там было десять тысяч человек под командованием Брюна, и в Неаполе, где теперь вместо Шампионне был Макдональд\*, ожидалась высадка двадцати тысяч англичан и сицилийцев.

Это множество войск, собранных нашими врагами, говорило о том, что они давно уже готовились напасть на нас и что Раштадтский конгресс был задуман лишь для отвода глаз. Уже в начале кампании они выставили против наших ста тысяч триста тысяч человек, а им на помощь еще должен был прийти Суворов. Как бы вам сейчас пригодилась армия, которую Бонапарт увез в Египет!

Так или иначе, но мы справились, — справился и без этого великого человека, который потом на нас же и обрушился.

— Что вы сделали с моими товарищами по оружию? — кричал он. — Что вы сделали с миром, который я вам оставил? — И так далее и тому подобное.

Его мир!.. И он смел называть «миром» эту комедию в Раштадте! Что же до его товарищей по оружию, то он бросил их в Египте. Какая у человека должна быть дерзость и какими идиотами и трусами должен он считать всех остальных, чтобы упрекать за те беды, в которых сам повинен? И, видно, он был прав, ибо он своего добился! А это главное для мошенников и глупцов. Приходится все же признать, что многим людям напористость помогла стать гениями.

Но продолжим наш рассказ.

Кампанию 1799 года начал Журдан. Его армия занимала все пространство от Майнца до Базеля в Швейцарии. Весь наш край был паводием войсками. Внезапно их стянули всех в долину Эльзаса, из Меца прибыл генерал со своим штабом, пересек наш город, как раз когда начал становиться снег, и на другой день, 1 марта, к вечеру, мы узнали, что он перешел у Келя через Рейн; что следом за ним, у Гуингена, перешел через Рейн генерал Феррино, командующий правым крылом; что артиллерия, кавалерия и пехота — все перешли по мостам на ту сторону, а в Страсбурге остался лишь небольшой гарнизон. Последние из оставших спускались по саверискому косогору, и вскоре вся армия — правое крыло, центр и левое крыло — была уже в Германии. После гомона и оживления наступила необычная тишина, казавшаяся с непривычки даже странной. Город выглядел печальным и заброшенным. Все ждали известий. Первой пришла прокламация Директории.

#### «ПРОКЛАМАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКТОРИИ

Войска его императорского величества, в нарушение договоренности, достигнутой в Раштадте 1 декабря 1797 года, перешли через Инн и вышли за пределы наследственных владений императора. Этот маневр был произведен одновременно с передвижением русских войск, которые уже находятся в пределах Австрийской империи и не скрывают своих намерений напасть на Французскую

республику и сразиться с ней». И так далее и тому подобное.

Под конец в прокламации говорилось, что, как только русские войска покинут Германию, покинут ее и наши войска.

Я не стану описывать вам все ужасы этой долгой кампании, когда война снова бушевала на обоих берегах Рейна, и не стану рассказывать про взятие Журдацем Мапгейма и вторжение его войск в Швабию; про вторжение Массена в Граубюнден, завоевание Куара и всей долины Рейна от его истоков у Сен-Готардского перевала до Коппенбургского озера; про вторжение Лекурба в долину реки Инн и занятие его войсками Энгадин; про то, как французские армии, находившиеся в Неаполе и Дюссельдорфе, как бы проткнули через Альпы друг другу руки. Не стану я рассказывать и про то, как Журдан потерпел поражение при Штокхахе и отступил во Франконию; как Массена и Лекурб из долины Инна и из Мюнстера повели генеральное наступление на Фораэльберг; как Массена назначили командующим армиями в Швейцарии и на Дунае, а также вспомогательной армией; как были прерваны переговоры в Раштаде, а наши представители Бюппе и Роберже убиты австрийскими гусарами, подкараулившими их ночью на дороге.

Все это хорошо известно! Меня там не было. Другие — те немногие, кто еще остался в живых, — могут рассказать вам о бездонных пропастях и высокогорных Альпах, где шли тогда бои; об узеньких мостах через пропасти, которые приходилось отвоевывать врукопашную; о стремительных потоках, уносящих и мертвых и раненых; о переходах по снегу, через ледники, где раньше бывали лишь орлы. Да, тут есть о чем рассказать, ибо это была великая кампания, — кампания, участников которой вдохновлял республиканский дух! Я же могу поведать вам лишь о том, как к нам в город прибывали обозы; как все госпитали полны были солдат, обмороженных, раненых, измученных голодом и усталостью, ибо никогда еще не терпели мы такого недостатка во всем; как после убийства наших представителей австрийскими гусарами тысячи молодых людей, пылая жаждой мести, совсем как в 92-ом и 93-ем годах, отправились на войну.

А пока шли эти тяжелые бои, у нас провели выборы VII года и члена Директории Ревбеля заменили аббатом

Сийесом, который целых шесть лет отсиживался в Болоте, а потом — среди интриганов и трусов, заполнявших оба Совета. Впрочем, Сийес даже похвалялся этим. Он говорил: «Другие посылали друг друга на гильотину, а я жил себе да жил». В свое время он произнес два или три блестящих афоризма, которыми восторгалась вся нация, но какой в этом прок, если потом ты так визко пал. Вот вам доказательство того, что ум и сердце не всегда бывают заодно.

Говорили, что у Сийеса есть наготове великодушная конституция, а коль скоро конституция III года уже отслужила свое, решено было сделать его членом Директории в надежде, что он придумает что-нибудь новенькое, — французы ведь любят всякие новшества, а кроме того, они любят оракулов. Сийес же вполне мог сойти за оракула. За свою жизнь я видел пять или шесть таких оракулов, и все они плохо кончили.

После выборов VII года, в которых народ, лишенный прав, уже не участвовал, в оба Совета прошло несколько так называемых патриотов. Вот тут-то впервые появилось имя Люсьева Бонапарта; \* у нас уже были Жозеф Бонапарт \* и Наполеон Бонапарт, — не хватало Люсьена. Подумать только, как повезло Бонапартам, когда Франция завоевала Корсику! У себя на острове они были бы фермерами, чиновниками, мелкими буржуа и почитали бы себя счастливыми, если бы могли сводить концы с концами и имели на пастбище среди скал несколько коз; во Франции же они желали быть председателями Советов, посланцами, главнокомандующими. Как видно, французы считают, что сами они слишком глухи и не могут быть правителями в своей стране, а потому и приглашают править иностранцев.

Новые члены Советов, вознамерившись разделаться с Директорией, потребовали от нее отчета. Они заставили Трейяра подать в отставку и на его место назначили некоего Гоге. Очень им хотелось заставить уйти и Ларевьера с Мерленом, а на их место посадить своих людей, но оба директора подняли страшный крик: «Вы что, хотите отдать Францию на откуп семейству Бонапартов?» Это помогло им продержаться еще несколько дней. Но против них началась такая травля, что долго выстоять они не смогли, и 18 июня 1799 года оба подали в отставку. Директорами были назначены жирондист Роже Дюко \*

и генерал Мулен\*, о которых и народе ровным счетом ничего не знали; из старой Директории остался один Баррас, покровитель Бонапарта и позорище наций республики.

Всех министров сменили. Теперь у нас Робер Линде ведал финансами, Фуше — полицией, Трейяр — иностранными делами, Камбасерес — юстицией и Бернадотт — военными делами. Эти перемены, происшедшие 30 апреля, не вызвали никаких волнений, — пусть буржуа дерутся между собой: 18 фрюктидора Директория нанесла удар Советам, теперь Советы нанесли удар Директории. Народ смотрел и ждал своего часа. Ему нужен был только вождь, но коль скоро Мараты, Дантоны и Робеспьеры почили в мире, на первое место выступили солдаты. Если Бонапарт знал об этом, то, наверно, жалел, что уехал в Египет, а военный министр Бернадотт, наверно, ликовал: у этого гасконца были все козыри на руках, ибо интрижки делали на него ставку.

Шовель, несмотря на свое увлечение прививками, снова стал читать газеты и больше всего возмущался Сийесом: он считал его человеком двуличным, способным пойти наговор с кем угодно, лишь бы уничтожить республику и провести свою знаменитую конституцию, о которой все говорили, хотя в глаза ее не видели, ибо господин аббат Сийес обсуждал ее только со своими друзьями, заранее зная, что республиканцы все до одного будут против.

Но пока интриганы делили между собою места, а про народ и думать забыли, точно его и не существовало, дела в государстве шли все хуже и хуже. Если бы от этих господ, которые заботились только о своем благе, зависело спасение Франции, ее, наверно, растащили бы по кусочкам наши враги. К счастью, народ, — как всегда в минуты опасности, — был начеку.

Австрийский фельдмаршал Крей навес такое поражение старику Шереру при Маньяно, что наша Итальянская армия, в которой осталось теперь всего двадцать восемь тысяч человек, вынуждена была отойти за Адду, и там Моро, как истинный патриот, принял над ней командование. Тут на место действия прибыл Суворов с сорока тысячами русских солдат и сорока тысячами австрийцев, которые тоже находились под его командованием. С помощью неожиданного маневра он захватил переход через

Адду у Кассано и вынудил Моро оставить Милан и отойти за По, — таким образом три четверти северной Италии оказались в его руках. Моро заранее знал, что так оно и будет, он знал, что двадцативосьмитысячная армия, уже терпевшая поражения и разуверившаяся в себе, не может противостоять восьмидесятитысячной победоносной армии, верищей в своих военачальников. Но он знал также и то, что хороший полководец не может быть на голову разбит, что ему всегда удастся что-то спасти, — что ж, пусть будет хотя бы так. Тем самым он поставил долг и спасение родины выше собственной славы, чего никогда не делал Бонапарт.

Суворов следом за ним перешел По и хотел преследовать его и дальше, но был отброшен. Все итальянцы восстали против нас и осадили наши крепости. Макдональду, отступавшему из Неаполя вдоль побережья с восемнадцатью тысячами человек, грозила встреча с неприятелем, чьи силы вдвое, а то и втрое, превышали его собственные. Моро пошел на соединение с ним, но 28 июня мы узнали, что Суворов после трехдневных боев разбил Макдональда у Треббии, а Моро, воспользовавшись тем, что русские оттянули свои силы, нанес поражение Бельгарду при Кассина-Гросса и затем соединился в окрестностях Генуи с остатками Неаполитанской армии.

Воспользовавшись этим, Сийес, ставший членом Директории, тотчас же сместил Макдональда. Отозвал он и Моро и назначил Жубера, одного из приспешников Бонапарта, командующим Итальянской армией. Дотоле Жубер командовал семнадцатым военным округом. Это был ставленник Сийеса, шлага, на которую тот опирался, чтобы протолкнуть свою конституцию, человек, которого он собирался сделать своей правой рукой. Как генерал он не имел еще большого опыта, и тем не менее Сийес решил послать его в Италию против Суворова, который занял эту страну куда быстрее, чем Бонапарт, и теперь в своих прокламациях, какие мог написать только варвар, угрожал, что пройдет по нашей стране огнем и мечом, явится в Париж и посадит на трон Людовика XVIII. Таким образом, одержав Жубер над шим победу, они с Сийесом могли бы причислить себя к сонму великих: один — как законодатель, другой — как герой республики.

Об эту пору мы получили еще два письма от Мареско, менее хвастливые, чем в 96-м году: при переходе через



Треббину Лизбета потеряла почти все, что награбила в Риме и Неаполе, но для нас главное было то, что они живы.

Само собой, поражения наших войск в Италии больно отзывались у нас в душе, но куда больше волновало нас то, что надвигалось на нашу страну из Швейцарии и с берегов Рейна. После поражения Журдана при Штокхахе и отступлении его в Эльзас, Массена, командовавший теперь тремя армиями, не мог оставаться в Швейцарии на прежних позициях и вывел войска из Форарльберга, а поскольку эрцгерцог и генерал Готце наседали на него, меньшая отступила, он дал им бой при Фрауенфельде, разбил их войска и тогда уже спокойно отступил за Линту и Лиммат.

Однако враг продолжал его преследовать. Массена дал два боя перед Цюрихом и, хотя вышел из них победителем, оставил город, чтобы занять более выгодную позицию на горе Альбис, за Цюрихским и Валленштадтским озерами. Тут, на нашу беду, против нас поднялись кантоны, они не желали ничего нам давать, к тому же страна была так разорена, что даже насильственными поборами дела было не поправить. Немцы же, стоявшие у самого герцогства Баденского, получали все оттуда.

Отступил и Декурб: под напором превосходящих сил противника он оставил Сен-Готард и вынужден был спуститься вниз по течению Рейса. Нам же надо было содержать себя и содержать все эти войска. И вот началось реквизиции: отбирали все — зерно, муку, фураж, скот. Поставщики шныряли по Эльзасу, Лотарингии, Вогезам, покупая что ни попадя по любой цене, но расплачивались они бонами, ибо денег не хватало, а потому жители все прятали. Пшеница, которой шло по двести серок фунтов на сетье, поднялась в цене с тридцати четырех до пятидесяти франков; рожь, которой шло сто шестьдесят фунтов на сетье, — с пятнадцати до тридцати; ячмень, которого шло двести фунтов на сетье, — с восемнадцати до тридцати пяти франков; фунт говядины поднялся с тринадцати до двадцати трех су; баранины — с четырнадцати до двадцати четырех и все остальное — солонина, сало, растительное масло, вино, пиво — соответственно. Стоимость ста вязанок обычного фуража весом в одиннадцать центнеров с пятидесяти франков поднялась

до ста пятидесяти. Все эти цены значатся на переплете моей конторской книги: я записал их, ибо такого еще не бывало. А ведь мы находились очень далеко от Цюриха. Какже же, наверно, цены стояли там, вблизи от армий! Ибо прибавлялась и стоимость перевозки, и плата за опасность, которой подвергались поставщики на дорогах, где рыскали разбойничьи шайки, а за Базелем стояли неприятельские войска, и плата конвойным, ибо каждый обоз сопровождали жандармы. Думается, цены там были выше на одну треть, а то и наполовину.

Будь я побогаче, не посмотрел бы я на Шовеля, считавшего всех поставщиков мошенниками, спарядил бы обоз другой с мукой, — уж очень разбирала меня жажда пшеницы! — выбрал бы трех-четырех своих старых приятелей из Лачуг-у-Дубняка и из нашего города, заплатил бы им в доставку бы мы обоз до самого лагеря. Но у меня не было на руках такого количества денег, а боны, выпущенные Директорией, не внушали мне особого доверия.

Массена простоял на месте целых три месяца. Десятки курьеров ежедневно мчались туда и обратно. Никто ничего не понимал. Все в ту пору возмущались Массена, а особенно, когда узнали о страшном поражении при Нови, где погиб Жубер, и о том, что вторая русская армия под командованием Корсакова идет на подкрепление эрцгерцогу Карлу.

— Да что он хочет, чтоб весь мир ополчился против нас, — тогда, может, он двинется! — ворчали люди.

Но когда узнали, что Суворов грозит перейти через Сеп-Готард, а Лекурб спешит занять прежнюю позицию, чтобы перерезать ему путь, — тут уж негодование против Массена достигло предела. Мудрецы уверяли, что это всего лишь угроза, хотя от такого варвара всего можно ждать. Он еще ни разу не терпел поражения. У нас говорили, что это настоящий дикарь, что он спит в седле, честит своих солдат на чем свет стоит, а во время боя — шепчет молитвы. Чем больше в человеке варварского, тем большую власть он приобретает над себе подобными, а рубить с плеча, убивать, лезть через горы, сжигать целые деревни — для этого, по-моему, не требуется особого гения. На мой взгляд, изобретатель елочек в сто тысяч раз выше таких героев. Вот почему я считал, что Суворов может выполнить свою угрозу, и очень тревожился, ибо все

аристократы ожидали этого дикаря точно мессию. Вот как обстояли дела, когда мы получили от моего старого товарища Жан-Батиста Сома следующее письмо:

*«Гражданину Мишелью Бастьену*

*Цюрих, 7 вандемьера VIII года  
Французской республики,  
единой и неделимой.*

Победа, дорогой Мишель, победа!.. Тяжело нам пришлось последнее время: целых три месяца голодали, три месяца не получали довольствия, под ногами было озеро, а за спиной — снега. Начался грабеж. Люди возмущались: «Ах, эта чертова Директория, шлет курьера за курьером с приказом идти в бой, а денег — так ни лиара!» Перед носом у нас стоял эрцгерцог, Елачич и Готце — с флангов, на подмогу им шел Корсаков и в тылу у нас восстание. Да, невесело нам было, Мишель, прямо скажем: что-то не хотелось смеяться. Зато теперь мы отыгрались: верховное существо помогло нам одолеть врагов, и теперь Суворов, этот святой Николай, с котомкой и фляжкой за спиной мчится к себе в Москву. Какая была битва! Как мы разгромили их! Даже земля дрожала!

Должен тебе сказать, что еще на прошлой неделе мы топтались у себя в лагере между Брюгге и Воллинсгофеном и все спрашивали себя, когда же это кончится. С ледников уже по-осеннему потянуло холодком, и страсть как жрать хотелось. Австрияки сняли свои передовые посты с берегов озера, их сменили зеленые мундиры и острокопечные шапки: прибыл Корсаков, — сообщаем для сведения интересующихся! Массена, Сульц \*, Мортье \* и Ней \* посылали разведывательные отряды в Цуг, Рапперсвилль, Нефельс. А немецкие гусары выходили на Линту и Лиммат и кричали нам: «Ну, идите сюда оборванцы! Идите же, вшивое отродье!.. Что, духа не хватает? Ох вы, трусы!» Побелеешь, бывало, от злости, но отвечать им не разрешалось, даже стрелять в то было нельзя.

Но скоро все переменилось. Прискакали курьеры из Урсэрена и Альторфа с донесением: Суворов двинулся в обход наших войск, — победитель при Кассано, при Треббиа, при Нови переходит через Сен-Готгард. Гюдсуну \* с гореткой солдат не удастся остановить этого поглотителя безбожников; и Лекурб спешит на защиту Чертова моста.

В тот день, Мишель, ей-богу, я решил, что пришел конец республике, и мы преданы. Но наш итальянец только делал вид, будто спит; на самом деле он как кошка: глаза закрыты, а уши все слышат. Он решил дожидаться, пока эрцгерцог двинется на Филиппсбург со своей пехотой и кавалерией, оставив русским только пушки, и вот 4 января в 4 часа утра к нам прискакал во весь опор командир нашего эскадрона Себастьян Фуа и принес приказ спуститься к Лиммату, реке, ширинною с верхний Рейв, но только более быстрой. Она течет через Цюрих и до впадения в озеро называется Липта. Итак, мы стали спускаться галопом вниз по откосу — артиллеристы и понтонеры, вместе со своими понтонами, пушками, снарядами, канатами, кольями и гвоздями. Установили батарею напротив русских, которые стояли на том берегу и тотчас открыли по нас ураганный огонь. А нам надо было навести понтонный мост. При этом дво у реки — каменистое, колья и якоря скользят, не держатся, а огонь противника, хоть мы и поливали его картечью, все возрастал. Понтонеры пали духом. Тогда Дедон, командир артиллерийской бригады, из наших — лотарингец, сам спустился к ним, чтобы ободрить их и помочь. Через час, когда уже начало светать, мост наконец навели, хотя его трижды разбивали вражеские ядра, и по нему побежали наши войска. В девять часов утра на том берегу было уже десять тысяч наших солдат. И завязался бой. Шел он на протяжении пяти или шести лье, ибо пока мы переправлялись через Лиммат ниже Цюриха, Сульц переправился через Липту выше, между двумя озерами. В авангарде плыло двести солдат с саблями в зубах. Они вырезали вражеские посты. Тут на место сражения прибыл Готце и был сразу же убит.

Ну, должен тебе сказать, Мишель, сколько мы с тобой слышали канонад в Вандее, даже канонада под Ле-Маном ни в какое сравнение не идет с этой. Горы и те дрожали. В двух шагах не слышно было слов команды, а когда в просветах дымовой завесы появлялось озеро, оно все, точно котел, кипело от разрывов ядер и картечи. К вечеру мы овладели лишь Цюрихбергом, что на правом берегу Лиммата. Русские, которых мы заставили укрыться в городе, спешно строили там укрепления. Люди эти совсем на нас не похожи: с широкими прямыми лбами и маленькими

глазками, курпосые, толстогубые. В бою они стоят насмерть: их можно всех перебить, но заставить отступить — невозможно. И мы намеренно уничтожали их — пробивали брешь в их линиях и уничтожали. На другой день в Цюрихе была такая же резня, как в Ло-Мане.

Глухие эти люди издумали уд- рать через одни городские ворота, пока мы осаждали другие. Во гла- ве их шла пехота: Корсаков ре- шил оставить кавалерию в городе.

Две наши дивизии с заряжен- ными пушками ждали русских в самом узком месте прохода. Русская пехота, оглашая воз- дух дикими воплями, которые слышны были на обоих озе- рах, сумела все-таки прорваться, несмотря на наши ядра и картечь, а кавалерия, артиллерия, их казна и обоз оста- лись в наших руках. При этом мы изрубили целый кор- пус Конде: эти господа стали было просить пощады, но мы отвечали им штыком. Между нами не может быть пе- ремирия и не может быть речи о милосердии: победа или смерть! Другого выбора нет. Правда, кое-кому из них уда- лось спастись. Город наполовину разрушен — еще бы: ведь из него стреляли по нашим парламентарам. Русские, которые валяются вокруг нашего бивака, и на людей-то не похожи — огромные, толстые. И если уж австрийские гусары говорили, что мы обовшивели, то что же они должны были думать про своих друзей?

Вот, Минель, кого выпускают на нас, чтобы вернуть нам нашего доброго короля и уничтожить свободу. Одер- жат ли люди верх над зверьми? В этом весь вопрос.

Наша бригада со вчерашнего дня стоит на позиции. Батарея потеряла двух лейтенантов, и Себастьян Фуа предложил повысить меня в чине. Думаю, что меня про- изведут, но мне как-то все равно: ведь по возрасту я уже имею право на отставку вчетую и, лишь только кампания кончится, намерен вернуться в деревню, — если, конечно, родине не будет ничего угрожать.

Дивизия Мортье, дивизия Сульта и еще несколько ди- визий во главе с нашим главнокомандующим двинулись



навстречу Суворову, этому святому Николаю, который решил перейти через Сеп-Готард и, став во главе побитых нами армий, идти на Париж. Надеюсь, его хорошо встретят, и вы скоро об этом узнаете.

А засим, дорогой мой Мишель, целую вас всех: маленького Жан-Пьера, гражданку Маргариту, гражданку Шовеля и тебя, моего старого друга. Передай от меня всем моим друзьям и добрым патриотам привет и братские чувства.

*Жан-Батист Сом».*

Это письмо несказанно прибодрило нас всех, а особенно Шовеля, который последнее время ходил точно в воду опущенный, — теперь энергия снова вернулась к нему. Он поехал в мэрию прочесть письмо властям, потом позвал к нам якобинцев — дянюшку Жава, Элофа Коллена, Манка, Жести и других, — и мы засиделись в тот вечер за столом до одиннадцатого часа.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Через несколько дней мы узнали из парижских газет обо всем, что произошло после битвы под Цюрихом: о том, как Суворов перешел через Сеп-Готардский перевал; об отступлении Гюдена; о том, как Лекурб защищал Чертов мост, а также мосты возле Урсерепа, Вазена и Амштейгепа; о том, какой сюрприз ждал Суворова на подступах к Альторфу, где выяснилось, что армии Корсакова, Готце и Елачица обращены в бегство, и какая ярость охватила его, когда он обнаружил, что окружен нашими войсками; узнали мы и о страшном отступлении русских через Шахенталь и Муттенталь, когда наши войска гнали их все дальше и дальше, и они шли по ужасающим дорогам, через ледники, оставляя за собой мертвых и раненых. Наконец Суворов с жалкими остатками своей армии прибыл в Куар, а Корсаков, потерпев окончательное поражение между Трюликоном и Рейном, перешел по мостам на другой берег, ища спасения в Германи. Мы одержали тут ренающую победу, — еще бы: восемнадцать тысяч плен-

ных, в том числе восемь тысяч раненых, которых русские вынуждены были бросить на произвол судьбы, сто пушек, тринадцать знамен, четыре пленных генерала, пять генералов убитых, и среди них главнокомандующий генерал Готце, взятие Сеп-Готарда и Глариса, захваченных было неприятелем, — словом, много всего.

В тех же газетах говорилось о крупной победе, одержанной генералом Брюном над русскими и англичанами при Кастрикуме в Голландии. Да, теперь республика могла больше не опасаться своих врагов.

Но больше всего смеялся Шовель, увидев в тех же газетах всего две строчки, оповещавшие о возвращении генерала Бонапарта из Египта и о прибытии его во Фрежюс, где он высадился 17-го.

— Просчитался, голубчик! — сказал он. — Думал выступить в роли спасителя, а республика-то в нем и не пуждается. Вот он, панерно, досадует! Да и потом с него, думается, потребуют отчета: страна доверила ему свой лучший флот, тридцать пять тысяч закаленных солдат, пушки, снаряжение, множество всяких припасов, а он, видите ли, возвращается с пустыми руками и, как невзвешенный младенец, говорит: «А все там осталось, можете поехать и убедиться!» Нет, это плохие шутки. Он показал себя в самом неприглядном свете и уж теперь-то парод, конечно, прозреет. Отцы и матери тех тридцати пяти тысяч солдат, которых он там бросил, спросят у него: «Что ты сделал с нашими детьми? Где они? Сам-то ты явился живой и невредимый, а ведь ты обещал вернуться вместе с ними и сказал, что после этой экспедиции у каждого будет по шесть десятин земли. Неужто ты бежал с поля боя, а их оставил погибать в песках?!» Как хотите, а ответ ему придется держать. Хотя наша Директория и наши Советы известны своей подлой трусостью, но теперь они будут говорить с ним твердо.

По правде сказать, мой тесть был прав. Бонапарт сам потом говорил, что если бы Клебер по своей воле, без разрешения вернулся из Египта, он велел бы арестовать его в Марселе, предал бы военному суду и расстрелял бы в двадцать четыре часа. А ведь Клебер не брал на себя никаких обязательств и не нес никакой ответственности. Бонапарт же сам принял решение об отъезде, даже не предупредив об этом Клебера, и в самую тяжелую минуту взвалил все на его плечи: он знал, что Клебер —

человек великодушный и не откажет несчастным брошенным солдатам в помощи и ободрении. И тем не менее он расстрелял бы Клебера!.. И это говорит он, Бонапарт! Судите после этого сами, какое у этого человека было себялюбие, как он был несправедлив и жесток. Или он считал, что имеет право на большее, чем Клебер? Нет, но он знал, что во Франции никто, кроме него, не способен на такую варварскую жестокость и подлость, — в этом-то от начала до конца и заключалась вся его сила.

Шовель думал, что у Бонапарта хотя бы потребуют отчета в его действиях... Увы! На другой день после блестящего похода на Цюрих, в результате которого Массена спас Францию, в тот самый день, когда он представил свой рапорт, — простой и правдивый, не в пример некоторым другим! — все газеты только и говорили что о Бонапарте. Да, братья Жозеф, Луи и Люсьен немало потрудились в его отсутствие, не давая угаснуть восторгам толпы: и газеты и листки — все было пущено в ход. На всех углах можно было прочесть: «Генерал Бонапарт прибыл 17-го во Фрежюс в сопровождении генералов Бертье, Лаана, Мармона, Мюрата, Андреосси и граждан Мовжа и Бертоле. Огромные толпы народа приветствовали его криками: «Да здравствует республика!» Положение оставленной им в Египте армии не оставляет желать лучшего».

«Трудно описать радость, с какою это известие было встречено вчера публикой, присутствовавшей в театрах. Со всех сторон неслось крики: «Да здравствует республика!», «Да здравствует Бонапарт!», неоднократно вспыхивали бурные аплодисменты. Люди положительно опьянели от счастья. Победа, всегда сопутствующая Бонапарту, на сей раз опередила его. (Должно быть, это он выиграл битву под Цюрихом и выгнал англичан с русскими из Голландии!) И он прибыл, чтобы нанести последний удар умирающей коалиции. Да, господин Питт, не очень это для вас приятная новость вдобавок к страшному разгрому англичан и русских в Голландии! Вам легче было бы проиграть еще три битвы, чем узнать о возвращении Бонапарта!»

И всего одна строчка:

«Генерал Моро\* прибыл в Париж».

Ведь он возвращался не из Египта, он не бросал своей армии, — он самоотверженно сражался в Италии, выправ-



ляя чьи-то чужие ошибки. Что поделаешь? Он не был комедвантом, а французы любят комедвантов!

И на другой день:

«Бонапарт прибыл вчера к себе домой, на улицу Победы, близ Шоссе-д'Антел. Сегодня он будет принят Исполнительной директорией».

И еще на другой день:

«Вчера, в половине второго, Бонапарт направился в Исполнительную директорию. Все дворы и залы были забиты людьми, пришедшими взглянуть на того, о чьей смерти возвестили год тому назад пушки лондонского Тауэра. Он поздоровался за руку со многими солдатами, которые проделали под его началом Итальянскую кампанию. Явился он не в мундире, а в куртке, с саблей на шелковой перевязи. Он коротко подстрижен. Лицо его, обычно бледное, после года, проведенного в жарком климате, стало смуглым. По выходе из Директории он нанес визит нескольким министрам, в том числе министру юстиции».

А затем:

«Люсьен Бонапарт избран председателем Совета пяти-сот; секретарями при нем будут: Диллон, Фабри, Барра (из Ардепп) и Деирэ (из Орна)».

И дальше:

«Позавчера генерал Бонапарт обедал у председателя Директории Гойе. Все заметили, что он больше спрашивал, чем говорил сам. Кто-то осведомился, что же поразило египтян из тех новшеств, которые мы им завезли. Он ответил, что самым для них удивительным был наш обычай одновременно есть и пить».

И дальше в том же духе — с 22 вандемьера по 18 брюмера. И за все это время ни слова о Массена, или о Суворове, или об англичанах и русских. Зато все газеты — от первой до последней строки — полны были описаниями побед при Шебрейсе, у Пирамид, под Седимапом, под Фивами, под Бейрутом, у горы Фавор, рассказами про экспедицию в Сирию, про последнюю битву при Абукире, прокламациями Бонапарта, члена Французской академии, главнокомандующего французскими войсками!..

Очень много было нам от этого пользы!

А вот о гибели нашего флота, о страшном разграблении Яффы и об истреблении пленных и гражданского населения этого злосчастливого города, о бедственном состоянии

нашей армии, поредевшей от чумы, измученной необходимостью быть вечно пачеку, ибо она сносится со всех сторон — и с моря и с пустыни, — обо всем этом ни слова. Что тут скажешь? Комедия, вечная комедия! Прибавьте к этому невежество и невероятную глупость народа; шизость писак, продающих свое перо для восхваления и прославления тех, кто дает им возможность есть хлеб с маслом; прилиженность толпы, которой нужен хозяин; эгоизм тех, кто хочет урвать себе кусок пирога, а в итоге — при везении, при счастливых стечении обстоятельств или гениальности — называйте это как хотите! — народы становятся игрушкой в руках хитрых и жестоких людей, которые презирают их и держат в повиновении с помощью пипка и клута.

Так или иначе, восторженное отношение народа к Бошарту все возрастало, и вот ровно через месяц после его возвращения из Египта мы прочитали в «Монитере»:

«ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ФРАНЦУЗСКИМИ ВОЙСКАМИ БОШАРТ—  
ГРАЖДАНАМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ГВАРДИЮ ПАРИЖА

*18 брюмера VIII года Республики,  
единой и неделимой.*

Граждане!

Совет старейшин, средоточие мудрости нашей нации, опираясь на статьи 102 и 103 нашей конституции, принял нижеследующий декрет.

Статья 1. Законодательный корпус переводится в коммуны Сен-Клу. Советы будут заседать соответственно в левом и правом крыле дворца.

Статья 2. Они перебираются туда завтра, 19 брюмера, в полдень. До этого срока созыв Советов в другом месте и проведение прений запрещаются.

Статья 3. На генерала Бошарта возлагается выполнение настоящего декрета. Он обязан принять все необходимые меры для обеспечения безопасности народных представителей. Генерал, командующий 17-м военным округом (в ту пору это был Лефевр), охрана Законодательного корпуса, местная национальная гвардия, линейные войска, расположенные в Парижской коммуне, в Парижском округе и на территории 17-го военного

округа, немедленно переходят под командование генерала Бонапарта и подчиняются ему. Все граждане по первому требованию должны оказывать ему содействие и поддержку.

Статья 4. Генерал Бонапарт обязан предстать перед Советом для получения настоящего декрета и принесения присяги (в чем?). Он должен снести по этому поводу с комиссиями инспекторов обоих Советов.

Статья 5. Настоящий декрет немедленно передается с нарочным Совету пятисот и Исполнительной директории. Он будет напечатан, размножен и обнародован, а также разослан с помощью специальных курьеров во все коммуны республики.

Далее уже сам Бонапарт писал:

«Совет старейшин поручает мне принять меры по обеспечению безопасности народных представителей, чьи заседания должны быть немедленно перенесены из Парижа. Законодательный корпус выводит свою миссию по ограждению народных представителей от нависшей над ними опасности, вызванной развалом в управлении. В этих чрезвычайных обстоятельствах Законодательному корпусу необходимо единение и доверие всех патриотов. Сплотитесь же вокруг него! Только так можно заложить в республике основы гражданской свободы и внутреннего благосостояния, только тогда она сможет вкушать плоды победы и мира!

Да здравствует республика!

Бонапарт

С подлинным верно:

Александр Бертье.

Затем следовало обращение Бонапарта к солдатам:

«Солдаты!

Совет старейшин в соответствии со статьями 102 и 103 конституции издал чрезвычайный декрет. *Этим декретом мне поручается командование гарнизоном и армией.*

Я принял это назначение, дабы помочь Совету провести в жизнь те меры, какие он наметил, всецело *исходя из блага народа.*

Последние два года республикой плохо управляли. Вы надеялись, что с моим возвращением придет конец

многим бедам; вы приветствовали меня с таким единодушием, что это налагает на меня определенные обязанности, которые я и намерен выполнить. А вы — выполните свои и поддержите своего генерала так же энергично, твердо и преданно, как всегда. Свобода, победа и мир вновь вернут республике то место, которое она занимала в Европе и которое потеряла только из-за глупости и измены.

*Да здравствует республика!*

*Бонапарт».*

Удивление тех, кто читал эти воззвания, не имело границ. Все у нас было тихо и спокойно, республика только что одержала две большие победы — при Цюрихе и при Кастрикуме, в Голландии, праги наши понесли поражение, и вдруг, ни с того ни с сего, Бонапарт объявляет, что республика утратила то место, которое по праву принадлежит ей в Европе, и что он вернет ей былое величие. Это было настолько нелепо, что даже люди самые недалекие увидели всю лживость подобных утверждений. Да и перемещение обоих Советов в деревню Сен-Клу, где они неизбежно оказывались без всякой защиты, в руках солдат, выглядело настоящим предательством. И патриоты громко высказывали свое возмущение. У нас полагали, что парижский народ непременно восстанет, и друзья, один за другим входя к нам в читальню, восклицали:

— Ого! И жарко же сейчас должно быть в Париже!

А Шовель, который расхаживал взад и вперед по комнате, опустив голову, отвечал им с горькой усмешкой:

— В Париже все спокойно. Париж любитесь на шествие штабных офицеров Бонапарта. С какой стати будет восставать парижский народ, если мы с вами спокойно сидим здесь и мечтаем, в то время как на улице кричат: «Да здравствует Бонапарт!» Ради чего и ради кого станет народ жертвовать жизнью? Ради того, чтобы сохранить конституцию Третьего года, которая лишает его всех политических прав? Или ради того, чтобы кучка интриганов удержалась на захваченных ими местах? Конечно, нет! Я постараюсь сейчас все это вам объяснить: *борьба происходит между буржуа и солдатами.* К этому

давно уже дело шло, я это предчувствовал. Началась она тринадцатого вандемьера и продолжалась до восемнадцатого фрюктидора. Армия в общем-то всегда была за народ, ибо всеми своими корнями она уходит в народ. Те, кто поддерживает интересы народа, всегда пользуются и поддержкой армии. Поэтому-то Конвент, несмотря на все страшные меры, которые он вынужден был в то время принимать, всегда мог рассчитывать на солдат, даже когда надо было двинуть их против генералов. А генералу — ни одному не удалось заставить солдат выступить против республики, ибо республика в ту пору — это были они сами, их родные, их близкие, их друзья, вся нация. Но вот бывшие жирондисты и их сторонники из Болота сговорились и устроили Девятое термидора: отныне интересы народа были отделены от интересов буржуазии. И конституция Третьего года утвердила это. Пропасть между ними с тех пор что ни день, то увеличивается. Республику теперь нельзя уже назвать единой и неделимой, она разделена: у буржуазии свои интересы, у народа — свои. Между ними находится армия, и вот она-то отныне и будет диктовать законы. Для этого нужен был случай, и член нашей Директории Сийес такой случай нашел — он уже полгода старается, как бы выдумать заговор якобинцев против республики. Этот человек, отличающийся неслыханным тщеславием, ненавидит народ, потому что народу нужны ясные идеи и он не приемлет хитроумных идей аббата Сийеса. Народ предоставил аббату Сийесу сидеть в своем Болоте и заблудился в нем. Он не стал спрашивать, как буржуа из Учредительного собрания: «Что нам теперь делать, господин аббат? Что вы думаете о наших действиях, господин аббат? Если вы ничего нам не скажете, господин аббат, мы попадем в весьма затруднительное положение!» А народ и народные представители не трогали его, — дали ему возможность спокойноенько сидеть и размышлять. Народ без него и вопреки ему совершил немало великих дел; а то, что это было вопреки ему, видно по физиономии этого человека, который все считая неправильным, но из осторожности молчал.

Потом он встретился со своими дружками в Совете старейшин: они вместе потерпелись страху, но раз вместе дрожали за свою шкуру, и это в какой-то мере сроднило их. Конституция Третьего года показалась им

недостаточно монархической, а члены Директории Ларавельер, Ревбель и Баррас — недостаточно буржуазными. Тогда они устроили прернальский переворот, и Сийес стал членом Директории. Патриотические газеты запретили, их издателей, владельцев и редакторов выслали в Олерон, клубы закрыли, якобинцев подвергли преследованиям! Последние полгода всюду только и разговоров что о терроре, о заговоре против республики, — отличный предлог, чтобы арестовать всех тех, кто внушает опасения. Но и этого оказалось недостаточно. Окончательный текст конституции нашей республики лежит у Сийеса в кармане, и, коль скоро он не совпадает с тем, каким хотел бы видеть его народ, коль скоро народ может отвергнуть этот текст, Сийесу нужен генерал, который мог бы привести людей в чувство, если те вздумают бунтовать. Он прощупал было Моро и Вернадотта и выбрал Жубера, но Жубер погиб в сражении при Нови. А тут Бонапарт вернулся из Египта. Бонапарту по духу конституция Сийеса, и он готов защищать ее против всех и вся, а Сийесу и его друзьям из Совета пятисот больше ничего и не нужно. Тогда они отдают в руки Бонапарта оба Совета, переводят их в Сен-Клу; и вопреки конституции поручают Бонапарту командование всеми войсками. Завтра мы увидим, что за этим последует. Думается, что, если их затея увенчается успехом, Бонапарт и его солдаты тоже захотят принять кое-какое участие в управлении страной, — тогда буржуазии придется потесниться.

И Шовель подмигнул; его глубоко возмущал такой оборот событий, хотя он предвидел его, но сейчас, когда дела в республике шли так хорошо, подобные гнусности казались просто немисланными. Я и по сей день считаю, что если бы не аббат Сийес, Бонапарт при всей своей дерзости никогда не посмел бы совершить переворот. Но Сийес подготовил переворот, и Бонапарт его осуществил.

На другой день все кинулись к нам в лавку за газетами, — за несколько минут мы распродали все, что было. Вся наша семья и человек десять или двенадцать друзей собрались у нас в читальне и стали читать вслух отчет о знаменитом заседании Совета пятисот, состоявшемся 19 брюмера в оражерее Сен-Клу под председательством Люсьена Бонапарта. Итак, я прочел:

«Заседание, состоявшееся в половине второго в оранжее Сен-Клу (левое крыло дворца), началось с чтения протокола предыдущего заседания.

Годен. Граждане, декретом Совета старейшин заседания Законодательного корпуса перенесены в эту комнату.

Эта чрезвычайная мера могла быть вызвана лишь наличием непосредственной угрозы. И в самом деле, нам сообщили, что существуют могущественные группы, которые грозятся нас разогнать; надо было отнять у них всякую надежду разделаться с республикой и не допустить нарушения мира во Франции». И так далее и тому подобное.

Годен еще долго говорил в таком духе, а под конец предложил назначить комиссию для доклада о положении дел в республике и выработки мер общественной безопасности, которые, учитывая обстоятельства, необходимо принять. Тут его прервали.

«Дельбрель. Прежде всего надо подумать о конституции.

Гранмезон. Прошу слова.

Дельбрель. Конституция или смерть! Штыками нас не испугаешь: мы свободные люди.

Несколько голосов сразу. Мы не желаем диктатуры!.. Долой диктатора!

В зале раздаются крики: «Да здравствует конституция!

Дельбрель. Я требую возобновить присягу конституции!

Поднимается страшный шум. Депутаты окружают стол председателя. Снова раздаются крики: «Долой диктаторов!»

Председательствующий Люсьен Бонапарт. Достоинство Совета требует, чтобы я положил конец дерзким выпадам со стороны некоторой части ораторов. Я призываю их к порядку.

Гранмезон. Депутаты, Франция не может без удивления взирать на то, что народные представители и Совет пятисот, подчиняясь декрету Совета старейшин, перенесли свои заседания в это новое помещение, не будучи оповещены об опасности, которая им, очевидно, угрожает. Тут шла речь о создании комиссии для разработки мер на будущее и выяснения того, что же нам

делать дальше. Мне кажется, сначала надо создать комиссию, которая разобралась бы в том, что уже сделано».

Заключил он свою речь так:

«Вот уже десять лет, как французский народ проливает кровь за свободу, и я предлагаю поклясться, что мы будем всячески противиться восстановлению любой тирании.

Хор голосов. Поддерживаем! Поддерживаем! Да здравствует республика! Да здравствует конституция!»

Клятва была дана, и Бигонне сказал:

«Эта клятва, которую вы сейчас возобновили, войдет в анналы истории. Ее можно сравнить лишь со знаменитой клятвой, которую Учредительное собрание принесло в Зале для игры в мяч. Разница состоит в том, что тогда пародные представители искали спасения от штыков королевской власти, а сейчас оружие, с помощью которого была добыта свобода, находится в руках республиканцев.

Хор голосов. Да!.. Да!..

Бигонне. Но эта клятва останется пустыми словами, если мы не направим Совету старейшин послания с требованием объяснить причины, побудившие перенести сюда наши заседания».

Заседание продолжалось среди общего волнения. Было принято послание Директории; затем пришло письмо от Барраса, сообщавшего о своей отставке. Этот негодяй писал:

«Граждане представители.

Вступив на стезю общественной деятельности только лишь из любви к свободе, я согласился взять на себя первый пост в государстве, дабы оберегать свободу в минуты опасности. (И так далее и тому подобное.) Почести, какими был встречен по своему возвращении знаменитый полководец, которому я имел счастье открыть путь к славе, великое доверие, оказанное ему Законодательным корпусом, равно как и декрет, принятый народными представителями, убедили меня, что, каков бы ни был пост, который будет мне вверен в интересах общества, свободе ничто не угрожает и интересы армии будут соблюдены». (И так далее и тому подобное.)

Этот негодяй поистине насмеялся над несчастными депутатами, отрезанными от всякой помощи, отгороженными стеною сабель и пушек.



Как видно, столь долгие разглагольствования падошли Бонапарту; в зале, должно быть, сидели его пилюоны и сообщали ему все, что там говорилось, ибо в ту минуту, когда депутат Гранмезон заявил, что отставка Барраса кажется ему непонятной, что она может быть вынужденной, вдруг раздался какой-то шум и взоры всех обратились к входной двери: там стоял генерал Бонапарт в сопровождении четырех гренадер из охраны и нескольких штабных офицеров, державшихся позади. Все собравшиеся, возмущенные дерзостью этого солдата, осмелившегося ворваться в помещение, где заседают народные представители, вкоченили с криком:

«Что это значит? Что это значит? Ворваться сюда с саблями!.. С оружием!..»

Многие депутаты сорвались со своих мест и, схватив Бонапарта за шиворот, стали его выталкивать из зала. Другие, повскакав на скамьи, кричали:

«Объявить его вне закона!.. Вне закона!..»

Этот страшный крик, от которого в свое время содрогнулся Робеспьер, заставил побледиеть и Бонапарта. Говорят, он даже пошатнулся и, если бы не его офицеры, — упал. Но тут с криком: «Спасай генерала!» — в зал ворвался великан Лефевр, которого я видал потом, — эльзасец, уроженец Руффаха, настоящий рубака-солдат, слено повинующийся приказу, — и, окружив со своими гренадерами Наполеона, илвел его.

Можете себе представить, что после этого началось! Председательствующий Люсьен Бонапарт требует тишины и, понимая всю недопустимость поведения своего брата, в страхе кричит:

«Возмущение, охватившее членов нашего Совета, лишний раз доказывает, что думаем мы все, и я в том числе, — одинаково. Однако появление здесь генерала скорее всего объясняется его желанием дать отчет в своих действиях или сообщить о чем-то, представляющем общественный интерес. Как бы то ни было, мне думается, ни один из вас не может заподозрить...»

Один из членов Совета. Сегодня Бонапарт запятнал свое славное имя.

Другой. Бонапарт вел себя как король.

Третий. Я требую, чтобы генерал Бонапарт предстал перед судом и дал ответ в своем поведении.

Люсьен Бонапарт. Я вынужден покинуть председательское кресло».

Место его занимает Шазаль.

«Диньёф. Коль скоро Совет старейшин воспользовался правом, дарованным Законодательному корпусу конституцией, у него, видимо, были на то серьезные основания. Я требую, чтобы нам сказали, кто является вождями и участниками угрожающего нам заговора. Но прежде я требую, чтобы вы приняли меры по охране своей безопасности, чтобы вы установили границы своей резиденции.

Хор голосов. Поддерживаем!

Бертран (из Кальвадоса). Когда Совет старейшин постановил перевести Законодательный корпус в эту коммуну, он имел по конституции на это право. Когда же он назначил некоего генерала главнокомандующим, — он такого права не имел. Я требую, чтобы прежде всего вы приняли декрет, выводящий из-под командования генерала Бонапарта гренадер, составляющих вашу охрану.

Хор голосов. Поддерживаем!

Тало. Совет старейшин не имел права назначать главнокомандующего. Бонапарт не имел права появляться в зале, где мы заседаем, без нашего вызова. Что же до вас, то вы не можете дольше оставаться в таком положении, — надо возвращаться в Париж. Идите туда в одежде депутатов, — граждане и солдаты не дадут вас в обиду. Вы увидите, что наши войска — верные защитники родины. Я требую, чтобы вы немедленно приняли декрет о том, что все войска, находящиеся в этой коммуне, составляют вашу охрану. Я требую, чтобы вы направили послание Совету старейшин с просьбой издать декрет о вашем возвращении в Париж.

Дестрем. Поддерживаю предложение Тало.

Блэн. Вас окружает шесть тысяч солдат. Объявите, что они входят в охрану Законодательного корпуса.

Дельбрель. За исключением гвардии, охраняющей Директорию. Да ну же, председатель, ставь предложение на голосование».

Поднимается крик: депутаты требуют голосования.

«Люсьен Бонапарт. Я не возражаю против этого предложения, но должен заметить, что подозрения у вас рождаются слишком быстро и слишком необоснованно. Неужели какой-то один поступок, пусть даже не со-

всем оправданный, может заставить вас забыть о том, сколько сделал этот человек во имя свободы?

Хор голосов. Нет, нет, мы этого не забудем!

Люсьен Бонапарт. Я требую, чтобы, прежде чем принять какие-либо меры, вы вызвали сюда генерала.

Множество голосов. Мы его не признаем.

Люсьен Бонапарт. Я не буду настаивать. Когда в этих стенах воцарится спокойствие и утихнет неподобающее волнение, а страсти умолкнут, вы воздадите должное тому, кто этого заслужил.

Хор голосов. К делу!.. К делу!..

Люсьен Бонапарт. Я вынужден отказаться от выступления, и, коль скоро меня здесь не слушают, я снимаю с себя знаки народного представительства.

И, скинув с себя тогу депутата, Люсьен Бонапарт спускается с трибуны. В зал входит взвод гренадер из охраны Законодательного корпуса. Во главе — шагает офицер. Они подходят к трибуне, окружают Люсьена Бонапарта и выводят его из зала».

Все было разыграно, как по нотам: если хитростью и ложью не возьмешь, если люди не поддаются обману, — в ход пускается сила.

«Поднялся страшный шум, крики ярости и возмущения. На лестницах, ведущих в зал, послышалась мерная поступь солдат. Публика бросилась к окнам. Все депутаты вскочили с мест с криком: «Да здравствует республика!» Гренадеры, с ружьями наперевес, занимают храм закона. Во главе их — генерал Леклерк\*.

Генерал Леклерк, возвысив голос, объявляет:

— Граждане представители, мы не отвечаем больше за безопасность Совета. Предлагаю вам разойтись.

Снова слышатся возгласы: «Да здравствует республика!» Какой-то офицер из охраны Законодательного корпуса поднимается на председательское возвышение.

— Представители! — восклицает он. — Разойдитесь! Генерал приказал.

Оглушительный шум не умолкает. Депутаты не расходятся. Тогда офицер командует: «Гренадеры, вперед!» Барабан бьет: «В атаку!» Отряд гренадер занимает середину зала. Генерал Леклерк отдает приказ очистить зал, и солдаты выполняют приказ под грохот барабанов, заглушающих крики возмущения и протесты депутатов».

Я знавал писателей, которые впоследствии воспели



все это, а потом другие Бонапарты хватали их почью, точно воров, и отправляли в тюрьму. Честно говоря, так им и надо. Когда народу врушают почтение и преклонение перед коварством и силой, когда люди не находят слов, чтобы поддержать честных и осудить преступников, — таких людей не жалко и проучить. Это укрепляет дух тех, кто считает, что справедливость вечна и что она торжествует подчас даже на этом свете.

Ну, а чем окончилось 19 брюмера, вам известно: большинство Совета старейшин пошло за Сийесом и приняло участие в заговоре. Члены этого Совета заседали в правом крыле дворца и тряслись от страха. В то утро, прежде чем

явиться в Совет пятисот, Бонапарт произнес перед ними речь наподобие тех, какие он произносил перед своими солдатами. Он заявил, что существует заговор, что Совет пятисот хочет восстановить Конвент и эшафоты, что члены Директории Баррас и Мулен даже предлагали ему свергнуть правительство. У него потребовали доказательств, но доказательств у него не было. Он начал что-то лепетать, потом вспылнул, повернулся к своим солдатам, стоявшим у двери, и воскликнул:

— Вы моя опора, доблестные мои солдаты... Я отсюда вижу ваши шапки и ваши пистолеты. Вы не отвернетесь от меня, хребтецы, — ведь я привел вас к победе...»

И так далее и тому подобное. Ах, как Совет старейшин, должно быть, раскаивался потом, что отдал оба Совета, да и всю нацию в руки этого подлеца! Но было уже поздно!

Пока члены Совета пятисот, изгнанные из зала заседаний, спешили в Париж, чтобы, если удастся, поднять народ, двадцать пять или двадцать шесть предателей, оставшихся в Сен-Клу, собрались под вечер в зале и под председательством Люсьена Бонапарта, сообщника того, другого, приняли знаменитый декрет, которого все ожидали и которым Директория объявлялась распущенной; шестьдесят один депутат исключался из Совета пятисот; исполнительная власть вручалась Сийесу, Роже-Дюко и *генералу* Бонапарту, которые отныне именовались консулами; заседания Законодательного корпуса на три месяца прекращались, зато учреждались две законодательные комиссии по двадцать пять человек в каждой для наблюдения за порядком и для пересмотра конституции.

Совет старейшин, чьих заседаний никто не прерывал, само собой, одобрил эти меры, и поскольку народ, как и предвидел Шовель, не шелохнулся, ибо никак не был заинтересован в сохранении конституции III года, нация на шестнадцать лет попала в капкан. Она и до сих пор из него бы не выкарабкалась, если бы не немцы, англичане и русские! Да, надо набраться мужества и сказать: если бы вся Европа, которую Бонапарт грабил и разорял, не поднялась против него, наша несчастная страна и по сей день находилась бы во власти старой системы правления, которую на благо своему семейству восстановил Бонапарт, возродив былое духовенство, дворянство, майораты, привилегии и установив в стране жесточайший деспотизм.

Буржуа, обладай они здравым смыслом, должны были бы тогда понять, что изворотливость и эгоизм — не всегда хорошие помощники, а вот будь они посправедливей, поступили бы с народом по-честному и дай ему права по конституции, у них были бы тысячи защитников. Но коль думаешь только о себе да о том, чтобы набить себе шишу, — тогда сам свое добро и защищай. Бонапарт, громко объявив, что он «пришел восстановить права народа» и вышвырнуть за дверь всех адвокатов, ясное дело, привлек на свою сторону народ. А как же иначе: всяк за себя, бог за всех! Буржуазия первая подала пример. Теперь этому примеру последовал народ.

Итак, нам предстояло на себе испытать, что значит, когда страной правит армия.

Все генералы, находившиеся в Париже, так или иначе участвовали в перевороте. Моро дошел даже до такой пиздости, что сам стерег Гоёе и Мулена, посаженных под стражу в Люксембургском дворце, — единственно честных членов Директории, которые не пожелали подать в отставку и возмущались всеми этими безобразиями.

На другой день Бонапарт со своей супругой покинул небольшой особняк на улице Победы и поселился в Люксембургском дворце. Коллегалы обратились с воззванием к нации, а Бонапарт — к армии. Солдатам выдали вина, они пели и кричали: «Да здравствует Бонапарт!» В Пфальцбурге к ним присоединился народ и за один этот день было выпито больше пива и съедено больше колбасы, чем за несколько месяцев. Патриоты не вмешивались: когда народ заодно с солдатами, лучше сидеть смирно. Гражданским и военным властям дали на этот счет указания, а когда живешь в таком маленьком городке, как наш, и мэр, и его помощники, и секретарь мэрии, и бригадир жандармов — всяк спешит потихоньку тебя предупредить. Вот и мы получили такие предупреждения, но пананна Шовель в них не пуждался: он хорошо знал Бонапарта.

В газетах полно было хвалебных статей, поздравлений, заверений в преданности. Даже Брюн, давний друг Дантона, которому он обязан был своими первыми шагами на пути к возвышению, победитель герцога Йоркского в Голландии, написал великому человеку письмо, полностью отдавая себя в его распоряжение. Массена молчал: он поселя — другой собирал за него урожай. Неблагодарность людская, должно быть, возмущала его. Бонапарт, не желая иметь Массена так близко от Парижа, во главе победителей под Цюрихом, назначил его командующим нашими войсками в Италии. Бернадотт, видя, что переворот удался, тоже помалкивал. Шампионне славил победу. Ожеро преклонялся перед Бонапартом.

Но как содрогнулись честные люди, увидев список высылаемых в Кайенну и на остров Ре, где имена широко известных бандитов и убийц соседствовали с именами депутатов из Совета пятисот и таких патриотов, как Журдан, спасший Францию при Флерюсе и Ваттиньи! Тут только все поняли, какой низкий человек Бонапарт. Но,

должно быть, он сам испугался настроений толпы и понял, что надо держаться известных границ, а то чернь может избунтоваться, поэтому в газетах почти тотчас появилось сообщение, что произошла ошибка и в списках числится не генерал Жан-Батист Журдан, а некий Матье Журдан, по прозвищу Головорез, известный убийца из Гийотьеры, умерший за много лет до того. Такое унижение одного из самых добропорядочных наших граждан произвело на всех самое неприятное впечатление.

А тем временем две комиссии продолжали усердно работать в Париже: комиссия Совета пятисот под председательством Люсьена Бонапарта и комиссия Совета старейшин — под председательством Лебрера \*. Они отменили закон о заложниках; ввели военный налог в размере двадцати пяти сантимов с франка вместо принудительного займа; установили окончательные единицы мер и весов, что было благом для коммерции; навели порядок в законах, уже подготовленных для нашего гражданского кодекса, и под конец каждая назначила комиссию, на которую возлагалась выработка проекта конституции.

Все ждали этой конституции с великим нетерпением, ибо не могли мы так больные жить, под пятой одного человека: мы были бы несчастнее последнего раба. Мы верили, что новая конституция вернет нам наши права, ибо все права у нас были отняты, даже те, какие мы имели по конституции III года. Одни только палаша Шовель ухмылялся, а когда у него спрашивали про новую конституцию, лишь пожимал плечами: это могло означать что угодно, и в душу каждого закрадывался страх.

И вот наконец мы узнали содержание этой замечательной конституции, которую Сийес обдумывал вот уже пять лет. На картинках Миркура, которых мы немало в ту пору продали, она изображалась в виде египетской пирамиды. Наверху в кресле восседал великий избранник, назначаемый пожизненно сенатом, разместившимся у подножия пирамиды. Этот великий избранник должен был получать шесть миллионов в год, для охраны его выделялась гвардия в три тысячи человек, а для жилья — Версальский дворец, совсем как Людовику XVI. Это и было главной статьей конституции. На обязанности великого избранника лежало лишь назначение двух консулов: одного — на время мира и другого — на время войны, после чего он мог взирать с высоты на происходящее. Справа от

пирамиды восседал Законодательный корпус, слева — Трибунат, а напротив великого избранника — Государственный совет. Трибунат и Государственный совет вместе обсуждали законы. Законодательный корпус выслушивал их и выносил решение. Народ же олицетворяли три фигуры: мэр, составляющий избирательные списки, рассыльный, разносящий их, и крестьянин, опускающий их в ящик.

Над этой картинкой все смеялись до смерти. Говорили, что сам Бонапарт немало веселился, глядя на нее, и даже сказал Сийесу:

— Послушайте, да неужели вы думаете, что народу понравится, если какая-нибудь свинья поселится в Версале, будет бить баклауши и тратить по шесть миллионов в год? Да и найдется ли такой подлец, который согласится на это?

Господин аббат промолчал: он-то прекрасно знал великого избранника!

Но похоже, что Бонапарт все же нашел в конституции Сийеса положительные стороны, ибо когда 13 декабря 1799 года была опубликована новая конституция, мы увидели, что и сенат, и Законодательный корпус, и Трибунат, и Государственный совет, и даже великий избранник — все осталось. Только этот великий избранник, вместо того чтобы ничего не делать, — делал все. Именовался он первым консулом и для приличия взял себе еще двух.

«Правительство состоит из трех консулов, которые избираются на десять лет, однако полномочия их могут быть и продлены — на неограниченный срок. Согласно конституции, первым консулом назначается бывший временный консул гражданин Бонапарт; вторым консулом — бывший министр юстиции гражданин Камбасерес; третьим консулом — бывший член комиссии Совета старейшин гражданин Лебрен.

Первый консул выполняет особые обязанности и имеет особые права, которые в случае необходимости он может в любую минуту переложить на одного из своих товарищей.

Первый консул издает законы; по своему усмотрению назначает и смещает членов Государственного совета, министров, послов и прочих высших чинов, ведающих отношениями с заграницей; а также сухопутных и морских офицеров, чинов местного управления и правительствен-



ных комиссаров при трибуналах; он же назначает — без права последующего смещения — мировых и кассационных судей, а также судей уголовных и гражданских судов.

Правительство разрабатывает законопроекты и издает необходимые распоряжения для их осуществления; оно ведает доходами и расходами государства; наблюдает за чеканкой монеты. Будучи оповещено о подготовке заговора против государства, оно может выдать ордера на привод и на арест. Оно заботится о внутренней безопасности страны и защите ее границ. Оно ведает расстановкой сухопутных и морских сил и их передвижением. Оно поддерживает политические отношения с внешним миром, ведет переговоры, готовит проекты договоров, подписывает и заключает договоры о мире, о союзе, о перемирии, о нейтралитете, о торговле и всякие другие соглашения. Государственному совету вменяется в обязанность под руководством консулов составлять законопроекты и правила управления страной, а также разрешать все трудности, возникающие в связи с управлением ею».

Ну, а что же, спрашивается, оставалось на долю всех остальных и какие нам дали гарантии свободы? Кто мог воспротивиться воле первого консула, кто? Он сам все делал, сам всех назначал — сверху до низу: сенаторов — чтобы скреплять или отвергать постановления, противоречащие конституции; членов Государственного совета — чтобы отстаивать законопроекты; трибунов, или народных представителей — чтобы нападать на них, а кроме того, по своей конституции он и впредь сам все будет делать, всех назначать, все репнать, ибо этот его Законодательный корпус — чистейший фарс. Вот послушайте:

«Граждане каждого из округов коммуны выбирают из своей среды тех, кто, по их мнению, может лучше всего управлять делами общества (по одному от десяти человек). Граждане, появившиеся в эти списки, составленные по коммунам, в свою очередь выбирают из своей среды одного от десяти человек. После этого составляются списки по департаментам. Граждане, появившиеся в эти департаментские списки, точно так же выбирают одного от десяти человек. Так будет составлен третий список».

Вы, может быть, думаете, что хотя бы эти наконец выберут депутатов? Ничего подобного. Это всего лишь

«лица, способные занимать в стране общественные должности».

«Все списки, составленные в департаментах (имеются в виду последние), в соответствии со статьей 9 направляются в сенат; сенат же из лиц, внесенных в эти списки, выбирает законодателей, трибунов, консулов, членов кассационного суда и комиссаров казначейства».

А сенат — кто его назначает? Консулы! Не буду продолжать, — и того, что я здесь привел, вполне достаточно, чтобы показать, в каком мы очутились положении. Первый консул все мог, а нация — ничего. Что же до обсуждения законопроектов в Государственном совете и Трибунате, то это было делом чисто механическим, и разыгрывалась эта комедия для того, чтобы показать, будто у нас есть правительство и мы обсуждаем важные вопросы. А на самом деле одни всегда нападали на любой законопроект, а другие всегда его защищали, совсем как в театре маршкеток на ярмарке: Полишинель всегда раздает ники, а Жюкрие всегда их с ужимками принимает. Глядишь на это, глядишь и под конец начинаешь смеяться — до того все глупо. Однако первый консул, как видно, ревниво относился к своему театру, ибо когда несколько газет позволили себе высмеять прения в Трибунате и Государственном совете, в «Монитере» в одно прекрасное утро было напечатано:

*«Постановление от 27 нивоза.* Принимая во внимание, что некоторые газеты, издающиеся в департаменте Сены, служат орудием в руках врагов республики, а также и то, что правительство особо уполномочено французским народом заботиться об его безопасности, консулы республики постановляют:

*Ст. 1.* Министр полиции на все время войны разрешит издавать, печатать и распространять следующие газеты: «Монитор юниверсель», «Журналь де деба э де декре», «Журналь де Пари», «Бьеншиформе», «Ами де луа», «Кле де кабине», «Ситуаиен франсе», «Газет де Франсе», «Журналь дез ом либр», «Журналь дю суар», «Журналь де дефансёр де ла патри», «Декад философик».

Итого двенадцать газет. А коль скоро у нас вечно была война, конца этому не предвиделось. Теперь можете себе представить, до какой степени униженности, отупения и невежества дошла очень скоро наша страна: ведь Бонапарт за все годы своего правления не дал ни сантиметра на

народное образование и интересовался только лицами и высшими школами для детей буржуазии и знати. Зато многие забытые люди выплыли из небытия на поверхность. Восторги, с какими бывшие придворные чины, прежние кошюшние, камергеры, графы, виконты, придворные дамы, дворцовые лакеи, егеря и повара встретили явление человека, перед которым наконец они могли пресмыкаться, — не поддаются описанию. Давно им этого не хватало. Правда, это не был законный король — увы, нет! Более того: это был довольно-таки грубый человек, наглый солдат, но зато — властелин! И в его передних теснились подбострастные толпы: им хотелось кому-то служить, — ведь служить так сладко!

Бонапарту нравились такого рода люди. Он прекрасно их понимал и говорил, что старое дворянство всегда узнается по хорошим манерам: это-де передается из поколения в поколение, от отца к сыну. Жаль только, что происходило это не в Тюильри, а ему бы так хотелось принять их в Тюильри.

А тем временем, поскольку любовь к родине не может быть всецело перенесена на одного человека и надо поощрять тех, кто ступил на правильный путь, чем-то выделить их из остальной массы, консулы республики постановили награждать особо отличившихся: 1) гренадер и солдат — ружьями с серебряной инкрустацией; 2) барабанщиков — почетными налочками, отделанными серебром; 3) солдат конных полков — почетными мушкетами с серебряной инкрустацией; 4) трубачей — почетными серебряными трубами; 5) канониров-наводчиков, особо отличившихся в сражениях, — золотыми гранатами, прикрепляемыми к обшлагам мундира. Всем, получившим одну из этих наград, кроме того, выдавалась прибавка по пять сантимов в день.

Словом, за все свои платя — совсем как в нашей лавке: фунт сахара — столько-то; унция корицы — столько-то; литр уксуса — столько-то; самопожертвование солдата — столько-то!.. лейтенанта — столько-то!.. капитана — столько-то!.. Ты рисковал жизнью, — получай, и мы в расчете! А твоя преданность, твое самопожертвование, — можешь мне об этом не говорить. Все, что продается и покупается, — это товар. А слава? Слава побоку! Слава — она существовала при республике, когда Журданы, Гоши, Клеберы, Марсо и тысячи других жертвовали всем ради свободы, равенст-

ва и братства, — да, слава тогда была единственной их наградой; они не жаждали ни чипов, ни орденов, ни денежных вознаграждений, ни подарков! А всякий раз, как я слышу, что слава принесла кому-то большую выгоду, мне хочется предложить нашему муниципальному совету воздвигнуть мне памятник на плацу в Ифальцбурге за то, что я пятнадцать лет снабжал моих соотечественников (за звонкую монету) перцем, имбирем, гвоздикой и прочими колониальными товарами. Люди платили мне за это — что правда, то правда; и бакалейщиком я сделался ради собственной выгоды — это тоже правда; но коль скоро военный получает такую же выгоду, как и бакалейщик, а то и большую, — мне думается, Мишелю Бастьеру, первому бакалейщику в коммуне, можно было бы воздвигнуть статуэтку рядом с Жоржем Мутопом\*.

Все это, конечно, шутки: слава приходит вместе с самопожертвованием! А Бонапарт не очень-то рассчитывал на самопожертвование, ибо он рассчитывал своим солдатам только выгоду: «Солдаты, я поведу вас в самые плодородные равнины мира!» — «Солдаты, по возвращении из этой экспедиции у каждого из вас будет, па что купить шесть арпанов земли!» Теперь им уже не было нужды что-либо покупать: они находились на самых плодородных равнинах мира — во Франции! А Франция богата и хлебом, и сеном, и фруктами, и добрым вином, и всякого рода продуктами, а особенно — рекрутами. Они-то и получили теперь все права, которые потерял народ.

Обыграв нас, Бонапарт собирался теперь обыграть всю Европу и посадить на трон своих братьев, а нация должна была поставить ему фишки для этой игры. Но коль скоро он обещал стране мир и благодаря этому обещанию дважды сумел возвыситься, он написал английскому королю Георгу III весьма развязное послание, в котором утверждал, что англичане и французы прекрасно могли бы столковаться между собой, что это было бы в интересах обеих стран — их торговли, благосостояния и счастья граждан и что он обращается непосредственно к королю, минуя его министров, советников и обе его палаты, ибо дела такого рода куда лучше решать между друзьями, за попошкой табаку.

Говорят, что король Георг был до глубины души оскорблен тем, что какой-то корсиканский дворянчик осмелился похлопать его по плечу, — вернее: он положительно кипел

от гнева. Его премьер-министр Питт, который уже причинил нам столько зла, снабдив деньгами две перные коалиции и высадив на наши берега целые армии, сразу понял, что Бонапарт только для виду обещает французам мир, сам же хочет продолжения войны, а потому он ответил нотой, которая была расклеена повсюду, вплоть до самых глухих деревень. В этой ноте говорилось, что наша революция бросает вызов всему миру; что она «угрожает собственности, личной свободе, социальному порядку и свободе вероисповедания; что его величество Георг III не может питать доверия к нашим мирным договорам и нашим обещаниям; что ему нужны другие гарантии; что лучшей гарантией для него было бы восстановление на троне королевской династии, которая на протяжении стольких веков поддерживала благосостояние французского народа и обеспечивала ему почет и уважение за пределами страны; что восстановление династии тотчас же снимет все препятствия, мешающие мирным переговорам; что Франция вновь сможет тогда вступить в неоспоримое владение своими бывшими территориями, а все остальные народы Европы спокойно и мирно обретут безопасность, которой они вынуждены сейчас добиваться другими способами». И так далее и тому подобное.

Таким образом, король Георг и его премьер-министр считали существование нашей республики величайшей опасностью, которая только может угрожать всем дворянским семьям, принцам и королям, живущим за счет народов Европы. Они сказали себе:

«Либо эта республика погибнет, либо погибнем мы! Нельзя, чтобы одной страной правил народ, а другими — божьей милостью государи».

И это правда. Бонапарт прекрасно это понимал, и если бы короли пожелали принять его в свою семью, нашей республике очень скоро пришел бы конец, — зато наступил бы мир. Но ни король Георг, ни Франц II, ни император Павел не желали его знать. Таким образом война была неизбежна.

Республика отбила все атаки королей и протянула руку народам. О «Правах человека» узнал весь мир, вплоть до России, и тираны затрепетали. Я уверен, что в конце концов народы поняли бы и полюбили бы нашу республику. Наши последние победы, одержанные в такое время, когда лучшие наши войска и наши лучшие генералы

находились в Египте, показали, что сил для борьбы у нас хватило бы еще на двадцать лет, а за эти двадцать лет дух свободы, справедливости и преданности роду человеческому завоевал бы новых сторожников.

Но после возвращения из Египта стремление к личной выгоде возобладало у Бонапарта над всем. Он жаждал занять место среди королей, и мы должны были ему это место добыть. А раз так — надо воевать. Только Бонапарт, будучи человеком необычайно пронзительным, понимал, что борьба предстоит долгая, и решил тщательно все подготовить, навести везде порядок — не только в войсках, но и в стране, чтобы потом ни в чем не терпеть недостатка, получать все, что нужно, отовсюду — вплоть до самых жалких деревень, нигде не встречая препятствий и сопротивления, выкачивать из страны деньги, кровь, жизнь. Вот почему 28 pluviоза VIII года (11 февраля 1800 года) появилось у нас знаменитое новое территориальное устройство и возникли префектуры и супрефектуры, которыми так восхищались многие писатели, хотя отлично знали, что это никак не вяжется со справедливостью и свободой нашей страны.

До революции у нас были провинциальные собрания, на которые сходились священники и дворяне и решали все вопросы, связанные с нуждами провинции, а также с обложением налогами; позднее — во времена Учредительного собрания и Конвента — у нас были муниципальные собрания, избираемые всеми гражданами без исключения, которые и вершили дела коммуны; в главном же городе дистрикта собирались первичные собрания, на которых выбирали депутатов, судей, чиновников местного самоуправления и так далее. Всех устраивал такой порядок: каждый жил и принимал участие в делах своего кантона, своего города, своей деревни, департамента, всей страны. Немущим гражданам выдавали даже пособие для того, чтобы они могли приехать на собрания дистрикта.

Затем по конституции III года, хоть у нас и остались первичные собрания, участвовали в них уже только те, кто платил прямые налоги! Но все равно, интересы страны стояли на первом плане, да и муниципальные дела по-прежнему находились в наших руках, а ведь именно на муниципальных собраниях люди приучались защищать свои интересы. И те, кого выбирали на этих собраниях, — будь то в качестве простых членов муниципали-

тета, будь то в качестве должностных лиц, выполняющих те или иные обязанности, — вполне могли себе сказать: «Я представляю здесь моих сограждан. И все, что я делаю, делается для меня самого, для моих друзей, моего города, моей деревни». Никто со стороны не имел права вмешиваться в дела муниципалитета или коммуны. Робеспьеру первому пришла в голову мысль направить представителей муниципалитетов в главные города департаментов для осуществления надзора, но эти люди не имели права вмешиваться в то, что их не касалось. Лишь бы республика получала нужное количество денег и людей, — остальное Робеспьера не занимало.

А вот Бонапарту этого было недостаточно: он считал, что люди пользуются слишком большой свободой, что он еще не зажал их как следует в кулак, что они слишком заняты своими делами, что коммуна, в которой они живут, должна интересовать их куда меньше, чем он, Бонапарт, и что надо поставить над ними не только человека, который осуществлял бы надзор, а еще и мэра, который ведал бы всеми делами и, получая приказы от него, Бонапарта, заставлял граждан их выполнять. Мы по-прежнему выбирали муниципальных советников, но в тех случаях, когда муниципальный совет не соглашался с мэром, представителем первого консула, его распускали, ибо мэр всегда оказывался прав.

Называлось все это «неносредственными органами управления». Над мэром стоял супрефект, находившийся в главном городе округа, — по новому территориальному устройству республика делилась на триста девяносто восемь округов, которые, в свою очередь, делились на шесть или семь тысяч кантонов. Над супрефектом стоял префект, находившийся в главном городе департамента. Все эти лица обязаны были следить за выполнением воли первого консула, быть первыми консулами в своей коммуне, округе или департаменте; они имели право назначать на любые должности кого им заблагорассудится и сгибали в бараний рог всякого, кто вздумает сопротивляться.

Ни один гражданин не мог пожаловаться на последнего из чиновников и не мог привлечь его к суду (см. статью 75 конституции VIII года), — ему надлежало сначала обратиться за разрешением в Государственный совет. А ведь скоро первый консул назначал также и пре-

фкетов, супрефектов и мэров, которые, в свою очередь, назначали на должность полицейских, полевых сторожей и так далее, естественно, что Государственный совет, назначаемый первым консулом, никогда — или почти никогда — не давал разрешения возбудить судебное дело против должностного лица. Таким образом, оставалось только сидеть дома и помалкивать, а выходя на улицу, снимать шляпу перед последним полицейским шпионом из опасения получить оплеуху или угодить в тюрьму, если, на беду, вздумаешь дать сдачи, а о том, чтобы привлечь к ответу обидчика, не могло быть и речи.

И все прочее в новом устройстве страны, прославляемом иными писателями, как гениальнейшая выдумка человеческого ума, было в таком же духе. Все исходило от первого консула и восходило к нему: ему принадлежала слава и ответственность за все, что делалось в стране. Отвечал же он перед Государственным советом, членов которого сам назначал и мог по желанию сместить.

Таким образом, нация существовала теперь лишь для того, чтобы поставлять Бонапарту солдат и деньги. Никогда еще ни один народ не падал так низко.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Закончив столь удачно переустройство страны, истребив горстку восставших бретонцев и расстреляв их предводителей, Бонапарт мог быть спокоен за свой тыл. Командование Дунайской и Рейнской армиями он поручил Моро.

Сам же он в величайшей тайне стягивал войска к Дижону. В ту пору австрийцы, хозяйничавшие в Италии, осаждали Геную — близ самых наших границ, и вот первый консул, собрав под Дижоном достаточное количество войск, внезапно встал во главе их и перешел через Альпы — совсем как Суворов за год до того, только с гораздо меньшими потерями, ибо Сен-Готард был хорошо защищен и его пришлось брать приступом, а проход Сен-Бернар был свободен. Бонапарт отрезал австрийцам путь к отступлению, но битву при Маренго \* проиграл, — прав-



да, она была почти тотчас выиграна Дезэ и Келлерманом.

Тем временем Моро 5, 6, 7 и 8 мая нанес противнику поражение при Энжене, Штокхахе и Мезкирхене и взял в плен десять тысяч человек. Он захватил Мемминген и 9-го разгромил австрийцев при Биберахе, но Дувай перешел только 22-го, ибо первый консул дал ему приказ не спешить, чтобы самому успеть спуститься в Италию и обрушиться на австрийцев с тыла. Моро выполнил этот приказ. Затем он разгромил Крея при Хохштадте, Нерсегейме и Нордлингене, в то время как Лекурб, командовавший правым крылом, вступил в Форарльберг и завладел Фельдкирхеном и всем высокогорьем вплоть до Вальтлина. И снова все эти победы заслонила весть о переговорах в Александрии, — как успехи Гоша в 97-м году заслонила весть о переговорах в Леобенс. И Бонапарт, единственный великий человек во Франции, единственный выдающийся генерал, снова с триумфом вернулся на родину. Все, что до сих пор делалось для того, чтобы возвеличить одного человека и польстить его гордости, — преклонение, восторги и восхищение, потоки пошлых слов и обилие пошлых поступков, — все это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы увидели и что прочитали тогда в газетах.

Однако первому консулу и этого было уже мало. При виде того, как люди стгибаются перед ним до земли и всеми силами стараются сами себя унижить, он решил, что настало время возродить бывших камергеров, бывших церемониймейстеров, придворных дам для своей супруги, свиту в расшитых золотом мундирах и лакеев в красных, голубых, зеленых дивреях с галунами, — словом, весь этот маскарад показался ему теперь вполне уместным. Для этого к его услугам были эмигранты. Народ, который трудится в поте лица, не всегда хорошо пахнет, а от эмигрантов, толпившихся у него в коридорах и передних, пахло всегда хорошо: недаром они привезли из своих странствий одеколон Жан-Жозефа Фарина! И вот он вычеркнул из списков тысячи тех, кто не переставал сражаться против своей родины. Вычеркнул он и перепригнувших священников, и теперь уже, не стесняясь, заявил в Государственном совете:

— Имея таких префектов, жандармов и священников, я могу сделать все, что захочу.

И правда: он все мог!

Но это меня уже не интересует: себялюбец, ничтоживший все великие идеи свободы, равенства, человечности; выкачивавший кровь из моей родины для того, чтобы возвелчить себя и свою семью, построивший свое благополучие на костях двух с половиной миллионов французов; пожелавший восстановить в нашей стране костюмы и варварские знаки отличия, существовавшие тысячу лет тому назад; отбросивший страну вспять и дважды навлекший на нас нашествие казаков, англичан и немцев, — такой человек, жизнь его и слава не вызывают у меня восторга, я с тяжелым чувством отворачиваюсь от него, и если впредь мне доведется еще говорить о нем, то это будет вопреки моей воле.

Шовель холодно следил за происходящим, — он сжимал губы, горбился и смотрел в землю, точно видел перед собой дурной сон. Иногда у него вырывалось:

— Ах, какое же это несчастье, когда человек слишком долго живет!.. Почему я не умер в Ландау, под грохот пушек и песни «Марсельезы»!

В эту пору ему доставляло большое удовольствие возиться с детьми. У нас их было уже трое: Жан-Пьер, Аннета и Мишель. И он очень любил расспрашивать Жан-Пьера о правах человека.

— Жан-Пьер, что такое человек?

— Существо свободное и разумное, созданное для добродетели.

— Правильно, иди-ка я тебя поцелую.

Он поклонился к мальчику и тотчас с задумчивым видом снова принимался вышагивать по комнате.

Жена моя очень страдала, видя, как сокрушается ее отец. А когда человек терзается вопросом: «Есть ли бог?» — горше муки не придумаешь.

Мы же много об этом размышляли. Целых пятнадцать лет все честные люди задавались вопросом: «Есть ли бог?» — тем более что духовенство и даже папа, то есть все те, кого, как говорится, послал нам Христос, чтобы охранять и защищать справедливость от варварства, — все преклопили колена перед Наполеоном. Цезарь восстановил в правах их культ, — они падали ниц перед Цезарем!

Словом, люди, жившие в мое время, своими глазами увидели, что такое Цезарь и что представляет собой

религия, которую проповедуют священники, заботящиеся лишь о благах земных и беззащитно жертвующие ради этого всем, не пытаюсь сохранить даже видимость веры.

Но верховное существо всегда с нами, — оно как солнце, которое светит нам. Верховное существо всегда следит за своими детьми и даже с улыбкой говорит им:

«Не бойтесь... Да не вселит все это в вас страха... Я — вечеп и закон мой — свобода, равенство и братство. И даже когда кости наши превратятся в прах, я снова вдохну в вас жизнь. Живите без опасений: те, кто внушает вам страх, скоро искупят свои преступления. Я слежу за вами, я вынесу им приговор, и их могуществу придет конец».

Все жаждали мира, — австрийцы, возможно, еще больше, чем мы, ибо наши авантюсты доходили до Липца и перед Моро открывался прямой путь на Вену, куда он мог вступить и продиктовать условия мира врагу. Но вступление Моро в Вену затмило бы славу нашей победы при Маренго, а первый консул 28 июля как раз подписал перемирие. Но он поспешил: у императора Франца II был тайный договор с Англией о денежной помощи, и, несмотря на всю опасность своего положения, император не пожелал утвердить проект мирного договора с нами и даже отрекся от всего, что говорил его посланный в Париже, на том-де основании, что тот превысил свои полномочия.

Нашим генералам был тотчас дан приказ двинуть войска, и война возобновилась бы, если бы австрийки не попросили продлить перемирие еще на полтора месяца. Мы согласились при условии, что они отдадут нам Ингольштадт, Ульм и Филиппбург. Одновременно Франция и Австрия направили в Люневиль своих представителей — Кобенцеля \* и Жозефа Бонапарта, которым поручено было попытаться договориться и выработать окончательный текст договора. Было там еще и несколько англичан, но они не имели права вмешиваться в переговоры.

Торговля в нашем крае снова оживилась, ибо люди такого рода любят жить хорошо: они держат хороших поваров, лошадей, слуг и вообще не отказывают себе ни в чем — ни в удовольствиях, ни в развлечениях.

Переговоры продолжались весь сентябрь, весь октябрь и большую половину ноября. Что там происходило, — никто не знал; мы посылали туда лучшую форель из наших рек, лучшую дичь, лучшее эльзасское вино — до тех пор, пока австрийцы не переформировали свою армию. Тогда англичане уехали, остались только Кобенцель, Жозеф Бонапарт и их окружение, а мы узнали, что снова началась война: Макдональд ведет бой в Граубюндене, Брюн — в Италии, Ожеро — на Майне, Моро — в Баварии.

Холода стояли невыносимые, все замело снегом, — это напоминало мне Вандею и наш переход из Савенэ в 93-м году. На дворе был ноябрь. Две недели спустя эрцгерцог Иоанн и Моро сошлись в Гогсплиндене, у истоков Изара, в Тирольских Альпах, где выл ветер, завихряя снег. Там был и Сом. Через несколько дней я получил от него письмо, которое потом потерял. Он так описал в нем этот край и эту битву, что нам казалось, будто мы все сами видели.

Моро окружил неприятеля в громадном буковом и словом лесу и, двинувшись сразу с двух сторон, уничтожил его. Это была последняя крупная победа республики, одержанная республиканцами; здесь, пожалуй, ярче всего проявился военный гений во всем своем страшном величии. Бонапарт места себе не находил от зависти. Он не переставал твердить, что Моро понятия не имел, чем дело кончится, что он вовсе не давал Ришпапеу приказ обойти неприятеля и что все произошло чисто случайно. Но если случай помогает выигрывать сражения, то его собственный гений равно ничего не стоит, ибо только в этом он и проявился.

Думается, что не за эти открытия стал Бонапарт членом Академии: его идея вернуть нас ко временам Карла Великого и всемирной империи была просто абсурдна, как и введение дворянских титулов и майоратов\*, — вся эта устаревшая мишура, которая не имеет ничего общего с равенством и которую он хотел выдать за некое новшество, а льстецы пытались изобразить как откровение свыше, — все рухнуло, лишь только его сабли и штыки перестали эту ветошь подпираť\*.

Так или иначе, победу над австрийцами Бонапарт приписал себе и, конечно, воспользовался ее плодами.

А Моро, нанеся австрийцам этот страшный удар, перешел Инн, Зальцу, Энс, подбирая по пути пушки, заряд-

ные ящики, знамена и тысячами — отставших солдат. За двенадцать дней он проделал восемьдесят миль и подошел к воротам Вены, но тут эрцгерцог Карл, заменивший на посту главнокомандующего своего злополучного брата Иоанна, попросил о перемирии. Моро не говорил без конца о страданиях рода человеческого, но он болел за солдат; он не ставил свою гордость — иные глупцы называют это славой — превыше всего; он не думал о том, чтобы непременно наступить на горло какому-нибудь принцу или императору и заставить его молить о пощаде. Кампания была завершена: война в Италии, в Альпах, в Германии кончилась. И вот вместо того, чтобы вступить в Вену, Моро согласился на перемирие, которое и было подписано 25 декабря в Штейере при условии, что Австрия будет вести мирные переговоры отдельно от Англии, а тирольские и баварские крепости будут сданы французам. Этот мир, которого мы так долго ждали, — мы получили его наконец от Моро!.. Ни битвы в Италии, ни переход через Альпы у Сен-Бернара, ни победа при Маренго, расписанная на все лады Бонапартом, не могли нам его обеспечить. Моро показал, что решающие бои происходят на земле противника, где он оккупает свое поражение, как удар молнии, попавшей в дом, а не за тридевять земель, за горами и реками, где противник всегда сумеет оправиться, перегруппироваться и получить подкрепление.

Гогенлиден может служить примером великих битв, какие велись с тех пор, — я имею в виду не частности, а сражение в целом, его генеральный план, его замысел, — ведь это главное. Моро начал великую войну, которую другие пожелали потом распространить до Москвы. Но во всем, даже в самом хорошем, надо знать меру, и генерал должен прежде всего слушаться здравого смысла, если же он от этого отступит — быть беде.

После Гогенлидена Кобенцелю и Жозефу Бонапарту, которые продолжали сидеть в Люневиле, уже почти нечего было делать. Первый консул сообщил им, что за Францией остается левый берег Рейна, а за Австрией — Адриатика, что она навсегда отказывается от всяких притязаний на Тоскану и возместит князьям потери, понесенные на левом берегу Рейна, за счет угодий германского духовенства.

Слабейший всегда вынужден склонять голову. Именно так и поступил Кобенцель, тем более что император Павел I перешел на сторону Бонапарта, вернувшего ему остров Мальту, и теперь этот опасный маньяк мог в любую минуту обрушиться на Австрию.

Тут мне захотелось рассказать вам одну страшную историю, которая касается меня, моей семьи, моих друзей куда больше, чем все давно отгремевшие войны и старые договоры, от которых даже воспоминания не осталось; того, о чем я вам расскажу, не позволяли себе, наверно, даже дикари древности, когда еще и не мечтали ни о праве, ни о справедливости, ни о суждях, ни о судах.

После 18 брюмера и провозглашения конституции VIII года, отдававшей первому консулу командование над всеми вооруженными силами и все права над народом, Шовель, види, что республика погибла, опустил руки. Жили мы тихо, замкнуто и никогда не говорили о политике. Наша скромная торговля шла неплохо, все было занято делом и на печальные размышления не оставалось времени. Дядюшка Жан объявил, что он — за новую конституцию: раз она закрепила за народом владение государственной землей, больше от нее ничего и не нужно. Иное дело: сначала надо навести порядок после этой страшной революции, а потом уж заботиться о правах человека. Словом, дядюшка Жан постарел! Как-то вечером, у нас в читальне, Шовель в его присутствии отпустил несколько колких замечаний по адресу тех, кто всем доволен, — и старик перестал у нас бывать.

— В общем-то я не сержусь на твоего тестя, — говорил он мне, повстречавшись со мной где-нибудь на дороге в деревню или среди поля, — но с ним просто невозможно разговаривать: он сразу начинает злиться и без зазрения совести обижает людей.

Я же подумал:

«Не в этом дело. Просто он сказал вам правду в глаза, а это не нравится тем, кому нечего возразить».

Мой отец по воскресеньям всегда обедал с нами. Оп, бедняга, соглашался со всем — лишь бы его дети были счастливы. Шовель любил его и высоко ставил, но никогда не заговаривал с ним о политике. Этьен вот уже несколько месяцев работал у Симони в Страсбурге. И так, жили мы уединенно, занятые своим делом. Даже наши старые друзья из Клуба равенства не заходили больше

вечерком потолковать возле печки: каждый сидел в своем углу, причем наиболее смелые, как, скажем, Элоф Коллен, осторожничали больше всех.

Не успели мы получить письмо от Сома, как пришла весть про знаменитую адекую машину, от которой 24 декабря 1800 года, в восемь часов вечера, на улице Сен-Никез чуть не взлетел на воздух Бонапарт. Первый консул ехал из Тюильри в Оперу. На пути ему встретилась тележка, груженная бочкой, и не успел кучер свернуть в сторону, как бочка, в которой оказался порох, взорвалась. От взрыва пострадало пятьдесят два человека — среди них были убитые и раненые.

Все тринадцать газет хором возопили, что это дело рук якобинцев, а потому теперь уже никто и вовсе не раскрывал рта.

Однажды вечером, 17 января, да, именно 17-го, — как все печальное живо в памяти! С тех пор прошло шестьдесят восемь лет, а я будто сейчас все вижу!... — зима стояла снежная. Покончив с дневными трудами, мы сидели в нашей читальне и занимались каждый своим делом. Маргарита отнесла Аншету и Мишеля спать, а Жан-Пьер, как всегда, дремал на стуле, ибо ему непременно хотелось послушать, о чем говорят взрослые, но всякий раз он засыпал, положив на стол пухлую, румяную щечку. На улице завывал ветер, и из-за воя его еле слышен был звон колокольчика, пробуждавший нас от дум и заставлявший то одного, то другого пойти в лавку, чтобы отпустить очередному покупателю на два су растительного масла, полштофа водки или свечку за шесть ларов. Папаша Шовель скленвал листы бумаги, а мы с Маргаритой делали пакеты, — время двигалось еле заметно. Пробыло десять. Маргарита, боясь, как бы мальчик не устал со стула, взяла его на руки и унесла, — он продолжал сладко спать, положив головку к ней на плечо.

Не успела она подняться наверх, как входная дверь распахнулась и в лавку ввалилось несколько человек. Мы видели их сквозь застекленную дверь: все это были незнакомцы, в коротких плащах и треуголках, какие носили в те времена, и физиономии у них были премерзкие. Мы обмерли. Тут один из них — как видно, начальник (с усами и при сабле) — вошел к нам в читальню и, указав на Шовеля, изрек:

— Вот он... Я его узнал... Арестовать!  
Шовель побледнел, однако твердым голосом спросил:

— Арестовать меня? За что же? А есть у вас ордер на арест? Вы знаете, что по семьдесят шестой и восемьдесят первой статьям конституции...

— Хм! — передернул тот плечами. — Хватит с нас засилья адвокатов, время их прошло! Берите его — и в путь!





Тут я пришел в себя от удивления и кинулся было к сабле, висевшей на стене, но их главный заметил это.

— А ты, мой мальчик, успокойся, не то и тебе худо будет. Канэ, заберите-ка саблю! А теперь — ключи, живо, ключи! Да поторапливайтесь!

Двое из этих разбойников набросились на меня; я попытался было высвободиться, но тут третий схватил меня за шее за горло. В эту минуту с улицы донесся крик Шовеля:

— Мишель, не противься, они убьют тебя!

Это были последние слова нашего славного Шовеля, которые мне довелось услышать. Тем временем мне скрутили назад руки, упершись коленом в спину, обыскали и потом швырнули в старое кресло.

— Отпустите его: ключи у меня, — сказал подицейский офицер. — Но если ты только певельнешься, певый на себя!..

Я был совсем разбит, в ушах у меня стоял гул; я видел, как они привялились открывать ящики конторки, потом шкафа, выбрасывали оттуда бумаги, некоторые откладывали. Их главный что-то писал, сидя за нашим столом; двое других вскрывали письма, читали их и передавали ему. Двери в читальню и в ланку стояли настежь, — тепло уходило, становилось холодно. А молодчики все трудились. Они расхаживали по лавке, переворачивая все вверх дном. У меня опять пошла горлом кровь — возобновилось кровохарканье. Ярость, боль, горе, отчаяние душили меня. В голове не было мыслей — я точно отупел. Офицер отдавал приказы и распоряжался, как у себя дома:

— Осмотрите этот ларь... Откройте этот ящик... Закрыйте дверь. Огонь в печке потух — да, досадно! Ну ладно, не будем отвлекаться... Вот теперь вроде бы все.

Негодяи наши в шкафу бутылку водки и рюмки и, не прерывая работы, потягивали из нее, угощаясь также и табачком из табакерки Шовеля, оставшейся на столе... Что поделась? Бандиты — они и есть бандиты! Такие, наверно, и орудовали у Шиндерганнеса, не зная ни веры, ни закона, без сердца и без чести.

Ушли они так же внезапно, как и появились, оставив меня в моем кресле. Было уже, наверно, около часу ночи. Я попытался встать, ноги у меня подкашивались, но я

все же подылся. Добравшись до дверей читальни, я увидел, что пол в лавке весь белый от снега: дверь-то на улицу так и не затворили. Тут я споткнулся обо что-то, — пагибаюсь, смотрю: Маргарита. Я решил, что она мертвая, силы сразу вернулись ко мне. Со столом я поднял ее и отнес на нашу постель. Оказалось, что она услышала крик отца. Она часто говорила мне потом: «Я слышала, как он крикнул: «Прощайте!.. Прощайте, дети мои!» — а потом раздался грохот отъезжающей кареты. И я потеряла сознание».

Но рассказала она мне это много времени спустя, ибо жена моя долго была как поменашная, и никто не знал, будет ли она жить. Доктор, за которым я кинулся в ту ночь, придя к нам и увидев ее, покачал головой и сказал:

— Ах, какое несчастье, бедный мой Бастьен, какое несчастье! Вот ведь изверги!

А ведь он был мэром нашего города. Но тут совесть возобладала в нем! Да, это были настоящие изверги!

Вот и все, что я хотел вам рассказать. С тех пор я никогда больше не слышал о Шовеле. Это был конец.

Дети кричали и плакали всю ночь напролет. А наутро появились соседи и сердобольные женщины: они шли к нам, как идут в дом, где покойник, — чтобы утешить оставшихся в живых. Однако об участи Шовеля никто не спрашивал: все боялись. И не удивительно, ибо когда в бонапартовском Государственном совете заговорили о трибунале и правосудии, даже о создании особого трибунала для разбора дела о покушении, Бонапарт заявил:

— Трибунал будет слишком долго копаться, да и власть у него ограниченная, а за столь зверское преступление следует карать не мешкая. Расправа должна быть молниеносной и кровопролитной. За каждого пострадавшего — расстрел. Надо расстрелять человек пятнадцать или двадцать, человек двести выслать и, воспользовавшись этим случаем, очистить республику.

Этот взрыв — дело рук шайки негодиев-сентябристов, которые повинны во всех преступлениях революции. Когда сентябристы увидят, что штаб их разгромлен и счастье отвернулось от их вожаков, поринок мигом восстановится, труженники вернутся к своим делам, а десять тысяч французов, принадлежащих к этой партии, раскуются и выйдут из ее рядов. Я был бы недостоин вели-

кой задачи, которую я взял на себя, и не мог бы выполнить своей миссии, если бы не проявил твердости в таком деле. Франция и вся Европа подняли бы на смех правительство, которое позволило бы взорвать целый квартал Парижа и устроило бы над преступниками обычный суд. К этому делу надо подойти с государственной точки зрения, и я настолько убежден в необходимости преподать устрашающий урок, что готов сам заняться этими негодьями, допросить их, судить и подписать им приговор.

Итак, Бонапарт величал нас негодьями и бандитами, это пас-то, которые и понятия не имели об адской машине, и он это знал, ибо вскоре перед судом предстали подлинные виновники покушения — роялисты, подкупленные англичанами. Значит, Шовель был негодием, а Бонапарт — честным человеком! Так же окрестил Бонапарт и Совет пятисот, и Директорию, и всех, от кого хотел набавиться: все это были негодяи, замыслившие погубить республику. Один он хотел ее спасти. Такое же выдумал он позже про герцога Энгийенского: герцог-де в Германии хотел его убить!

Сто тридцать три патриота бесследно исчезли по решению Сената IX года, — *первому за время существования консульства*, — и пятеро были гильотинированы! Бонапарт говорил потом с усмешкой, что это решение сената спасло республику, ибо с той поры никто и шелохнуться не смел! Да, никто не шелохнулся, даже когда русские, немцы и англичане шли на Париж. Все, что превращает народ в нацию — любовь к родине, к свободе, к справедливости, — все умерло.

Но пора мне кончать мой долгий рассказ.

Я опускаю Амьенский мир\*, который, как и всякий мир, заключенный Бонапартом, был всего лишь временной передышкой, опускаю конкордат\*, в результате которого первый консул восстановил у нас власть епископов, монашеские ордена, налоги в пользу церкви — словом, все, что уничтожила революция. Зато он был королював в Париже самым папой Пием VII. Тут уж он и впрямь вообразил себя Карлом Великим! Не стану я вам рассказывать ни про страшную борьбу, которую Франция вела против Англии, когда Бонапарт, желая уничтожить англичан, разорил вконец и нас, и наших союзников; ни про битвы, которые следовали друг за другом непрерыв-

пой чередой — из недели в неделю, из месяца в месяц; ни о «Те Деум»<sup>1</sup>, которым славили его после битв при Аустерлице, Иене, Ваграме и Москве\*. Наполеон Бонапарт был полновластным хозяином Франции. Каждый год он требовал у страны двести—триста тысяч человек. Он возродил старый обычай рекрутских наборов, восстановил подати, монополии, издавал манифесты — «К моим народам!». Он писал статьи в газеты, слал нам декреты из России о создании Французского театра, — словом, не переставал играть комедию, вечную комедию!..

Потоки новобранцев проходили через наш город. Посмотрели бы вы на них, послушали бы их после очередного боя, — все сплошь герои!.. А как они относились к нам, горожанам! Точно мы принадлежали к другой расе и они завоевали нас: последний из них считал, что он на голову выше какого-нибудь ремесленника, крестьянина или торговца, живущего своим трудом. Эти чудо-победители, эти бесстрашные рубаки столько исколесили по свету, столько сражались, мародерствовали, грабили в Италии, Испании, Германии, Польше, что понятие родины перестало для них существовать. Они уже не знали, из какой они провинции, из какой деревни. На родную мать и отца, на братьев и сестер они смотрели со злобой — как на чужих, и думали только о повышении в чине, об императоре да о том, чтобы не упустить положенной рюмочки и понюшки табаку.

Я мог бы рассказать вам, как нам изо дня в день приходилось сражаться, порой даже пускать в ход кулаки и тузить этих защитников отечества. В нашей лавке — несмотря на все мое терпение и наказания жены — то и дело вспыхивали ссоры; приходилось снимать со стены саблю и отправляться на прогулку в Фике, чтобы показать этим пагленам, что солдаты 92-го года не намерены спускаться воякам 1808 года. У меня и по сей день сохранились два маленьких рубца, за которые, правда, я отплатил с лихвой! Если же, бывало, попробуешь пожаловаться начальству, тебе рассмеются в лицо и, подмигнув, скажут:

— Опять этот Папоротник или Тюльпан, отличился. Ладно, я скажу ему: больше не станет!

Вот и все.

---

<sup>1</sup> Тебя, бога [хвалим] (лат.).

Те, кто помнят ту пору, подтвердят вам, что так оно и было, хотя и очень это постыдно для такого народа, как наш. Даже донские казаки — эти русские дикари, явившиеся в наши края следом за французскими солдатами, — не вели себя так с честными женщинами и не притесняли так мирных горожан. А наши — начали с грабежа, грабежом и кончили. Ведь вокруг только и говорили о том, как бы получше поесть, да попить, да потуже набить себе карман; теперь, через пять или шесть лет после похода в Италию, все, что было тогда посеяно, дало всходы, разрослось, — можете представить себе, какой получится урожай.

Меня всегда огорчало, как легко народ следует дурному примеру. Франция богата вином, хлебом, всевозможными продуктами; она славится своей торговлей, своими изделиями, своим флотом. Всего у нас идоволь. Вот еще бы немного трудолюбия и бережливости, — и мы стали бы счастливейшим народом в мире. Так нет же: этого добра оказалось недостаточно, нам надо было грабить других, — теперь все только и говорили о хорошей добыче. В начале каждой кампании заранее подсчитывалось, что она принесет, через какие большие города пройдут наши армии, какая контрибуция будет наложена на противника.

А тем временем Бонапарт торговал странами: тому давал Тоскану, другому — королевство Неаполитанское, или Голландию, или Вестфалию; раздавал обещания и отказывался от них; округлял свои владения, прокладывая траншеи и удерживал их за собой; объявлял себя протектором одних стран, королем других, а потом передавал короны своим братьям и зятям; заманивал к себе людей, обещая им помощь и дружескую поддержку, а потом, как, например, несчастного короля Испанского\*, хватал за пиворот и бросал в тюрьму или же требовал войск у союзников, а потом объявлял стране войну и все войско забирал в плен! Он бесчинствовал, а приближенные его — от мала до велика — радовались и смеялись, восхищаясь его ловкостью, и сами не гнушались ничем — тащили картины, канделябры, дароносицы.

Непрерывной чередой тянулись фургоны, и люди говорили:

— Это обоз такого-то маршала. А это — такого-то генерала или такого-то дипломата. Боже упаси тронуть!

А следом шли солдаты, и карманы у них были набиты фредериками, соверенами и дукатами — золото текло рекой!.. Ах, до чего же печально вспоминать об этом! После стольких речей о добродетели и справедливости вот до чего мы докатились: стали бандитами.

Ну, а чем дело кончилось, вы знаете: вы знаете, что взбунтовавшиеся народы обрушились на нас все вместе — русские, немцы, англичане, шведы, итальянцы, испанцы, — и пришлось нам вернуть и картины, и провинции, и короны, да еще заплатить им миллиард, что значит тысячу миллионов. Эти народы ввели к нам свои войска, и они оставались в наших крепостях до тех пор, пока мы не выплатили все до последнего сантима. Они отобрали у нас все, что завоевала республика, — что она действительно завоевала: ведь Австрия и Пруссия несправедливо напали на нас, мы их разбили, и владения Австрии в Нидерландах, а также весь левый берег Рейна, согласно договорам, отошли к Франции. Итак, теперь у нас отобрали самые лучшие наши завоевания, которыми мы вправе гордиться. *Вот чего нам стоил гений Бонапарта.*

Но тут столько можно всего порассказать, что начнешь — не кончишь. А потому вернемся лучше к моей истории.

Нет нужды говорить вам, что мы с Маргаритой думали про первого консула после того, как забрали ее отца, или что мы горючили нашим детям, когда оставались вечером одни, как старались, чтобы они не забыли мужественного человека, который так их любил! Какие страдания выпали на нашу долю, — каждый может себе представить: жена моя — пока не пришел конец империи — пятнадцать лет никак не могла оправиться, ходила бледная и подавленная. Только узнав, что Бонапарт, вместе с сэром Гудзоном Лоу, находится на Святой Елене, скалистом острове посреди океана, где нет ни зелени, ни даже мха, — она немного утешилась, и на ее бледном лице вновь появились краски. Но до тех пор какое это было горе! И, к сожалению, не единственное, ибо хотя торговля наша процветала, судьба что ни день наносила нам все новые удары.

В 1802 году Бонапарт послал Жан-Бона Сент-Андре, бывшего члена Конвента и Комитета общественного спасения, в Майнц, где ему предстояло расправиться с

великим множеством бандитов, грабивших селения по обоим берегам Рейна: их следовало задержать, предать суду и побыстрее отпратить на тот свет. Жан-Бон Сент-Андре имел опыт в такого рода делах, и вскоре на дверях нашей мэрии появился список и приметы шестидесяти — шестидесяти пяти мерзавцев во главе с их вожаким Шиндерганнесом. Среди них оказался и Никола Бастьен! Мною это было безразлично: я всегда считал, что всяк отвечает только за себя. Я сто раз видел семьи, где были и люди честные и последние негодяи, и умницы и кретинны, и трезвенники и пьяницы. Таких примеров куда больше, чем других.

Словом, я только порадовался случившемуся, да и жена моя — тоже.

Но для бедного моего отца это был страшный удар: он сразу слег и всякий раз, как я заходил навестить его, говорил мне:

— Ах, милый мой Мишель, да простит господь нашего Никола, но только на этот раз он меня доконал!

И плакал, точно малое дитя. Умер он внезапно, в 1803 году. Тогда моя мать, вместо того чтобы поселиться с нами и спокойно жить с внучатами, отправилась на богомолье по святым местам — то ли в Марientаль, то ли еще куда-то — молиться за упокой души Никола. Несколько месяцев спустя одна старая эльзаска из ее секты явилась к нам и, перебирая четки, сообщила, что мать моя скончалась в монастыре святой Одиллии на солеме, что юре похоронил ее по христианскому обычаю — со свечами и святой водой. Я заплатил за свечи и святую воду, глубоко огорченный тем, что мать моя умерла при столь печальных обстоятельствах, ибо, послушайся она меня, прожила бы она еще лет десять.

Так семья наша потихоньку убывала, уходили в мир иной и друзья. От моего старого приятеля Сома после Гогенлиндена мы не получили ни одной весточки: должно быть, он умер, не вынеся тягот похода. Долго мы ждали от него вестей, но когда прошло пять или шесть лет, а писем все не было, мы поняли, что и тут жизнь оборвалась. Мареско и Лизбета, вкусивши почестей, забыли и думать про нас: они стали еще большими бонапартистами, чем сам Бонапарт, а мы по-прежнему были республиканцами! Время от времени газеты приносили нам вести о них: «Госпожа баронесса Мареско делала покуп-

ки в таком-то магазине!.. Она присутствовала на придворном бадю вместе с господином бароном Мареско.. Они отбыли в Испанию..» И так далее и тому подобное. Словом, они принадлежали теперь к высшему свету.

В 1809 году у нас оставался еще дядюшка Жан. Он давно забросил свою маленькую кузницу в Лачугах-у-Дубняка и жил теперь на своей прекрасной ферме Пикхольц с тетужкой Катриной, Николь, моим братом Клодом и моей сестрой Матюринной. В рыночные дни, продав зерно, он приезжал к нам на своем шарабане за сахаром, растительным маслом и уксусом. Арест Шовеля глубоко потряс его, тем более что сначала он ведь принял сторону Бонапарта, ибо любил порядок и радовался тому, что Бонапарт закрепил за пародом владение государственными землями. Из-за этого он даже перестал у нас бывать. Но, узнав о постигшем нас несчастье, он первый, несмотря на свою осторожность, стелая, прибежал к нам. При Маргарите он не решался говорить о Шовеле, но всякий раз, как она выходила из комнаты, спрашивал:

— А весточки нет от него? Все нет?

— Нет!

— О господи, ну, почему я не верил твоему тестю, когда он ругал этого деспота!

Дядюшка Жан любил наших детишек и все просил, чтобы мы отдали ему которого-нибудь из них. К тому времени у нас уже было трое мальчиков и две девочки, и мы почти решили выполнить его просьбу, зная, что он хорошо воспитает ребенка, научит уму-разуму и сделает из него хорошего земледельца.

— Ну, ладно, — сказала как-то раз Маргарита, — пусть берет Миниеля: он у нас самый сильный.

— Мне кажется, дядюшка Жан не о нем думает, — возразил я. — Хотя он и ничего мне не говорил, но я уверен, что ему хотелось бы взять Жан-Пьера.

— Почему?

— Да потому, что он похож на твоего отца.

По этой же причине и Маргарите не хотелось отдавать его. Она повлакала, но под конец все же согласилась. С тех пор каждый вторник дядюшка Жан приезжал к нам с Жан-Пьером на своем шарабане, и мы вместе обедали, как одна большая семья. Да и Маргарита навещивалась в Пикхольц.



В 1809 году к концу осени дядюшка Жан слег. Жан-Пьер, которому было тогда четырнадцать лет, с раннего утра примчался за мной; он сказал, что дядюшке Жану очень плохо и что он хочет со мной поговорить. Я сразу же выехал. Приехав в Покхольд, я застал своего старого наставника в постели с саржевыми занавесками. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, сколь серьезно он болен: похоже было, что ему больше не встать. Саарбургский доктор Бурегар приезжал уже пять раз. А болел дядюшка Жан всего два дня. Увидев, как убивается тетушка Катрина, я понял, что сказал доктор.

Дядюшка Жан не мог говорить. Когда я вошел, он показал мне на ящик своего ночного столика.

— Открой! — беззвучно произнесла его губы.

Я открыл. В ящике лежала бумага, написанная его рукой.

— Внукам Шовеля, — с усилием произнес он.

И по щекам его скатились две слезы. Дыхание давалось ему с трудом. Он хотел еще что-то сказать, но только сжал мне руку. Я был очень взволнован. Видя, что дышать ему становится все труднее, я понял, что начинается агония. Он все-таки дождался меня, — так часто бывает. Теперь он повернулся к стене. Прошло минут десять. Я сидел у постели и, видя, что он не шевелится, тихонько окликнул:

— Дядюшка Жан!

Но он не ответил. Одутловатые щеки его побелели, а губы слегка раздулись, словно в улыбке. Таким я помнил его в кузнице; бывало, Валентин сболтнет какую-нибудь глупость, а дядюшка Жан лишь посмотрит на него сверху вниз, заложив за подтяжки руки.

Нужно ли описывать наше горе? Нет, конечно: слишком это всем знакомо. Пусть каждый вспомнит смерть тех, кого он любил! Для меня вместе с моим вторым отцом уходили из жизни воспоминания юности; тетушка Катрина потеряла лучшего из людей, с которым прожила пятьдесят лет в любви и согласии; ферма потеряла прекрасного хозяина, справедливого и человеческого.

На этом я останавливаюсь... Здесь колчается моя потория. Скоро наступит и мой черед отбыть в мир иной — надо отдохнуть и немного собраться с мыслями, прежде

чем соединиться с друзьями давних лет, о которых я вам тут рассказывал.

Дядюшка Жан Леру завещал нам с Маргаритой — для внуков своего друга Шовеля — ферму Пикхольц, при условии, что тетюшка Катрина останется там и мы будем относиться к ней как к родной матери; что Пиколь, Клод и Матюринна также останутся на ферме до конца своих дней и что мы будем иногда вспоминать его.

Все это было нетрудно выполнить, ибо так и мы решились в сердце своем.

Вскоре мы с Маргаритой и с нашими детишками перебрались на ферму, а торговлю нашу уступили моему брату Этьену. С тех пор я и занимаюсь земледелием: сначала возделывал наши поля, потом прикупил новые и благодетельствовал. Вспомните, что я писал в первой главе.

На сем я и заканчиваю свой рассказ и молю бога даровать нам еще несколько лет мира и здоровья. Если бы вдобавок ко всему у нас были «Права человека», — я умер бы спокойно.

*К о н е ц*

## КОММЕНТАРИИ

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### *Первый год Республики (1793)*

Стр. 8. *Келлерман* Франсуа-Этьен-Кристоф (1735—1820) — французский генерал, участник Семилетней войны и войны революционной Франции. Сыграл видную роль в сражении при Вальми (20 сентября 1792 г.). В октябре 1793 года был арестован, после крушения якобинской диктатуры — освобожден. В 1794—1796 годах одержал ряд побед над войсками коалиции. В период консульства и империи был главнокомандующим резервными войсками. В 1804 году получил звание маршала Франции, в 1808 году — титул герцога Вальми. В 1814 году перешел на сторону монархии Бурбонов.

*Бирон* Арман-Луи де Гонто, герцог де (1747—1793) — французский генерал, выходец из старой аристократии, в 1792 году командовал Рейнской армией, в 1793 году — Западной армией. Был арестован и казнен по обвинению в контрреволюционных замыслах.

*Ассигнаты.* — См. прим. к стр. 238, том 1 наст. изд.

Стр. 9. *Кюстин.* — См. прим. к стр. 417, том 1 наст. изд.

*Нарбонн-Лара*, Луи, граф де (1755—1813) — французский генерал и политический деятель, выходец из старой аристократии, в начале революции был военным министром. После свержения монархии был обвинен в измене и эмигрировал в Англию. Возвратившись во Францию, вступил в 1800 году в армию Наполеона, был его адъютантом, исполнил его дипломатические поручения.

Стр. 10. *Гон.* — См. прим. к стр. 375, том 1 наст. изд.

*Клебер.* — См. прим. к стр. 375, том 1 наст. изд.

*Марсельская.* — См. прим. к стр. 414, том 1 наст. изд.

Стр. 11. *Вобан* Себастьян де Претр, де (1633—1707) — видный французский военный инженер, построивший более тридцати новых крепостей и перестроивший до трехсот старых. Участвовал в штурме многих вражеских крепостей. Опубликовал книгу, в которой резко осуждал налоговую систему и предлагал преобразовать ее, облегчив бремя податей, наравнее на крестьянство, и равномерно распределив их среди всех слоев населения.

*Красная книга.* — См. прим. к стр. 278, том 1 наст. изд.

*Манифест герцога Брауншвейгского.* — См. прим. к стр. 387, том 1 наст. изд.

Стр. 14. ...предложение предать генерала Лафайета суду. — Предложение о предании суду генерала Лафайета было внесено в Законодательное собрание 9 августа 1792 года в связи с тем, что он пытался поднять Северную армию на борьбу против революции. 19 августа, через девять дней после свержения королевской власти, он был задержан австрийскими войсками при переходе через границу и заключен в крепость, в которой пробыл до 1797 года.

Стр. 15. *Дантон*, *Камила Демулен.* — См. прим. к стр. 238, 250, том 1 наст. изд.

*Нанис* Этьен-Жан (1757—1832) — деятель французской революции, адвокат. Активный участник восстания 10 августа 1792 года. Член Конвента и его Комитета общественной безопасности. Позже выступал против якобинской диктатуры. После падения наполеоновской империи уехал в Италию, чтобы избежать преследований правительства Реставрации.

*Сержан* Антуан-Франсуа — художник и политический деятель (1757—1847), во время революции служил в муниципальной полиции, основал Французский музей, способствовал созданию Парижской консерватории, был членом Комитета искусств и народного просвещения в Конвенте.

*Вазир* Клод (1764—1794) — деятель французской революции, член Законодательного собрания, затем член Конвента, примыкал к сторонникам Дантона, был казнен вместе с другими дантонистами.

*Мерлен из Тионвиля* (Мерлен де Тионвиль). — См. прим. к стр. 353, том 1 наст. изд.

*Сантер.* — См. прим. к стр. 391, том 1 наст. изд.

*Вестерман* Франсуа-Жозеф (1756—1794) — французский генерал (родом из Эльзаса), участник Великой французской революции. Отличился в боях с вандейцами. В 1794 году был смещен,

а затем казнен (вместо с дантонистами) на приговору Революционного трибунала.

Стр. 16. *Новая Коммуна* — имеется в виду Коммуна, образовавшаяся в ночь на 10 августа (из комиссаров от всех общин Парижа), заменившая собой прежний Муниципальный совет и взявшая на себя руководство восставшим.

*События 10 августа.* — Речь идет о народном восстании 10 августа 1792 года, закончившемся свержением французской монархии.

Стр. 17. *Карло Лазар* (1753—1823) — видный французский политический деятель, военный инженер, член Законодательного собрания, член Конвента и его Комитета общественного спасения, в котором он руководил организацией и снабжением войск, в 1796 году избран членом Академии наук (по отделению математики). В 1804 году выступал против провозглашения Наполеона императором, но в 1814 году участвовал в борьбе против войск коалиции. Во время Ста дней (1815) примкнул к Наполеону, после его вторичного свержения был изгнан из Франции (как бывший член Конвента, голосовавший за казнь Людовика XVI). Умер в Бельгии.

*Пандуры* (от местечка Палдур) — сухопутные нерегулярные отряды в Венгрии, одетые и вооруженные по турецкому образцу. Из-за своей жестокости и своего хищничества пандуры пользовались дурной славой. Состояли главным образом в пограничных частях.

Стр. 19. *Дюмурье.* — См. прим. к стр. 389, том 1 наст. изд.

*Люксер.* — См. прим. к стр. 368, том 1 наст. изд.

Стр. 20. *Приер.* — См. прим. к стр. 292, том 1 наст. изд.

Стр. 26. *Лонгви взята!.. Верден сдался!..* — Крепость Лонгви была занята австро-прусскими интервентами 23 августа 1792 года, крепость Верден капитулировала 2 сентября.

Стр. 27. *Боренер* Никола-Жозеф (1740—1792) — французский генерал, участник войн революционной Франции против коалиции европейских монархий; застрелился при сдаче крепости Верден прусским войскам.

*...про то, как в тюрьмах перебили дворян и неприсягнувших священников.* — Имеются в виду сентябрьские события 1792 года в Париже.

*Битва при Вальми* — 20 сентября 1792 года — явилась переломным событием в ходе войны между революционной Францией и наступающими на Париж войсками австро-прусских интервентов и отрядами французских дворян-эмигрантов. Общее командование армией коалиции принадлежало герцогу Брауншвейгскому,

не скрывавшему контрреволюционных целей этого похода. Патристическая стойкость французских войск, главное командование которыми принадлежало генералу Келлерману (впоследствии он получил титул герцога Вальми), обрекла на неудачу все атаки интервентов, все их попытки сломить сопротивление французов многочасовой артиллерийской стрельбой. В результате этого сражения войска интервентов были остановлены в своем продвижении к Парижу и вынуждены начать отступление. Вскоре территория Франции была очищена от захватчиков.

Стр. 41. *Марат*. — См. прим. к стр. 288, том 1 наст. изд.

*Робеспьер*. — См. прим. к стр. 250, том 1 наст. изд.

*Колло д'Эрбуа Жан-Мари* (1750—1796) — актер и драматург, член Конвента, левый якобинец, примкнул к антиробеспьеровскому большинству Конвента и принял участие в перевороте 9 термидора. По время термидорианской реакции был арестован, сослан в Кайенну, где вскоре и умер.

*Кутон Жорж-Огюст* (1755—1794) — деятель французской революции, член Конвента и его Комитета общественного спасения, якобинец. После переворота 9 термидора был казнен.

*Лежандр*. — См. прим. к стр. 250, том 1 наст. изд.

Стр. 43. *Майяр* Станислав-Мари (1763—1794) — деятель французской революции; руководил взятием Бастилии, а затем походом народных масс на Версаль (5 октября 1789 г.). В сентябрьские дни 1792 года возглавил Чрезвычайный трибунал, созданный для суда над заключенными в тюрьме контрреволюционерами.

*Варфоломеевская ночь* — массовая резня гугенотов в Париже, организованная католической партией во главе с матерью короля Карла IX Екатериной Медичи. Убийства начались в ночь на 24 августа 1572 года, продолжались несколько дней и распространились на ряд провинциальных городов. В общем погибло несколько тысяч человек.

Стр. 44. *Бийо-Варенн*. — См. прим. к стр. 364, том 1 наст. изд.

*Ролан*. — См. прим. к стр. 388, том 1 наст. изд.

Стр. 48. *Тюрени* Анри де ла Тур д'Овернь (1611—1675) — видный французский полководец, участник Тридцатилетней войны, одержал ряд блестящих побед. В 1644 году произведен в маршалы. В 1660 году за победы над принцем Конде и его союзниками-неланцами получил звание «главного маршала». Много сделал для развития стратегии и тактики французской армии.

Стр. 51. *Отмена Нантского эдикта*. — Нантский эдикт — указ о веротерпимости, изданный королем Генрихом IV в 1598 году, был отменен королем Людовиком XIV в 1685 году.

Стр. 52. *Декларация прав человека и гражданина.* — Программный документ Великой французской буржуазной революции XVIII века, принятый 26 августа 1789 года Учредительным собранием. Статья 1-я Декларации гласила: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут быть основаны только на общей пользе». «Целью всякого политического союза, — говорилось во 2-й статье, — является сохранение естественных и неотъемлемых прав человека. Права эти суть: свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению». Статья 3-я провозглашала, что источник всей верховной власти «находится в нации». Статья 6-я гласила, что «закон — есть выражение общей воли», что все граждане равны перед законом и «должны одинаково допускаться ко всем должностям, местам и общественным обязанностям». Статьи 7, 9, 10 и 11 утверждали свободу личности, свободу совести, свободу слова и печати. Статья 15-я провозглашала право граждан требовать отчета от каждого должностного лица. 17-я статья (последняя) объявляла, что «собственность есть нерушимое и священное право».

Декларация прав имела большое прогрессивное и революционизирующее значение. Но крупная буржуазия, стоявшая тогда у власти, стремилась исказить и умалить демократическую сущность этого документа. Это выразилось и в ограничении круга избирателей одними только имущими слоями населения (согласно конституции 1791 г.), и в сохранении рабства во французских колониях, и в подавлении крестьянских выступлений, и в других антидемократических действиях. Демократические принципы Декларации были частично осуществлены лишь после свержения монархии, созыва Конвента и провозглашения республики. Но даже в период наивысшего подъема революции — период якобинской диктатуры — сохранялось социальное бесправие рабочих (на основе закона о запрещении рабочих союзов и стачек), проводились репрессии против движения «бешеных», выражавшего интересы бедноты. Более демократической по духу была Декларация прав 1793 года, принятая Конвентом; к перечню прав, провозглашенных в Декларации 1789 года, были добавлены: право подачи петиций, право собраний, право на восстание против власти, нарушающей интересы и права народа, свобода религиозных культов, обязанность общества прискипывать работу для немущих, обеспечивать средства существования нетрудоспособным, заботиться о всеобщем просвещении и некоторые другие пункты.

Стр. 63. *...бывшие дюрфорские драгуны...* — драгунский полк, которым до революции командовал полковник граф де Дюрфор.



Стр. 63. ...со своими монморансийскими драгунами... — драгунский полк, которым до революции командовал полковник граф де Монморанси.

Стр. 64. ...наш поход на Франкфурт мог заставить сейм объявить нам войну... — Речь идет о германском имперском сейме, местопребыванием которого являлся город Франкфурт-на-Майне.

...война беспощадная, которая ведется ради ограбления и подчинения народов. — Это ошибочный вывод: война между республиканской Францией и коалицией европейских монархий, начавшаяся в 1792 году, носила со стороны Франции освободительный и справедливый характер вплоть до торжества реакции в стране (до свержения якобинской диктатуры). Но отдельные факты грабежа занятых французами территорий (в виде палаческих контрибуций) имели место в ходе военных действий и до этого.

Главный наблюдательный комитет — один из важнейших комитетов Национального конвента, осуществлявший общее руководство борьбой с контрреволюционными элементами внутри Франции.

Стр. 65. Гусары Свободы — название одного из добровольческих отрядов французской республиканской армии.

Стр. 66. Болото — выражало интересы умеренно-либеральных слоев буржуазии и зажиточного крестьянства.

Стр. 68. Верювский Пьер, маркиз де (1752—1821) — французский генерал, участник войн французской революции, одно время был военным министром. В 1793 году был выдан Дюмурье австрийцам, в 1795 году освобожден из плена. При Наполеоне занимал пост посла в Берлине, а затем в Мадриде. В 1814 году перешел на сторону правительства Реставрации. В 1816 году получил звание маршала, в 1817 году — титул маркиза.

Битва при Жеммисе — 9 ноября 1792 года — закончилась блестящей победой французских республиканских войск над австрийскими войсками. 14 ноября французские войска вступили в Брюссель.

Стр. 74. Богарне Александр, виконт де (1760—1794) — французский генерал, командующий Рейнской армией, в 1793 году был арестован и казнен по обвинению в умышленной сдаче Майнца австрийским войскам. Его вдова, Жозеффа Богарне, стала женой Наполеона I.

Стр. 75. Реббель Жан-Франсуа (1747—1807) — французский политический деятель и адвокат умеренно-либерального направления. Был членом Конвента и его комиссаром в армии, оборо-

павшей Майиц, затем председателем Совета пятисот и членом Директории. Руководил ее внешней политикой. После переворота 18 брюмера отошел от политической деятельности.

Стр. 76. *Шиндербаннес* (Буклер) — вожак шайки бандитов, казненный в Майнце в 1803 году.

*Фуальдес* Ж.-Б. — судья во время наполеоновской империи. Его убийство группой роялистов в 1817 году привело к знаменитому процессу, по которому три человека были приговорены к смертной казни.

Стр. 81. *Камбон* Жозеф (1756—1820) — деятель французской революции, по профессии коммерсант, депутат Законодательного собрания, член Конвента, председатель его финансового комитета; примыкал к правому крылу якобинцев, выступал против преследования жирондистов. Участвовал в перевороте 9 термидора. Во время термидорианской реакции скрывался от преследований. После второй реставрации Бурбонов эмигрировал в Бельгию.

Стр. 84. *...люди вроде Верньо, позволявшие второй Марии-Антуанетте командовать партией Жиронды.* — Имеется в виду жена жирондиста Ролана — Жанна-Мари Ролан (урожд. Манон Филипп) (1754—1793), игравшая видную роль в руководстве этой партией.

Стр. 85. *Питт* Уильям (Питт-младший) (1759—1806) — английский государственный деятель, выходец из помещичьей аристократии, в 1794—1799 и в 1805—1806 годах был главой правительства. Яркий враг французской революции, он был одним из главных организаторов интервенции европейских монархических держав против республиканской Франции.

*...Питту необходима была война с Францией, чтобы прекратить распространение идей нашей революции в Англии и вернуть аристократам всю их силу.* — Это не полное объяснение целей, которыми руководствовался Питт в своей агрессивной политике против республиканской, а позже наполеоновской Франции. Главной причиной, побуждавшей правящие круги Англии вести упорную, более чем двадцатилетнюю вооруженную борьбу против Франции в конце XVIII и начале XIX века, было опасение, что в результате революции она станет опасным соперником Англии и завоеует политическое и экономическое господство в Европе.

Стр. 86. *Дюбуа-Крансе* Эдмон-Луи-Алоис (1747—1814) — деятель французской революции, депутат Генеральных штатов, член Учредительного собрания, член Конвента и его Военного комитета. Один из инициаторов реорганизаций армий на основе

слияния регулярных частей и добровольческих отрядов в так называемые полубригады (амальгама). После крушения якобинской диктатуры примкнул к термидорианцам. В период Директории был некоторое время военным министром. В 1801 году вышел в отставку.

Стр. 89. *Кларк* Анри (1765—1818) — французский генерал, ирландец по происхождению. В 1793 году, будучи бригадным генералом, был смещен по подозрению в связях с контрреволюционными силами, но в дальнейшем восстановлен. При Наполеоне занимал видные посты (комендант Берлина в 1806 г., военный министр с 1807 до 1814 г.), получил титул герцога Фельтрского. В 1814 году перешел на сторону Бурбонов и получил звание маршала.

Стр. 90. *...они помогали майнцскому доктору Гофману просвещать народ...* — Доктор Гофман был одним из руководителей созданного в Майнце после вступления туда французских республиканских войск революционного клуба «Общество свободы и равенства» (главным руководителем его был видный ученый и публицист Георг Форстер, впоследствии перебравшийся в Париж, где он и умер).

Стр. 100. *Брут* Марк Юний (85—42 гг. до н. э.) — древнеримский политический деятель, выразитель интересов сенаторского сословия, убежденный республиканец. В 44 году возглавил заговор против Юлия Цезаря и одним из первых нанес ему удар. Вступил в борьбу со вторым триумvirатом. В 42 году, разбитый в бою при Филиппинах, покончил с собой. Во время Великой французской революции имя Брута принимали многие ее деятели, видевшие в нем воплощение идеала непреклонного республиканца.

*Кассий* — Гай Кассий Лонгин (умер в 42 г. до н. э.) — древнеримский политический деятель, убежденный республиканец, возглавил (вместе с Брутом) заговор против Юлия Цезаря. Покончил с собой в бою при Филиппинах.

*Корнелия* — мать древнеримских трибунов Тиберия и Гая Гракхов. Славилась умом и образованностью. В позднейшие времена (в частности, в период Великой французской революции) считалась образцом римской республиканки.

Стр. 112. *...Марата убила какая-то женщина.* — Марат был убит Шарлоттой де Кордо д'Арман — дворянкой, действовавшей под влиянием контрреволюционных кругов.

Стр. 117. *Октруа* — пошлины, взимавшиеся в средние века при ввозе в город продуктов питания. Во Франции были отменены в начале революции 1789 года.

Стр. 121. *Кобург* — Герцог Кобургский (1737—1817) — австрийский фельдмаршал, в 1793—1794 годах был главнокомандующим войсками монархической коалиции в борьбе против революционной Франции.

*Комитет общественного спасения* — высший правительственный орган во Франции в период якобинской диктатуры (был создан еще до ее установления); состоял из нескольких членов Конвента и отчитывался перед ним в своих действиях. Ведал всей внутренней и внешней политикой революционной Франции.

*Комитет общественной безопасности* — один из важнейших органов якобинской диктатуры; состоял из членов Конвента, осуществлял общее руководство борьбой против контрреволюционных элементов и следил за деятельностью революционных трибуналов.

*Свидетельства о гражданской благонадежности* — выдавались в период якобинской диктатуры местными органами власти гражданам, на деле проявившим свою преданность родине и революции.

Стр. 122. *Людовик XVII* (1785—1795) — так называли роялисты малолетнего сына короля Людовика XVI, никогда не царствовавшего и умершего от болезни в доме сапожника Симона, которому было поручено его воспитание.

*Кателино Жак* (1759—1793) — один из главных вождей вандейских мятежников, разностник и церковный служка; участвовал во многих боях с республиканскими войсками. После взытия Сомюра был провозглашен главнокомандующим «католической и королевской армией». Смертельно ранен при штурме Нанта.

*Стоффле Никола* (1751—1796) — один из вождей вандейского мятежа, бывший лесничий, в 1793 году был назначен главнокомандующим «королевской и католической армией». В начале 1796 года получил звание генерал-лейтенанта. Был взят в плен республиканскими войсками и расстрелян.

*Твердые цены на зерно* (иначе — максимум на зерно) — закон о твердых ценах на зерно, принятый Конвентом 4 мая 1793 года. Принятие этого декрета явилось началом политики установления максимальных цен на предметы первой необходимости и широкого потребления, а также на промышленное сырье, которую проводила якобинская диктатура для пресечения спекуляции и обеспечения армии и широких слоев населения.

...*решено было принудительно собрать миллиард франков с богачей.* — Имется в виду декрет Конвента о введении прогресс-

свино-походного палого («принудительного займа») на богачей в размере одного миллиарда франков, принятый 20 мая 1793 года.

Стр. 123. *...сравниют Париж с землей, так что и места... нельзя будет найти.* — Такое угрожающее заявление сделал в своей речи в Конвенте в мае 1793 года один из вождей жирондистов, богатый бордосский купец Инар.

*Виллиген* Феликс, барон де (1744—1814) — французский генерал, выходец из аристократии, депутат Генеральных штатов. В 1793 году возглавлял созданные жирондистами отряды федералистов в Нормандии. Был разбит войсками Конвента, смещен и эмигрировал.

Стр. 124. *Линде* Жан-Батист-Робер (1749—1825) — деятель французской революции, по профессии адвокат. Депутат Законодательного собрания и член Конвента. Якобинец. Руководил в Комитете общественного спасения делом продовольственного снабжения армии и страны. После подавления народного восстания в Париже в мае 1795 года был арестован. Привлекался к суду по делу о заговоре Бабефа, но был оправдан. После захвата власти Наполеоном отошел от политической деятельности. Во время реставрации Бурбонов был изгнан из Франции.

*Трейяр* Жан-Батист (1742—1810) — французский политический деятель. Депутат Учредительного собрания и член Конвента. Член Совета пятисот и член Директории. При Наполеоне был членом Государственного совета.

*Жан-Вок Сент-Андре* — деятель французской революции (1749—1813), член Конвента и его Комитета общественного спасения. Руководил реорганизацией флота. После подавления народного восстания в мае 1795 года был арестован; при Директории амнистирован; при Наполеоне занимал различные административные посты, получил титул барона.

*Гитон де Морво* Луи-Вернар (1737—1816) — видный французский ученый (химик) и политический деятель. Депутат Законодательного собрания, член Конвента и его Комитета общественного спасения. Принимал активное участие в организации обороны революционной Франции против войск коалиции.

Стр. 127. *Наблюдательные комитеты* — органы якобинской диктатуры, существовали в составе каждого муниципального совета (в Париже в каждой из 48 секций и в Парижской коммуны). Главной обязанностью этих комитетов была борьба с просками контрреволюционных элементов, производство обысков и арестов в домах лиц, подозрительных в политическом отношении.

Стр. 129. *Шанп* — братья Эли (1762—1829) и Клод (1763—1805) — французские инженеры, создатели воздушного телеграфа, примененного в 1794 году. Конвент поручил Клоду Шанпу соорудить новые телеграфные линии. Впоследствии его приоритет в этом изобретении стал оспариваться другими, и он покончил с собой.

Стр. 132. *Субрани* Пьер-Амабль де (1752—1795) — деятель французской революции, член Конвента, левый якобинец. После подавления перриальского восстания (в мае 1795 г.) был приговорен к смертной казни и покончил жизнь самоубийством.

*Восия Разума* — выбиралась во время атеистических празднеств, посвященных культу Разума, организованному левыми якобинцами (эбертистами и шометтистами) в 1793 году. Робеспьер, как выразитель интересов более умеренной части якобинцев, отрицательно относился к пропаганде атеизма и политике дехристианизации.

Стр. 135. *Узнали мы и про то, что Тулон сдался англичанам вместе с арсеналом и флотом.* — Тулон (важнейший французский военный порт на Средиземном море) был взят соединенным англо-испанским флотом 28 августа 1793 года. Войска Конвента освободили Тулон от интервентов 19 декабря того же года.

*Гражданский кодекс* — был обсужден и принят (в первом чтении) Конвентом после обсуждения, продолжавшегося с 22 августа по 28 октября 1793 года. В основу его были положены новые, провозглашенные революцией, буржуазно-демократические принципы. Но завершить работу по составлению нового кодекса Конвенту не удалось. Гражданский кодекс был разработан только в период консульства; при этом из якобинского проекта были устранены многие положения, противоречившие интересам крупной буржуазии как господствующего класса.

Стр. 137. *Рюль* Филипп-Жак (ум. в 1795 г.) — деятель французской революции, якобинец, член Конвента, его Комитета общественного спасения, а затем Комитета общественной безопасности; был комиссаром в Реймсе, — подвергся преследованиям за участие в народном восстании в мае 1795 года. После подавления этого восстания покончил с собой.

Стр. 138. *Канкло* Жан-Батист, граф де (1740—1817) — французский генерал, выходец из аристократии. В 1792 году во главе западной армии отстоя Нант, осажденный шестидесяттысячной армией ванзейцев, но затем был разбит ими при Торфу и смещен. Позднее был восстановлен на своем посту. При Директории был послом в Неаполе, а затем в Мадриде. При Наполеоне был

сенатором, после реставрации Бурбонов — членом палаты пэров.

Стр. 138. *Россиньоль*. — См. прим. к стр. 391, том 1 наст. изд.

Стр. 149. *Эльбе* Морис Жило д' (1752—1793) — французский помещик-монархист, один из вождей вандейских мятежников. После смерти Кателино был провозглашен главнокомандующим «католической и королевской армией». Тяжело раненый в бою при Шоле, был расстрелян по приговору военного суда.

*Боншан* Шарль, маркиз де (1760—1793) — французский помещик-монархист, бывший офицер, один из вождей вандейцев, был смертельно ранен в бою при Шоле и умер на следующий день.

*Де ла Рош-Сент-Андре* — граф, французский помещик-монархист, один из вождей вандейцев.

*Шаретт* де ла Контри Атанас, барон (1763—1796) — французский помещик-монархист, офицер, один из главных вождей вандейских мятежников; в феврале 1795 года подписал с представителями термидорианского Конвента соглашение о прекращении борьбы, но после высадки отрядов эмигрантов снова поднял оружие против республики. Был взят в плен, приговорен к смертной казни и расстрелян.

*Ла-Рошжаклен* Анри дю Вержье, граф де (1772—1794) — французский помещик-монархист, один из главных вождей вандейских мятежников, вел партизанскую войну против республиканских войск. 28 января 1794 года был убит.

*Лескюр* Луи-Мари де Сальи, маркиз де (1766—1793) — французский помещик-монархист, один из вождей вандейских мятежников. Арестованный в своем замке Клиссон, был освобожден вандейцами. Смертельно ранен при отступлении его отряда из-под Нанта.

Стр. 155. *Фулон* Франсуа-Жозеф (1717—1789) — главный интендант Франции, государственный советник и помощник военного министра, один из наиболее реакционных и ненавидимых народом деятелей «старого режима». После взятия Ватизана был схвачен и повешен по обвинению в продовольственных махинациях, вызвавших голод в Париже.

Стр. 164. *Шабо* — французский генерал, участвовал в военных действиях против вандейцев, был убит в бою.

Стр. 167. *...только невежество всему помыза*. — Давая такое поверхностное объяснение причин гражданской войны во Франции — в Вандее в конце XVIII века, — авторы книги не учитывают глубокой вражды, которую защитники «старого

режима» являли к революции и революционерам, и острой ненависти, которую роялистские мятежники, опиравшиеся на поддержку иностранных интересов, возбуждали к себе среди патристически настроенных защитников республики.

*Бар* — французский генерал, участвовавший в борьбе против вандейских мятежников.

*Фейо* — деятель французской революции, член Конвента и комиссар в Вандее.

*Дюрисо* — один из вождей вандейских мятежников.

*Бовалье* — один из вождей вандейских мятежников.

Стр. 168. *Лешель* — французский генерал, участвовал в войне против вандейских мятежников, одержал ряд побед, позже был взят в плен и умер в тюрьме в Вандее.

Стр. 170. *Немецкий легион* — название одного из отрядов эльзасских революционных волонтеров 1792—1793 года.

*Марсо* Франсуа (1769—1796) — французский генерал. В 1789 году, будучи сержантом, участвовал в битве Бастилии, в 1792 году — в обороне Вердена. За блестящие победы, одержанные им в Вандее, произведен в генералы. В 1794 году сыграл решающую роль в победе над австрийскими войсками при Флерюсе. Осенью того же года овладел западногерманскими городами Аахеном, Бонном и Кобленцем. 23 сентября 1796 года был смертельно ранен в бою при Гехстенбахе.

Стр. 173. *Вернье* Этьен (1762—1806) — французский священник, один из вождей вандейских мятежников, в 1800 году примкнул к Наполеону. Подписал от его имени конкордат 1801 года (соглашение между французским правительством и папской курией); был назначен епископом Орлеана.

Стр. 176. *Шальбо* — французский генерал, участвовал в борьбе против вандейцев.

Стр. 181. *Бонюи* — французский генерал, участвовал в борьбе против вандейцев.

*Акс* Никола-Франсуа (1749—1794) — французский генерал, участвовал в борьбе против вандейцев. Будучи ранен в бою, покончил с собой, чтобы избежать плена.

Стр. 184. *Карье* Жан-Батист (1756—1794) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец. Будучи комиссаром в Нанте, проявлял чрезвычайную жестокость, за что по настоянию Робеспьера был смещен. После свержения якобинской диктатуры был предан суду и казнен.

*Вурбот* Пьер (1763—1795) — деятель французской революции, член Конвента, левый якобинец, исполнял обязанности комиссара



в Вандес. После подавления вандейского восстания (в мае 1795 г.) был казнен.

Стр. 184. *Журдан* Жан-Батист (1762—1833) — французский полководец и политический деятель, маршал наполеоновской империи. Участвовал в войне за независимость США. В 1791 году командовал батальоном добровольцев. В 1793—1794 годах одержал ряд блестящих побед над войсками коалиции. В 1797—1799 годах потерпел ряд поражений. После июльской революции 1830 года был одно время министром иностранных дел.

...*Марию-Антуанетту* *сильотинировали*... — Мария-Антуанетта была казнена 10 октября 1793 года.

*Савари* Анш-Жан-Мари-Рене, герцог Ровиго (1774—1833) — французский политический деятель, участник войны французской революции. С 1800 года — адъютант Наполеона, с 1802 года — директор бюро тайной полиции. Участвовал в войнах 1805—1807 годов. В 1808 году командовал корпусом в Испании. С 1810 до 1814 года — министр полиции. В 1815 году был взят в плен и отправлен на остров Мальту. В 1819 году возвратился во Францию.

Стр. 186. *Даникан* Огюст-Тэвено (1763—1848) — французский генерал. Потерпев поражение в войне с вандейцами, был смещен (в 1793 г.), затем восстановлен (в 1794 г.) и вышел в отставку (в 1795 г.). Руководил мятежом роялистов в Парнже 13 вандомьера (5 октября 1795 г.). После подавления мятежа был заочно приговорен к смертной казни.

Стр. 192. *Обер-Дюбайе* Жан-Батист Аншбал (1757—1797) — французский генерал и политический деятель, участник войны за независимость североамериканских колоний Англии. Во время французской революции был членом Законодательного собрания. В 1794 году командовал войсками, действовавшими против вандейских мятежников. В последний период якобинской диктатуры был арестован. После переворота 9 термидора был освобожден, назначен военным министром, а позже послом в Турцию.

Стр. 193. *Князь де Тальмон*, до ла Тремойль Антуан-Филипп — французский генерал, выходец из старинного дворянского рода, в начале революции эмигрировал, затем возвратился во Францию и присоединился к вандейским мятежникам. Был взят в плен республиканцами и казнен.

*Отишии* Шарль, граф д' (1770—1859) — французский арестован, один из вождей вандейских мятежников.

Стр. 195. *Шуаны* — прозвище крестьян Мана, Бретани и Нормандии, участников монархических мятежей конца XVIII и начала XIX века (от прозвища одного из их вождей — Жана Кот-

терю, которое укоренилось за ним в связи с тем, что он обычно появлялся по ночам и созывал своих людей, подражая кошачьему мяуканью).

Стр. 198. *Пишегрю Шарль* (1761—1804) — французский генерал, главнокомандующий Рейнской армии, затем Северной и Арденнской армиями, позже Рейнско-Мозельской армией. В августе 1795 года вступил в связь с секретным агентом роялистов Фонт-Борелем. В 1797 году был избран председателем Совета пятисот. После переворота 18 фрюктидора был арестован за участие в монархическом заговоре и сослан в Гвиану, откуда в 1798 году бежал в Лондон. В 1804 году пробрался в Париж, в качестве соучастника заговора против Наполеона, был арестован и задушен в тюрьме.

*Сен-Жюст Луи-Антуан Флорель де* (1767—1794) — один из виднейших деятелей французской революции, был членом Конвента и Комитета общественного спасения. Якобинец, друг Робеспьера. После контрреволюционного переворота 9 термидора был казнен.

*Леба Филипп-Франсуа-Жозеф* (1764—1794) — деятель французской революции, якобинец, член Конвента и его Комитета общественного спасения, близкий друг Сен-Жюста; после переворота 9 термидора был казнен.

Стр. 216. *Аллоброжцы* — галльское племя, жившее между реками Реной и Изерой, долго боролось против римских завоевателей. Во время французской революции термин «аллоброжцы» снова вошел в обиход (Клуб аллоброжцев, легион аллоброжцев и т. п.).

Стр. 219. *Конвент... издал декрет о приостановке действия конституции и объявил страну в состоянии революционной войны вплоть до заключения мира.* — Имеется в виду декрет Конвента от 4 декабря 1793 года, провозгласивший его «единственным центральным органом правительственной власти».

*...издал декрет о мобилизации всех граждан с восемнадцати до сорока пяти лет.* — Имеется в виду декрет Конвента от 23 августа 1793 года, согласно которому, впредь до освобождения французской территории от вражеских войск, все мужчины в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет объявлялись «в состоянии постоянной мобилизации».

*...установил максимум на предметы первой необходимости, шкалу заработной платы и оплату за рабочий день.* — Максимум цен и заработной платы был установлен декретом Конвента от 29 сентября 1793 года.

Стр. 221. *Революционный легион* — имеются в виду отряды Революционной армии, созданной по декрету Конвента в сентябре 1793 года.

Стр. 228. *...установление во Франции единой системы мер и весов.* — Имеется в виду декрет Учредительного собрания от 8 мая 1790 года.

Стр. 229. *...о продаже в кредит и мелкими участками конфискованных поместий эмигрантов.* — Декрет о продаже в кредит и мелкими участками конфискованных поместий эмигрантов был принят Конвентом 13 сентября 1793 года.

*...о разделе общинных земель.* — Декреты о разделе общинных земель между членами общины и о передаче крестьянам земель дворян-эмигрантов мелкими участками в бессрочное владение были приняты Законодательным собранием 14 августа 1792 года.

*...мы постановили провести полную реформу календаря...* — Реформа календаря была проведена по декрету Конвента от 24 ноября 1793 года.

Стр. 230. *Декрет о народном просвещении.* — Имеется в виду декрет, принятый Конвентом 19 декабря 1793 года (29 примера II года Республики) и вводивший обязательное и бесплатное трехлетнее начальное обучение.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### *Гражданин Бонапарт*

Стр. 237. *Эбертистов, которые стремились уничтожить культ верховного существа, гильотинировали...* — Расхождения эбертистов с робеспьеристами сводились не только к тому, что первые были атеистами, а вторые — деистами. Главной основой разногласий между этими двумя группами якобинцев было различие взглядов в вопросах социально-экономической политики (эбертисты стояли за усиление политики максимальных цен, за более решительную борьбу против спекулянтов), а также во внешней политике (эбертисты добивались продолжения войны с коалицией до полной победы республиканских принципов во всех европейских странах).

Стр. 239. *Эти мерзавцы осквернили нашу революцию...* — Резко отрицательная оценка якобинского террора, которую дают тут авторы романа, стремящиеся доказать, что жертвами его были якобы только ни в чем не повинные люди, противоречит фактам. Своим острием террористическая политика якобинцев была на-

правлева против контрреволюционных элементов и сыграла в целом положительную роль в борьбе с внутренними и внешними врагами революции. Однако в ряде случаев (особенно в последний период существования якобинской диктатуры) жертвами этого террора оказывались и люди безусловно преданные революции, необоснованно заподозренные в измене, сторонники более радикальных мер, выступавшие против якобинцев за их недостаточную решительность в проведении некоторых демократических преобразований, а также рабочие, добивавшиеся повышения заработной платы.

*Они называли себя санкюлотами и жили присваивая, опавшись в полицию, в то время как народ — рабочие и крестьяне — нес на себе все тяготы.* — Такая характеристика санкюлотов не соответствует исторической действительности и продиктована отрицательным отношением авторов романа к наиболее последовательным и решительным деятелям революции.

Стр. 244. *Это был... самый великий из служителей революции...* — Такая высокая оценка Дантона противоречит фактам. В первые годы Дантон играл видную революционную роль (особенно осенью 1792 г.). Но в дальнейшем он примкнул к правому крылу якобинцев, оказался замешанным в спекуляциях и взятках, стал добиваться прекращения революционного террора.

Стр. 246. *Тальен Жан-Ламбер (1767—1820) — деятель Великой французской революции, был членом Конвента и его комиссаром в Бордо. Нажил здесь большое состояние взятками и хищениями. Был одним из главных организаторов контрреволюционного переворота 9 термидора.*

Стр. 251. *Таким образом, возникло целое племя санкюлотов, которое получало жалованье и жило за счет крестьян, рабочих и всех простых тружеников.* — Такая характеристика санкюлотов — активных деятелей революции — явно тенденциозна и совершенно не соответствует той передовой роли, которую они играли в событиях.

Стр. 255. *...вся эта клика бессердечных честолюбцев забросала грязью могилу великого человека...* — Характеристика Робеспьера и его соратников как «клички бессердечных честолюбцев» противоречит исторической правде и свидетельствует о том, что авторы романа освещали события французской революции с позиций буржуазных либералов и республиканцев правого крыла, не скрывавших своего отрицательного отношения к якобинской диктатуре и якобинскому террору. О том же свидетельствует идеализация ими Дантона, вождя правого крыла якобинцев, замалчивание его слабых сторон, его стремлений к соглашению с жирова-

диктатурами, его выступлений против революционного террора, его моральной нечистотности.

Стр. 259. *Рынки пустовали; бедняки, как до революции, варили молодую крапиву и варили ее, приправив солью.* — Такая характеристика положения народных масс в период якобинской диктатуры не соответствует действительности. Под влиянием враждебной якобинцам умеренно-либеральной буржуазной историографии, авторы рисуют продовольственное положение во Франции в этот последний период существования якобинской диктатуры в более мрачных красках, чем то было в действительности. Оно резко ухудшилось после крушения якобинской диктатуры, когда был отменен закон о максимуме, направленный против спекулянтов.

Стр. 267. *... в новом календаре были сплошные Бруты, Цициниаты, Гракхи...* — Увлечению античностью (традициями Древней Греции и Древнего Рима), вызванное стремлением якобинцев поднять настроение масс подражанием образцам древнего мира, выражалось, в частности, в том, что во многих семьях новорожденным давали имена античных героев и что многие политические деятели меняли свои французские имена на античные. Особенно популярными стали в это время имена Брута (древнеримского сенатора-республиканца, организатора убийства Юлия Цезаря), Цициниата (древнеримского полководца) и братьев Гая и Тиберия Гракхов (римских трибунов, инициаторов демократической аграрной реформы, задуманной в интересах мелких земельных собственников за счет земельной знати). Имя Гракха присвоил себе, в частности, Франсуа-Нозль Бабеф — идеолог и организатор «Заговора равных».

Стр. 269. *Пейан* Клод-Франсуа — деятель французской революции (1766—1794), якобинец, член Парижской коммуны, после переворота 9 термидора был казнен.

*Флерио-Леско* Эдуар (1761—1794) — деятель французской революции, уроженец Брюсселя, участник бельгийского национально-освободительного движения. Член Парижской коммуны, якобинец. В период якобинской диктатуры был заместителем прокурора Революционного трибунала, позже — мэром Парижа. После переворота 9 термидора казнен.

*Априо* Франсуа (1761—1794) — деятель французской революции, якобинец. В 1793 году в качестве командующего национальной гвардией принимал активное участие в восстании 31 мая — 2 июня 1793 года, пришедшем к свержению господства жирондистов и установлению якобинской диктатуры. После переворота 9 термидора был казнен.

Стр. 270. 9 термидора 11 года Республики (27 июля 1794 г.) произошел контрреволюционный переворот, приведший к свержению революционной диктатуры якобинцев и положивший начало господству «новых богачей» (разбогатевших на военных поставках, земельных и продовольственных спекуляциях) — режиму термидорианской реакции. Трудящиеся массы, недовольные политикой якобинцев в вопросе о ставках заработной платы (за несколько дней до переворота они были значительно снижены), запретом стачек и репрессиями против стачечников, расправой с «бешеными» не поддерживали Робеспьера и робеспьеристов. 10 термидора они были казнены.

...его брата Огюста. — Огюст-Бон-Жозеф Робеспьер — младший брат вожди якобинцев, Максимилиана Робеспьера, член Конвента и его комиссар. Казнен вместе с другими видными деятелями якобинской диктатуры 10 термидора.

*Кобфиналь*—Дюбайль Жан-Батист (1754—1794) — деятель французской революции, врач и юрист, якобинец, участник восстания 10 августа 1792 года. С 17 августа 1792 года — председатель Революционного трибунала. После переворота 9 термидора был казнен.

*Баррас* Поль, виконт де (1755—1829) — французский политический деятель, выходец из дворянского рода, был членом Конвента и его комиссаром при итальянской армии. Один из руководителей контрреволюционного переворота 9 термидора. Член правительства Директории. Способствовал выдвижению Наполеона. После переворота 18 брюмера был отстранен от государственных дел.

Стр. 272. *Эро де Сешель* Мари-Жан (1760—1794) — деятель французской революции, выходец из дворянства. Участвовал во взятии Бастилии, депутат Законодательного собрания, член Конвента и его Комитета общественного спасения, автор конституции 1793 года. Примыкал к правому крылу якобинцев — дантонистам — и был казнен вместе с ними.

*Лакруа* Жан-Франсуа (1754—1794) — деятель Великой французской революции, был членом Законодательного собрания, а затем членом Конвента. Примыкал к правому крылу якобинцев, возглавлявшемуся Дантоном. Вместе с ним был послан в Бельгию в качестве комиссара Конвента. Позднее был осужден Революционным трибуналом (за хищения в Бельгии) и казнен вместе с другими дантонистами.

*Базир* Клод (1764—1794) — деятель Великой французской революции. Был членом Законодательного собрания, а затем Конвента и его Комитета общественной безопасности. Примыкал к

правому крылу якобинцев, возглавлявшемуся Дантоном. Арестованный по обвинению в спекулятивных делах и различных махинациях (по делу Ост-Индской компании), был казнен вместе с Дантоном и дантонистами.

Стр. 272. *Филиппо Ньер* (1754—1794) — деятель Великой французской революции. Член Законодательного собрания, позже Конвента, дантонист, был комиссаром в Вандее, 5 апреля 1794 года казнен по обвинению в заговоре против революционного правительства.

Стр. 274. *Фуше Жозеф* (1759—1820) — французский политический деятель. До революции был священником. В 1792 году снял с себя сан. Член Конвента, примыкал к якобинцам, был комиссаром в Нанте. Летом 1794 года примкнул к антиробеспьерстскому большинству и участвовал в подготовке переворота 9 термидора. Министр полиции при Директории, он способствовал перевороту 18 брюмера. Стал министром полиции Наполеона, получил титул герцога Отрантского и большие поместья в Италии. В 1814 году, изменив Наполеону, перешел на сторону Бурбонов. Во время Ста дней снова примкнул к Наполеону и снова измнил ему. После второй реставрации Бурбонов изгнан из Франции. Один из самых беспринципных и аморальных деятелей той эпохи.

Стр. 275. *Кабаррюс Тереза* (1773—1835) — дочь испанского финансиста и дипломата графа Кабаррюс, жена одного из руководителей термидорианской реакции Тальена. Ее салон в Париже являлся в период Директории одним из центров политической контрреволюции.

*Богарне Жозефина* (1765—1814) — урожденная Таме де ла Пажери, вдова генерала Александра Богарне (1760—1794), казненного во время революции в связи с поражением французской армии на Майнце; впоследствии — жена Наполеона I.

Стр. 276. *Сийес Эмманюэль-Жозеф*, аббат (1748—1836) — деятель французской революции, автор известного памфлета «Что такое третье сословие?» (1789), направленного против привилегий духовенства и дворянства. По предложению Сийеса Генеральные штаты объявили себя Национальным собранием. В Конвенте примыкал к умеренному крылу. Был членом Директории. Участвовал в подготовке ее свержения. После переворота 18 брюмера стал одним из трех консулов. В дальнейшем получил звание сенатора и титул графа; был избран членом Академии наук. После реставрации Бурбонов эмигрировал в Бельгию. Июльская революция позволила ему возвратиться во Францию.

*Мюскадени* — прозвище, закрепившееся за французской «золотой молодежи» времён термидорианской реакции (от слова «мускус», которым душились франты того времени). Балды мюскаденов, пользуясь покровительством властей, бесчинствовали на улицах, избивали безоружных сапюлютов, громили помещения Якобинского клуба, насиловали женщин.

Стр. 281. *Гостюшко* Тадеуш (1746—1817) — деятель польского национально-освободительного движения, выходец из средних слоев шляхты. Окончил кадетский корпус. Участвовал в войне за независимость США. Боролся против реакционной Тарговицкой конфедерации. В 1793 году добывался помощи польским патриотам от революционной Франции. В 1794 году возглавлял восстание в Польше. В бою с царскими войсками был ранен, взят в плен и заключен в Петропавловскую крепость. В 1796 году был освобожден, уехал в США, а затем во Францию.

Стр. 283. *Баррер* Бертраи (1755—1841) — деятель французской революции, по профессии адвокат и журналист. Депутат Законодательного собрания, член Конвента, якобинец. После переворота 9 термидора стал одним из вождей реакции. При Наполеоне был его секретным советником по вопросам международной политики. После июльской революции вернулся во Францию.

*Фукье-Тенвиль* Антуан-Кэнтен — деятель французской революции (1746—1795), юрист по образованию, якобинец. После свержения монархии был председателем «Трибунала 10 августа». С 13 марта 1793 года занимал пост общественного обвинителя в Чрезвычайном трибунале, составлял обвинительные акты, вел допросы, руководил казнью осужденных. После крушения якобинской диктатуры был казнен.

Стр. 284. *Восстание в прериале продолжалось три дня* — 1—4 прериала III года Республики (20—23 мая 1795 г.). Оно явилось ответом на антинародную политику термидорианского Конвента, приведшую к резкому ухудшению положения широких слоев населения (особенно после отмены закона о максимуме цен). Лозунгом восстания были слова: «Хлеба и конституции 1793 г.» Отсутствие одного руководящего центра, нерешительность «последних монпаньяров» и доверчивость, проявленная восставшими, которые поверили обещаниям термидорианцев и разошлись по своим домам, привели к поражению восстания. 3 прериала термидорианцы стянули в Париж многочисленные войска и окружили Септ-Антуанское предместье и другие рабочие кварталы, которые были разоружены. 4 прериала восстание было полностью подавлено. Произведены были многочисленные аресты и поголовные обыски с целью изъятия оружия.



Стр. 287. Теперь стало ясно, что восстание было подготовлено роялистами: как только жажда мести угасла и с истреблением якобинцев, дантонистов, эбертистов и прочих было покончено, голод в Париже сразу прекратился. — Это неверное объяснение исторических фактов: прерриальское восстание было подготовлено революционно-демократическими группами, роялисты не имели никакого отношения к нему, голод в Париже прекратился не сразу (отмена закона о максимуме цен привела к росту дороговизны и ухудшению положения широких слоев населения).

Стр. 288. ...и эмигранты вместе с европейскими деспотами уже провозгласили графа Прованского королем Франции. — Граф Прованский — брат короля Людовика XVI, будущий король Людовик XVIII, бежавший из Франции в 1791 году, был провозглашен эмигрантами королем Франции в 1795 году (после получения известия о смерти в Париже малолетнего сына Людовика XVI — Людовика XVII).

Стр. 292. ...весь наш республиканский счет дней и месяцев... — По революционному календарю, введенному в 1793 году, год начинался с 22 сентября 1792 года (дня провозглашения Республики). Названия месяцев отражали те или иные явления природы. Три осенних месяца назывались: вандемьер (месяц сбора винограда) — сентябрь, октябрь; брюмер (месяц туманов) — октябрь, ноябрь; фример (месяц заморозов) — ноябрь, декабрь. Три зимних месяца назывались: нивоз (месяц снегов) — декабрь, январь; плювиз (месяц дождей) — январь, февраль; ваптоз (месяц ветров) — февраль, март. Три весенних месяца назывались: жерминаль (месяц прорастания семян) — март, апрель; флореаль (месяц цветов) — апрель, май; прерриаль (месяц лугов) — май, июнь. Три летних месяца: мессидор (месяц жатвы) — июнь, июль; термидор (месяц жары) — июль, август; фрюктидор (месяц плодов) — август, сентябрь. Вместо воскресенья праздновался каждый десятый день — декада. Санкюлотиды (или «дополнительные дни») объявлялись днями народных празднеств и посвящались праздникам Геня, Труда, Подвигов, Наград и Общественного мнения. С 1 января 1806 года республиканский календарь был упразднен и был восстановлен старый календарь.

Стр. 298. Мену Жак-Франсуа, барон де (1750—1810) — французский политический деятель и генерал. В 1792 году произведен в генералы, сражался против вандейских мятежников, в 1795 году участвовал в подавлении прерриальского восстания. Участвовал в египетском походе. Принял там ислам и имя Абд-Аллах. В 1802 году был членом Трибуната. В 1803 году — правителем Пьемонта. В 1808 году — генерал-губернатором Тосканы, в 1809 году — Венеции.

...к девяти вечера все уже было кончено. — Этот мятеж происходил 5 октября 1795 года (13 вандемьера).

Стр. 305. *Ларевельер-Лено* Луи-Мари де (1753—1824) — французский политический деятель, по профессии адвокат. Член Конвента, жирондист в период якобинской диктатуры, скрывался от преследований. Во время Директории был членом ее правительства и председателем Совета старейшин. Отказался присягнуть Наполеону и вышел из состава Академии наук.

*Легурьер* Луи-Франсуа (1751—1817) — французский политический деятель. Был депутатом Законодательного собрания, членом Конвента, его Комитета общественного спасения. Военного комитета, комиссаром в департаменте Орны и на Средиземноморской эскадре. Член Совета старейшин и член Директории. При Наполеоне был префектом департамента Нижней Луары, членом Счетной палаты. После второй реставрации Бурбонов был изгнан из Франции.

Стр. 307. *Настоящие буржуа — это... все те, кто вместе с крестьянами и рабочими способствует обогащению страны.* — Рассуждения авторов романа о буржуазии и ее исторической роли грешат явной идеализацией. Они правильно отмечают неоднородность состава буржуазии, но ошибочно утверждают, что она сложилась «благодаря своему уму, образованию и храбрости». В действительности, как указывал Маркс, в основе процесса зарождения и складывания буржуазии лежал процесс превращения верхушки средневековых горожан и крестьян сначала в «зародышевых капиталистов», а затем, по мере расширения эксплуатации наемного труда и усиления накопления капитала (в результате экспроприация народных масс, ограбления колоний, работ торговли, морского пиратства и ростовничества), в капиталистов в точном смысле слова. Термин «трудолюбивые буржуа», которым пользуются авторы, неправилен. Их утверждение, что «революция может кончиться только тогда, когда образованная буржуазия станет во главе ее», совершенно неверно и свидетельствует о том, что они не видели классовой ограниченности буржуазной революции, непримиримости противоречий между имущими слоями и трудящимися массами. Даже в период 1789—1870 годов, когда буржуазия, будучи прогрессивным классом, борющимся против феодальных порядков и пережитков, опиралась на народные массы и использовала их в борьбе за свое господство, антагонизм между буржуазией (особенно крупной) и трудовыми слоями населения проявлялся со все возрастающей силой. Он отчетливо проявился уже во время революции 1848 года, то есть больше чем за двадцать лет до выхода в свет книги

«История одного крестьянина», за три года до такого крупного события, как Парижская коммуна — первая в истории диктатура пролетариата.

Стр. 313. *Камбасерес Жан-Жак Режи де* (1753—1824) — французский юрист и государственный деятель, советник Счетной палаты в Монпелье. Член Конвента и его законодательного комитета. В период Директории был членом Совета пятисот и министром юстиции, после переворота 18 брюмера занимал пост второго консула, председателя сената и Государственного совета, после провозглашения империи получил звание архиканцлера и титул герцога Пармского. В 1814 году перешел на службу к правительству Бурбонов. В 1815 году был изгнан из Франции, но в 1818 году получил разрешение возвратиться.

*Ланжюане Жан-Дени* (1753—1827) — французский политический деятель, юрист. Член Учредительного собрания. Член Конвента, примыкал к жирондистам. В период якобинской диктатуры скрывался. В марте 1795 года был возвращен в Конвент. При Директории был членом Совета пятисот. При Наполеоне стал членом сената и получил титул графа. В 1814 году признал правительство Реставрации. Был председателем палаты представителей во время Ста дней. После второй Реставрации — член палаты пэров, примыкал к умеренно-либеральной оппозиции.

Стр. 315. *Ласарн Амеде-Эмманюэль-Франсуа* (1754—1796) — швейцарский офицер, перешедший на французскую службу. В декабре 1793 года получил чин генерала. Участвовал в итальянском походе 1796 года, во время которого был убит.

*Ожеро Пьер-Франсуа-Шарль* (1757—1816) — французский военный деятель. В 1795 году получил чин генерала. Отличился в итальянском походе 1796 года. При Наполеоне получил звание маршала и титул герцога Кастильоне. Участвовал почти во всех наполеоновских войнах. В 1814 году перешел на службу к правительству Реставрации.

Стр. 322. *Болле Жан-Пьер* (1725—1819) — австрийский фельдмаршал. Участник войн 1792—1794 годов против революционной Франции. В 1796 году, будучи главнокомандующим австрийскими и сардинскими войсками, был разгромлен французскими войсками.

*Вюрмсер Дагоберт Зигмунд, граф фон* (1724—1797) — австрийский фельдмаршал, участник войны коалиции против республиканской Франции. В 1796 году потерпел ряд тяжелых поражений в Италии, завершившихся сдачей крепости Мантуи (в феврале 1797 г.). Отозван из Италии.

*Альвинци Носиф, барон фон* (1735—1810) — австрийский фельдмаршал, участник войн против Турции, против Бельгии и против

Франции. В 1793 году был раабит в сражении при Голдиноотене. Тщетно пытался освободить запертого в Мантуе Вюрмсега. Был наголову разбит французскими войсками при Арколе и Тиволи. Отозван из Италии.

*Толентино* — город в Италии, где 19 февраля 1797 года был подписан мирный договор между паной Пием VI и Французской республикой.

Стр. 323. *Дезз* Луи-Шарль-Антуан. Шевалье де Вейгу (1768—1800) — французский генерал, участник войн революционной, а затем наполеоновской Франции. В 1798 году участвовал в египетском походе и управлял одной из провинций Египта. В сражении при Мареngo (14 июня 1800 г.) обеспечил победу армии Наполеона, но сам был убит.

*Вернадотт* Шарль-Жан (1704—1844) — французский генерал, участник революционных, а затем наполеоновских войн, маршал Франции. В 1810 году был усыновлен бездетным шведским королем Карлом XIII и стал наследником шведского престола. С 1818 года царствовал в Швеции под именем Карла XIV Юхана. Родоначальник нынешней шведской королевской династии.

Стр. 325. *Директория* (точнее — Исполнительная директория) — так назывался высший правительственный орган во Франции, существовавший с 1 ноября 1795 до 9 ноября 1799 года и состоявший из пяти членов (директоров). Директория пришла на смену Конвенту и прекратила свое существование в результате государственного переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.), поставившего у власти Наполеона Бонапарта. Как и термидорианский Конвент, Директория выражала интересы верхушки буржуазии — главным образом крупных финансистов, разбогатевших в период революции на земельных и продовольственных спекуляциях, на военных поставках («новые богачи»).

Стр. 326. *Пасторз* Пьер (1756—1840) — французский политический деятель. Член Законодательного собрания. После свержения монархии эмигрировал, в 1795 году возвратился во Францию, был избран членом Совета пятисот. После переворота 18 фрюктидора был сослан. В 1800 году возвратился во Францию, стал профессором права, профессором философии и сенатором. Получил от Наполеона титул графа. После реставрации Бурбонов был введен в палату пэров, назначен государственным министром и канцлером.

*Порталис* Жан-Этьен-Мари (1746—1807) — французский политический деятель, адвокат. Был арестован в 1793 году, после переворота 9 термидора освобожден. Председатель Совета старейшин в июне 1796 года. После переворота 18 фрюктидора эми-

гировал. Возвратился во Францию после переворота 18 брюмера. Принимал активное участие в составлении Гражданского кодекса, и подготовке конкордата (соглашения с папой римским), в выработке императорского катехизиса. Получил от Наполеона титул графа.

Стр. 326. *Барбе-Марбуа* Франсуа, маркиз де (1745—1837) — французский политический деятель — генеральный консул в США, член и одно время председатель Совета старейшин, после переворота 18 фрюктидора сослан в Гвиану. Через два года был возвращен из ссылки. Назначен директором государственного казначейства, получил от Наполеона орден Почетного легиона и титул графа. В 1808 году сделался директором Счетной палаты. В 1814 году стал на сторону правительства Реставрации и был введен в состав палаты пэров.

*Воблян* Венсан-Мари Пьеро, граф де (1756—1845) — французский политический деятель. Депутат Законодательного собрания, монархист, скрывался во время якобинского террора. В 1795 году был заочно приговорен к смертной казни за участие в восстании 13 вандемьера. В 1796 году избран членом Совета пятисот; после переворота 18 фрюктидора эмигрировал. При Наполеоне был членом Законодательного корпуса, затем префектом департамента Мозель. После второй реставрации Бурбонов стал министром внутренних дел. Проявил себя крайним монархистом. В 1816 году был уволен в отставку.

*Бабеф* Гракх (1760—1797) — видный деятель французской революции, организатор и теоретик «Заговора равных», ставившего своей целью свержение Директории и создание революционного правительства, которое должно было осуществить переход к новому общественному строю — коммунизму. Коммунизм Бабефа и его сторонников (бабувистов) был утопическим: Бабеф не понимал ведущей роли рабочего класса в социальной революции и уделял главное внимание аграрному вопросу. Заговор был раскрыт полицией с помощью провокатора, проникшего в среду заговорщиков. Бабеф и один из его главных соратников Дарта были казнены. Широкие массы, революционная активность которых была сломлена неудачными восстаниями 1795 года, не оказали активной помощи бабувистам. Историческое значение «Заговора равных» заключается в том, что это была первая попытка свержения буржуазного строя во имя осуществления коммунизма.

Стр. 328. *Ломбардская республика* со столицей Миланом была создана в северной Италии в 1796 году в результате побед Франции над Австрией; находилась в вассальной зависимости от Французской республики.

*Циспаданская республика* — одна из вассальных республик, созданных в Италии в результате побед Франции над Австрией в 1796—1797 годах.

Стр. 330. *Бартеlemi* Франсуа, маркиз де (1747—1830) — французский политический деятель. Еще до революции вступил на дипломатическую службу. Был послом в Швейцарии. В 1795 году участвовал в переговорах о заключении Базельских мирных договоров. В 1797 году стал членом Директории. После переворота 18 фрюктидора был сослан, бежал из ссылки. Сенатор и граф наполеоновской империи, пэр и маркиз после реставрации Бурбонов.

Стр. 343. *Антрес* Эммануэль-Апри-Луи-Александр де Монэ, граф д' (1753—1812) — французский авантюрист. Депутат Учредительного собрания, эмигрировал в 1790 году. Служил тайным агентом ряда правительств и династий Бурбонов. Был убит близ Лондона (по политическим причинам).

*Монгайяр* Жан-Габриэль-Морис-Жак Рок, граф де (1761—1841) — французский политический авантюрист, дипломатический представитель в Швейцарии, затем тайный агент роялистов во Франции, сотрудник секретного кабинета Наполеона I, а позже — правительства Реставрации.

Стр. 344. *Фош-Борель* Луи (1762—1829) — французский политический деятель, родом из Швейцарии. Во время французской революции был тайным агентом принца Конде, печатал и распространял манифесты и прокламации французских эмигрантов. После переворота 18 брюмера был арестован, но затем освобожден и выслан из Франции. В 1814 году вернулся во Францию. Исполнял секретные поручения прусского правительства. Был прусским генеральным консулом в Невшателе. Получал пенсию от правительства Реставрации.

Стр. 350. *Франсуа из Невшато*. Никола (1750—1828) — французский государственный деятель и литератор. Секретарь, а затем председатель Законодательного собрания. Во время якобинской диктатуры сидел в тюрьме. В 1797 году был министром внутренних дел, затем членом Директории. Член Академии наук. Председатель сената, получил от Наполеона графский титул.

Стр. 351. *Галло* Марций Мастрити (1753—1833) — маркиз, позже герцог, министр иностранных дел Неаполитанского королевства во время правления Жозефа Бонапарта, а затем Мюрата. Запимал тот же пост и во время революции 1820—1821 годов.

Стр. 352. *Мирный договор в Кампо-Формио*. — Мирный договор в Кампо-Формио, заключенный в ноябре 1797 года между побе-

доносной Францией и побежденной Австрией, закрепил за Францией территории, завоеванные ею в 1795—1797 годах.

Стр. 354. *...серои, вроде Бонапарт...* — Резко отрицательная характеристика Наполеона и его политики, данная в романе Эркмана-Шатриана, страдает односторонностью, которая объясняется отчасти тем, что, будучи республиканцами, авторы решительно не одобряли культа его личности, успешно насаждавшийся правительством Второй империи (1852—1870). Наполеон I, несомненно, был крупным историческим деятелем, выдающимся полководцем и государственным деятелем, обладал ясным умом, отличался большой энергией, силой воли, огромной работоспособностью. Вместе с тем он был одержим ненасытным властолюбием, толкавшим его на нескончаемые захватнические войны и сочетавшимся с крайней беззащитностью в выборе средств. Прикнув в свое время к революции, Наполеон сделал это ради карьеры, для своего личного возвышения. С презрением относился к демократическим идеям, к парламентскому режиму, он считал, что лучший политический режим — неограниченная диктатура; став полновластным правителем Франции, он настойчиво добивался господства над всей Европой и для достижения этой цели хладнокровно жертвовал жизнью миллионов людей. Побочным результатом побед наполеоновских войск было то, что они подрывали переживший себя феодальный порядок в ряде европейских стран и расчищали в них путь для развития новых, капиталистических отношений. Но эта прогрессивная сторона наполеоновских войн отступала на задний план перед их основным результатом — захватом и грабежом чужих земель, порабощением и эксплуатацией населения других государств. Откровенно грабительский и захватнический характер войны Наполеона привяли особенно после Тильзитского мира 1807 года, в годы войны в Испании (1808—1813) и во время похода в Россию (1812).

Стр. 358. *Вертье Луи-Александр (1753—1815)* — французский военачальник, маршал Франции (с 1804 г.). На военной службе еще с дореволюционных лет. Участвовал в борьбе против вандейских мятежников, в итальянском и египетском походах. При Наполеоне — военный министр и начальник главного штаба. В 1805 году получил от Наполеона титул князя Неупательского и обширные земельные владения в Швейцарии, в 1809 году — титул князя Ваграмского. В 1814 году после крушения наполеоновской империи признал правительство Реставрации. В 1815 году уехал в Баварию и окончил с собой в день вступления войск коалиции в Бамберг.

*Лагранж Жозеф-Луи (1736—1813)* — знаменитый французский

ученый (математик и механик), член Берлинской академии наук и одно время ее президент. Принимал активное участие в обороне революционной Франции, преподавал в Политехнической школе.

*Лаплас* Пьер-Симон (1749—1827) — знаменитый французский ученый (астроном, математик и физик), член Академии наук и Французской академии. При Наполеоне стал вице-президентом сената и получил титул графа. После Реставрации Бурбонов получил звание пэра и титул маркиза.

*Шенье* Мари-Жозеф — французский политический деятель и писатель классицистического направления (1764—1814). Член Конвента, Совета пятисот, Трибуната. Его исторические трагедии «Карл IX», «Генрих VIII», «Гай Гракх» и др. пользовались большим успехом во время революции. В годы наполеоновской империи он создал ряд других трагедий (наиболее известная из них «Тибериус»), которые были запрещены цензурой из-за их либерально-оппозиционного направления. В 1803 году был избран членом Французской академии.

*Дону* Пьер-Клод-Франсуа (1761—1840) — французский государственный деятель и ученый. Член Конвента, протестовал против преследования жирондистов и был арестован. После переворота 9 термидора был освобожден. Играл видную роль в организации народного просвещения. После переворота 18 брюмера был членом Трибуната, но вскоре исключен из его состава. В 1813 году смещен с должности архивиста империи. В 1819 году стал профессором Коллеж де Франс. Секретарь Академии надписей, член Академии моральных наук.

Стр. 359. *Катон* Марк Порций Старший (234—149 до н. э.) — древнеримский государственный деятель и писатель, крупный землевладелец, сторонник активной завоевательной политики (требовал полного разрушения Карфагена, как опасного торгового соперника Рима). Оставил ряд исторических и экономических трудов.

*Сократ* — древнегреческий философ-идеалист (ок. 469—399 до н. э.), в основе учения которого лежала теория самопознания и идея о том, что человек должен руководствоваться в своих действиях тремя главными добродетелями — умеренностью, храбростью и справедливостью. Учение Сократа получило дальнейшее развитие в трудах его ученика — Платона.

Стр. 361. *Брюн* Гийом (1763—1815) — французский генерал (с 1793 г.), участник революционных и наполеоновских войн. Был типографским рабочим, потом журналистом. В 1798—1799 годах командовал войсками в Италии, затем в Голландии. В 1804 году получил звание маршала империи. После второй реставрации



Бурбонов был зверски замучен бандой роялистов в Авиньоне.

Стр. 369. *Рейнье Жан-Луи, граф (1771—1814)* — французский генерал, участник наполеоновских войн, военный министр Неаполитанского королевства.

*Лани Жан (1769—1809)* — французский военный деятель, в 1792 году вступил добровольцем в революционную армию, в 1796 году стал генералом. Участник египетской экспедиции. Содействовал перевороту 18 брюмера. Одержал ряд блестящих побед. После провозглашения империи получил титул герцога Монтебелло и звание маршала. В войне 1809 года был смертельно ранен.

*Мюрат Иоахим (1767—1815)* — французский генерал, позже маршал Франции, участник наполеоновских войн, шурина Наполеона (муж его сестры Каролины). С 1808 до 1814 года был королем Неаполитанского королевства. В октябре 1815 года пытался во главе небольшого отряда свергнуть династию Бурбонов, восстановленную в Неаполе по решению Венского конгресса, но был схвачен, приговорен к смертной казни и расстрелян.

*Дасу Луи-Никола (1770—1823)* — французский военный деятель, маршал Наполеона. Участник революционных войн 1792—1795 годов, египетского похода. В 1804 году получил звание маршала, в 1806 году, разбив прусские войска при Ауэрштадте, — титул герцога Ауэрштадтского. Участвовал в войне 1812 года. Был уволен из армии правительством Бурбонов. В 1819 году — член палаты пэров.

*Жюно Андош, герцог д'Абрантес (1774—1813)* — французский генерал, адъютант Наполеона, посол в Португалии. В 1807 году вторгся с французскими войсками в эту страну, но уже в 1808 году был разбит и вытеснен из Португалии. В 1809 году был правителем Иллирийских провинций Французской империи. В 1813 году сошел с ума и вскоре умер.

*Андреосси Антуан-Франсуа (1761—1828)* — французский генерал и дипломат, участник переворота 18 брюмера. Получил от Наполеона графский титул. Был французским послом в Лондоне, Вене, Константинополе.

*Кафарелли ди Фальга Франсуа (1766—1849)* — французский генерал, адъютант Наполеона, участник многих наполеоновских походов.

*Бертолле Клод (1748—1822)* — знаменитый французский химик, академик, принимал деятельное участие в обороне революционной Франции (в качестве председателя особой научной комиссии, созданной Комитетом общественного спасения). Вместе с

Монжем участвовал в создании Политехнической школы. Сенатор и граф империи.

*Монж* Гаспар (1746—1818) — знаменитый французский ученый (математик), член Академии наук. Во время революции был морским министром, руководил производством пороха и литьем пушек, основал Политехническую школу, участвовал в египетской экспедиции, получил от Наполеона звание сенатора и графский титул. После реставрации Бурбонов был лишен этого титула и исключен из состава Академии.

*Жоффруа де Сент-Илер* Этьен (1772—1844) — французский ученый (зоолог), член Академии наук.

*Денон* Доминик-Виан, барон (1747—1825) — гравер, главный администратор французских музеев, один из организаторов Лувра, член Академии изящных искусств.

*Ларрей* Доминик-Жан, барон (1766—1842) — французский военный хирург, участник всех наполеоновских походов (главный хирург армий), ранен и взят в плен в сражении при Ватерлоо.

*Деженетт* Рене-Никола-Дюфрени (1762—1837) — французский военный врач, автор многочисленных трудов по медицине и истории медицины. Во время египетского похода был главным врачом французской армии, в 1807 году стал главным военно-медицинским инспектором. В 1812 году был взят в плен в России, вернулся во Францию в 1814 году.

Стр. 371. *Камбиз* — царь древней Персии (529—522 до н. э.), сын Кира, завоеватель Египта и некоторых других государств Африки, отличался большой жестокостью, покончил жизнь самоубийством (в 522 г. до н. э.).

*Александр Великий* — Александр Македонский (356—323 до н. э.), выдающийся полководец древнего мира, стремившийся к созданию всемирной монархии.

*Цезарь* Гай Юлий — выдающийся римский полководец и государственный деятель, установивший диктаторскую власть, убит сенаторами-республиканцами (в 44 г. до н. э.).

*Магомед* (Мухаммед) (571—632) — основатель ислама.

Стр. 375. *Меттерних* Клеменс Венцель Лотарь, князь (1773—1859) — австрийский государственный деятель, ярый реакционер. С 1804 года — на дипломатической службе. В 1809 году занял пост министра иностранных дел, в 1821 году стал канцлером Австрийской монархии. Играл видную роль на Венском конгрессе, где вел переговоры против России. В 1815—1848 годах был одним из главных вдохновителей реакционной политики Священного союза. Революция 1848 года положила конец режиму Меттерниха.

Стр. 376. *Брюйес* д'Этайль Франсуа-Поль (1753—1798) — французский вице-адмирал. Начал службу во флоте во время войны за независимость США. В 1793 году был смещен, в 1795 году восстановлен и назначен контрадмиралом. В 1797 году командовал эскадрой Адриатического моря. Погиб в бою при Абукире.

*Шампионне* Жан-Этьен (1762—1800) — французский генерал, участник революционных войн 1792—1795 годов, организатор Партенопейской республики (в Неаполе), был арестован за противодействие хищническим действиям комиссаров Директории, но затем освобожден. Командовал Альпийской армией. Разбитый австрийцами, отступил к Инцде.

Стр. 377. *Жубер* Бартеlemi (1769—1799) — французский генерал, служил в Рейнской армии, затем в Итальянской армии, командовал войсками в Голландии и в Италии. Убит в сражении при Нови (в ноябре 1799 г.).

Стр. 388. *Суворов*. — Характеристика великого русского полководца А. В. Суворова (1729—1800) резко противоречит исторической правде и свидетельствует о том, что Эркман и Шатриан находились в этом вопросе под сильным влиянием враждебных России тенденций, свойственных многим французским буржуазным историкам и публицистам, не разграничивавшим царское правительство и русский народ. Та же враждебная тенденция проявляется в изображении русских солдат. Но вместе с тем писатели признают храбрость и стойкость русских солдат: «Они стоят насмерть, их можно перебить, но заставить отступить невозможно».

Стр. 389. *Массена* Андре (1756—1817) — французский генерал (с 1793 г.), участник революционных и наполеоновских войн, сын торговца. В 1804 году получил звание маршала, в 1807 году — титул герцога Риволли. В 1814 году признал реставрацию Бурбонов, но в 1815 году выступил против суда над маршалом Неем.

*Шерер* Бартеlemi-Луи-Жозеф (1747—1804) — французский генерал, родом из Эльзаса, сначала служил в австрийской и голландской армиях, в 1791 году вернулся во Францию. В 1794 году командовал дивизией, а затем альпийской и восточнопиренейской армиями. В 1795 году был назначен главнокомандующим итальянской армией, но вскоре смещен. В 1797—1799 годах занимал пост военного министра. В 1799 году был послан в Италию (на место Жубера), но потерпел ряд поражений и передал командование Моро.

*Крей* Пауль, барон фон (1735—1804) — австрийский генерал, участник Семилетней войны. В 1799 году во главе австрийской

армии разбил французского генерала Шерера. В 1800 году был разбит французским генералом Моро и смещен.

*Макдональд* Жак-Этьенн-Жозеф-Александр (1765—1840) — французский генерал, родом из Шотландии, с 1784 года — во французской армии. В 1809 году получил от Наполеона звание маршала и титул герцога Тарентского. В 1814 году перешел на сторону правительства Реставрации, был введен в палату пэров.

Стр. 392. *Люсьен Бонапарт* (1775—1840) — второй брат Наполеона I, князь Каннино. Бежал с Корсикой в 1793 году в Марсель. Председатель Совета пятисот, сыграл активную роль в перевороте 18 брюмера. Стал министром внутренних дел. Поссорившись с Наполеоном, уехал в Италию. В 1805 году был захвачен англичанами, в 1814 году вернулся в Рим.

*Жозеф Бонапарт* — старший брат Наполеона I (1768—1844), адвокат, бежавший с Корсикой во Францию; французский посол в Парме, затем в Милане. Неаполитанский король (1806—1808), испанский король (1808—1814). После Ста дней жил в США, одно время — в Англии и в Италии.

*Роже Дюко* (1747—1816) — французский политический деятель, адвокат, член Конвента. Член Совета старейшин, член Директории. После переворота 18 брюмера — третий консул, затем вице-председатель сената. Граф империи. В 1814 году стал на сторону правительства Реставрации. В 1816 году изгнан из Франции, как член Конвента, голосовавший за казнь Людовика XVI.

Стр. 393. *Мурен* Жан-Франсуа-Огюст (1752—1810) — французский генерал и политический деятель. Избранный членом Директории (18 июля 1799 г.), он выступил против планов антиреспубликанского переворота. В день 18 брюмера содержался под стражей. Потом служил при Наполеоне.

Стр. 397. *Сульт* Никола-Жан (1769—1851) — французский генерал, маршал наполеоновской империи, герцог Далматийский, одержал ряд блестящих побед. В 1814 году признал Людовика XVIII, но во время Ста дней снова примкнул к Наполеону. Был начальником главного штаба в сражении при Ватерлоо. В 1816 году был выслан из Франции, в 1819 году возвратился. После польской революции 1830 года — военный министр. В ноябре 1831 года подавил восстание рабочих в Ливоне. В 1832, 1839 и 1840—1847 годах являлся председателем Совета министров. В 1847 году получил титул главного маршала Франции.

*Мортье* Эдуар-Адольф-Казимир-Жозеф (1768—1835) — французский военный деятель. Начал службу капитаном отряда добровольцев Северного департамента. В 1799 году был произведен в генералы. В 1804 году получил звание маршала, в 1807 году —

титул герцога Тревизского. В 1814 году перешел на сторону Бурбонов. В 1816 году избран членом палаты депутатов. С ноября 1834 по март 1835 года был военным министром и главой кабинета. Погиб 28 июня 1835 года во время покушения на короля Луи-Филиппа.

*Ней* Мишель (1769—1815) — видный французский военный деятель. В 1788 году начал службу солдатом, в 1796 году произведен в генералы. С 1804 года маршал. Участник почти всех наполеоновских войн. В 1814 году перешел на службу к правительству Реставрации. Во время Ста дней стал на сторону Наполеона. Участвовал в битве при Ватерлоо. По приговору палаты пэров был расстрелян (7 декабря 1815 г.).

*Гюден* Сезар-Шарль-Этьен (1768—1812) — французский генерал, участник наполеоновских войн. Был смертельно ранен в России в 1812 году.

Стр. 402. *Моро* Жан-Виктор (1763—1813) — французский генерал (с 1793 г.), командовал армией Севера, затем армией Рейна и Мозеля. Участвовал в кампаниях в Германии и в Италии. 3 декабря 1800 года одержал блестящую победу над эрцгерцогом Иосифом при Гогенлиндоне. В 1804 году был арестован и приговорен (по подозрению в связях с роялистами) к двум годам тюремного заключения; помилован, после чего уехал в США. В 1813 году смертельно ранен в рядах союзных войск в Дрезденской битве.

Стр. 413. *Леклерк* Шарль-Виктор-Эммануэль (1772—1802) — французский генерал, участник наполеоновских войн, муж сестры Наполеона — Полины Бонапарт. В 1796 году участвовал в итальянском походе. Участник переворота 18 брюмера. Командовал французскими войсками, посланными на остров Сан-Доминго. Умер там от лихорадки.

Стр. 417. *Лебрен* Шарль-Франсуа (1739—1824) — французский политический деятель. Депутат Учредительного собрания. Был арестован после свержения монархии; освобожден после переворота 9 термидора. Член Совета старейшин. После переворота 18 брюмера стал третьим консулом. После провозглашения империи был назначен верховным казначеем и получил титул князя, в 1808 году — титул герцога. В 1810—1813 годах исполнял обязанности губернатора Голландии.

Стр. 422. *Жорж Мулон* (1770—1838) — в 1792 году ушел в армию добровольцем. В 1805 году — генерал, адъютант Наполеона, отличился в сражении под Фридландом (1807), а также на острове Лобо (1809), после чего получил титул графа Лобо.

В битве под Лейпцигом (1813) взят в плен и интернирован в Венгрии (до 1814 г.). Ранен и взят в плен при Ватерлоо. Возвратился во Францию в 1818 году.

Стр. 426. *Битва при Маренго* — 23 июня 1800 года, одна из самых блестящих побед французских войск над австрийскими войсками. Фактически победителем в пей был генерал Деза, погибший в бою, но вся слава досталась Наполеону, как главнокомандующему.

Стр. 429. *Кобенцель* Людвиг, граф фон (1753—1809) — австрийский государственный деятель и дипломат, посол в Копенгагене, Берлине, Петербурге. В 1795 году способствовал созданию второй коалиции против республиканской Франции. В 1801 году назначен канцлером и министром иностранных дел, в 1805 году вышел в отставку.

Стр. 430. *Майораты* — неделимые поместья дворянства, переходившие по наследству к одному только старшему сыну.

...*все рухнуло, лишь только его сабли и штыки перестали эту астошь подпирать.* — Это не точно: новая, наполеоновская аристократия сохранилась как составная часть французской знати и после крушения Первой империи.

Стр. 437. *Амьенский мир* — мирный договор, заключенный между Англией и Францией в 1802 году. Он оказался очень непрочным: уже в 1803 году война между обеими странами, являвшимися в то время главными соперниками в борьбе за мировое господство, возобновилась.

*Конкордат* — соглашение, заключенное 15 июля 1801 года Наполеоном с Пием VII (вступило в силу в апреле 1802 года). Пана обязался признать законной распродажу церковных земель во Франции, Наполеон обязался выплачивать католическому духовенству жалованье и пенсии. Все духовные лица должны были молиться за республику.

Стр. 438. ...*после битве при Аустерлице, Йене, Вограме и Москве...* — *Битва при Аустерлице* — одна из самых блестящих побед Наполеона I, одержанная над союзными (русско-австрийскими) войсками (2 декабря 1805 г.). Следствием этой победы был выход Австрии из коалиции. *Битва при Йене* — разгром прусской армии войсками Наполеона I (14 октября 1806 г.). В тот же день другая прусская армия была наголову разбита маршалом Даву при Ауэриштадте. Следствием этих побед французских войск явилось занятие ими Берлина (27 октября). *Битва при Вограме* — победа французских войск над австрийцами, одержанная Наполеоном I в 1809 году. *Битва под Москвой* — Бородинская битва

(7 сентября 1812 г.), одно из самых кровопролитных сражений в Отечественной войне русского народа против наполеоновского вторжения. Обе стороны понесли крупные потери. Наполеону не удалось сломить стойкость русской армии. Но огромные потери русской армии вынудили ее главнокомандующего, фельдмаршала М. И. Кутузова, сдать Москву без боя.

Стр. 439. *...заманивал к себе... как... короля испанского...* — Испанский король Карл IV был обманным путем завлечен Наполеоном во Францию (вместе с членами своей семьи) в 1808 году. После его отречения от престола королем Испании стал брат Наполеона — Жозеф Бонапарт. Но испанский народ не примирился с французским господством и поднялся на героическую борьбу против чужеземных захватчиков.

А. И. МОЛОК

## СОДЕРЖАНИЕ

История одного крестьянина  
*Перевод Т. А. Кудрявцевой*

<i>Часть третья. Первый год Республики, 1793</i> . . . . .	7
<i>Часть четвертая. Гражданин Бонапарт, 1794—1815</i> . . . . .	263
Комментарии <i>А. И. Молока</i> . . . . .	447